

БИБЛИОТЕКА
РЕВОЛЮЦИОННЫХ
МЕМОАРОВ
« ИЗ ИСКРЫ
ВОЗГОРИТСЯ
ПЛАМЯ »

ВЕРНЫЕ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА





1825



**ВЕРНЫЕ
СЫНЫ
ОТЕЧЕСТВА**

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ПАРТИИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБКОМА КПСС —
ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА МАРКСИЗМА-
ЛЕНИНИЗМА ПРИ ЦК КПСС

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ СССР
АКАДЕМИИ НАУК СССР

Редакционная коллегия
«Библиотеки
революционных мемуаров»:

С. С. ВОЛК,
В. Н. ГИНЕВ,
М. П. ИРОШНИКОВ,
З. С. МИРОНЧЕНКОВА,
Л. Н. ПЛЮЩИКОВ,
Л. М. СПИРИН,
В. А. ШИШКИН

Ответственный составитель
«Библиотеки
революционных мемуаров»
доктор исторических наук
В. Н. ГИНЕВ.

БИБЛИОТЕКА
РЕВОЛЮЦИОННЫХ
МЕМУАРОВ
«ИЗ ИСКРЫ
ВОЗГОРИТСЯ
ПЛАМЯ»

ВЕРНЫЕ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

Воспоминания участников
декабристского движения
в Петербурге

Составители:
кандидат исторических наук
Л. Б. ДОБРИНСКАЯ,
доктор исторических наук,
профессор
Л. С. СЕМЕНОВ

Научный редактор
доктор исторических наук,
профессор
С. С. ВОЛК

Рецензент
доктор исторических наук
А. Ф. Смирнов

Верные сыны Отечества: Воспоминания участ-
В35 **ников декабристского движения в Петербур-**
ге / [Сост. Л. Б. Добринская, Л. С. Семенов]. — Л.:
Лениздат, 1982. — 400 с., ил.

Воспоминания декабристов, написанные с большим литературным мастерством, являются историческим и художественным памятником эпохи декабризма. В сборник вошли те воспоминания, в которых наиболее полно и точно отразились основные этапы деятельности тайных декабристских обществ в Петербурге и сам день восстания 14 декабря 1825 года, в том числе братьев Бестужевых, Е. П. Оболенского, И. И. Пущина, И. Д. Якушкина.

В 0505010000—068
М171(03)—82 66—82

63.3(2)47

© Лениздат, 1982

В 1982 году Лениздат начинает выпуск «Библиотеки революционных мемуаров» «Из искры возгорится пламя», составленной из воспоминаний участников революционного движения в Петербурге — Петрограде. Цель этого издания — рассказать о славных революционных традициях нашего народа и их преемственности, дать читателям возможность увидеть революционное движение в России глазами активных его участников.

XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза назвал одной из важнейших задач, стоящих перед общественными науками, «обобщение опыта революционно-преобразующей деятельности КПСС». Именно на основе глубокого изучения революционной теории и политики партии вырабатывается у советских людей активная жизненная позиция стойких борцов за коммунизм.

Основанная и руководимая В. И. Лениным партия большевиков воплотила в своей деятельности все лучшее, что было накоплено в русском революционном движении ко времени ее создания. Своей борьбой — сначала за освобождение народа от самодержавного гнета и капиталистической эксплуатации, а затем за построение социализма и коммунизма — КПСС обогатила теорию и практику революционного движения, внесла решающий вклад в развитие мирового революционного процесса. В постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» подчеркнута необходимость «вооружать советский народ, каждое новое поколение непобедимым оружием исторической правды, глубоким пониманием законов и перспектив общественного развития, опираясь на незыблемую основу марксистско-ленинского учения». Этому и призвано способствовать издание мемуаров активных участников российского революционного движения всех поколений — от декабристов до большевиков.

Темагические и хронологические рамки серии определены на основании ленинской периодизации освободительного движения в России. В «Библиотеке...» будут представлены все три главных этапа: дворянский, разночинский и пролетарский.

Революционное движение в Петербурге — Петрограде всегда было тысячами нитей связано с общероссийской революционной борьбой, являясь ее неотъемлемой частью. В данном издании будут показаны революционные традиции нашего города, роль Петербурга — Петрограда как центра российского революционного движения на протяжении XIX — начала XX века.

Для современного читателя характерна тяга к историческим первоисточникам и мемуарной литературе. Многие мемуары революционных деятелей, издававшиеся давно и сравнительно небольшими тиражами, широким кругам читателей практически недоступны. Издание «Библиотеки революционных мемуаров» призвано в какой-то мере восполнить этот пробел.

Мемуары — своеобразный вид источников, неизбежно несущий на себе печать субъективизма, позднейшей интерпретации фактов, ошибок памяти. Вступительные статьи и комментарии к каждому тому ориентируют читателя в событиях и проблемах соответствующего периода, сообщают биографические сведения об авторах мемуаров, уточняют сообщаемые ими сведения. В подготовке «Библиотеки...» принимают участие квалифицированные специалисты, представляющие различные учреждения — Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Институт истории партии Ленинградского обкома КПСС, Ленинградское отделение Института истории СССР Академии наук СССР, Ленинградский государственный университет, ряд вузовских кафедр истории КПСС.

«Библиотека революционных мемуаров» подразделяется на две части: первая охватывает дворянский и разночинский этапы освободительного движения, вторая — пролетарский. Издание рассчитано на шесть лет. Предполагается ежегодно, начиная с 1982 года, издавать по две книги, по одной из каждой части, не в хронологической последовательности, а по мере подготовки томов.

Объем «Библиотеки...» и ее научно-популярный характер определили принцип составления сборников: мемуары в них публикуются, как правило, не полностью, а отдельными главами или разделами. Но в целом воспоминания в каждом томе подобраны и расположены таким образом, чтобы при последовательном чтении они могли дать ясное представление о важнейших событиях в Петербурге — Петрограде в соответствующий период революционного движения.

Первые два тома, выходящие в свет в 1982 году, посвящены движению декабристов и Октябрьскому вооруженному восстанию в Петрограде. Читатель этих томов получит воз-

возможность непосредственного сопоставления двух восстаний. Первое — самоотверженное, но проведенное без должной подготовки и без участия народа. Второе — подлинно народное, руководимое марксистско-ленинской партией, тщательно и умело подготовленное, проведенное решительно и наступательно. Каждому восстанию принадлежит свое место в истории. Декабристы положили начало революционному опыту в русском освободительном движении. В. И. Ленин, большевики использовали весь накопленный до них опыт революционной борьбы и блестяще осуществили конечную цель русского освободительного движения — освобождение народов России от ига эксплуататоров.

В 1983 году планируется выпуск воспоминаний деятелей петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и ленинской «Искры», а также мемуаров революционеров-разночинцев 1860-х годов. Затем выйдут воспоминания петрашевцев и мемуары революционеров 1870—1880-х годов. Несколько томов составят воспоминания о первых марксистских социал-демократических кружках в Петербурге и мемуары участников революции 1905—1907 годов, Февральской и Великой Октябрьской социалистической революций. Завершит «Библиотеку...» том, рассказывающий о становлении Советской власти в первые месяцы после победы Октября.

Начиная выпуск «Библиотеки революционных мемуаров», мы надеемся, что она найдет путь к массовому читателю и выполнит свою главную задачу — послужит пропаганде подлинных исторических знаний, умножит патристические ряды любителей отечественной истории и тем самым внесет свой вклад в дальнейшее улучшение идеологической и политико-воспитательной работы партии.

Ответственный составитель «Библиотеки
революционных мемуаров» В. Н. Гинев.

НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

В 1825 году «Россия впервые видела революционное движение против царизма» *. 14 декабря в Петербурге революционно настроенные офицеры вывели на площадь к Сенату гвардейские полки, чтобы добиться свержения самодержавия и ликвидации крепостничества.

Но на стороне царя были пушки, и он воспользовался ими, кровью восставших окрасив начало царствования. Обреченная историей старая Россия стреляла картечью в молодую поднимающуюся силу. Восстание длилось всего несколько часов. Оно началось около одиннадцати утра и было разгромлено в пятом часу вечера. Потерпело поражение и восстание Черниговского полка на юге. Декабристы не смогли добиться победы.

Но и Николай, одержав победу, продолжал опасаться вольнодумцев и распространения революционных идей. Из «Донесения следственной комиссии» было убрано все, что касалось отмены крепостного права — «права собственности, распространяющегося на людей», сокращения срока военной службы, ликвидации военных поселений, требования гласности судов... Восстание было представлено случайным событием, не имевшим исторических корней и перспектив в будущем, его участники названы «горстью извергов». Но сочинителям лживой, реакционной концепции не удалось извратить декабристское движение и опорочить его руководителей, которых Пушкин назвал умнейшими людьми своего времени. В России многие понимали истинную суть происшедших событий и их грядущее значение.

Мудро-проницательны строки пушкинского послания «В Сибирь»:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 315.

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремление.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа
И братья меч вам отдадут.

Прекрасно сознавали значение первого вооруженного выступления против самодержавия сами декабристы. Об этом свидетельствует прежде всего ответное стихотворение Александра Одоевского:

Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы,
И с нею грянем на царей, —
И радостно вздохнут народы.

Михаил Лунин, погибший в Акатуйской тюрьме, пророчески сказал: «От людей можно избавиться, от их идей — нельзя». Проживший двадцать лет — треть жизни! — в глухом каменном мешке Алексеевского равелина Г. С. Батеньков остался в убеждении, что «идея сильнее оружия».

«...Мы представляем знамя... — писал Е. П. Оболенский, вернувшись из тридцатилетней ссылки, — но молодое поколение опередило нас и должно опередить».

...Четыре орудия, картечь которых расстреляла восставших, царь подарил брату Михаилу в благодарность за помощь, оказанную 14 декабря. Они долго стояли, навек отстрелявшись, перед дворцом великого князя как символ могущества и незыблемости самодержавия. Но «гром пушек» слышали новые борцы. Александр Герцен поклялся всю жизнь бороться «с этим тронem и этими пушками». Он высоко оценил подвиг декабристов — «рыцарей... кованых из чистой стали», — доказывая преемственность революционной традиции, закономерность и неизбежность следующего этапа освободительного движения: «Пушки Исаакиевской площади разбудили целое поколение». Однако Герцен не смог проанализировать классовый смысл декабризма, переоценил зрелость идеологии декабристов, идеализировал их самих.

Глубокое и цельное определение классового характера декабристского движения дал В. И. Ленин, определивший место декабристов в истории русской революционной борьбы. В 1900 году первый номер ленинской газеты «Искра» выходит с пророческим эпиграфом — строкой из стихотворения Одоевского: «Из искры возгорится пламя». Выбором эпиграфа Ленин утвердил идею о революционном характере выступления декабристов и преемственной связи революционных поколений.

В. И. Ленин разработал научную периодизацию русского освободительного движения, исходя из социального состава

его участников. В статье «Из прошлого рабочей печати в России» он указывал, что освободительное движение в нашей стране прошло три этапа. Первый — с 1825 по 1861 год — Ленин характеризует как дворянский, второй — с 1861 по 1895 год — как разночинский, или буржуазно-демократический, третий — с 1895 года — как начало пролетарского этапа. «Самыми выдающимися деятелями дворянского периода, — подчеркивал Ленин, — были декабристы и Герцен» *. Ленинская характеристика первого периода более подробно развернута в статье «Роль сословий и классов в освободительном движении»:

«Это — эпоха от декабристов до Герцена. Крепостная Россия забита и неподвижна. Протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа. Но лучшие люди из дворян помогли *разбудить* народ» **.

В. И. Ленин видел в декабристах зачинателей революционного движения России, подчеркивая неоднократно, что они первые выступили против царизма.

Почему же «первые»? А Радищев — «рабства враг»? А восстания Степана Разина и Емельяна Пугачева, потрясшие русскую империю?

Декабристы обладали сознательной революционной идеологией, ясной целью и четкой политической программой. Они были объединены в революционную организацию единомышленников, которая и подготовила первое открытое вооруженное выступление против царизма. Эти существенные ленинские критерии сознательного революционного движения не могут быть отнесены ни к Радищеву — великому идейному предшественнику декабристов, ни, тем более, к стихийному бунту Разина и крестьянской войне Пугачева.

В. И. Ленин особо выделял не только социальный слой, к которому принадлежали декабристы, но и объективную обстановку эпохи, в которой им пришлось действовать:

«Тогда руководство политическим движением принадлежало почти исключительно офицерам, и именно дворянским офицерам; они были заражены соприкосновением с демократическими идеями Европы во время наполеоновских войн» ***.

В первой четверти XIX века в силу отсталости общественно-экономических отношений в России русская буржуазия, тесно связанная с феодально-крепостнической империей и ее полицейско-бюрократическим аппаратом, не претендовала на политическую роль. Между тем в России назрела необходимость ликвидации феодального строя. «Однако задачи буржуазного преобразования, ставшие перед Россией, — как отмечает академик М. В. Нечкина в фундаментальном труде «Движение декабристов», — отличались особой сложностью. Надо

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 93.

** Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 398.

*** Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 318.

было сломать старый феодальный строй на территории огромнейшей страны, в условиях давнего и прочно укрепившегося крепостного права и сильного централизованного самодержавного государства, при отсутствии революционной буржуазии».

Против царизма и крепостного права выступили дворянские революционеры. Они атаковали самодержавие и потерпели неудачу. Но их дело не погибло. Декабристы положили начало революционному опыту, приблизили час падения самодержавия.

XIX век в России был настоящим бурных событий прошедшего столетия. События теснились, нарастали, образуя сумму причин и предпосылок для создания Тайного общества.

С Французской революцией для королей началось грозное время. Реакционное дворянство России пыталось объяснить события в Париже «слабостью» короля и действиями кучки «злонамеренных» лиц. Но в Россию проникали иностранные газеты, книги. И передовые русские люди понимали, что «смута» во Франции — начало всемирной, длительной и упорной борьбы против феодальной монархии. Хорошо осведомленный русский посол в Англии Семен Воронцов писал брату о Французской революции: «Это не что иное, как борьба не на живот, а на смерть между имущими и теми, кто ничего не имеет. И так как первых гораздо меньше, то они в конце концов должны быть побеждены. Зараза будет повсеместной. Наша отдаленность на некоторое время нас предохранит, мы будем последние, но и мы будем жертвами этой всеобщей чумы. Вы и я ее не увидим. Но мой сын увидит...» В то же время французский посол Сегюр сообщал в Париж из северной столицы, что «хотя Бастилия не угрожала ни одному из жителей Петербурга, трудно выразить тот энтузиазм, который вызвало падение этой государственной тюрьмы и эта первая победа бурной свободы среди торговцев, мещан и некоторых молодых людей более высокого социального уровня».

Феодализм в целом, и в особенности крепостное право как его крайнее порождение, исторически изживал себя в России. Дворянские идеологи спорили о выгодах и невыгодах сохранения крепостного права для помещиков. Разложение крепостного строя и его обреченность были замечены наиболее проникательными представителями помещичьего класса, однако царь и большая часть дворян цепко держались за средневсковые порядки. Что касается будущих декабристов, то именно в крепостничестве они видели главную причину отсталости России.

Потом, когда восстание будет разгромлено, каждому из арестованных мятежников зададут один и тот же главный вопрос, ответ на который особенно интересовал императора: «Откуда заимствовали вы свободный образ мыслей?»

Разъединенные глухими стенами камер Петропавловской крепости, декабристы, не сговариваясь, ответят почти оди-

наково. А. Бестужев напишет: «...Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский впервые ощутил свою силу; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия в России». М. А. Фонвизин признается следствию: «Великие события Отечественной войны, оставя в душе глубокие впечатления, произвели во мне какое-то беспокойное желание деятельности».

Декабристы назовут себя «детьми 1812 года...».

...В тот день, когда, опьянев от радости, солдаты Наполеона кричали: «Москва, Москва!», в рядах Семеновского полка, отходившего по рязанской дороге, шел восемнадцатилетний подпрапорщик И. Д. Якушкин. Будущий декабрист многое поймет во время тяжелого марша и позже в воспоминаниях расскажет:

«Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двенадцать языцы, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении. Не по распоряжению начальства жители при приближении французов удалялись в леса и болота, оставляя свои жилища на сожжение. Не по распоряжению начальства выступило все народонаселение Москвы вместе с армией из древней столицы. По рязанской дороге, направо и налево, поле было покрыто пестрой толпой, и мне теперь еще помнятся слова шедшего около меня солдата: «Ну, слава богу, вся Россия в поход пошла!» В рядах даже между солдатами не было уже бессмысленных орудий; каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле».

Многие будущие члены тайных обществ участвовали в крупнейших битвах войны 1812 года — на поле Бородина, под Красным, при Березинской переправе. В списках награжденных золотой шпагой с надписью «За храбрость» имена Павла Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола, Владимира Раевского, Александра Муравьева.

События войны сталкивают будущих декабристов, боевая дружба располагает к откровенности, и единомышленники узнают друг друга. «Связи, сплетенные на биваках, на поле битвы, при делении одинаких трудов и опасностей бывают, особенно между молодыми людьми, откровеннее, сильнее и живее», — скажет на следствии С. П. Трубецкой.

Заграничные походы 1813—1814 годов углубили их раздумья о судьбе Родины. Русская армия прошла по странам, где не было крепостного права. Ощущение свободы заразительно, солдаты забывают о рабстве в России. Да и возможно ли оно теперь? Ждут благодетельных перемен в Отечестве, надеются.

На всем пути возвращения гвардии на Родину были установлены триумфальные арки. На одной стороне их было на-

писано: «Слава храброму русскому воинству!» На другой: «Награда в Отечестве!» В Петербурге для ознаменования великого дня на Петергофской дороге выстроили триумфальные Нарвские ворота. Шесть алебастровых коней, впряженных в колесницу Победы, символизировали шесть полков прославленной 1-й гвардейской дивизии. По обеим сторонам дороги теснился народ, с восторгом ожидая освободителей Европы. Дивизия высадилась в Ораниенбауме, где выслушала благодарственный молебен. Солдаты заметили, что во время молебна полиция была народ, пытавшийся приблизиться к войскам...

Недалеко от триумфальных ворот стояла группа офицеров, героев Бородина, Кульма, Лейпцига, и пышная карета императрицы, вокруг которой толпилась многочисленная свита. Наконец показалась дивизия, впереди нее на рыжем коне император с обнаженной шпагой в руке. Толпа сдвинулась, зашумела. Вдруг какой-то мужик, вытесненный толпой, перебежал дорогу перед самым конем Александра I. Император дал шпоры лошади, бросился за бегущим, размахивая шпагой. Он больше не играл роль благодетеля, как в Париже. Царь был у себя дома... Полиция схватила мужика и «приняла его в палки». Толпа растерянно смолкла. Лица гвардейцев помрачнели: на Родине ничего не переменилось...

И. Д. Якушкин, вспоминая о причинах зарождения Тайного общества, записал об этом событии:

«Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было во мне первое разочарование на его счет; я невольно вспомнил о кошке, обращенной в красавицу, которая, однако ж, не могла видеть мыши, не бросившись на нее».

Есть и другое интересное свидетельство, оставленное бывшим солдатом лейб-гвардии Финляндского полка Назаровым. Он вместе с гвардией тоже прошел через триумфальные ворота и видел обещание: «Награда в Отечестве!» Что же было потом?

Потом гвардейцы «отправились по казармам. Пришедши в оные, были награждены обществом по рублю серебром и по сайке; но в продолжение всей зимы было очень жестокое ученье...».

1812 год заставил передовую дворянскую молодежь задуматься, последующие события — решиться. Война свела будущих декабристов лицом к лицу с русским народом, она соединила их в общем подвиге защиты Отчизны. Должны ли оставаться рабами участники «великого дела», которые «своей кровью искупили свободу целой Европы»?

«Я роптал на бога и царя,— писал в своих показаниях следствию член Общества соединенных славян подпоручик Я. М. Андреевич.— ...Скажите, чего достойны сии воины, спасшие столицу и Отечество от врага — грабителя, который попирает святыню? А такое ли возмездие получили за свою

храбрость? Нет, увеличилось после того еще более угнетение. Я не говорил бы сего, если бы не был сын Отечества верный...»

Солдаты вернулись с полей сражений иными. Как говорил современник, «они стали больше рассуждать». Роль народного партизанского движения в разгроме Наполеона укрепила веру крестьян в их право на свободу, они ждали освобождения как законной награды. В России надеялись на большие перемены, но в царском манифесте 30 августа 1814 года о крепостных была лишь одна неопределенная строка: «Крестьяне, верный наш народ — да получит мзду свою от бога».

Крепостные крестьяне — ополченцы и партизаны — снова вернулись под иго господ. Часть армейских полков и казенных крестьян согнали в военные поселения. Этот контингент солдат не только снабжал себя, ведя сельскохозяйственные работы, но и в любой момент должен был быть готовым к подавлению народного возмущения.

Помещики стали расширять барскую запашку за счет крестьянских земель, увеличили оброчные и другие повинности. «Мы проливали кровь, а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили Родину от тирана, а нас опять тиранят господа» — так на следствии передавал крестьянские настроения Александр Бестужев.

Восстания крепостных тревожили самодержавие с давних пор. Но именно в начале XIX века крестьянские волнения стали постоянным явлением общественной жизни. Помещичьи «рабы» стремились сбросить кабальный хомут, выпрямиться, стать свободными. Противоборствуя этому стремлению со всей силой эгоистического убеждения, дворянство пыталось отстоять и сохранить существующий порядок вещей. Самая давность этого порядка софистически выставлялась главным аргументом его сохранения. Дворянские революционеры вырвались из вековых представлений своего круга. Они воспринимали крепостное право как препятствие развитию страны, как глубочайшее оскорбление национальной гордости русских. «Рабство крестьян всегда сильно на меня действовало», — признавался Павел Пестель. В блестящей лекции о русском языке и русской литературе, прочитанной в Париже в июне 1821 года, поэт В. К. Кюхельбекер говорил: «Сердце мое обливается кровью и голос изменяет мне, когда я оплакиваю это несчастье моей Родины, несчастье, которого никогда не заставит забыть никакая победа, никакое завоевание. Нет, не может провидение одарить великий народ столькими талантами, чтобы затем он коснел и погибал в рабстве...». Кюхельбекер назвал «низкими и презренными» тех, кто «из гнусного своекорыстия» уверяет, будто «русский человек еще не вполне созрел для освобождения его от ига».

Бунтарские зерна были посеяны и в армии, тысячами нитей связанной с деревней. Они взошли восстанием в Семе-

новском полку, шефом которого был Александр I. Чудовищная жестокость нового полкового начальника Шварца переполнила чашу терпения и стала непосредственной причиной бунта. Но жестокие полковники тиранили солдат и прежде. Палочная система не изменилась, изменились сами солдаты. Война способствовала пробуждению их гражданского сознания.

Офицеры-декабристы ежедневно наблюдали жестокость и несправедливость по отношению к солдатам. Многие из них пытались отменить наказания в своих полках, выступали против фрунтмании, системы рекрутских наборов, военных поселений.

Массовые движения крестьян, волнения в армии, усиленные реакции во всех областях общественной жизни — все это неминуемо оказывало воздействие на развитие декабристской идеологии.

Через десятки лет после восстания, вспоминая об организации Тайного общества, Е. П. Оболенский будет с прежним декабристским жаром отстаивать необходимость и закономерность его появления и развития:

«Что оставалось делать людям,— писал он в воспоминаниях о Якушкине,— более или менее сознавшим зло, которое проявлялось вокруг них самих и которое росло беспрепятственно с каждым днем? Они должны были теснее соединиться между собою и, в сомкнутом своем круге, развивая по возможности семена добра, стать, наконец, оплотом в защиту истины и правды».

Надо было спасти Россию, переменив правление, и путем демократических преобразований добиться ее благоденствия и процветания.

Эти устремления определили и названия ранних декабристских организаций: Союз спасения и Союз благоденствия. Первый Союз возник в 1816 году в Петербурге как небольшая, строго конспиративная организация. Инициаторы — передовые офицеры, участники Отечественной войны 1812 года: Александр Муравьев, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Иван Якушкин. В том же году были приняты в Общество Павел Пестель, Михаил Лунин и Федор Глинка. Осенью 1817 года в нем появляются Евгений Оболенский и Иван Пущин. Целью Союза спасения, или Общества истинных и верных сынов Отечества, как он стал называться с принятием устава, было уничтожение самодержавия, введение конституции и ликвидация крепостного права в России. Многие декабристы впоследствии будут вспоминать о том, какой притягательной силой обладало это революционное Общество, каким прекрасным, благородным содержанием наполнило оно жизнь каждого. Высокая цель «резко и глубоко проникла душу» девятнадцатилетнего Пущина. «Трудно было устоять против обаяний Союза» Оболенскому.

Пушкин не был членом Тайного общества, но как ясно и сильно раскрывал он в своих стихах причины, которые привели его друзей к революционному заговору:

Увы! Куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы...

Вольнолюбивые стихи Пушкина «как нельзя лучше» действовали для «благой цели», скажет потом Пушкин. «Вольность», «Деревня», «Нозль» ходили по рукам. Декабрист Д. И. Завалишин полагал, что «самое достоинство стиха... содействовало распространению кощунственных и революционных идей». Декабристы были знакомы и с пламенным трактатом Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».

Члены Тайного общества серьезно и целенаправленно занимались самообразованием. Многие из них слушали лекции прогрессивных профессоров Петербургского и Московского университетов — политическую экономию, общую историю. Чтение исторических книг сделалось для них потребностью, в этой науке они видели «неисчерпаемый источник поучительных примеров». Важную роль в образовании декабристов сыграли произведения передовых западноевропейских мыслителей, труды французских просветителей, философов-материалистов, представителей классической политэкономии.

Самодержавная, крепостническая Россия с ее прогнившим государственным аппаратом, невежеством верхов и безграмотностью низов являла разительный контраст с теми требованиями к государству и управлению, которые выдвигали просветители. Но те, кто желал спасти Россию, не считали мятежную науку Западной Европы готовым политическим рецептом для своего Отечества. Они искали и вырабатывали самостоятельные и оригинальные решения, пригодные для русской действительности. Собрания членов Тайного общества не были спокойными заседаниями. В раскаленной атмосфере, в борьбе мнений решались вопросы, которые в России ставились впервые ими же. Необходимость коренных преобразований была ясна всем. Но в каких конкретных социальных и политических реформах нуждалась Россия? На какую силу в будущей борьбе должно было опереться Тайное общество? Кого привлекать? Вести ли пропаганду среди солдат? Какую стратегию и тактику избрать? Горячие споры велись о структуре самой тайной организации, ее уставе. «Тайное наше общество,— заявил на следствии Пестель,— было революционным с самого начала своего существования и во все свое продолжение не переставало быть таким. Перемены, в нем происходящие, касались собственно устройства и положительного изъяснения его цели, которая всегда пребывала революционная».

Союз спасения стал ядром более многочисленной организации — Союза благоденствия, образованного в Москве в 1818 году. Программу нового Общества решено было составить в двух частях. Первая — по цвету обложки ее называли «Зеленой книгой» — определяла сферы общественной деятельности, которые предстояло избрать каждому члену Тайного общества. Принимаемых в Общество из конспиративных соображений знакомили сперва только с первой частью, которая не ставила открыто требований отмены крепостного права и насильственной ликвидации абсолютизма. Эта сокровенная цель была сформулирована во второй части программы.

В начале 1820-х годов вспыхнули революции в Италии, Греции, Португалии. Поднялась на борьбу за независимость Латинская Америка. Это были годы, когда, по выражению современника, «короли снова находились под ужасной звездой». 1 января 1820 года восстали Астурийский и Испанский батальоны на юго-западе Испании. Повстанцы, руководимые офицерами Рафаэлем Риго и Антонио Квиругой, вышли к Атлантическому побережью и заняли остров Леон. На нем, окруженные правительственными войсками, они держались больше двух месяцев. Упорная борьба, героизм повстанческих отрядов послужили сигналом для других. По всей Испании развернулось движение против неограниченного деспотического правления, за восстановление конституции 1812 года.

В России об этих событиях знали не только из газет: некоторые декабристы-моряки во время плаваний побывали у берегов революционной Испании и борющихся за независимость колоний Латинской Америки. Имя Риго, вождя испанской революции, стало для декабристов нарицательным именем борца за свободу. Кажущаяся удачливость военных переворотов подсказывала возможность использования тактики военной революции в будущей борьбе с самодержавием.

Национально-освободительное и революционное движение в Западной и Южной Европе приковывало внимание членов тайных обществ. Декабрист М. Ф. Орлов впоследствии писал, что «гишпанские происшествия, неаполитанская революция занимали большое место во всех разговорах». «Дух преобразований заставляет, так сказать, везде умы клекотать», — скажет на следствии Пестель, объясняя причину своих республиканских воззрений. Между тем в Союзе благоденствия усиливалось расслоение членов. Истинная революционность каждого проявлялась в ответе на вопросы: «Что необходимо России? Только улучшение положения крепостных или полная отмена крепостного права? Конституционная монархия или республика?»

Стоявшие за республику логически полагали в процессе «междоусобной войны» необходимость царевбийства. Эта тема вызывала самые жаркие и острые споры. Решительный Якушкин вызвался посягнуть на жизнь императора и говорил, что никому не уступит этой чести. Подпоручик Федор

Шаховской предлагал себя в царевубийцы, так яростно настаивая на этом, что был прозван «тигром».

В январе 1820 года в Петербурге в большой квартире Федора Глинка на Театральной площади, недалеко от Понизуева моста, состоялось совещание Коренной думы. Доклад на тему, какое правление лучше — конституционно-монархическое или республиканское, был сделан Пестелем. После обсуждения все собравшиеся высказались за республику. В истории русского революционного движения Союз благоденствия стал первой организацией, которая приняла решение бороться за республиканскую форму правления в России. Но когда на следующем совещании речь зашла о конкретных проблемах, о «способе действия», бурные разногласия вызвал вопрос о царевубийстве. Спор принял такой характер, что собрание закончилось резкой перебранкой и «личными колкостями» между Никитой Муравьевым и Ильей Долгоруковым («осторожным Ильей», как назвал его Пушкин в десятой главе «Евгения Онегина»).

В 1820 году в Тайном обществе активно обсуждаются темы республики, царевубийства, временного революционного правительства. Встал вопрос и о «действии посредством войск». В связи с этим обостряется внутренняя борьба. Новые планы и решения вызвали недовольство умеренно настроенных членов. Некоторые из них выходят из Общества.

Совместная деятельность разномыслящих становилась невозможной. Следовало по-новому организовать Тайное общество и разработать четкую программу будущего устройства России.

В 1821 году на московском съезде Союза благоденствия было объявлено о прекращении деятельности Общества. Избавившись таким образом от случайных и ненадежных членов, революционно настроенная группа немедленно занялась формированием новой, строго конспиративной организации.

В том же 1821 году на юге, в Тульчине, образовалось Южное общество, следом за ним в Петербурге возникло Северное общество. Пестель на юге и Никита Муравьев в Петербурге, работая над конституционными проектами будущей революционной России, создают два программных документа.

Руководитель Южного общества П. И. Пестель назвал свой проект «Русской правдой» — в память древнего законодательного свода Киевской Руси, желая подчеркнуть связь будущей революции с историческим прошлым русского народа. «Русская правда» объявляла уничтожение самодержавия, крепостного права и провозглашала республику. Противник тирании «зловластия», Пестель утверждал необходимость и закономерность революционной власти народа: «Народ российский не есть принадлежность какого-либо лица или семейства. Напротив того, правительство есть принадлежность народа, и оно учреждено для блага народного, а не народ существует для блага правительства».

Таким образом, «Русская правда» — первая республиканская конституция в истории русского освободительного движения. В. И. Ленин неоднократно подчеркивал приверженность декабристов республиканской традиции.

Высшим законодательным органом по «Русской правде» являлось Народное вече, составленное из народных представителей. Высшим исполнительным органом становилась Государственная дума. Избирательное право получали мужчины по достижении двадцатилетнего возраста. В России провозглашалась свобода слова, печати, вероисповедания. Сословия и социальные привилегии уничтожались, и утверждалось равенство всех граждан перед законом.

Пестель считал необходимым полное освобождение крестьян с землей, без всякого выкупа. В своем аграрном проекте он объединял два противоречивых принципа: принцип общественной собственности и принцип буржуазной частной собственности. С одной стороны, утверждал, что «земля есть собственность всего рода человеческого», с другой — признавал, что «труды и работы суть источники собственности». Значит, тот, кто удобрил и обработал землю, получает право на владение ею. Поэтому по «Русской правде» предполагалось разделить всю обрабатываемую землю на две части: одна, не подлежащая купле и продаже, станет общественной собственностью, другая — частной собственностью с правом ее купли и продажи. Общественный фонд должен был состояться из части казенных и части помещичьих земель.

Аграрный проект Пестеля был прогрессивным, хотя и не ликвидировал полностью дворянского землевладения. Он подрывал его основы и способствовал буржуазному развитию страны.

«Русская правда» — самый яркий и оригинальный документ первого этапа освободительного движения. В случае победы революционных сил она способствовала бы огромным политическим и экономическим сдвигам, прогрессивному развитию России.

Конституция Никиты Муравьева была создана им на основе переработки западноевропейского и американского политического опыта в применении к русской действительности.

В Северном обществе этот проект не был, подобно «Русской правде», принят в качестве официальной программы. В Конституции Муравьева сильнее отразилась классовая, дворянская ограниченность автора, который представлял себе будущую Россию как конституционную монархию, созданную по федеративному принципу. Император оставался лишь «верховным чиновником» правительства, имеющим исполнительную власть, но реальные права его были достаточно велики.

В проекте Муравьева также провозглашались буржуазные лозунги: свобода слова, печати, вероисповедания, равенство всех граждан перед законом — и объявлялось об

уничтожении крепостного права. Но землю автор предполагал в основном оставить в собственности помещиков. Крестьяне получали лишь усадебный участок и по две десятины на двор в порядке общинного владения.

Конституция Муравьева не давала избирательных прав тем, кто не имел движимого или недвижимого имущества на 500 рублей. Лицам, выбираемым на общественные должности, следовало иметь имущества на еще большую сумму.

И все же, несмотря на умеренность позиций, Конституция Муравьева была для своего времени прогрессивным документом. Ее введение и осуществление могло расшатать и уничтожить феодально-крепостнические порядки.

В 1823 году новые события привели к важным внутренним переменам в Северном обществе.

С чего все началось? Может быть, с происшествия, которое поразило Петербург?

Потомок старинного боярского рода И. И. Пущин, произведенный в поручики конной артиллерии — привилегированной части гвардии, внезапно оставил службу и в июне 1823 года поступил «сверхштатным членом» в Петербургскую палату уголовного суда. В свете судачили о том, что великий князь Михаил Павлович на разводе сделал замечание молодому Пущину, которое тот не пожелал перенести. Но только члены Тайного общества знали настоящую причину. По словам Оболенского, Пущин «променял мундир конногвардейской артиллерии на скромную службу, надеясь на этом поприще оказать существенную пользу... всем слабым и беспомощным, всегда и везде составляющим большинство, которого нужды и страдания едва слышны меньшинству богатых и сильных». Оболенский подчеркнул и вторую причину действий Пущина — как члена тайной организации. Пущин желал «своим примером побудить и других принять на себя обязанности, от которых дворянство устранилось, предпочитая блестящие эполеты...».

Там, в Палате уголовного суда, Пущин познакомился с молодым заседателем, который тоже недавно оставил армейскую службу в провинции, — Кондратием Федоровичем Рылеевым. Оказавшись в Петербурге, Рылеев в любом случае стал бы членом Северного общества. Романтический, неосторожный, поэт открыто искал единомышленников. Есть малоизвестные воспоминания о Рылееве его сослуживца по армии — Косовского, человека ограниченного, недоброжелательного, никак не ожидавшего, что Рылеев «выйдет... человеком замечательным и потребует от нас передать потомству малейшие подробности жизни его!».

Когда их читаешь, горько представлять, как трепетала «теплая душа» Рылеева, безответно стучась в чужие, черствые сердца.

«...Часто он говаривал нам, — пишет Косовский: — «Господа, вы или не в состоянии или не хотите понять, куда стре-

мятся мои помышления! Умоляю вас, поймите Рылеева! Отечество ожидает от вас общих усилий для блага страны!.. Вы видите, сколько у нас зла на каждом шагу; так будем же стараться уничтожать и переменить на лучшее!» Слушая эти речи... мы посмеялись от души,—вспоминал этот армейский служака,—и пожалели, что он не оставляет своих убеждений, которые со временем могли расстроить его умственные понятия».

В Петербурге Рылсева заметили быстро. Члены Тайного общества запомнили поэта после его смелого выступления.

В один из осенних дней 1820 года первые читатели открыли 10-й номер скромного петербургского журнала «Невский зритель». Их внимание привлекло необыкновенное стихотворение. Журнал был молниеносно раскуплен. К вечеру строки стихов и фамилия автора были у всех на устах.

Надменный временщик и подлый, и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырствами злодей.

Тиранин, вострепещи. Родиться может он.
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон.
О как на лире я потщусь того прославить,
Отечество мое кто от тебя избавит.

Стихотворение называлось «К временщику», в скобках стояло пояснение: «Подражание Персиевой сатире „К Рубеллию“». Но у римского поэта Персия не было такой сатиры... В портрете петербуржцы без труда узнали «страшилище России» графа Аракчеева, с именем которого связывали усиление реакции в стране. Капитан Аракчеев возвысился еще при Павле I, обратив на себя внимание тем, что прескрасно стрелял из мортиры. Далее возвышение «страшилища» шло молниеносно: Павел пожаловал ему чин генерал-майора и необъяснимое «право находиться постоянно при своем обеденном столе». Эту привилегию временщик сумел сохранить и при следующем императоре, став всесильным царским фаворитом.

Автор стихотворения не скрылся за анонимом, поставил полную подпись: К. Ф. Рылеев. Это был мужественный вызов. Жители северной столицы оцепенели от ужаса при неслыханных звуках правды...

«Все думали, что кары грянут, истребят и дерзновенного поэта, и тех, которые внимали ему,—писал Николай Бестужев,—но изображение было слишком верно, очень близко, чтобы обиженному вельможе узнать себя в сатире. Он постыдился признаться явно, туча пронеслась мимо...»

В начале 1820-х годов К. Ф. Рылеев опубликовал свои «Думы», и члены Общества узнали в поэте своего единомышленника — «верного сына Отечества». Эта формула стала как

бы заветным паролем декабристов. В «Думах» Рылеев так же мужествен; сквозь исторический сюжет виден истинный помысел автора — обличение самодержавия, призыв к борьбе, самоотречение. Для поэта «тот Отчизны верный сын»,

Кто с сильными в борьбе
За край родной иль за свободу,
Забывши вовсе о себе,
Готов всем жертвовать народу...

Оболенский вспоминал, что «свободолюбивое направление его мыслей обратило на него внимание членов Тайного общества». Иван Пущин близко сошелся с Кондратием Рылеевым и принял его в Общество. Александр Бестужев говорил, что с вступлением Рылеева в Тайное общество была «воспламенена тлевшая искра». Северная организация обрела идеологического вождя. Рылеев был «поражен высокой нравственной идеей Общества» и «с первого шага ринулся на открытое ему попрание».

Н. Муравьев постепенно лишается бывшего авторитета. Его бездеятельность, призывы к осторожности вызывают недовольство. Большинство членов Общества требуют дела, конкретной подготовки к восстанию, а не медленного воздействия на умы по программе Н. Муравьева. Е. П. Оболенский жаловался М. И. Муравьеву-Апостолу на то, что Никита «медлит дело». Неохотно занимался делами Общества и Трубецкой. В конце 1823 года наиболее активные члены нашли необходимым, по словам Оболенского, «дать правлению Общества сильнейшее действие и потому решили дабы вместо одного правителя выбрать трех». К бывшему правителю Н. Муравьеву «причислили» Трубецкого и Оболенского. После отъезда Трубецкого в 1824 году в Киев его место в Думе (верховном органе Северного общества) занял Кондратий Рылеев. Он привлек в Общество братьев А. и Н. Бестужевых, П. Г. Каховского, А. И. Якубовича. Вскоре уехавшего Н. Муравьева заменил Александр Бестужев. Итак, к осени 1825 года состав Думы полностью обновился. Во главе северной организации встали убежденные сторонники республики: Рылеев, Оболенский, А. Бестужев. Наступила пора энергичных действий и внутренних преобразований. Северяне с чрезвычайным рвением ведут прием новых членов. В Общество вступает значительное число офицеров гренадерского, Измайловского, Финляндского, кавалергардского полков...

Южное и Северное общества стремятся к объединению. В течение нескольких лет велись переговоры, разногласия преодолевались нелегко. Решение об объединении было принято еще в 1824 году, но исполнение его по настоянию Н. Муравьева было отложено до принятия единой программы. К этому времени определилась общность тактических принципов обоих обществ. Это прежде всего — тактика воед-

ной революции, вооруженного восстания, совершаемого армией. Дворянские революционеры не понимали значения народных масс в революции и даже опасались участия народа.

Военная революция, однако, не должна была иметь ничего общего с военными переворотами, где оружие солдат помогало честолюбцам захватить верховную власть. Теперь армия, руководимая Тайным обществом, должна была добиться коренных социально-политических изменений в стране. Но для того чтобы в решительный момент армия выполнила свою задачу, следовало заранее подготовить солдат и офицеров. Декабристы намеревались создать благоприятное для революции общественное мнение во всех сословиях: среди дворянства, купечества, духовенства, мещан, вольных людей. И конечно, прежде всего — в армии.

Передовая офицерская молодежь всюду смело выступала («гремела» — по выражению И. Д. Якушкина) против крепостного права, военных поселений, палочной дисциплины, жестоких наказаний в армии. Из документов и мемуаров известен ряд случаев, когда члены Общества защищали городскую бедноту от судебных притеснений, способствовали освобождению из крепостного состояния талантливых людей. В год «повсеместного неурожая» в Смоленской губернии Тайным обществом была организована широкая общественная помощь голодающим, собраны деньги и закуплен для раздачи им хлеб. Общественная инициатива вызвала сильное недовольство правительства. Император Александр I вспомнил об этом, когда позже узнал о существовании Тайного общества. Он сказал генерал-адъютанту П. М. Волконскому: «...эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении; к тому же они имеют огромные средства...»

Агитацию в народе и среди солдат Рылеев предложил начать путем распространения свободолюбивых и тираноборческих песен, написанных на народные мотивы. Он сочинял их сам и вместе с А. Бестужевым.

Органом передовых литературных сил, втянутых в круг идеологического влияния Северного общества, стал альманах «Полярная звезда», издаваемый Рылеевым и А. Бестужевым.

Одной из акций воспитания общественного мнения была борьба за выкуп А. В. Никитенко, крепостного графа Шереметева. Юноша-самоучка мечтал поступить в университет. Но крепостным дорога туда была заказана. Хозяин, корнет кавалергардского полка, отказывался дать ему вольную, он хотел иметь образованного секретаря. Никитенко просил о помощи влиятельных лиц. Но хлопоты окончились безрезультатно. Тогда он обратился к Рылееву и «испытал на себе чарующие действия его гуманности и доброты». Рылеев немедленно взялся за дело, включив в заговор против богача Шереметева многих членов Общества. Поручик Е. П. Оболенский и корнет Александр Муравьев действовали особенно энергично. Вскоре весь Петербург знал о Никитенко. Несчаст-

ная судьба молодого человека с большими дарованиями вызвала общее сострадание. Самодурство вельможи, владельца тысяч крепостных, было настолько очевидно, что разговоры о Никитенко неминуемо перерастали в осуждение крепостного права, которое губит богатый талантами русский народ и самое Россию. Вот этот резонанс и был в данном случае главной целью декабристов. От единичного факта они смело переходили к обобщениям, заставляя окружающих задуматься о необходимости и неизбежности коренных изменений в Отечестве. Широкая огласка заставила Шереметева уступить. Вольный Никитенко по предложению Оболенского поселился в его квартире и стал готовиться к поступлению в университет.

В 1825 году произошло еще одно событие, которое надолго запомнилось петербуржцам: дуэль подпоручика Семеновского полка Константина Чернова — члена Северного общества — с флигель-адъютантом Владимиром Новосильцовым. Новосильцов, богатый наследник, потомок графов Орловых, принадлежал к кругу высшей аристократии. Чернов был дворянин из бедных и лишь по случаю попал в гвардию. Новосильцов познакомился с его сестрой, девушкой замечательной красоты, просил ее руки и получил согласие ее родителей. Однако мать жениха, графиня Орлова, не дала разрешения на брак сына с простой, незнатной девушкой и приказала ему немедленно разорвать все отношения с невестой и ее семейством. Он так и сделал. В те времена подобная ситуация считалась для девушки бесчестьем. Константин Чернов потребовал объяснений. Новосильцов лукавил — обещал жениться и под разными предлогами оттягивал свадьбу. Главнокомандующий, граф Сакен, чьим адъютантом был Новосильцов, угрозами заставил отца и мать Черновых «добровольно» отказать жениху. Тогда Константин поклялся отомстить за сестру. Рылеев вызвался быть его секундантом.

Условия дуэли были жестоки: «...стреляться на барьер, дистанция восемь шагов с расходом по пяти». Кратчайшая дистанция. Перед поединком Чернов написал записку: «Пусть паду я, но пусть падет и он в пример жалким гордецам, и чтобы золото и знатный род не насмехались над невинностью и благородством души».

Дуэль состоялась 10 сентября на Выборгской стороне, в Лесном. Кроме участников собралось еще несколько десятков человек. Это были офицеры-семеновцы и члены Тайного общества, желавшие своим присутствием выразить участие Чернову.

Противники смертельно ранили друг друга и спустя несколько дней почти одновременно скончались. Графиня Орлова увезла тело своего единственного сына в Москву в фамильный склеп. Катафалк Новосильцова провожал «похоронный поезд» из нескольких десятков пышных карет с гер-

бами и лакеями на запятках. За приспущенными занавесками ехала вся петербургская аристократия...

Члены Тайного общества решили идти пешком за гробом своего товарища. Были разосланы специальные приглашения лицам прогрессивных убеждений и тем, кто был оппозиционно настроен к правительству. Руководство Общества хотело воочию убедиться: каково количество его потенциальных сторонников в Петербурге.

27 сентября от казарм Семеновского полка к Смоленскому кладбищу двинулась огромная похоронная процессия. Длинная вереница растянулась по улицам. «Страшная толпа», «что-то грандиозное», «небывалое», «великолепные похороны» — так говорили потом о проводах Чернова. Через Фонтанку по Гороховой, Адмиралтейскому, мимо Сената и Синода, по Исаакиевскому мосту на Васильевский остров к Голодаю, прорезав насквозь весь город, безмолвно шли тысячи людей. Какой символический путь был проделан товарищами погибшего Чернова! Их молчание было как предгрозовое затишье. Жители столицы поражались необыкновенному зрелищу. Прохожие, всадники, коляски, кареты останавливались. Застывали в недоумении жандармы... Шли офицеры Семеновского полка, штатские во фраках и сюртуках, друзья, знакомые Чернова и люди, никогда не видевшие его.

«Все, что мыслило, чувствовало, соединилось тут, безмолвно сочувствуя тому, кто собою выразил общую идею, сознаваемую каждым — идею о защите слабого против сильного, скромного против гордого», — писал в воспоминаниях Оболенский. Рядом с Рылеевым и Оболенским в траурной толпе шли братья Бестужевы, Кюхельбекер, Одоевский, Якубович, Батеньков, Штейнгель и другие — те, кто в скором времени примут участие в организации восстания.

После прощания семеновских офицеров с их однополчанином у свежей могилы встал Вильгельм Кюхельбекер. Глядя на людей и не видя их, он начал громко читать стихи. Голос его дрожал от негодования и слез:

Клянемся честью и Черновым:
Вражда и брань временщикам,
Царей трепещущим рабам,
Тиранам, нас угнесть готовым.
Нет, не Отечества сыны
Питомцы пришлецов презренных:
Мы чужды их семей надменных,
Они от нас отчуждены...
Там говорят не русским словом,
Святую ненавидят Русь:
Я ненавижу их, клянусь,
Клянусь и честью и Черновым!

Стихи воспевали Чернова «как священный образец» чести, как верного сына Отечества. И они давали знать — уже существует патриотическая сила, способная противостоять

тиранам, она объединена и готова действовать: «МЫ клянемся...», «МЫ чужды их...».

«Вражда и брань временщикам... тиранам!..» — потрясая рукой, сильно выкрикнул Кюхельбекер. Старинное русское слово «брань» означает «бой». Это был открытый призыв: бой тиранам!

Оглядывая возбужденные лица людей, Штейнгель сказал: — Поразительно. Это какой-то новый, доселе небывалый дух общей идейности.

— Напрасно полагали, что у нас нет общего мнения. Вот оно! — радостно воскликнул Александр Бестужев.

Высокая поэзия подняла трогательную романтическую историю на уровень политического обобщения, революционной символики. Грандиозность случившегося настолько захлестнула самый повод дуэли, что даже имя обманутой девушки было забыто. Оно не встречается в мемуарах и не упоминается в современных исследованиях. Один из участников знаменитых похорон, вспоминая бывшее, писал, будто «графиня Орлова не согласилась на брак сына еще и потому, что у Черновой имя было нехорошо — Нимфодора, Акулина или что-то вроде того...». А имя было как раз хорошо — ее звали Екатерина. Да что девушка! Не сохранилось убедительного свидетельства о том, кто был автор стихов, произнесенных над могилой: Рылеев или Кюхельбекер? До сих пор одни ученые аргументированно доказывают авторство первого, другие — столь же обстоятельно — второго. А не было ли оно совместным произведением обоих поэтов, созданным на подъеме духа, вдруг, среди разговора о дуэли и только что погибшем члене Тайного общества?

Впрочем, авторство, видно, мало волновало современников. Когда бьют в набат, не думают о мастере, отлившем колокол. Стихи воспринимались как манифест, программа прогрессивных сил России, поднявшихся против самовластья.

Похороны Чернова были первой политической манифестацией в России. Тайное общество показало себя способным в короткий срок организовать и направить в нужное русло общественное мнение.

Между Северным и Южным обществами через Трубецкого к ноябрю 1825 года было достигнуто соглашение об объединении и совместных действиях. Оба общества определили срок восстания — май 1826 года (время летнего смотра войск 3-го и 4-го корпусов). Сигнал к восстанию — убийство Александра I. Центром переворота намечался Петербург, как средоточие всех властей и гвардейских полков.

Осенью 1825 года Петр Каховский спросил Рылеева: «Когда еще вы начнете действовать?» И Рылеев поклялся, «взглянув на образ», что непременно в 1826 году: что «все почти готово, членов достаточно, остается лишь приготовить солдат».

«Шиллер заговора» невольно выдавал желаемое за действ-

вительное... Но время еще есть. Северяне спешно «умножают» членов. Офицеры должны подготовить солдат, взбодражить армию. Как короток срок подготовки восстания — гот, что определен членами Общества. И как ничтожен действительный срок, определенный судьбой, обстоятельствами...

...19 ноября 1825 года в Таганроге умер Александр I. Известие о кончине императора пришло во время торжественного молебствия о его здравии. В тот же день, 27 ноября, в Петербурге присягнули великому князю Константину, который был наместником в Польше. Однако ходили упорные слухи о его отречении от престола. Обстановка междоусобицы казалась членам Северного общества благоприятной. Они решились на вооруженное выступление, хотя тщательная его подготовка сорвалась. Начались каждодневные совещания в квартире Рылсева на Мойке. Военное восстание требовало военного руководителя — диктатора, облеченного неограниченной властью. Им избрали полковника С. П. Трубецкого, героя Отечественной войны. К Трубецкому относились как к авторитетной фигуре, полагаясь на его влияние в войсках. Только после разгрома восстания декабристы поймут, что храбрость солдата и мужество заговорщика — не одно и то же... Основную организационную работу взяли на себя Рылеев и Оболенский, назначенный начальником штаба восстания.

Решившись выступить, декабристы разрабатывают план восстания. Диктатор Трубецкой должен был объединить под своим командованием всю собранную на Сенатской площади «военную силу» и установить ее в боевом порядке. Под надежной защитой войск входили в Сенат Рылеев и Пущин и представляли ему манифест, объявлявший низложение самодержавного правительства, уничтожение крепостного права, созыв Учредительного собрания и назначение временного правительства. Главные звенья плана, необходимые для победы, — захват Петропавловской крепости, Арсенала, Зимнего дворца, арест царской семьи и «истребление» императора. В случае неудачи в Петербурге предполагали «ретироваться на Пулкову гору», взбунтовать новгородские военные поселения, сделав их точкой опоры для продолжения восстания.

Надо было добиться, чтобы войска не присягнули новому императору. Боевая группа восстания — Рылеев, Оболенский, братья Бестужевы, Пущин, Каховский, Одоевский — до самого последнего часа занималась агитацией в полках. Эта работа была более серьезная и длительная, чем признали на следствии декабристы, желая облегчить судьбу тех, кто принял участие в восстании. Солдатам говорили о предстоящей отмене крепостного права, улучшении их положения, сокращении сроков службы.

В доме на Мойке, где жил Рылеев, и в Аптекарском переулке, в квартире Оболенского, проходят совещания с офицерами тех полков, на которые особенно надеялись.

Кто же выйдет на площадь пред окна Сената? Будет ли эта армия достаточно внушительной и грозной? Многие подозревали, что шансы на победу ничтожны: «Я уверен, что погибнем,—говорил накануне Рылеев,—но пример останется. Принесем собою жертву для будущей свободы Отечества!» И все-таки в успех верили. «Каждый надеялся на случай благоприятный, на неожиданную помощь, на то, что называется счастливою звездою...» — вспоминал об этих днях Оболенский.

Рано утром 12 декабря Николай I получил рапорт от начальника штаба барона Дибича о доносах Шервуда и Майбороды. Вечером, когда Николай I, решив вступить на престол без официального отречения брата, наспех набрасывал проект манифеста о присяге на 14 декабря, ему подали письмо. Он быстро проглядел начало, дальше шло главное:

«В народе и войске распространился слух, что Константин Павлович отказывается от престола... Для Вашей собственной славы погодите царствовать — против Вас должно таиться возмущение, которое вспыхнет при новой присяге...» Донос, составленный поручиком Ростовцевым, был опаснее всех прочих и сразу перевесил чашу весов на сторону Николая I. Благодаря ему претендент на престол узнал, что срок восстания назначен на день присяги. Следственно, на 14-е...

13 декабря, оправдывая свой поступок «благородными побуждениями», Ростовцев известил о нем Рылеева и Оболенского. Заговорщики потеряли момент неожиданности, на который надеялись. Он перешел в руки Николая I. Но отступить было поздно: «Ножны изломаны, и сабель спрятать нельзя».

Декабристы сомневались в том, что Ростовцев, как он сам говорил, не назвал фамилий. Опасаясь арестов до восстания, Николай Бестужев сказал Рылееву:

«Лучше быть взятыми на площади, нежели в постели. Пусть лучше узнают, за что мы погибнем, нежели будут удивляться, когда мы тайком исчезнем из общества, и никто не будет знать, где мы и за что пропали».

13 декабря от С. Г. Краснокутского, обер-прокурора Сената (члена Южного общества), декабристы узнали, что присяга Николаю I назначена на 14-е. На квартире Рылеева уточняются последние детали плана восстания. А в Зимнем дворце будущий царь уже начал его разрушать. Он назначил присягу Сената на невиданно раннее время — 7 часов утра.

Квартира Рылеева, превратившаяся в военный штаб, географически находилась в центре готовящихся событий. Рядом — Сенатская площадь. Вокруг, на расстоянии нескольких минут ходьбы, жили основные организаторы и участники восстания. Пущин — на Мойке, в доме своего отца. Одоевский и Кюхельбекер — в особняке Булатова на Исаакиевской площади, Каховский — на Екатерининском канале, в

скромном номере гостиницы «Неаполь». Несколько далее, в казармах лейб-гвардии Павловского полка, стоял на квартире Оболенский, на Васильевском острове снимала дом семья Бестужевых. На Английской набережной, в доме графа Лавалля, жил С. П. Трубецкой.

В ночь на 14 декабря никто из организаторов восстания не спал. Шумно проходило последнее совещание в квартире Рылеева. Полагали, что успех обеспечен, если на площадь выйдет восемь тысяч солдат. Но удастся ли поднять все полки, на которые особенно рассчитывали? Рылеев отдавал последние распоряжения. Многолюдное собрание находилось в «лихорадочно-высоконастроенном состоянии». Юный Одолевский восклицал: «Мы умрем! Ах, как славно мы умрем!» Рылеев искал план Зимнего дворца, на что А. Бестужев отвечал, усмехнувшись: «Царская фамилия не иголка, не спрячется, когда дело дойдет до ареста...» Г. Батеньков предлагал «в барабан приударить, чтобы собрать народ». И только самый старый член Общества В. И. Штейнгель, тут же дописывавший манифест, оторвался от бумаг и тихо спросил: «Господа, неужели вы думаете действовать?»

«Действовать, непременно действовать! — восклицал Рылеев. — Успех революции заключается в одном слове: держай...»

«Как прекрасен был в этот вечер Рылеев, — вспоминал М. Бестужев, — он был нехорош собою, говорил просто, но не гладко; но когда он попадал на свою любимую тему — на любовь к Родине, физиономия его оживлялась, черные, как смоль, глаза озарялись неземным светом, речь текла плавно, как огненная лава...»

После совещания все его участники разъехались по полкам. Перед рассветом начались новые трагические осложнения. Ранним утром в дом на Мойке пришел Каховский и сообщил Александру Бестужеву, что отказывается «покуситься на жизнь» Николая I. Он изменил слову, его поступок нарушил продуманный план. Узнав об этом, облегченно вздохнул Трубецкой. «Я был рад», — скажет он после следственному комитету. Следом за Каховским отказался занять с матросами-гвардейцами Зимний дворец Якубович, и план снова нарушился. Декабристы еще не знали, что на юге был арестован Пестель. Это помешало выступлению Южного общества в задуманное время и в задуманном масштабе.

Между тем квартира Рылеева теряла функцию штаба. В надвигавшихся событиях главной фигурой становился военный руководитель. Диктатор обретал реальные права.

Около 7 часов утра Трубецкой ненадолго заехал к Рылееву, чтобы сообщить о скорой присяге Сената. Оба решили заменить Якубовича Николаем Бестужевым. С известием о замене в Гвардейский экипаж отправили младшего Бестужева — Петра, двадцатидвухлетнего мичмана.

Оболенский еще затемно успел побывать у Рылеева, чтобы условиться о дальнейших действиях. В 7 часов утра поручик Оболенский как адъютант начальника гвардейской пехоты генерала Бистрома получает приказание объехать полки. Внешне поручик действует по «обязанности службы», но выбирает путь в казармы тех полков, на которые надеялось Северное общество. Должность адъютанта помогает ему беспрепятственно проникать в казармы, узнавать обстановку, настроение офицеров и солдат. Николай спешил и с присягой гвардии. Еще ночью он приказал генералам не выпускать солдат из казарм и «учинять присягу гвардейским полкам» не одновременно, как обычно, а порознь и в разные часы. Это был продуманный и сильный контрудар. Одновременное движение восставших к площади становилось невозможным.

Ровно в 7 часов утра член Государственного совета Н. С. Мордвинов начал читать Сенату манифест о вступлении на престол Николая I.

...Солдат запирают в казармах. Присяга проходит беспокойно, полки бурлят. Но площадь пуста...

В 7 часов 20 минут сенаторы присягают новому императору и покидают Сенат.

Возможность обнародовать от имени Сената манифест к русскому народу, открыто провозглашавший лозунги декабристов, упущена.

Около 8 часов утра в Зимний дворец к Николаю I явился генерал-губернатор Петербурга граф Милорадович. Он доложил царю, что в городе и войсках полное спокойствие. Но Николай Бестужев уже отправился в казармы Гвардейского экипажа. Уже вышел из дома полковник Булатов, сказав брату: «Если я буду в действии, то и у нас явятся Бруты и Риеги, а может быть, и превзойдут тех революционеров». А в 9 часов из квартиры Рылеева в Московский полк выехал Александр Бестужев. «Я ожидал, что кончу жизнь на штыках, не выходя из полку, ибо мало на московцев надеялся и для того избрал это место, как нужнейшее», — покажет он на следствии. Александр вместе с ротными командирами — своим братом Михаилом и штабс-капитаном Щепиным-Ростовским — бурно агитировали солдат за отказ от присяги. Александр произнес сильную речь. Полк взволновался, роты построились и вырвались из казарм. «Московский полк в полном восстании и движется к Сенату!» — доложили императору. Испуганный Николай отдал приказ подготовить экипажи, чтоб вывезти семью из Петербурга.

В эти первые часы, при разрушении первоначального плана, важнейшее значение приобретают действия диктатора. Какими они будут? По вызову Трубецкого в 9 часов утра к нему приезжают Рылеев и Пушкин. Диктатор выразил сомнения в успехе и целесообразности восстания: Зимний дворец не взят, Сенат присягнул, фактор внезапности утра-

чен... У Пущина зародились смутные подозрения в ненадежности восначальника.

— Однако если что будет, то вы к нам придете? — переспросил он диктатора и добавил: — Мы на вас надеемся.

— Я не имел довольно твердости, чтоб просто сказать им, что я от них отказываюсь, — признается позже Трубецкой.

Оболенский утром успел троскратно объехать казармы Измайловского, Московского, Преображенского полков, коннопионерного эскадрона и Гвардейского экипажа. Расчет на многие полки оказался напрасным. Николаю присягнули (хотя присяга прошла беспокойно) измайловцы, финляндцы, семеновцы. Поручик повернул в сторону Таврического сада, где стоял Преображенский полк. Но измученная лошадь пала под ним. Начальник штаба бросил ее и нанял извозчика. В Преображенском вестовой сказал, что присяга царю совершена четверть часа назад... В это время Московский полк, отказавшийся от присяги, повернул от Гороховой к Петровской площади. Многие очевидцы видели, как шли москвичи с непрерывным криком «ура!», с распущенными знаменами, окруженные густой толпой народа и ликующими мальчишками. Впереди бежал барабанщик и бил «тревогу». Московский полк вступил на Сенатскую площадь около 11 часов утра. Офицеры-декабристы выстроили его в каре. Народ со всех сторон хлынул на площадь.

Исаакиевская площадь в 1825 году выглядела иначе, чем нынче. Сенат был другим: старым, приземистым, трехэтажным зданием. От памятника Петру I на Васильевский остров перетягивался наплавной Исаакиевский мост. Напротив Адмиралтейства тупым клином к площади встал дом Лобанова-Ростовского. Его недавно отстроили, и строительный мусор, доски, камни валялись у высокого фундамента. Исаакиевский собор еще возводился, его окружал деревянный забор, у которого были уложены поленья. Об этих поленьях вспоминают многие свидетели событий 14 декабря. Знаменательный день будет описан участниками восстания, их противниками и просто очевидцами. Рассказы дополняют друг друга и противоречат один другому. У них разная интонация. Освещение фактов зависело от того, где находился мемуарист 14 декабря: в каре у памятника Петру I или в свите императора, стоял в толпе народа или среди правительственных войск.

Особый интерес представляют показания солдат. В мятежном каре стоял среди москвичей унтер-офицер Викула Бабков. Его показания еще не вошли в историческую литературу. Что же увидел и услышал он? Бабков рассказал на следствии:

«...близ монумента Петра I мы построились в каре, в середине которого было поставлено знамя. Князь Щепин, М. Бестужев и неизвестный адъютант (А. Бестужев. — *Ред.*) подтверждали людям стоять крепко. Когда они отдавали такое приказание, явился к ним адъютант князь Оболенский.

Подбежав к вышеупомянутым офицерам, целовал их и выхвалял поступок, что они пришли на площадь».

Это был миг «счастливой звезды». Войска выходили к Сенату! Пока только четыре роты москвичей, зато какой это был полк! Его солдаты особенно отличились в первом боевом крещении при Бородине. В пятую годовщину освобождения Москвы бывший Литовский полк удостоился высшей награды — георгиевских знамен и был переименован в Московский. Несмотря на реформу обмундирования, ему, единственному во всей армии, была оставлена «бородинская форма». Москвичи стояли на белом снегу в своих победных темно-зеленых мундирах с алыми воротниками. Утро было пасмурным и морозным, но без ветра. А. Бестужев сбросил шинель и на глазах выстроившихся солдат точил свою саблю о гранит памятника Петру I. Ждали пополнения, ждали диктатора. Чтобы не допустить проникновения на площадь верных царю полков, Оболенский выделил легкий маневренный отряд. «Обойдя каре, он взял около 40 человек, отвел их на 50 шагов, составил цепь противу приходящих войск», — рассказывал Бабков. Корнет Одоевский и подпоручик Коновницын помчались в санях с Сенатской площади на Петроградскую сторону торопить лейб-гренадер.

Действовал и Николай I. После первых минут растерянности он послал приказ конной гвардии седлать лошадей, а 1-му Преображенскому батальону — строиться на Дворцовой площади. Он сильно надеялся на приход уже присягнувших конногвардейцев. Конная лейб-гвардия, ведшая свое начало от «лейб-шквадрона» А. Меншикова, была привилегированным полком, часто именно от ее действий зависел исход сражения.

В XVIII—XIX веках самым эффективным боевым строем на поле боя было каре. Оно оцетинивалось штыками на все четыре стороны при обороне или, мгновенно перестроившись, неожиданно переходило в атаку. Только тяжелая конница конной гвардии могла сокрушить каре. Громадные всадники в кирасах на могучих лошадях неслись вперед и проламывали строй пехоты. Получив приказ о выступлении, конная гвардия, однако, не торопилась, раздумывала. Чтобы ускорить ее выход, в казармы прискакал Милорадович. Адьютант побежал по конюшням, торопя офицеров.

— Что же полк? — нервничая, спрашивал Милорадович.

— Тотчас, — отвечал адъютант.

Но конная гвардия из конюшен не появлялась. Генерал прождал более двадцати минут и в бешенстве помчался к Сенату. Туда же и почти одновременно повел 1-й Преображенский батальон Николай I. Положение на площади было очень напряженным. Диктатора все еще не было. На вопросы: «Где же Трубецкой?» — Пущин раздраженно отвечал:

— Пропал или спрятался.

На поиски послали Кюхельбекера. Но в доме Лавалля дик-

татора не оказалось. Между тем площадь заполнилась народом. Все очевидцы в воспоминаниях говорят о «тысячных» толпах, об огромном скоплении людей: мастеровых, разночинцев, ремесленников. В их поведении ясно выражалось сочувствие к восставшим. «Подлая чернь вся была на стороне мятежников», — записала в дневнике императрица.

Камни и комья грязного снега летели в адъютантов Николая I, в свиту принца Вюртембергского. Император привел батальон преображенцев на угол Адмиралтейского бульвара и остановился у дома Лобанова-Ростовского. Восставшие выстрелили в сторону правительственных войск. И тогда, как потом запишет Николай, «толпа черни», стоявшая вокруг него без шапок, «вдруг начала одевать шапки и дерзко смотреть». Рабочие Исаакиевского собора бросали в свиту императора поленья.

На мятежных солдат пытались действовать уговорами. Это было выгодно Николаю I, потому что отвлекало восставших от его действий — окружения площади правительственными войсками. На полном скаку к каре подъехал Милорадович — в парадном мундире, белом шарфе, с голубой андреевской лентой через плечо. На его широкой груди едва умещались две дюжины отечественных и европейских орденов, кресты и звезды. Граф, считавший себя превосходным оратором, сразу пустил в ход сильный демагогический прием:

— Солдаты! Кто из вас был со мной под Кульмом, Люценном, Бауценом?

Названия этих городов много значили для тех, кто участвовал в войне 1812 года и заграничных походах. Милорадович отличался храбростью и невозмутимым спокойствием в сражениях. Под ним убивали лошадь, пуля сносила султан с его шляпы, а он закуривал трубку и играл золотой табакеркой.

Солдаты это помнили. Но они знали и другого Милорадовича. Генерал принадлежал к тем военачальникам, которые любили солдат, но били их палками оттого, что им ни разу не пришло в голову, что солдата можно научить иначе.

Однако момент был опасным. Генерал требовал ответа, в каре среди солдат могло произойти замешательство. Кроме того, его речь отвлекала восставших от обороны. Декабристы решились на крайние средства. Пуля Каховского и штык Оболенского смертельно ранили Милорадовича.

Народ, собравшийся на Сенатской и Исаакиевской площадях, готов был поддержать восставших. Декабрист Д. Завалишин со слов участников восстания писал: «...когда члены Тайного общества на площади говорили об истинной цели их действий, то люди из простонародья отвечали: «Доброе дело, господа. Кабы, отцы родные, вы нам ружья али какое ни есть оружие дали, то мы бы вам помогли, духом бы все переворотили!»».

Диктатор не являлся. Рылеев пытался искать Трубецкого, но не нашел его. Трубецкой специально ушел из дому, чтоб товарищи не могли его найти. Позже он даст покаянные показания следствию: «Терзаем совестью, мучим страхом грозящих бедствий, я... решился, по крайней мере, не иметь еще того на совести, чтобы быть в рядах бунтовщиков».

По плану восстания был и еще один невыполненный пункт.

Член Северного общества полковник Булатов не выполнил задания взять Петропавловскую крепость. Правда, он пришел на площадь, решив избрать себе «отдельный круг действий». С пистолетом в кармане Булатов кружил у дома Лобанова, все ближе сквозь толпу подвигаясь к императору, но убить его так и не решился.

Без Трубецкого общее командование на площади продолжал осуществлять Оболенский. Ему помогал И. Пущин. Хотя он был не в военной форме, солдаты охотно слушали его команды, видя его спокойствие и бодрость.

Между 12 часами и часом пополудни начали прибывать вызванные императором полки: Семеновский стал у Манежа, батальон Павловского полка — на Галерной улице. Кавалергарды были оставлены в резерве у дома Лобанова, рота преображенцев перекрыла Исаакиевский мост, отрезав москвичей от казарм Финляндского полка, на помощь которого надеялись декабристы. Николай I приказал прибывшей наконец конной гвардии атаковать мятежников. Но атака была отбита батальным огнем. И снова народ помогал восставшим — в конногвардейцев летели поленья и камни.

...Среди шума, стрельбы, криков на площадь, неизвестно как пробравшись, выехала карета. Дверцы ее отворились, и на снег ступили митрополиты: Серафим — в парадном облачении зеленого узорчатого бархата, в высокой митре и с бриллиантовым крестом — и Евгений — в бархатной пунцовой рясе. Они подняли кверху кресты и двинулись к каре, пытаясь увещевать бунтовщиков. Несожданное пышное действо ненадолго приковало внимание восставших. Но солдаты «не пошатнулись» перед митрополитами. Они продолжали стоять твердо, и духовная делегация принуждена была удалиться. С Невы подул холодный ветер, временами шел мелкий колючий снег. В Петербурге в тот день было около десяти градусов мороза. Солдаты и офицеры заоченели в своих мундирах. Они стояли на площади уже более двух часов...

Но с Невы по набережной, прорвав строй конной гвардии, уже бежала рота лейб-гренадер поручика Сутгофа! Московцы встретили их ликующими криками. А. Бестужев поставил лейб-гренадер на фасы каре. В это время Гвардейский морской экипаж столкнулся в Галерной улице с заслоном павловцев. Матросы опрокинули заслон в рукопашном бою и вырвались на площадь. Восставшие увидели впереди моряков Н. Бестужева, в расстегнутом сюртуке, с одним эполетом и саблей наголо. Экипаж встал колонной к атаке меж-

ду каре и собором. Кончилось тягостное одиночество московцев. Снова воскресли надежды. Моряков пытался уговорить великий князь Михаил Павлович. И тогда Вильгельм Кюхельбекер поднял пистолет. Он близоручко целился, но пистолет три раза дал осечку...

Между тем около 900 лейб-гренадер, поднятых поручиком Пановым, пересекли Неву, дошли до Зимнего и, отбросив караул, ворвались во двор... Но Панов, увидев саперов в карауле, закричал: «Ребята, это не наши, налево кругом, на Петровскую площадь. Ура!» У здания Главного штаба кавалергарды во главе с Николаем I преградили гренадерам дорогу. «Я выбежал вперед, закричал людям «за мной» и пробился штыками», — покажет поручик на следствии.

Командир лейб-гренадерского полка полковник Стюрлер преследовал восставших солдат от самых казарм. Придя на площадь, гренадеры встали на левый фланг московцев. Панова целовали, сжимали в радостных объятьях. 900 новых братьев! Значит, не все потеряно! Стюрлер еще пытался увещевать их. Каховский выстрелил в него и смертельно ранил.

Каре из маленькой кучки превратилось во внушительную силу, и можно было перейти к решительным действиям. Три тысячи солдат и «вдесятеро больше народу», как вспоминал декабрист А. Е. Розен, были готовы на все по мановению начальника.

Правительственные войска снова перешли в наступление. Конногвардейский полк по приказу Николая пять раз атаковал московцев, и пять раз атаки были отбиты восставшими. Атаковали кавалергарды от угла Адмиралтейского бульвара, коннопионеры со стороны Английской набережной. В Петербурге после тайно удивлялись, спрашивая себя: «Как так, закаленная в боях конница, вышколенные всадники в кирасах, на превосходных лошадях не могли разогнать каре пехоты?» И свидетели восстания говорили и писали, что конная гвардия «действовала неохотно», ее атаки «шли не в полную силу». Восставшие тоже щадили конногвардейцев, их пули «перелетали» через войска. Невидимые нити единства связывали солдатскую массу обеих сторон — и присягнувшую нозому царю и восставшую против него. Это единство было не в пользу императора. Если б внутри площади начались активные действия, если б каре перешло в наступление, царь убедился бы в этом сам.

Подошла вызванная императором артиллерия. Но без зарядов. Заряды «забыли» не случайно. Артиллеристы не хотели стрелять в своих, и многие втайне желали победы восставшим.

Диктатор так и не явился на площадь. Герой Отечественной войны, потомок древнего княжеского рода, изменивший товарищам, о чем думал он, когда услышал артиллерийские залпы, где прятался? Графиня З. И. Лебцельтерн, сестра

Е. И. Трубецкой, в своих мемуарах утверждает, что во время восстания С. П. Трубецкой был недалеко от Исаакьевской площади, в доме своей сестры графини Е. С. Потемкиной. После восстания Е. И. и С. П. Трубецкие находились в доме австрийского посланника графа Лебцельтерна на Фонтанке. В этом доме ночью С. П. Трубецкой был арестован. Впоследствии друзья простят Трубецкого. Но его поведение — одна из существенных причин неудачи восстания. Ожидая начальника, восставшие тем самым неизбежно заняли оборонительную позицию, смертельную для вооруженного выступления. Почему же он не пришел?

Академик М. В. Нечкина предложила убедительное объяснение. По первоначальному плану восстание поднималось против претендента на престол — великого князя — в то время, когда Сенат и Государственный совет ему еще не присягнули. В действительно сложившейся ситуации войска вышли на площадь после присяги Сената. Следовательно, восставшие действовали уже против законного императора. План «полевел», и диктатор испугался.

Оболенский же, скованный военной субординацией, не начинал решительных действий потому, что имел приказ ждать.

Смеркалось. Из артиллерийской лаборатории на Выборгской стороне привезли картечь. Орудия были поставлены на углу Адмиралтейского бульвара и у Конногвардейского манежа. Участники восстания пришли наконец к решению избрать нового военачальника. «С общего согласия» им стал Оболенский. Оставался час до разгрома каре. Декабристы видели, как подходила артиллерия. Стать диктатором уже обреченного бунта — значило подписать самому себе смертный приговор. Оболенский это знал и все-таки согласился. Час вообще очень короткий отрезок времени, а час, в котором события следуют одно за другим, в котором среди смятения нельзя ошибиться и нужно обдумать варианты решений, проходит как мгновение.

Николай I послал к «мятежникам» генерала Сухозанета с требованием сдаться. При отказе, чтобы император тотчас узнал о нем, генерал должен был выпутать из шляпы султан.

Что успел сделать Оболенский и мог ли еще что-нибудь сделать?

Действительно, восстание ничего не выиграло от поздней перемены военачальника. Он не дал приказа наступать. Да и куда могли наступать бунтующие войска? Они были окружены со всех сторон раньше, чем новый начальник в состоянии был отдать такое распоряжение. Первоначальный план, который декабристам казался единственно логичным накануне восстания, после нарушения основных пунктов стал причиной поражения. Он же был причиной того, что действия нового диктатора ограничились рамками площади. Сюда не поступала нужная информация. Даже такая деталь, как

отсутствие лошади у диктатора, сыграла свою отрицательную роль. Оболенский не мог обозреть поле действий, взглянуть на площадь сверху, как на карту, учесть соотношение сил и их точное расположение. К тому же приказания пешего командира передавались по цепи и в шуме не могли восприняться всеми сразу, теряли силу...

И все же диктатор действовал. Можно предположить, что он успел создать свой план и сделать первые шаги к его выполнению. Диктатор отдал приказ о сборе Военного совета. Но видел, «все так потерялись, что шли, дабы собрать офицеров, и по дороге раздумывали и молчали...». Он приказал остановить огонь против коннопионеров, которые сочувствовали восставшим, через посланных передавали, что готовы примкнуть...

Генералу Сухожанету декабристы «прокричали подлеца». Пущин зло воскликнул: «Пришлите кого-нибудь почище!..»

...Сухожанет скакал назад с площади и выдергивал на ходу султан. Вероятно, это многих удивило, но император понял знак.

Оболенский напряженно искал решение. Он понял — необходимо движение, выход солдат с площади. Движение сквозь правительственные войска. В сумерках к восставшим примкнут другие полки... Какой же отдать приказ, чтобы обе стороны правильно поняли замысел?

Стемнело. Ледяные склизняки дули от Невы и из-за громады собора. До разгрома восстания осталось несколько минут.

Император скомандовал:

— Первая...

Солдаты, услышав команду, перекрестились. В стольких сражениях вместе кровь проливали! Неужто против своих?

Декабристы уговаривали народ покинуть площадь.

— Не пойдем, умрем с вами! — раздавалось в ответ.

Стало совсем тихо. Народ замер...

Диктатор принял решение. Он передал его Александру Бестужеву:

— За шинелями, в казармы!

Еще минута — и полки наконец сдвинутся. В движении с площади по улицам революционные войска обростут новым пополнением, вернется прежний энтузиазм, и восстание перейдет от обороны к наступлению! Но...

Первая пушка грянула, картечь рассыпалась. Зазвенели оконные стекла Сената, поднялась столбами снежная пыль, упали наземь убитые.

Пушки выстрелили снова. Зловещие вспышки залпов освещали метавшихся солдат и окровавленный снег. Александр и Николай Бестужевы на Галерной пытались остановить и вновь построить бегущих лейб-гренадер. Вильгельм Кюхельбекер кричал гвардейским морякам:

— Построиться! В штыки!

Но картечь была без промаха...

Михаил Бестужев вывел часть москвичей с площади на Неву, намереваясь занять Петропавловскую крепость. Но ядра подломили лед...

Оболенскому удалось построить у Манежа роту моряков. В толпе бегущих он увидел лейтенанта Гвардейского экипажа А. П. Арбузова и, остановив его, торопливо сказал:

— Лейтенант! Соберите ваших солдат, мы пойдем на Пулковую гору...

Об этом на следствии сообщил мичман Петр Беляев.

Арбузов отказался.

К 5 часам вечера восстание на Сенатской площади было подавлено. «Петербург представлял город после штурма,— вспоминал декабрист А. Беляев.— Всю ночь были разложены костры. Войска были размещены по всем частям; конные патрули целыми отрядами разъезжали по улицам, конечно пустым, потому что никто не выходил из дому». Во время расстрела картечью погибли не только участники выступления, но и многие свидетели его. Убитых было свыше 1000 человек, преимущественно простого народа, находившегося на площади и близлежащих улицах.

Утром следующего дня священник церкви Академии художеств пытался пройти к Исаакиевскому мосту. Жандармы преградили ему путь. Но он рассмотрел ужасное. Дома в тайном дневнике записал: «В тот день на Петровской площади видел я сангвинис мультя сигнала...» Он побоялся написать по-русски и зашифровал латынью, что заметил «многочисленные кровавые пятна». Актер Каратыгин свидетельствовал в воспоминаниях о том же: «Около Сената во многих местах снег был смешан с кровью». Убитых успели убрать. Ночью в затихшем городе по улицам скакали телеги, накрытые рогожей. Скорее, скорее! Увозили трупы мятежников... Телег и дворников не хватало. По белому льду Невы тащили убитых солдат в темно-зеленых мундирах с красными воротниками, сталкивали в темную жуткую прорубь...

...Алым, кровавым цветом было покрашено старое название площади. Ее еще будут несколько десятков лет называть Сенатской, Петровской, но в сознании потомков она станет площадью Декабристов с того памятного России дня 14 декабря 1825 года.

В начале января 1826 года было разгромлено выступление Южного общества на Украине.

К следствию по делу о восстании в Петербурге и на юге были привлечены сотни людей. Но самым тяжелым наказанием подверглись те 120, которые были преданы Верховному уголовному суду. Отдельно судились солдаты восставших полков.

Еще не опомнившись от пережитого страха, Николай торопится казнить одних и миловать других. Он благодарил верные полки «за усердие» в убийствах и пожаловал по

2 рубля, по 2 фунта рыбы и по две винные порции каждому солдату...

Специально созданная следственная комиссия пять месяцев готовила для Верховного уголовного суда материалы: допрашивала заключенных, выявляла степень их участия в «бунте».

Узники различно вели себя перед судом. Они отпирались, запутывали следствие, о многом пытались умолчать, что-то представить в выгодном для себя свете. Но — и раскаивались, называли имена, писали покаянные письма императору. Однако категоричное осуждение их поведения с позиций современной пролетарской революционности вряд ли допустимо. Вопрос этот сложен и требует тщательного анализа фактического материала, учета условий и обстановки.

Вывранные из прежней жизни, «бунтовщики» оказались один на один с представителями своего класса, благополучие которого они собирались разрушить. Тяжесть одиночного заключения морально усиливалась горьким сознанием того, что вне крепостных стен нет единомышленников, нет поддержки. В страдании и смятении обвиняемые нередко обращаются к богу. Декабристы глубоко и сильно переживали свое поражение, как поражение идеи военного переворота, как крушение своих иллюзий.

Николай I, стремясь больше вызнать на допросах, не только угрожал, но и лицемерил, притворяясь «добрым багюшкой-царем», желающим благоденствия России. Он высказывал даже намерения провести реформы, и у арестованных вольнодумцев возникла надежда, что царь поймет высокие замыслы и привлечет их к делу государственного преобразования. Эту надежду в позднейших воспоминаниях отразил А. В. Поджио: «Иди он (Николай I. — *Ред.*) с нами, отдайся нам или возьми нас с собой путем правительства, мы повели бы его к славе России и всех нас вместе». Но это была последняя иллюзия, разрушение которой им еще предстояло пережить...

Декабристы, безусловно, страдали и мучились виной за кровь солдат, выведенных ими на площадь. Руководители Общества терзались мыслью, что вовлекли в него товарищей, поломав их судьбы. Известно из документов, как страдал от этого Рылеев, как пытался он взять всю вину на себя: «Истинно скажу, я один виноват в деле 14 декабря». Многие брали на себя чужую вину, лишь бы спасти близких друзей.

Верховный уголовный суд вынес жесточайший приговор. В зависимости от степени виновности подсудимых разделили на 11 разрядов. 36 декабристов были осуждены на смерть. Николай I проявил «монаршую милость»: казнь первому разряду заменил вечной или 25-летней каторгой. К каторжным работам, ссылке, разжалованию в солдаты приговорили остальных. Стоявших вне разрядов К. Ф. Рылеева, П. И. Пе-

стеля, С. И. Муравьева-Апостола, М. П. Бестужева-Рюмина, П. Г. Каховского приговорили к четвертованию, но затем, «сообразуясь с монаршим милосердием», суд решил «сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить». Для исполнения приговора был назначен ранний час 13 июля. Царь не желал свидетелей, но слухи просочились...

Едва забрезжил дождливый рассвет, Петербург стал просыпаться. Группы людей встали на Троицком мосту, на узком берегу у крепости. Чьи-то темные тени качались в яликах на Неве. Люди видели, как с Адмиралтейской стороны привезли виселицу на нескольких ломовых извозчиках. Начали ставить ее на высоком крепостном валу против церкви Святой Троицы. Войска уже стояли на местах дугою. Зажгли костры. Экзекуция над разжалованными и осужденными к каторге прошла быстро: преломили над головами шпаги, сорвали и бросили в огонь мундиры...

Пятерых вывели на казнь. Впереди Каховский, за ним Муравьев-Апостол под руку с Бестужевым-Рюминым, затем Рылеев и Пестель. Они вышли в тех самых мундирах и сюртуках, в которых были схвачены. Кандалы, надетые еще ночью, мешали двигаться. Пестель был так изнурен, что не мог переступить порога калитки, его приподняли в воротах. Двадцатитрехлетний Бестужев насилу шел, и Сергей Муравьев обнял друга. Они увидели сумеречный рассвет и самое страшное — виселицу...

— Как разбойников... — горько сказал Муравьев-Апостол. Пестель с большим присутствием духа произнес:

— Ужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отворачивали чела своего ни от пуль, ни от ядер. Можно было бы нас и расстрелять.

Они уже приготовились. Но казнь не начиналась. Один из ломовых извозчиков, везший недостающую для виселицы перекладину, где-то застрял*. Павловские гренадеры повели смертников в крепостную церковь. Там они выслушали заупокойную службу. Рядом стояло пять пустых гробов.

...Пятерых снова повели на казнь. Их верхнюю одежду сорвали и бросили в костер. Вместо нее заставили надеть длинные белые рубахи с нагрудниками, на которых было написано: «Цареубийца». Но виселица все еще была не готова. Палач доказывал, что столбы очень высоки. Послали солдат в мореходное училище за скамьями.

Большинство очевидцев, оставивших свои воспоминания,

* Об этом факте сообщают многие свидетели. Воз с перекладиной так и не прибыл. Пришлось делать другой брус и искать железные кольца, отчего казнь замедлилась почти на три часа. Перекладина — самая важная часть виселицы, и пропажа ее вряд ли была случайной. Но в документах и мемуарной литературе более подробных сведений об этом инциденте, к сожалению, не встречается.

упоминают двух палачей. Другие, не менее уверенно,— одно-го. Аберрация памяти или ошибка?

Недавно обнаружен неизвестный доселе документ: «Дело о содержании заплочных дел мастеров». Из дела следует, что 13 июля на кронверке Петропавловской крепости палачей было двое — оба преступники, судимые ранее за кражу. Но самое главное оказалось не в этой информации, а в той дате, которая стояла на документе. Дело было начато 22 декабря 1825 года в связи с определением на службу этих «мастеров». Значит, через восемь дней после восстания, до суда и следствия, обещая жизнь Рылееву и Каховскому, обещая проявить милосердие, царь уже знал, что ему потребуются палачи! Нанял их загодя... Эти два палача и «трудились» в тот страшный день. Но к началу казни остался только один...

Нервничал Николай I в Царском Селе — опасался беспорядков. Поэтому на эспланаде стояли дугою сводные батальоны пехоты, кавалерии, артиллерии. Нервничал висельный инженер Матушкин. Нервничал священник Мысловский, с нетерпением и горячей верой ожидая гонца с помилованием, и к «крайнему своему удивлению тщетно».

В толпе наблюдающих тоже надеялись на помилование. Кто-то пустил слух, что у самого вала среди гренадер находится переодетый царь. Ждет сильного мгновения, чтобы выйти и поднять прощающую руку... Осужденные ждали, сидя на траве. Полицейский офицер после рассказывал, что «они были совершенно спокойны, но только очень серьезны, точно как обдумывали какое-нибудь важное дело».

Наконец настала последняя минута. Пятеро встали у виселицы. Священник Мысловский подошел с увещеваниями. Рылеев взял его руку, поднес к сердцу: «Слышишь, отец? Оно не бьется сильнее прежнего».

Палач приблизился для совершения казни. Но, как вспоминал обер-полицмейстер Княжнин, «когда он увидел людей, которых отдали в его руки, людей, от одного взгляда которых он дрожал, почувствовав ничтожество своей службы и общее презрение, он обессилел и упал в обморок».

Его сменил другой.

5 часов 30 минут утра 13 июля 1826 года. Осужденных ввели на эшафот. Они приблизились друг к другу, поцеловались и, повернувшись спинами, пожали связанные руки.

Бесполезно и кощунственно пытаться предположить, о чем думали декабристы, третий раз за утро приближавшиеся к собственной смерти. Можно лишь догадываться, с чем они простились. С высокого вала видели крепость, догорающие костры, тусклую рябь невской воды и низкие тучи на небе. Собиралась гроза. Она разразится в полдень...

Палач натянул колпаки на лица, надел петли. Забили барабаны, «как для гонения сквозь строй».

Мысловский упал на колени, закричал: «Прощаю и решаю!»

Бенкендорф «стиснул веки» и лег ничком на шею коня. Декабрист Розен в камере поднял кружку и выпил воду, недопитую Рылеевым...

Для двоих прервался бой барабанов. Трое — Рылеев, Каховский и Сергей Муравьев, — упав на помост, слышали его снова.

Свидетели запомнили, как кто-то в окровавленном колпаке, поднимаясь, крикнул:

— Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется, вы видите, мы умираем в мучениях...

— Вешайте, вешайте снова скорее! — закричал распорядившийся казнью генерал-губернатор Голенищев-Кутузов.

Но запасных веревок не оказалось. Послали в лавки курьеров. Однако в этот ранний час лавки были закрыты. Наконец добудились купца.

«Операция была повторена и на этот раз свершилась удачно», — доносил начальник кронверка.

Погибли верные сыны Отечества...

Жестокие наказания выпали на долю участников восстания — солдат Московского, Черниговского, лейб-гренадерского полков, моряков Гвардейского экипажа. Общее число осужденных до сих пор с точностью не выяснено, так как следствие над ними велось в разных местах. В общей сложности несколько тысяч солдат были отправлены на Кавказ, где шли боевые действия, переведены в другие полки или распределены по дальним крепостям. Самых активных «бунтовщиков» прогнали сквозь строй через тысячу солдат по 8—12 раз. Для большинства это наказание явилось смертельным. Выживших сослали в Сибирь.

Расправившись с участниками первого этапа русского революционного движения, Николай I отпраздновал свою победу торжественным молебствием в Москве. Митрополит Филарет благодарил бога за спасение императора. Вся Россия читала царский манифест:

«Не в свойствах, не в нравах русских был сей умысел. Составленный горстью извергов, он заразил ближайшее их сообщество... Но в десять лет злонамеренных усилий не проник, не мог проникнуть далее. Сердце России для него было и всегда будет неприступно...»

Но Николай I ошибся. На троне уже никогда не будет спокойно. Новые силы, которые восстанут против самодержавия, уже родились и зрели. Герцен писал впоследствии в «Былом и думах»: «...не знаю, как это случилось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души». Огарев тоже на протяжении всей своей жизни отмечал значение восстания декабристов для формирования своих взглядов. 14 декабря было исходным моментом его духовного развития:

Бунт, вспыхнув, замер. Казнь проснулась...
Вот пять повешенных людей...
Но мысль живая встрепенулась —
И путь означен жизни всей.

«Торжественный протест против деспотизма» в 1825 году завещал урок будущему поколению: только участие масс даст победу революции. «На Исаакиевской площади... заговорщикам не хватало народа», — скажет Герцен.

Казнь, каторга и ссылка не смогли уничтожить дело декабристов. «От людей можно избавиться, от их идей — нельзя». Мыслящая Россия, «впугнутая в раздумье», по выражению Огарева, удрученно размышляла о громадной мощи самодержавия, недостаточности сил и негодности примененных против нее средств. Но идущие на смену декабристам борцы обдумывали опыт первого русского революционного выступления, углубляли его, преодолевали его противоречия и поднимали освободительное движение на новую ступень.

Ленинская характеристика декабристов как дворянских революционеров, с одной стороны, раскрывает революционность этого движения, а с другой — его классовую ограниченность.

«Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции, — писал В. И. Ленин в статье «Памяти Герцена». — Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс»*.

В этой статье, дающей развернутую периодизацию русского революционного движения, определено место декабристов в общем ходе русской революционной борьбы. Ленин подчеркивает, что декабристы — первое поколение революционеров, тесно связанное с последующими поколениями революционного движения. К теме «Декабристы» В. И. Ленин неоднократно возвращается на протяжении всего периода подготовки социалистической революции.

Декабристы не достигли своей непосредственной цели — уничтожения самодержавия и крепостного права. Но и не могли достигнуть. В начале 1820-х годов крестьянство не было готово к организованной массовой борьбе. Не готова была поддержать офицеров-дворян и солдатская масса. Сравни-

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 261.

вая военные восстания в России 1905 года с военным восстанием 1825 года, Ленин в «Докладе о революции 1905 года» говорил об особенностях декабристской эпохи: «Масса солдат, состоявшая тогда еще из крепостных крестьян, держалась пассивно»*. Это ленинское замечание помогает понять, что тактика военного восстания, принятая декабристами, определялась не только классовой ограниченностью замысла и примерами успешных военных переворотов в Испании и других странах в начале 20-х годов XIX века, но и тем, что в то время не было еще одного из важнейших признаков революционной ситуации — готовности народа к революционной борьбе.

Только «пролетариат, единственный до конца революционный класс» встал во главе масс и «впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян»**.

«О нас в истории страницы напишут!» — восклицал накануне восстания поэт-декабрист Александр Одоевский.

С тех пор прошло много лет. О начальном этапе революционного движения в России написаны многие тысячи страниц учеными, литераторами, журналистами. В настоящее время библиография движения декабристов составляет два солидных тома. Число публикаций продолжает расти, чему способствовало и то обстоятельство, что советская общественность широко отметила 150-летие со дня восстания декабристов.

Изучение декабристского движения началось в 1900-е годы, когда стали известны материалы суда и следствия над декабристами и резко повысился интерес к прошлому русского освободительного движения. Доступ к прежде сугубо секретным архивам приоткрыла революция 1905 года. Но возможность работать в них получили прежде всего официозные историки. В печати впервые публикуется ряд важнейших декабристских документов: «Русская правда» П. И. Пестеля и один из вариантов (тюремный) Конституции Н. М. Муравьева. Выходят крупные работы известных историков. Они представили читателю большой фактический материал. Однако историческая правда движения декабристов была в них во многом не понята или искажена. Значительным достижением домарксистской историографии являлся большой труд историка В. И. Семевского «Политические и общественные идеи декабристов». Но Семевский видел в декабристах представителей «внеклассовой интеллигенции» и преувеличивал иностранное влияние на их идеологию.

За годы Советской власти создан целый внушительный раздел отечественной истории — декабристоведение. Советские историки, тщательно изучая архивные материалы, документы, мемуары, руководствуясь ленинской концепцией декабризма, прочно утвердили понимание декабристов как пред-

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 318.

** Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 261.

ставителей революционного движения, находящегося в неразрывной связи с последующим русским революционным движением. Литература, посвященная декабристам, огромна. Это и монографии, написанные о движении декабристов в целом, и исследования, касающиеся различных его сторон и проблем, и статьи, содержащие новые открытия или гипотезы.

В работах советских ученых, и прежде всего в трудах академика М. В. Нечкиной, освещены основные проблемы первого этапа освободительного движения в России. Вскрыты причины и предпосылки возникновения революционных организаций, история их создания и деятельности, изучено формирование мировоззрения декабристов, исследованы их общественно-политические и историко-философские взгляды. Подробный и вдумчивый научный анализ документов и мемуаров позволил историкам реконструировать действительный ход вооруженных восстаний в Петербурге и на Украине.

Многочисленные исследования посвящены отдельным декабристам, их жизни и деятельности, сибирской и кавказской ссылке. Наконец, многие работы советских ученых повествуют о значительном вкладе декабристов в сокровищницу русской культуры, науки, литературы, искусства. Поиск затерянных и восстановление утраченных произведений декабристов — писателей, поэтов, художников — продолжается.

В теме «Декабристы» немало проблем, требующих дальнейшего исследования. Далеко не ясна линия преемственной связи раннедекабристских организаций с Северным и Южным обществами. Нельзя считать достаточно полными сведения о планах декабристов по формированию общественного мнения; о средствах агитации и пропаганды среди крестьян, солдатской массы. Сложной для четких научных выводов является пока проблема дальнейшей эволюции взглядов декабристов, а также проблема их, зачастую противоречивого, отношения к новым революционным теориям и крестьянской реформе 1861 года.

В наши дни исследователь располагает основными программными документами декабризма, фундаментальным изданием «Восстание декабристов» (с 1925 по 1980 год вышло 16 томов), где сосредоточены следственные материалы по делу декабристов. Каждому тому предпослано предисловие, раскрывающее идеологию движения, поведение его участников на следствии и другие вопросы. Разысканы и увидели свет письма декабристов, их неопубликованные записки, принято научное переиздание воспоминаний.

Мемуары декабристов — важный исторический и литературный памятник эпохи, один из лучших источников для изучения восстания 1825 года. Они наиболее ценны тем, что авторы многих из них создали образцы революционной концепции движения, противопоставив ее самодержавно-охранительной версии. Именно это в первую очередь привлекло к мемуарам декабристов внимание представителей нового ре-

волюционно-демократического этапа освободительного движения.

В воспоминаниях первых русских революционеров прослеживается вся история тайных декабристских организаций — от их возникновения до разгрома. Неоценимое значение имеют свидетельства самих декабристов об организационных и идейных разногласиях в Обществе, о подготовке и плане вооруженного восстания, об отношении народа к восставшим. Мемуары декабристов — правдивый и красочный документ, свидетельствующий об истинном характере суда и следствия над «бунтовщиками», о жизни осужденных на каторге и в ссылке.

В настоящем томе помещены воспоминания тех декабристов, чья деятельность тесно связана с Петербургом. Из представленных в томе мемуаров для истории освободительного движения тех лет в целом и характеристики выдающихся его деятелей наибольшее значение имеют записки И. Д. Якушкина, М. С. Лунина, Е. П. Оболенского. Яркую картину вооруженного восстания против самодержавия в 1825 году рисуют воспоминания братьев М. и Н. Бестужевых. Их дополняют мемуары А. Е. Розена и В. И. Штейнгеля. Наиболее достоверные страницы, освещающие отношения А. С. Пушкина и декабристов, принадлежат И. И. Пущину. Рассказом о жизни в Сибири завершает свои мемуары большинство декабристов. Но это — особая тема, она выходит за рамки данного сборника. Поэтому в настоящем издании описание пребывания в Сибири сохранено лишь в воспоминаниях Е. П. Оболенского.

Среди авторов публикуемых мемуаров мы видим и тех, кто с самого начала был связан с декабристским движением (М. С. Лунин, Е. П. Оболенский, И. И. Пущин, И. Д. Якушкин), и тех, кто вступил в него позднее (М. А. Бестужев, Н. А. Бестужев, А. Е. Розен, В. И. Штейнгель). Большинство из них — участники восстания 14 декабря 1825 года, за исключением М. С. Лунина, служившего в Варшаве, и И. Д. Якушкина, находившегося в тот момент в Москве.

В публикуемых мемуарах читатель, знакомый с хрестоматийной историей декабристского движения, почувствует дух времени. Он сможет представить Россию 20-х годов XIX века и живой облик героев, дерзнувших подняться на борьбу с самодержавием. Ценность мемуаров — в обилии разнообразных фактов, своеобразии языка, портретов и характеристик, в возможности непосредственного общения с талантливейшими, образованнейшими людьми эпохи, «рыцарями из кованной стали», которые с полным правом могли назвать себя **ВЕРНЫМИ СЫНАМИ ОТЕЧЕСТВА.**

*Л. Б. Добринская.
Л. С. Семенов.*



И. Д. Якушкин
ЗАПИСКИ

I

 Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двенадесять языцы, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении. Не по распоряжению начальства жители при приближении французов удалялись в леса и болота, оставляя свои жилища на сожжение. Не по распоряжению начальства выступило все народонаселение Москвы вместе с армией из древней столицы. По рязанской дороге, направо и налево, поле было покрыто пестрой толпой, и мне теперь еще помнятся слова шедшего около меня солдата: «Ну, слава богу, вся Россия в поход пошла!» В рядах даже между солдатами не было уже бессмысленных орудий; каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле.

Император Александр, оставивший войско прежде витебского сражения, возвратился к нему в Вильну. Конечно, никогда прежде и никогда после не был он так сближен со своим народом, как в это время, в это время он его любил и уважал¹. Россия была спасена, но для императора Александра этого было мало; он двинулся за границу со своим войском для освобождения народов от общего их притеснителя. Прусский народ, втоптанный в грязь Наполеоном, первый отозвался на великодушное призвание императора Александра; все

восстало и вооружилось. В 13 году император Александр перестал быть царем русским и обратился в императора Европы. Подвигаясь вперед с оружием в руках и призывая каждого к свободе², он был прекрасен в Германии; но был еще прекраснее, когда мы пришли в 14 году в Париж. Тут союзники, как алчные волки, были готовы броситься на павшую Францию. Император Александр спас ее; предоставил даже ей выбрать род правления, какой она найдет для себя более удобным, с одним только условием, что Наполеон и никто из его семейства не будет царствовать во Франции. Когда уверили императора, что французы желают иметь Бурбонов, он поставил в неперемennую обязанность Людовику XVIII даровать права своему народу, обеспечивающие до некоторой степени его независимость³. Хартия Людовика XVIII дала возможность французам продолжать начатое ими дело в 89 году; в это время республиканец Лагарп мог только радоваться действиям своего царственного питомца.

Пребывание целый год в Германии и потом несколько месяцев в Париже не могло не изменить воззрения хоть сколько-нибудь мыслящей русской молодежи; при такой огромной обстановке каждый из нас сколько-нибудь вырос.

Из Франции в 14 году мы возвратились морем в Россию. 1-я гвардейская дивизия была высажена у Ораниенбаума и слушала благодарственный молебен, который служил обер-священник Державин. Во время молебствия полиция нещадно била народ, пытавшийся приблизиться к выстроенному войску. Это произвело на нас первое неблагоприятное впечатление по возвращении в Отечество. Я получил позволение уехать в Петербург и ожидать там полк. Остановившись у однокашника Толстого (теперь сенатора), мы отправились вместе с ним во фраках взглянуть на 1-ю гвардейскую дивизию, вступающую в столицу. Для ознаменования великого этого дня были выстроены на скорую руку у петергофского въезда ворота и на них поставлены шесть адебастровых лошадей, знаменующих шесть гвардейских полков 1-й дивизии. Толстой и я, мы стояли недалеко от золотой кареты, в которой сидела императрица Мария Федоровна с вел[икой] княжн[ой] Анной Павловной. Наконец показался император, предводительствующий гвардейской дивизией, на славном

рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую уже он готов был опустить перед императрицей. Мы им любовались; но в самую эту минуту почти перед его лошадыю перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было во мне первое разочарование на его счет; я невольно вспомнил о кошке, обращенной в красавицу, которая, однако ж, не могла видеть мыши, не бросившись на нее.

В 14 году существование молодежи в Петербурге было томительно. В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, выхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 лет вперед. В 15 году, когда Наполеон бежал с острова Эльба и вторгся во Францию, гвардии был объявлен поход, и мы ему обрадовались, как неожиданному счастью. Поход этот от Петербурга до Вильны и обратно был для гвардии прогулкой. В том же году мы возвратились в Петербург. В Семеновском полку устроилась артель: человек 15 или 20 офицеров сложились, чтобы иметь возможность обедать каждый день вместе; обеды же не одни вкладчики в артель, но и все те, которым по обязанности службы приходилось проводить целый день в полку. После обеда одни играли в шахматы, другие читали громко иностранные газеты и следили за происшествиями в Европе, — такое времяпрепровождение было решительно нововведение.

В 11 году, когда я вступил в Семеновский полк, офицеры, сходявшись между собою, или играли в карты, без зазрения совести надувая друг друга, или пили и кутили напропалую. Полковой командир Семеновского полка генерал Потемкин покровительствовал нашей артели и иногда обедал с нами; но через несколько месяцев император Александр приказал Потемкину прекратить артель в Семеновском полку, сказав, что такого рода сборища офицеров ему очень не нравятся. Императора, однако же, все еще любили, помня, как он был прекрасен в 13 и 14 годах, и потому ожидали

его в 15-м с нетерпением. Наконец появился флаг на Зимнем дворце, и в тот же день велено всем гвардейским офицерам быть на выходе. Всех удивило, что при этом не было артиллерийских офицеров; они приезжали, но их не пустили во дворец. Полковник Таубе донес государю, что офицеры его бригады в сношении с ним позволили себе дерзость. Таубе был ненавидим и офицерами и солдатами; но вследствие его доноса два князя Горчаковы (главнокомандующий на Дунае и бывший генерал-губернатор Западной Сибири) и еще пять отличных офицеров были высланы в армию. Происшествие это произвело неприятное впечатление на всю армию.

До слуха всех беспрестанно доходили изречения императора Александра, в которых выражалось явное презрение к русским. Так, например, при смотре при Вертю, во Франции, на похвалы Веллингтона устройству русских войск император Александр во всеуслышание отвечал, что в этом случае он обязан иностранцам, которые у него служат. Генерал-адъютант гр[аф] Ожеровский, родственник Сергея и Матвея Муравьевых, возвратившись однажды из дворца, рассказал им, что император, говоря о русских вообще, сказал, что каждый из них плут или дурак и т. д.

По возвращении императора в 15 году он просил у министра на месяц отдыха; потом передал почти все управление государством графу Аракчееву. Душа его была в Европе; в России же более всего он заботился об увеличении числа войск. Царь был всякий день у развода; во всех полках начались учения, и шагистика вошла в полную свою силу.

Служба в гвардии стала для меня несносна. В 16 году говорили о возможности войны с турками, и я подал просьбу о переводе меня в 37-й егерский полк, которым командовал полковник Фонвизин, знакомый мне еще в 13 году и известный в армии за отличного офицера⁴. В это время Сергей Трубецкой, Матвей и Сергей Муравьевы и я, мы жили в казармах⁵ и очень часто бывали вместе с тремя братьями Муравьевыми: Александром, Михаилом и Николаем. Никита Муравьев также часто видался с нами. В беседах наших обыкновенно разговор был о положении России. Тут разбирались главные язвы нашего Отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с сол-

датами, которых служба в течение 25 лет почти была каторга; повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще. То, что называлось высшим образованным обществом, большею частью состояло тогда из староверцев, для которых коснуться которого-нибудь из вопросов, нас занимавших, показалось бы ужасным преступлением. О помещиках, живущих в своих имениях, и говорить уже нечего.

Один раз, Трубецкой и я, мы были у Муравьевых, Матвея и Сергея; к ним приехали Александр и Никита Муравьевы с предложением составить Тайное общество, цель которого, по словам Александра, должна была состоять в противодействии немцам, находящимся в русской службе. Я знал, что Александр и его братья были враги всякой немчизне, и сказал ему, что никак не согласен вступить в заговор против немцев, но что если бы составилось Тайное общество, членам которого поставлялось бы в обязанность всеми силами трудиться для блага России, то я охотно вступил бы в такое Общество. Матвей и Сергей Муравьевы на предложение Александра ответили почти то же, что и я. После некоторых прений Александр признался, что предложение составить Общество против немцев было только пробное предложение, что сам он, Никита и Трубецкой условились еще прежде составить Общество, цель которого была в обширном смысле благо России. Таким образом положено основание Тайному обществу, которое существовало, может быть, не совсем бесплодно для России.

Было положено составить устав для Общества и вначале принимать в него членов не иначе как с согласия всех шестерых нас. Вскоре после этого я уехал из Петербурга в 37-й егерский полк. Заехав по пути к дяде, который управлял небольшим моим имением в Смоленской губернии, я ему объявил, что желаю освободить своих крестьян. В это время я не очень понимал, ни как это можно было устроить, ни того, что из этого выйдет; но, имея полное убеждение, что крепостное состояние — мерзость, я был проникнут чувством прямой моей обязанности освободить людей, от меня зависящих. Мое предложение дядя выслушал даже без удивления, но с каким-то скорбным чувством; он был уверен, что я сошел с ума.

Приехав в Сосницы, где была штаб-квартира 37-го егерского полка, я узнал, что этот полк должен быть расформирован и в кадрах идти в Москву. Фонвизин советовал мне не принимать роты и обошелся со мной не так, как полковой мой командир, но как самый любезный товарищ. Мы были с ним неразлучны целый день и всякий день просиживали вместе далеко за полночь; все вопросы, занимавшие нас в Петербурге, были столько же близки ему, как и нам. В разговорах наших мы соглашались, что для того, чтобы противодействовать всему злу, тяготевшему над Россией, необходимо было прежде всего противодействовать староверству закоснелого дворянства и иметь возможность действовать на мнение молодежи; что для этого лучшее средство — учредить Тайное общество, в котором каждый член, зная, что он не один, и излагая свое мнение перед другими, мог бы действовать с большею уверенностью и решимостью. Наконец, Фонвизин сказал мне, что если бы такое Общество существовало, состоя только из пяти человек, он тотчас бы вступил в него. При этом я не мог воздержаться, чтобы не доверить ему существования Тайного общества в Петербурге и что я принадлежу к нему. Фонвизин тут же присоединился к нам. С первой почтой я известил Никиту Муравьева о важном приобретении, какое я сделал для нашего Общества в лице полковника Фонвизина, и надеялся получить за это от них от всех благодарность; но, напротив, получил строгий выговор за то, что поступил против условий между нами, в силу которых никто не имел права принимать никого в Тайное общество без предварительного на то согласия прочих членов; и я чувствовал, что по всей справедливости своей опрометчивостью я заслужил такой выговор.

В начале 17 года я приехал в Москву, и скоро после того прибыл в кадрах 37-й егерский полк, которого штаб-квартира была назначена в Дмитрове; не командуя ротой, я жил в Москве и ходил во фраке в ожидании сентября, чтобы подать в отставку. Фонвизин большую часть времени также проживал в Москве и также хотел оставить службу. В это время войска, бывшие во Франции у графа Воронцова, возвращались в Россию. Полки Апшеронский и 38-й егерский, привезенные на судах, были на смотре у царя в Петербурге. Он ужаснулся, увидев, как мало люди были выправлены, и

прогнал их со смотра. 37-й егерский полк поступил в 5-й корпус. Командир этого корпуса граф Толстой, дивизионный командир кн[язь] Хованский и бригадный генерал Полторацкий (Константин Маркович), коротко знакомые с Фонвизиним, уговорили его принять 38-й егерский полк, и его назначили командиром этого полка. Прощаясь с 37-м егерским полком, Фонвизин проследил, и офицеры и солдаты также плакали. В этом полку палка была уже выведена из употребления. Приняв 38-й егерский полк, задача для Фонвизина состояла, кроме обмундировки, выправка людей настолько, чтобы полк мог пройти перед царем в параде, не сбившись с ноги. Фонвизин начал с того, что сблизился с ротными командирами, поручил им первоначальную выправку людей и решительно запретил при учении употреблять палку. Для подпрапорщиков он завел училище и нанимал для них учителей; вообще в несколько месяцев он истратил на полк более 20 000 р., зато в конце года царь, увидев 38-й егерский полк в параде, был от него в восторге и изъявил Фонвизину благодарность в самых лестных выражениях.

В конце 17 года вся царская фамилия переехала в Москву и прожила тут месяцев 9 или 10. Еще в августе прибыл в Москву отдельный гвардейский корпус, состоящий из первых батальонов всех пеших и первых эскадронов всех конных полков. При корпусе была также артиллерия. Командовал этим отрядом генерал Розен, а начальником штаба был Александр Муравьев⁶. Вместе с отрядом прибыли Никита, Матвей и Сергей Муравьевы; Михайло Муравьев, вступивший уже в Общество, приехал также в Москву. В мое отсутствие Общество очень распространилось. В Петербурге было принято много членов, в числе которых были Бурцов (после, уже генерал-майором, убитый на Кавказе) и Пестель, адъютанты гр[афа] Витгенштейна. Пестель составил первый устав для нашего Тайного общества. Замечательно было в этом уставе, во-первых, то, что на вступивших в Тайное общество возлагалась обязанность ни под каким видом не покидать службы, с той целью, чтобы со временем все служебные значительные места по военной и гражданской части были в распоряжении Тайного общества; во-вторых, было сказано, что если царствующий император не даст никаких прав независимости своему народу, то ни в каком случае не

присягать его наследнику, не ограничив его самодержавия.

По прибытии в Москву Муравьевы, особенно Михайло, находили устав, написанный в Петербурге, неудобным для первоначальных действий Тайного общества. Было положено приступить к сочинению нового устава и при этом руководствоваться печатным немецким уставом, привезенным кн[язем] Ильей Долгоруким из-за границы и служившим пруссакам для тайного соединения против французов. Пока изготовлялся устав для будущего Союза благоденствия, было учреждено временное Тайное общество под названием Военного. Цель его была только распространение Общества и соединение единомыслящих людей.

У многих из молодежи было столько избытка жизни при тогдашней ее ничтожной обстановке, что увидеть перед собой прямую и высокую цель почиталось уже блаженством, и потому немудрено, что все порядочные люди из молодежи, бывшей тогда в Москве, или поступили в Военное общество, или по единомыслию сочувствовали членам его. Обыкновенно собирались или у Фон-визина, с которым я тогда жил, или в Хамовниках, у Александра Муравьева, в доме, в котором жил также начальник гвардейского отряда генерал Розен. Собрания эти все более и более становились многолюдны, на этих совещаниях бывали между прочими оба Перовские (министр уделов и оренбургский генерал-губернатор), толковали о тех же предметах, важность которых нас всех занимала.

К прежде бывшим присоединилось еще новое зло для России: император Александр, давно замышлявший военные поселения, приступил теперь к их учреждению. Графу Аракчееву было поручено привести в исполнение предначертания, составленные самим царем для устройства военных поселений. Граф Аракчеев, во всех случаях гордившийся тем, что он только неизменное орудие самодержавия, и в этом случае не изменил себе. В Новгородской губернии казенные крестьяне тех волостей, которые были назначены под первые военные поселения, чуя чутьем русского человека для себя беду, возмугились. Граф Аракчеев привел против них кавалерию и артиллерию; по ним стреляли, их рубили, многих прогнали сквозь строй, и бедные люди должны были покориться. После чего было объявлено крестьянам,

что дома и все имущество более им не принадлежат, что все они поступают в солдаты, дети их — в кантонисты, что они будут исполнять некоторые обязанности по службе и вместе с тем работать в поле, но не для себя собственно, а в пользу всего полка, к которому будут приписаны. Им тотчас же обрили бороды, надели военные шинели и расписали по ротам и капральствам. Известия о новгородских происшествиях привели всех в ужас. Император Александр, в Европе покровитель и почти корифей либералов⁷, в России был не только жестоким, но, что хуже того, — бессмысленным деспотом.

Разводы, парады и военные смотры были почти его единственные занятия; заботился же только о военных поселениях и устройстве больших дорог по всей России, причем он не жалел ни денег, ни пота, ни крови своих подданных. Никогда никто из приближенных к царю, ни даже сам он не могли дать удовлетворительного объяснения, что такое военные поселения. Так, например, в Тульчине за обедом, бывши в веселом расположении духа после очень удачного военного смотра, император обратился к генералу Киселеву с вопросом, примиряется ли он наконец с военными поселениями; Киселев отвечал, что его обязанность верить, что военные поселения принесут пользу, потому что его императорскому величеству это угодно; но что сам он тут решительно ничего не понимает. «Как же ты не понимаешь, — возразил император Александр, — что при теперешнем порядке всякий раз, что объявляется рекрутский набор, вся Россия плачет и рыдает; когда же окончательно устроятся военные поселения, не будет рекрутских наборов».

Граф Аракчеев, когда у него спрашивали о цели военных поселений, всякий раз отвечал, что это не его дело и что он только исполнитель высочайшей воли. Известно, что военные поселения со временем должны составить посередь России полосу с севера на юг и совместить в себе штаб-квартиры всех конных и пеших полков и вместе с тем собственными средствами продовольствовать войска, посреди их квартирующие; уже это одно было, вероятно, предположение несбыточное. При окончательном устройстве военных поселений они неминуемо должны были образоваться в военную касту с оружием в руках и не имеющую ничего общего с остальным народонаселением России. Они уничтожены и под-

верглись общей участи всякой бессмыслицы, даже затеянной человеком, облеченным огромным могуществом⁸. <...>

В конце 17 года вся царская фамилия была уже в Москве, и скоро ожидали прибытия императора. Однажды Александр Муравьев, заехав в один дом, где я обедал и в котором он не был знаком, велел меня вызвать и сказал с каким-то таинственным видом, чтобы я приезжал к нему вечером. Я явился в назначенный час. Совещание это было немногочисленным; тут были, кроме самого хозяина, Никита, Матвей и Сергей Муравьевы, Фонвизин, князь Шаховской и я⁹. Александр Муравьев прочел нам только что полученное письмо от Трубецкого, в котором он извещал всех нас о петербургских слухах. <...> Александр Муравьев перечитал вслух еще раз письмо Трубецкого, потом начались толки и сокрушения о бедственном положении, в котором находится Россия под управлением императора Александра.

Меня проник[ла] дрожь; я ходил по комнате и спросил у присутствующих, точно ли они верят всему сказанному в письме Трубецкого и тому, что Россия не может быть более несчастна, как оставаясь под управлением царствующего императора; все стали меня уверять, что то и другое несомненно. В таком случае, сказал я, Тайному обществу тут нечего делать, и теперь каждый из нас должен действовать по собственной совести и собственному убеждению. На минуту все замолчали. Наконец Александр Муравьев сказал, что для отвращения бедствий, угрожающих России, необходимо прекратить царствование императора Александра и что он предлагает бросить между нами жребий, чтобы узнать, кому достанется нанести удар царю. На это я ему отвечал, что они опоздали, что я решился без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести. Затем наступило опять молчание. Фонвизин подошел ко мне и просил меня успокоиться, уверяя, что я в лихорадочном состоянии и не должен в таком расположении духа брать на себя обет, который завтра же покажется мне безрассудным. С своей стороны я уверял Фонвизина, что я совершенно спокоен, в доказательство чего предложил ему сыграть в шахматы и обыграл его.

Совещание прекратилось, и я с Фонвизиним уехал

домой. Почти целую ночь он не дал мне спать, беспрестанно уговаривая меня отложить безрассудное мое предприятие, и со слезами на глазах говорил мне, что он не может представить без ужаса ту минуту, когда меня выведут на эшафот. Я уверял, что не доставлю такого ужасного для него зрелища. Я решился по прибытии императора Александра отправиться с двумя пистолетами к Успенскому собору и, когда царь пойдет во дворец, из одного пистолета выстрелить в него, из другого — в себя. В таком поступке я видел не убийство, а только поединок насмерть обоих.

На другой день Фонвизин, видя, что все его убеждения тщетны, отправился в Хамовники и известил живущих там членов, что я никак не хочу отложить намереваемого мной предприятия. Вечером собрались у Фонвизина те же лица, которые вчера были у Александра Муравьева; начались толки, но совершенно в противном смысле вчерашним толкам. Уверяли меня, что все сказанное в письме Трубецкого может быть и неправда, что смерть императора Александра в настоящую минуту не может быть ни на какую пользу для государства и что, наконец, своим упорством я гублю не только всех их, но и Тайное общество при самом его начале, которое со временем могло бы принести столько пользы для России. Все эти толки и переговоры длились почти целый вечер; наконец я дал им обещание не приступить к исполнению моего намерения и сказал им, что если все то, чему они так решительно верили вчера, не более как вздор, то вчера они своим легкомыслием увлекли было меня к совершению самого великого преступления; но что если в самом деле ничто не может быть счастливее для России, как прекращение царствования императора Александра, то сегодня своей нерешительностью и своими требованиями они отнимают у меня возможность совершить самое прекрасное дело, и в заключение объявил, что я более не принадлежу к их Тайному обществу.

Потом Фонвизин, Никита Муравьев и другие очень уговаривали меня не покидать Общество, но я решительно сказал им, что не буду ни на одном из их совещаний. И в самом деле всякий раз, что собирались у Фонвизина, я куда-нибудь уезжал, но вместе с тем, будучи коротко знаком с главными членами Общества, я всякий день с ними виделся. Они свободно говорили

при мне о делах своих, и я знал все, что у них делается.

Устав Союза благоденствия, известный под названием «Зеленой книги», я читал при самом его появлении. Главными редакторами были Михайло и Никита Муравьевы. В самом начале изложения его было сказано, что члены Тайного общества соединились с целью противодействовать злонамеренным людям и вместе с тем споспешествовать благим намерениям правительства. В этих словах была уже наполовину ложь, потому что никто из нас не верил в благие намерения правительства. В это время число членов Тайного общества значительно увеличилось, и многие из них стали при всех случаях греметь против диких учреждений, каковы палка, крепостное состояние и проч.

Теперь покажется невероятным, чтобы вопросы, давно уже порешенные между образованными людьми, 38 лет тому назад были вопросами совершенно новыми даже для людей, почитаемых тогда образованными, т. е. для людей, которые говорили по-французски и были несколько знакомы с французскою словесностью. В этом деле мы решительно были застрельщиками, или, как говорят французы, пропалыми ребятами (*enfants perdus*); на каждом шагу встречались Скалозубы, не только в армии, но и в гвардии, для которых было непонятно, что из русского человека возможно выправить годного солдата, не изломав на его спине несколько возов палок. Все почти помещики смотрели на крестьян своих, как на собственность, вполне им принадлежащую, и на крепостное состояние — как на священную старину, до которой нельзя было коснуться без потрясения самой основы государства. По их мнению, Россия держалась одним только благородным сословием, а с уничтожением крепостного состояния уничтожалось и самое дворянство. По мнению тех же староверов, ничего не могло быть пагубнее, как приступить к образованию народа. Вообще свобода мыслей тогдашней молодежи пугала всех, но эта молодежь везде высказывала смело слово истины.

В начале 18 года приехал в Москву полковник Лубенского полка Граббе и остановился у Фонвизина; они вместе были адъютантами у Ермолова. Многие из моих знакомых выхваляли мне Граббе как человека отличного во всех отношениях; этого уже было

достаточно для меня, чтобы не спешить с ним познакомиться; я полагал, что он, может быть, человек, проникнутый чувством высоких своих достоинств, а я такого рода отличных людей не очень жаловал. Мы прожили с ним несколько дней под одной кровлей, не сходясь ни разу. Наконец в одно прекрасное утро он вошел ко мне в комнату, когда я еще лежал в постели, и сказал, протянув мне руку: «Я вижу, что вы никак не хотите со мной сойтись, так знайте же, что я непременно хочу познакомиться с вами». Через какой-нибудь час мы уже хорошо познакомились друг с другом.

Пока мы ходили, разговаривая, по комнате, человек Граббе принес его доломан и ментик¹⁰. Я спросил его, куда он собирается в таком облачении. Он отвечал, что ему необходимо явиться к гр[афу] Аракчееву. Между тем мы продолжали ходить, и разговор попал на древних историков. В это время мы страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами. Граббе тоже любил древних. На столе у меня лежала книга, из которой я прочел Граббе несколько писем Брута к Цицерону, в которых первый, решившийся действовать против Октавия, упрекает последнего в малодушии. При этом чтении Граббе видимо воспламенился и сказал своему человеку, что он не поедет со двора, и мы с ним обедали вместе; потом он уже никогда не бывал у Аракчеева, несмотря на то что до него доходили слухи через приближенных Аракчеева, что граф на него сердится и повторял несколько раз: Граббе этот, видно, возгордился, что ко мне не едет. Вскоре после этого Фонвизин принял Граббе в члены Тайного общества.

В 18 году, 6 января, назначен был всему гвардейскому отряду парад в Кремле. Погода была прегадкая, унтер-офицеры на линиях были неверно поставлены, парад не удался. Царь взбесился и посадил начальника штаба Александра Муравьева под арест на главную гауптвахту. После чего Александр Муравьев вышел в отставку и женился. Жена его¹¹, бывши невестой, пела с ним марсельезу, но потом в несколько месяцев сумела мужа своего, отчаянного либерала, обратить в отчаянного мистика, вследствие чего он отказался от Тайного общества и написал к прежним своим товарищам то послание, о котором упоми-

нается в донесениях комитета; впрочем это было уже в 19 году.

Во время пребывания императора в Москве были слухи, что он хочет освободить крестьян, чему можно было верить, тем более что он освободил крестьян трех остзейских губерний, правда на таких условиях, при которых положение освобожденных стало несравненно хуже прежнего. Император Александр стыдился перед Европой, что более 10 миллионов его подданных — рабы, но непоследовательным своим поведением он смущал только умы, нисколько не подвигая дела вперед. Однажды во время прогулки своей по набережной он увидел несколько крестьян на коленях и у одного из них бумагу на голове. Он принял от них просьбу, в которой было сказано, что крестьяне Тульской губернии, работая на фабрике своего помещика, не всегда получают заработную плату. Тотчас отправлен был фельдъегерь к тульскому губернатору Оленину привести это дело в порядок. Оленина я знал, и он сам рассказывал мне про это происшествие; он отправился в имение своего приятеля, приказал управляющему расплатиться с крестьянами, и оказалось, что недоимка за конторною была самая незначительная. Тульский губернатор донес императору, что крестьяне удовлетворены. Тем все и кончилось¹². Но происшествие это ужасно смутило помещиков.

В то же время беспрестанно доходили слухи об экзекуциях в разных губерниях. В Костромской, в имении Грибоедовой, матери сочинителя «Горе от ума», крестьяне, выведенные из терпения жестокостью управляющего и поборами выше сил их, вышли из повиновения. По именному повелению к ним была поставлена военная экзекуция и предоставлено было костромскому дворянству определить количество оброка в Костромской губернии, который был бы не отяготителен для крестьян. Костромское дворянство, как и всякое другое, не будучи врагом самому себе, донесло, что в их губернии 70 рублей с души можно полагать оброком самым умеренным. На их донесение не было ни от кого возражений, тогда как всем было известно, что в Костромской губернии ни одно имение не платило такого огромного оброка.

Еще в 15 году император принялся со страстью за устройство дорог и украшение городов и селений, но

дороги эти так были устроены, что в последнее десятилетие его царствования ни по одной из них в скверную погоду не было проезда. В 18 году, уезжая из Москвы, он назначил князя Хованского витебским генерал-губернатором и приказал ему отправиться в Ярославль поучиться у тамошнего губернатора Безобразова, как устраивать большие дороги. Император остался очень доволен дорогой в Ярославской губернии, проехавши по ней в самую сухую погоду; но Хованскому пришлось ехать по этой дороге в проливные дожди, вязнуть во многих местах; он едва дотащился до Ярославля и обратно, а между тем на устройство этой дороги сошло по 10 рублей с ревизской души всей Ярославской губернии. Главнокомандующий 1-й армией Сакен был принужден оставить свою коляску, не доехав несколько верст до Москвы, и торжественно въехал в древнюю столицу верхом на лошади своего форейтора. Персидский посланник, проезжая Смоленской губернией, уверял, что и в самой Персии не существует таких скверных дорог, как в России. Проезжая через Черниговскую и Полтавскую губернии и бывши недоволен большими дорогами в этом крае, император объявил строгий выговор генерал-губернатору князю Репнину. Репнин извинялся тем, что в его губерниях неурожай и что он почел необходимым в этом году дать льготы крестьянам, не высылая их на большие дороги. «Что они дома сосут, то могут сосать и на больших дорогах», — был ответ императора. Он, очевидно, все более и более ожесточался против России.

Между тем устройство больших дорог, по которым не было проезда, было повсеместно разорительно для крестьян; их сгоняли, и иногда очень издалека, на какой-нибудь месяц времени. Они должны были глубоко взрыть дорогу по бокам, взрытую землю переметать на середину и все утоптать, потом выкопать по сторонам дороги канавы, обложить их дерном и окончательно посадить в два ряда березки, которые, впрочем, очень часто втыкали в землю без корней перед самым проездом царя. Украшение города и селений состояло в том, что для приезда царя в городах заставляли хозяев с уличной стороны обивать тесом свои лачуги и красили все крыши как и чем попало. В селениях же городили палисадники из мелкого тына перед избами, а мстами, как я видел это в Тульской губернии, избы

были вымазаны белой глиной, и все это забавляло императора.

С отбытием гвардии в 18 году еще осталось в Москве человек 30, большей частью завербованных Александром Муравьевым. Бывши в отставке, мне было необходимо в том же году побывать в С.-Петербурге. Оба — Фонвизин и Михайло Муравьев — дали мне письмо к Никите Муравьеву и поручили переговорить с ним и с другими о делах Общества. По приезде моем в Петербург Никита, который в это время был в отставке и усердно занимался делами Тайного общества, познакомил меня с Пестелем. При первом же знакомстве мы поспорили с ним часа два.

Пестель всегда говорил умно и упорно защищал свое мнение, в истину которого он всегда верил, как обыкновенно верят в математическую истину; он никогда и ничем не увлекался. Может быть, в этом-то и заключалась причина, почему из всех нас он один в течение почти 10 лет, не ослабевая ни на одну минуту, усердно трудился над делом Тайного общества. Один раз доказав себе, что Тайное общество верный способ для достижения желаемой цели, он с ним слил свое существование.

На другой день моего приезда в Петербург Никита стал меня уговаривать, чтобы я присоединился опять к Тайному обществу, доказывая мне, что теперь не существует более причины, меня от них удалившей, что в уставе Союза благоденствия совершенно определен мерный ход Общества¹³, прибавив, что Пестель и другие находят очень странным, что я привожу поручения от московских членов и знаю все, что делается в Тайном обществе, не принадлежа к нему. После таких доводов мне оставалось только согласиться на предложение Никиты, и я подписал записку, не читая ее; я знал, что она будет сожжена. После этого я был приглашен на совещание. Князь Лопухин, впоследствии начальник уланской дивизии при гренадерском корпусе, Петр Колошин, князь Шаховской и многие другие собрались у Никиты.

Сама формальность этого совещания давала ему вид плохой комедии. В Москве, когда собирались члены Военного общества, они собирались для того, чтобы познакомиться и сблизиться друг с другом; всякий говорил свободно о предметах, занимавших всех и каж-

дого из них. Тут же в продолжение всего совещания рассуждали о составлении самой заклинательной присяги для вступающих в Союз благоденствия и о том, как приносить самую присягу, над Евангелием или над шпагой вступающие должны присягать. Все это было до крайности смешно. Но Лопухин, Шаховской и почти все присутствующие были ревностные масоны, они привыкли в ложах разыгрывать бессмыслицу, несколько этим не смущаясь, и им желалось некоторый порядок масонских лож ввести в Союз благоденствия.

Менее нежели в два года своего существования Союз благоденствия достиг полного своего развития, и едва ли 18 и 19 годы не были самым цветущим его временем. Число членов значительно увеличилось; многие из принадлежащих Военному обществу поступили в Союз благоденствия, в том числе оба Перовских; поступили в него также Ил. Бибилов, теперешний литовский генерал-губернатор, и Кавелин, бывший с[анкт]-петербургский военный генерал-губернатор.

Во всех полках было много молодежи, принадлежащей к Тайному обществу. Бурцов, перед отъездом своим в Тульчин, принял Пушина, Оболенского¹⁴, Нарышкина, Лорера и многих других. В это время главные члены Союза благоденствия вполне ценили предоставленный им способ действия посредством слова истины, они верили в его силу и орудовали им успешно. Влияние их в Петербурге было очевидно. В Семеновском полку палка почти совсем уже была выведена из употребления. В других полках ротные командиры нашли возможность без нее обходиться. Про жестокости, какие бывали прежде, слышно было очень редко. Прежде похода за границу в Семеновском полку, в котором круг офицеров почитался тогда лучшим во всей гвардии, когда собирались некоторые из баталионных и ротных командиров, между ними бывали прения о том, как полезнее наказывать солдат: понемногу, но часто или редко, но метко, и я очень помню, что командир 2-го баталиона барон Дамма, впоследствии бывший во Франции при Карле X министром иностранных дел, был такого мнения, что должно наказывать редко, но вместе с тем никогда не давать солдату менее 200 палок, и надо заметить, что такие жестокие наказания употреблялись не за одно дурное поведение, но и иногда за самый ничтожный проступок по службе и даже за какой-нибудь промах во

фрунте. Многие притеснительные постановления правительства, особенно военные поселения, явно порицались членами Союза благоденствия, через что во всех кругах петербургского общества стало проявляться общественное мнение: уже не довольствовались, как прежде, рассказами о выходах во дворце и разводах в манеже. Многие стали рассуждать, что вокруг их делалось.

В 19 году, поехав из Москвы повидаться с свонми, я заехал в смоленское свое имение. Крестьяне, собравшись, стали просить меня, что так как я не служу и ничего не делаю, то мне бы приехать пожить с ними, и уверяли, что я буду им уже тем полезен, что при мне будут менее притеснять их. Я убедился, что в словах их много правды, и переехал на житье в деревню. Соседи тотчас прислали поздравить с приездом, обещая каждый скоро посетить меня; но я через посланных их просил перед ними извинения, что теперь никого из них не могу принять. Меня оставили в покое, но, разумеется, смотрели на меня как на чудака. Первым моим распоряжением было уменьшить наполовину господскую запашку. Имение было на барщине, и крестьяне были далеко не в удовлетворительном положении; многие побо-ры, отяготительные для них и приносившие мало пользы помещику, были отменены.

Вскоре по приезде моем в Жуково я пришел в столкновение с земской полицией. Мне пришли сказать, что в речке, текущей по моей земле и очень вздувшейся от дождей, утонул человек. Я в тот же день велел послать донесение о происшествии в Вяземский земский суд и приставить караул к утопленнику. Прошло дня три или четыре, земский суд не сделал никакого распоряжения по этому делу. В это время приехал ко мне из Москвы Фонвизин; мы пошли с ним гулять вдоль реки и были поражены зрелищем истинно ужасным. Утопший, привязанный за ногу к колу, вбитому в берег, плавал на воде; кожа на его лице и руках походила на мокрую сыромятину. Это было в июне, и смрад от мертвого тела далеко распространялся. Кроме караульного на берегу сидели старик и молодая женщина. Старик был отец, женщина — жена утопшего; оба они горько плакали и, увидев меня, бросились в ноги, прося позволения похоронить покойника.

И Фонвизин и я, мы были сильно взволнованы. Я приказал вытащить утопшего из воды и, взвалив на те-

легу, отвезти к его помещику Барышникову, живущему верст 10 от меня. Я написал к нему, что после моего донсения в земский суд о найденном утопленнике у меня в реке, не видя со стороны суда никакого распоряжения по этому делу и опасаясь, чтобы мертвое тело, которое начало уже разлагаться, не причинило заразы, я решился отправить его к нему, с тем чтобы он приказал его похоронить. Барышников, весьма богатый помещик, перепугался и первоначально без распоряжения земского суда не хотел принимать утопшего своего крестьянина, даже хотел отослать его назад на место, где он был найден; но потом, опасаясь ответственности, если мертвое тело, оставаясь долгое время непохороненным, причинит заразу, как я писал ему, велел наконец похоронить его. Я известил земский суд о моем распоряжении в его отсутствие, написал о том же смоленскому губернатору барону Ашу, пояснив ему, почему я так действовал в этом деле. Барон Аш, не пропускавший никакого случая, где можно было потеревить чиновников, избираемых дворянством, написал строгий выговор в Вяземский земский суд.

Чтобы сблизиться сколько возможно скорее с моими крестьянами, я всех их и во всякий час допускал до себя и по возможности удовлетворял их требования; скоро отучил я их кланяться мне в ноги и стоять передо мной без шапки, когда я сам был в шляпе. За проступки они не иначе наказывались, как по приговору всех домохозяев. Почва вообще в Смоленской губернии не плодотворна; при недостатке скота мои крестьяне не могли достаточно удобрять своих полей. Обыкновенные урожаи бывали очень скудны, так что собираемого хлеба едва доставало крестьянам на продовольствие и посев. Единственные их промыслы были зимою — извоз и добывание извести; и то и другое доставляло незначительную прибыль. С этими средствами они, конечно, не ходили по миру, но и нельзя было надеяться этими средствами улучшить их состояние, тем более что, привыкнув терпеть нужду и не имея надежды когда-нибудь с нею расстаться, они говорили, что всей работы никогда не переробишь, и потому трудились и на себя и на барина, никогда не напрягая сил своих.

Надо было придумать способ возбудить в них деятельность и поставить их в необходимость прилежно трудиться. Способ этот, по тогдашним моим понятиям, состоял в том, чтобы прежде всего поставить их в со-

вершенно независимое положение от помещика, и я написал прошение к министру внутренних дел Козодавлеву, в котором изъявил желание освободить своих крестьян и изложил условия, на которых желаю освободить их. Я предоставлял [в] совершенное и полное владение моим крестьянам их дома, скот, лошадей и все их имущество. Усадьбы и выгоны в том самом виде, как они находились тогда, оставались принадлежностью тех же деревень. За все это я не требовал от крестьян моих никакого возмездия. Остальную же всю землю я оставлял за собой, предполагая половину обрабатывать вольнонаемными людьми, а другую половину отдавать внаем своим крестьянам¹⁵.

Молодое же поколение, мне казалось, необходимо было прежде всего сколько-нибудь осмыслить и потом доставить им более верные средства добывать пропитание, нежели какие до сих пор имели отцы их. Для этого я на первый раз взял к себе 12 мальчиков и сам стал учить их грамоте, с тем чтобы после раздать их в Москве в учение разным мастерствам. Но набор мальчиков совершился не совсем с добровольного согласия крестьян; они сперва были уверены, что я беру их детей к себе в дворовые, и тем более это могло им казаться вероятным, что вся моя дворня состояла из одного человека, который был со мной в походе, и наемного отставного унтер-офицера. Скоро, однако ж, отцы и матери успокоились за своих детей, видя, что они учатся грамоте, всегда веселы и ходят в синих рубашках.

В это время заехал ко мне мой сосед Лимохин, чтобы поговорить об устройстве мельницы на реке, разделяющей наши владения. Не видя у меня никакой прислуги и заметя стоявших вдали мальчиков, он спросил: «Что они тут делают?» Я отвечал, что они учатся у меня грамоте. «И прекрасно,— возразил он,— поучите их петь и музыке, и вы, продавши их, выручите хорошие деньги». Такие понятия моего соседа, сами по себе отвратительные, между тогдашними помещиками были не диковинка. В нашем семействе был тогда пример.

Покойный дядя мой, после которого досталось мне Жуково, был моим опекуном; при небольшом состоянии были у него разные полубарские затеи, в том числе музыка и певчие. В то время, когда я был за границей, сблизившись в Орле с графом Каменским, сыном фельд-маршала, он продал ему 20 музыкантов из своего оркестра за 40 тысяч; в числе этих музыкантов были два

человека, принадлежавшие мне. Когда я был в 14 году в Орле и в первый раз увиделся с Каменским, граф очень любезно сказал мне, что он мой должник, что он заплатит мне 4000 за моих людей, и просил без замедления совершить на них купчую. Я стеснял его сиятельством, что он мне ничего не должен, потому что людей моих ни за что и никому не продам. На другой день оба они получили от меня отпускную.

Мальчики мои понемногу начали читать и писать, что очень забавляло их родителей. Желая привести в совершенную известность всю мою дачу, я каждый день с моими учениками ходил на съемку; они таскали за мной все нужные для этого принадлежности; скоро научились они таскать цепь и ставить колья по прямому направлению. Я показывал им, как наводить диоптр и насекать углы на планшете; все это их очень забавляло, и они с каждым днем становились смышленей.

Наконец, вяземский предводитель дворянства получил предписание из министерства внутренних дел потребовать от меня показание, на каких условиях я хочу сделать своих крестьян вольными хлебопашцами, и означить, сколько передаю я земли каждому из них; потом допросить крестьян моих, согласны ли они поступить в вольные хлебопашцы на предлагаемых мною условиях, словом, поступить совершенно по учреждению для крестьян, поступающих в вольные хлебопашцы, обнаруженному в 1803 году¹⁶, февраля 20-го. Из этого было очевидно, что в министерстве не обратили ни малейшего внимания на смысл моей просьбы. Осталось только мне ехать самому в Петербург и изустно объясниться с министром, но прежде мне хотелось знать, оценят ли крестьяне выгоду для себя условий, на которых я предполагал освободить их. Я собрал их и долго с ними толковал; они слушали меня со вниманием и наконец спросили: «Земля, которою мы теперь владеем, будет принадлежать нам или нет?» Я им отвечал, что земля будет принадлежать мне, но что они будут властны ее нанимать у меня. «Ну так, батюшка, оставайся все по-старому: мы ваши, а земля наша». Напрасно я старался им объяснить всю выгоду независимости, которую им доставит освобождение. Русский крестьянин не допускает возможности, чтобы у него не было хоть клочка земли, которую он пахал бы для себя собственно. Надеюсь, что мои крестьяне со временем примирятся с условия-

ми, на которых я предположил освободить их в начале 20 года, я отправился в Петербург.

В два года моего отсутствия число членов Союза благоденствия очень возросло; правда, что многие из прежних членов охладели, почти совсем отдалились от Общества; зато другие жаловались, что Тайное общество ничего не делает; по их понятиям, создать в Петербурге общественное мнение и руководить им была вещь ничтожная; им хотелось бы от Общества теперь уже более решительных приготовительных мер для будущих действий. Словом, Союз благоденствия в прежнем своем виде более уже не существовал. По несколько раз в неделю собирались члены Тайного общества к Никите Муравьеву. В это время я познакомился со многими из них. Самые из них значительные и ревностные по делу Общества, кроме Никиты и Николая Тургенева, — Ф. Н. Глинка, два брата Шиповы (старший — впоследствии командир Новосеменовского полка), граф Толстой, известный наш медальер, Ил. Долгорукий и многие другие.

Вместе с Никитою мы заезжали к Ил. Долгорукому, который был болен и не выходил из комнаты. Он был блюстителем Союза благоденствия. Служа при Аракчееве и имея возможность знать многие тайные распоряжения правительства и извещать о них своих товарищей, он тем самым был полезен Тайному обществу. В это время вообще он служил ему усердно.

Во всех членах Союза благоденствия проявлялось какое-то ожесточение против царствующего императора; и в самом деле, он с каждым днем становился мрачнее и все более и более отчуждался от России. Граф Аракчеев уже явно управлял государством. Члены Государственного совета и министры относились к нему по повелению императора в большей части случаев, где требовалось высочайшее разрешение. Аракчеев жил иногда в своем знаменитом Грузине, в Новгородской губернии, и члены совета, и министры, и все сановники отправлялись к нему туда.

По делу об освобождении моих крестьян я обратился к Николаю Тургеневу; он дал мне письмо к Джульковскому, директору департамента, в котором было мое дело. Джульковский принял меня в департаменте и толковал со мной часа два, сначала, было, с важностью пожилого человека, который много видел и много знает и потому имеет право читать поучения молодому, не-

опытному человеку; но потом он из слов моих убедился, что условия, на которых я предполагал освободить крестьян моих, не были мне внушены какой-нибудь мимолетной мыслью, но были мной совершенно обдуманы. Я спросил Джульковского, много с 1803 года освобождено крестьян по учреждению о вольных хлебопашцах. Он отвечал мне: 30 000, в том числе 20 000 князя Голицына, известного мота в Москве, проигравшего жену свою графу Разумовскому. Крестьяне Голицына откупались, заплатив долги его. Незначительное это число освободившихся крестьян в продолжение каких-нибудь 15 лет было лучшим доказательством, что на существующее учреждение о вольных хлебопашцах нельзя было рассчитывать как на средство для уничтожения крепостного состояния в России. Джульковский бывал за границей, имел воззрения человека европейского, и потому освобождение крестьян, которым не предоставлялось земли в их собственность, нисколько не возмущало его. Наконец он, пожав мне руку, сказал, что в предлагаемом мной способе освобождения много есть дельного, но что теперешний министр граф Кочубей в этом случае не согласится отступить на волос от учреждений 1803 года, составленных им самим во время первого его министерства¹⁷. Но я все-таки хотел увидаться с министром, хотя и мало надеялся, чтоб через свидание с ним дело мое кончилось успешно. В продолжение целой недели я ходил ежедневно к министру и никак не мог добиться его лицезрения; наконец я забрался к нему с утра и решил дожидаться, пока он выйдет из своего кабинета. Напрасно дежурный чиновник уверял меня, что сегодня граф никого не принимает; я остался неподвижным на своем стуле. В этот день министр занимался с своими директорами проектом об изменении формы мундира для его министерства.

Часа в 3 пополудни дверь кабинета растворилась и министр, подошед ко мне, сказал: «Что вам угодно?» Я вкратце объяснил ему мое дело. Между прочими возражениями он сказал мне: «Я нисколько не сомневаюсь в добросовестности ваших намерений; но если допустить способ, вами предлагаемый, то другие могут воспользоваться им, чтобы избавиться от обязанностей относительно своих крестьян». На это я осмелился заметить его сиятельству, что это не совсем правдоподобно по той причине, что каждый помещик имеет возможность очень выгодно избавиться от своих крестьян,

продавши их на вывод. Окончательно министр сказал мне: «Впрочем, дело ваше в наших руках, и мы дали ему надлежащий ход».

Итак, хлопоты мои в Петербурге по освобождению крестьян кончились ничем. В это время вообще в Петербурге много толковали о крепостном состоянии. Даже в Государственном совете рассуждали о непристойности, с какою продаются люди в России. Вследствие чего объявления в газетах о продаже людей заменились другими; прежде печаталось прямо: такой-то крепостной человек или такая-то крепостная девка продаются; теперь стали печатать: такой-то крепостной человек или такая-то крепостная девка отпускаются в услужение, что значило, что тот и другая продавались.

На возвратном пути я прожил некоторое время в Москве с Фонвизиним и Граббе; последний был переведен с своим Лубенским полком в мое соседство в Дорогобуж. Фонвизин был произведен в генералы. Летом в 19 году он перешел с своим 38-м егерским полком во 2-ю армию, для того чтобы № 38 соединить с № 37. В этом году все егерские полки были в движении.

Фонвизин, ехавши во 2-ю армию сдавать полк, заехал ко мне в Жуково, от меня мы поехали к Граббе в Дорогобуж и познакомились с отставным генералом Пассеком, который пригласил нас в свое имение недалеко от Ельны. Он недавно возвратился из-за границы и жестоко порицал все мерзости, встречавшиеся на всяком шагу в России, в том числе и крепостное состояние. Имение его было прекрасно устроено, и со своими крестьянами он обходился человеколюбиво, но ему все-таки хотелось как можно скорее уехать за границу.

По возвращении моем из Петербурга существование мое в Жукове стало как-то мрачно. Я уже не имел надежды освободить моих крестьян на тех условиях, которые тогда казались мне наиболее удобными для общего освобождения крестьян в России. Впрочем, вскоре потом я убедился, что освобождать крестьян, не предоставив в их владение достаточного количества земли, было бы только вполнину обеспечить их независимость. Распределение поземельной собственности между крестьянами и общинное владение ею составляют у нас основные начала, из которых со временем должно развиться все гражданское устройство нашего государства. Благомыслящие люди, или, как называли их, ли-

бералы, того времени более всего желали уничтожения крепостного состояния и, при европейском своем воззрении на этот предмет, были уверены, что человек, никому лично не принадлежащий, уже свободен, хотя и не имеет никакой собственности.

Ужасное положение пролетариев в Европе тогда еще не развилось в таком огромном размере, как теперь, и потому возникшие вопросы по этому предмету уже впоследствии тогда не тревожили даже самых образованных и благонамеренных людей. Крепостное же состояние у нас обозначалось на каждом шагу отвратительными своими последствиями. Беспреданно доходили до меня слухи о неистовых поступках помещиков, моих соседей. Ближайший из них — Жигалов, имевший всего 60 душ, разъезжал в коляске и имел огромную стаю гончих и борзых собак; зато крестьяне его умирали почти с голоду и часто, ушедши тайком с полевой работы, приходили ко мне и моим крестьянам просить милостыню. Однажды к этому Жигалову приехал Лимохин и проиграл ему в карты свою коляску, четверо лошадей и бывших с ним кучера, форейтора и лакея; стали играть на горничную девку, и Лимохин отыгрался.

В имении Анненкова, верстах в трех от меня, управляющий придумывал ежегодно какой-нибудь новый способ вымогательства с крестьян. Однажды он объявил им, что барыня их, живущая в курском своем имении, приказала прислать к себе несколько взрослых девок для обучения их коверному искусству; разумеется, крестьяне, чтобы откупиться от такого налога, заплатили все, что только могли заплатить. У богача Барышниковца при полевых работах разъезжали управитель, бурмистр и старосты и поощряли народ к деятельности плетью.

Проезжая однажды зимою по Рославльскому уезду, я заехал на постоялый двор. Изба была набита народом, совершенно оборванным, иные даже не имели ни рукавиц, ни шапки! Их было более 100 человек, и они шли на винокурный завод, отстоящий верст 150 от места их жительства. Помещик, которому они принадлежали, Фонтон де Варайон отдал их на всю зиму в работу на завод и получил за это вперед условленную плату. Сверх того помещик, которому принадлежал завод, обязался прокормить крестьян Фонтонца в продолжение зимы.

Такого рода сделки были очень обыкновенны. Во время построения Нижегородской ярмарки принц Александр Виртембергский отправил туда в работу из Витебской губернии множество своих нищих крестьян, не плативших ему оброка. Партии этих людей сотнями и в самом жалком положении проходили мимо Жукова.

Все это вместе было несколько не утешительно. К тому же не было дня, в котором я бы мог быть уверен, что у меня не случится столкновения с земской полицией. Ежегодно требовались люди на большие дороги на какой-нибудь месяц, а иногда на два; они там оставались в совершенном распоряжении заседателя, и всякий раз надо было хлопотать, чтобы он не оставил там людей долее, чем это было нужно. Очень часто требовались подводы под проходившие военные команды. В первый раз я приказал подводчикам не давать квитанций заседателю, не получив от него следуемых прогонов; люди мои пробыли пять дней в отлучке и возвратились, не получив ни копейки. Так как пригнано было подвод несравненно более, нежели требовалось, то заседатель, продержав людей моих три дня, отпустил ни с чем. Требовались также иногда лошади на станциях больших дорог под проезд значительных лиц. Ежели в предписании министра велено выставить 20 лошадей, то в предписании генерал-губернатора требовалось 30, в предписании губернатора 40, а земский суд требовал уже 60 лошадей. Кончилось тем, что во всех подобных случаях я совсем не исполнял предписаний земской полиции, очень зная, что тем самым на каждом шагу подвергался ответственности перед начальством.

Фонвизин в 20 году, возвращаясь из Одессы в Москву, известил меня, что он заедет к Левашевым, верст за 200 от меня, и будет у них меня дожидаться. Я приехал в назначенный срок к Левашевым. Через несколько дней явился ко мне нарочный из Жукова с известием, что там полевые работы прекращены и все крестьяне в ужасной тревоге. Во время моего отсутствия земский заседатель, проезжая через Жуково и узнавши от старосты, который говорил с ним в шляпе, что меня нет дома и что я не скоро возвращусь, бросился на старосту и избил его до полусмерти, потом отправился к работавшим в поле крестьянам и под предлогом, что за ними есть недоимочный рекрут, старался схватить кого-нибудь из них. Заседатель увязался за одним молодым парнем, схватил его и увез в Вязьму. За мной не бывало никакой

недоимки, и в последний набор я представил рекрутскую квитанцию за моих крестьян. Происшествие в Жукове всех нас чрезвычайно потревожило, и я тотчас же вместе с Фонвизиным отправился в Смоленск. Фонвизин был знаком с губернатором бароном Ашем, объяснил ему все дело, и барон Аш приказал крестьянина моего отпустить домой, а заседателя, наделавшего столько тревоги, отдать под суд.

Фонвизин проводил меня до Жукова. Тут народ был в отчаянном положении и почти не работал. Все это вместе меня ужасно смутило, и я совершенно растерялся. Чтобы за один раз прекратить все беспорядки в России, я придумал средство, которое в эту минуту казалось мне вдохновением, а в самой сущности оно было чистый сумбур. Ночью, пока Фонвизин спал, я написал адрес к императору, который должны были подписать все члены Союза благоденствия. В этом адресе излагались все бедствия России, для прекращения которых мы предлагали императору созвать Земскую думу по примеру своих предков. Поутру я прочитал свое сочинение Фонвизину, и он, быв под одним настроением духа со мной, согласился подписать адрес. В тот же день мы с ним отправились в Дорогобуж к Граббе. К счастью, Граббе был благоразумнее нас обоих; не отказываясь вместе с другими подписать адрес, он нам ясно доказал, что этим поступком за один раз уничтожалось Тайное общество и что это все вело нас прямо в крепость. Бумага, мной написанная, была уничтожена. После чего долго мы рассуждали о горестном положении России и средствах, которые бы могли спасти ее.

Союз благоденствия, казалось нам, дремал. По собственному своему образованию он слишком был ограничен в своих действиях. Решено было к 1 января 21 года пригласить в Москву депутатов из Петербурга и Тульчина для того, чтобы на общих совещаниях рассмотрели дела Тайного общества и приискали средства для большей его деятельности. Фонвизин с братом должны были отправиться в Петербург, мне же пришлось ехать в Тульчин. Фонвизин, незадолго перед тем бывши в Тульчине, познакомился со всеми тамошними членами и дал мне письма к некоторым из них. Он мне дал также письмо в Кишинев к Михайле Орлову. В Дорогобуже я добыл себе кое-как подорожную и пустился в путь.

Приехав в Тульчин, я тотчас явился к Бурцову; он от жида, у которого я остановился, перетащил меня к

себе; в тот же день я побывал у Пестеля и у Юшневского; последнего Фонвизин перевозносил как человека огромного ума. Тут случилось, как случается нередко, что одни добрые качества принимают за другие. Юшневский, генерал-интендант 2-й армии, был отлично добрый человек и честности редкой, но ума довольно ограниченного. С первого раза он поразил меня своими пошлостями. Чтобы пребыванием моим в Тульчине не подать подозрения властям, я ни у кого не бывал, кроме Пестеля, с которым был знаком прежде, и у Юшневского, к которому я привез письмо от Фонвизина; но я скоро познакомился с тульчинской молодежью; во время моего пребывания в Тульчине все почти члены перебывали у Бурцова.

В Тульчине члены Тайного общества, не опасаясь никакого особенного над собою надзора, свободно и почти ежедневно сообщались между собой и тем самым не давали ослабевать друг другу. Впрочем, было достаточно уже одного Пестеля, чтобы беспрестанно одушевлять всех тульчинских членов, между которыми в это время было что-то похожее на две партии: умеренные, под влиянием Бурцова, и, как говорили, крайние, под руководством Пестеля. Но эти партии были только мнимые. Бурцов, бывши уверен в превосходстве личных своих достоинств, не мог не чувствовать на каждом шагу превосходства Пестеля над собой и потому всеми силами старался составить против него оппозицию. Однако это не мешало ему по наружности оставаться в самых лучших отношениях с Пестелем.

Киселев, как умный человек и умеющий ценить людей, не мог не уважать всю эту молодежь и многих из них любил как людей, приближенных к себе. Всех он принимал у себя очень ласково и, кроме как по службе, никогда не был с ними начальником. Иногда у него за обедом при общем разговоре возникали политические вопросы, и если при этом Киселев понимал что-нибудь криво, ему со всех сторон возражали дельно, и он всякий раз принужден был согласиться с своими собеседниками ¹⁸.

После этого нетрудно себе представить, какое влияние имели тульчинские члены во всей 2-й армии. Никакого нет сомнения, что Киселев знал о существовании Тайного общества и смотрел на это сквозь пальцы. Впоследствии, когда попал под суд капитан Раевский, заведывавший школою взаимного обучения в дивизии Ми-

хайлы Орлова, и генерал Сабанеев отправил при донесении найденный у Раевского список всем тульчинским членам, они ожидали очень дурных для себя последствий по этому делу. Киселев призвал к себе Бурцова, который был у него старшим адъютантом, подал ему бумагу и приказал тотчас же по ней исполнить. Пришедши домой, Бурцов очень был удивлен, нашедши между листами данной ему бумаги список тульчинских членов, писанный Раевским и присланный Сабанеевым отдельно; Бурцов сжег список, и тем кончилось дело¹⁹.

В это время Пестель замышлял республику в России, писал свою «Русскую правду». Он мне читал из нее отрывки и, сколько помнится, об устройстве волостей и селений. Он был слишком умен, чтобы видеть в «Русской правде» будущую конституцию России. Своим сочинением он только приготавливался, как он сам говорил, правильно действовать в Земской думе и знать, когда придется, что о чем говорить. Некоторые отрывки из «Русской правды» он читал Киселеву, который ему однажды заметил, что царю своему он предоставляет уже слишком много власти. Под словом «царь» Пестель разумел исполнительную власть.

Наконец было назначено совещание у Пестеля, на котором я должен был объявить всем присутствующим о причине моего прибытия в Тульчин. Бурцов уверил меня, что если Пестель поедет в Москву, то он своими резкими мнениями и своим упорством испортит там все дело, и просил меня никак не приглашать Пестеля в Москву. На совещании я предложил тульчинским членам послать от себя доверенных в Москву, которые там занялись бы вместе с другими определением всех нужных изменений в уставе Союза благоденствия, а может быть, и в уставе самого Общества²⁰. Бурцов и Комаров просились в отпуск и по собственным делам своим должны были пробыть некоторое время в Москве. Пестелю очень хотелось приехать на съезд в Москву, но многие уверяли его, что так как два депутата их уже будут на этом съезде, то его присутствие там не необходимо, и что, просившись в отпуск в Москву, где все знают, что у него нет ни родных и никакого особенного дела, он может навлечь подозрение тульчинского начальства, а может быть, и подозрение московской полиции. Пестель согласился не ехать в Москву.

В Тульчине полковник Аврамов дал мне из дежурства подорожную по казенной надобности, и я с ней пу-

стился в Кишинев к Орлову с письмом от Фонвизина и поручением пригласить его на съезд в Москву. Я никогда не видал Орлова, но многие из моих знакомых превозносили его как человека высшего разряда по своим умственным способностям и другим превосходным качествам. Когда-то император Александр был высокого о нем мнения и пробовал употребить его по дипломатической части. В 15 году, при отчуждении Норвегии от Дании, Орлов был послан с тем, чтобы убедить норвежцев совершенно присоединиться к Швеции и иметь с ней вместе один сейм. Но Орлов сблизился с тамошними либералами и действовал несогласно с данными ему предписаниями. Норвегия, присоединенная к Швеции, но имея свое собственное представительство, осталась во многих отношениях землею от нее отдельною.

Когда сделалось известным намерение императора Александра образовать отдельный Литовский корпус и, одевши его в польский мундир, дать ему литовские знамена, намерение это возмутило многих наших генералов, и они согласились между собой подать письменное представление императору, в котором они излагали весь вред, могущий произойти от образования отдельного Литовского корпуса, и умоляли императора не приводить в исполнение своего намерения, столь пагубного для России. В числе генералов, согласившихся подписать это представление, был генерал-адъютант Васильчиков, впоследствии начальник гвардейского корпуса. Он испугался собственной своей смелости и, пришедши к императору, с раскаянием просил у него прощения в том, что задумал против него недоброе, назвал своих сообщников и рассказал все дело, в котором главным побудителем был Орлов, написавший самое представление.

Государь потребовал к себе Орлова, напомнил прежнее к нему благоволение и спросил, как мог он решиться действовать против него. Орлов стал уверять императора в своей к нему преданности. Тут император рассказал подробно все дело, замышляемое генералами, и приказал Орлову принести к нему представление, писанное им от имени генералов. Орлов от всего отрекся, после чего император расстался навсегда с прежним своим любимцем.

Свидание это с императором рассказывал мне сам Орлов. Скоро после того он получил место начальника штаба при генерале Раевском, командующем 4-м кор-

пусом. В Киеве Орлов устроил едва ли не первые в России училища взаимного обучения для кантонистов. В Библейском обществе он произнес либеральную речь, которая ходила тогда у всех по рукам, и вообще приобрел себе в это время еще большую известность, нежели какой пользовался прежде. Каким-то случаем он потерял место начальника штаба, но вскоре потом Киселев, который был с ним дружен, выпросил для него у императора дивизию во 2-й армии. Командуя этой дивизией, он жил в Кишиневе, где опять завел очень полезные училища для солдат и поручил их надзору капитана Раевского, члена Тайного общества и совершенно ему преданного. К несчастью, Раевский, в надежде на покровительство Орлова, слишком решительно действовал и впоследствии попал под суд. Сам же Орлов беспрестанно отдавал самые либеральные приказы по дивизии ²¹.

Я с любопытством ожидал свидания с Орловым и встретился с ним, не доехав до Кишинева. С ним был адъютант его Охотников, славный малый и совершенно преданный Тайному обществу; я давно был знаком с ним. Прочитавши письмо Фонвизина, Орлов обошелся со мной, как со старым знакомым, и тут же предложил сесть к себе в дормез, а Охотников сел на мою перекладную тележку; потом мы с ним через станцию менялись местами в дормезе ²². Орлов с первого раза весь высказался передо мной. Наружности он был прекрасной и вместе с тем человек образованный, отменно добрый и кроткий; обхождение его было истинно увлекательное, и потому, познакомившись с ним, не было возможности не полюбить его; но, бывши человеком неглупым, в суждениях своих ему редко удавалось попасть на истину. Он почти всегда становился к ней боком, вследствие чего в разговорах, в которых обсуживался какой-нибудь не совсем пошлый предмет, он почти никогда не подвизался с успехом; зато по своей доброте и кротости никогда не обижался даже и самыми колкими против себя возражениями. На убеждения мои приехать в Москву он отвечал, что пока наверное общаться не может, и с своей стороны приглашал меня ехать с ним к Давыдову в Киевскую губернию. Узнавши, что у Давыдова, с которым я не был знаком, соберется много гостей к 24 ноября, на именины его матери, и избегавши гостиных во всю мою жизнь, такое приглашение было не совсем приятно для меня; но когда мы

на станции сошлись с Охотниковым, он взял меня в сторону и просил меня убедительно ехать с ними вместе, уверяя меня, что в это время мне удастся уговорить Орлова, без чего было мало надежды, чтобы он приехал в Москву. Я решился ехать в Каменку к Давыдову.

Проезжая через Новый Миргород, мы заехали к полковнику Гревсу. Орлов был знаком с ним, когда они еще вместе служили в кавалергардах. Гревс командовал одним из полков бугского поселения. За обедом он сказал с некоторою гордостью, что, командуя полком, он то же, что помещик, у которого 18 000 душ. Везде происходили неимоверные грабительства в военных поселениях. А Аракчееву на устройство их отпускались ежегодно десятки миллионов; теперь, по наружности, и бугские и чугуевские поселения были приведены в некоторый порядок. Сперва казаки, опираясь на свои права, означенные в грамотах, дарованных им прежними государями, не соглашались поступить в военные поселения. Аракчеев из Харькова распорядился этим делом. Посланный им генерал Салов наиболее непокорных загнал до смерти сквозь строй, а остальные смирились²³.

Приехав в Каменку, я полагал, что никого там не знаю, и был приятно удивлен, когда случившийся здесь А. С. Пушкин выбежал ко мне с распростертыми объятиями. Я познакомился с ним в последнюю мою поездку в Петербург у Петра Чаадаева, с которым он был дружен и к которому имел большое доверие. Василий Львович Давыдов, ревностный член Тайного общества, узнавши, что я от Орлова, принял меня более чем радушно. Он представил меня своей матери и своему брату генералу Раевскому как давнишнего короткого своего приятеля. С генералом был сын его полковник Александр Раевский. Через полчаса я был тут, как дома. Орлов, Охотников и я, мы пробыли у Давыдова целую неделю. Пушкин, приехавший из Кишинева, где в это время он был в изгнании, и полковник Раевский прогостили тут столько же.

Мы всякий день обедали внизу у старушки матери. После обеда собирались в огромной гостиной, где всякий мог с кем и о чем хотел беседовать. Жена Ал. Львовича Давыдова, которого Пушкин так удачно назвал «рогоносец величавый», урожденная графиня Грамон, впоследствии вышедшая замуж за генерала Себестиани, была со всеми очень любезна. У нее была премиленькая дочь, девочка лет 12. Пушкин вообразил себе, что он

в нее влюблен; беспрестанно на нее заглядывался и, подходя к ней, шутил с ней очень неловко. Однажды за обедом он сидел возле меня и, покрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бедная, не знала, что делать, и готова была заплакать; мне стало ее жалко, и я сказал Пушкину вполголоса: «Посмотрите, что вы делаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бедное дитя». — «Я хочу наказать кокетку, — отвечал он, — прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня». С большим трудом удалось мне обратить все это в шутку и заставить его улыбнуться.

В общежитии Пушкин был до чрезвычайности неловок и при своей раздражительности легко обижался каким-нибудь словом, в котором решительно не было для него ничего обидного. Иногда он корчил лихача, вероятно вспоминая Каверина и других своих друзей-гусаров в Царском Селе; при этом он рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и все вместе выходило как-то очень пошло. Зато заходил ли разговор о чем-нибудь дельном, Пушкин тотчас просветлялся. О произведениях словесности он судил верно и с особенным каким-то достоинством. Не говоря почти никогда о собственных своих сочинениях, он любил разбирать произведения современных поэтов и не только отдавал каждому из них справедливость, но и в каждом из них умел отыскать красоты, каких другие не заметили.

Я ему прочел его Noël: «Ура! в Россию скачет...», и он очень удивился, как я его знаю, а между тем все его напечатанные сочинения: «Деревня», «Кинжал», «Четырехстишие к Аракчееву», «Послание к Петру Чаадаеву» и много других были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть²⁴. Вообще Пушкин был отголосок своего поколения, со всеми его недостатками и со всеми добродетелями. И вот, может быть, почему он был поэт истинно народный, каких не бывало прежде в России.

Все вечера мы проводили на половине у Василия Львовича, и вечерние беседы наши для всех для нас были очень занимательны. Раевский, не принадлежа сам к Тайному обществу, но подозревая его существование, смотрел с напряженным любопытством на все происходящее вокруг него. Он не верил, что я случайно

заехал в Каменку; и ему хотелось знать причину моего прибытия. В последний вечер Орлов, В. Л. Давыдов, Охотников и я сговорились так действовать, чтобы сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы к Тайному обществу или нет. Для большего порядка при наших прениях был выбран президентом Раевский. С полусутольным и полужадным видом он управлял общим разговором. Когда начинали очень шуметь, он звонил в колокольчик; никто не имел права говорить, не просив у него на то дозволения, и т. д. В последний этот вечер пребывания нашего в Каменке, после многих рассуждений о разных предметах, Орлов предложил вопрос, насколько было бы полезно учреждение Тайного общества в России. Сам он высказал все, что можно было сказать за и против Тайного общества. В. Л. Давыдов и Охотников были согласны с мнением Орлова; Пушкин с жаром доказывал всю пользу, которую могло бы принести Тайное общество России. Тут, испросив слово у президента, я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование Тайного общества, которое могло бы быть хоть на сколько-нибудь полезно.

Раевский стал мне доказывать противное и исчислил все случаи, в которых Тайное общество могло бы действовать с успехом и пользой; в ответ на его выходку я ему сказал: «Мне не трудно доказать вам, что вы шутите; я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало Тайное общество, вы, наверное, к нему не присоединились бы?» — «Напротив, наверное бы присоединился», — отвечал он. — «В таком случае давайте руку», — сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: «Разумеется, все это только одна шутка».

Другие также смеялись, кроме А. Л., роконосца величавого, который дремал, и Пушкина, который был очень взволнован; он перед этим уверился, что Тайное общество или существует, или тут же получит свое начало и он будет его членом; но когда увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, покрасневшись, и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». В эту минуту он был точно прекрасен. В 27 году, когда он пришел проститься с А. Г. Муравьевой, ехавшей в Сибирь к своему му-

жу Никите, он сказал ей: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество; я не стоил этой чести»²⁵.

При прощании Орлов обещал мне непременно приехать в Москву. В первых числах января 21 года Граббе, Бурцов и я жили вместе у Фонвизиных. Скоро потом приехали в Москву из Петербурга Николай Тургенев и Федор Глинка, а потом из Киева Михайло Орлов с Охотниковым. Было решено Комарова не принимать на наше совещание²⁶; ему уже тогда не очень доверяли. На первом из этих совещаний были Орлов, Охотников, Н. Тургенев, Федор Глинка, два брата Фонвизины, Граббе, Бурцов и я. Орлов привез писанные условия, на которых он соглашался присоединиться к Тайному обществу. В этом сочинении, после многих фраз, он старался доказать, что Тайное общество должно решиться на самые крутые меры и для достижения своей цели даже прибегнуть к средствам, которые даже могут казаться преступными. Во-первых, он предлагал завести тайную типографию или литографию, посредством которой можно было бы печатать разные статьи против правительства и потом в большом количестве рассылать по всей России. Второе его предложение состояло в том, чтобы завести фабрику фальшивых ассигнаций, через что, по его мнению, Тайное общество с первого раза приобрело бы огромные средства и вместе с тем подрывался бы кредит правительства.

Когда он кончил чтение, все смотрели друг на друга с изумлением. Я наконец сказал ему, что он, вероятно, шутит, предлагая такие неистовые меры; но ему того-то и нужно было. Помолвленный на Раевской, в угодность ее родным он решился прекратить все сношения с членами Тайного общества; на возражения наши он сказал, что если мы не принимаем его предложений, то он никак не может принадлежать к нашему Тайному обществу²⁷. После чего он уехал и ни с кем из нас более не видался и только, уезжая уже из Москвы, в дорожной повозке заехал проститься с Фонвизиным и со мной. При прощании, показав на меня, он сказал: «Этот человек никогда мне не простит». В ответ я пародировал несколько строк из письма Брута к Цицерону²⁸ и сказал ему: «Если мы успеем, Михайло Федорович, мы порадуемся вместе с вами; если же не успеем, то без вас порадуемся одни». После чего он бросился меня обнимать.

На следующих совещаниях собрались те же члены, кроме Орлова. Для большего порядка выбран был председателем Н. Тургенев. Прежде всего было признано нужным изменить не только устав Союза благоденствия, но и самое устройство и самый состав Общества. Решено было объявить повсеместно, во всех управах, что так как в теперешних обстоятельствах малейшей неосторожностью можно было возбудить подозрение правительства, то Союз благоденствия прекращает свои действия навсегда. Этой мерой ненадежных членов удаляли из Общества. В новом уставе цель и средства для достижения ее должны были определиться с большей точностью, нежели они были определены в уставе Союза благоденствия, и поэтому можно было надеяться, что члены, в ревностном содействии которых нельзя было сомневаться, соединившись вместе, составят одно целое и, действуя единодушно, придадут новые силы Тайному обществу.

Затем приступили к сочинению нового устава; он разделялся на две части: в первой для вступающих предлагались те же филантропические цели, как в «Зеленой книге». Редакцией этой части занялся Бурцов. Вторую часть написал Н. Тургенев для членов высшего разряда. В этой второй части устава уже прямо было сказано, что цель Общества состоит в том, чтобы ограничить самодержавие в России, а чтобы приобрести для этого средства, признавалось необходимым действовать на войска и приготовить их на всякий случай. На первый раз положено было учредить четыре главные думы: одну в Петербурге под руководством Н. Тургенева, другую в Москве, которую поручили Ив. Алекс. Фонвизину, третью я должен был образовать в Смоленской губернии, четвертую брался Бурцов привести в порядок в Тульчине. Он уверял, что по приезде в Тульчин он первоначально объявит об уничтожении Союза благоденствия, но что вслед за тем известит всех членов, кроме приверженцев Пестеля, о существовании нового устава и что они все к нему присоединятся под его руководством.

Устав был подписан всеми присутствующими членами на совещаниях и Мих. Муравьевым, который приехал в Москву уже к самому концу наших заседаний. Обе части нового устава были переписаны в четырех экземплярах: один для Тургенева, другой для И. А. Фонвизина, третий для меня, четвертый для Бурцова. Но

еще при самых первых наших совещаниях были приглашены на одно из них все члены, бывшие тогда в Москве. На этом общем совещании были князь Сергей Волконский, Н. Комаров, Петр Колошин и многие другие. Тургенев, как наш президент, объявил всем присутствующим, что Союз благоденствия более не существует, и изложил перед нами причины его уничтожения²⁹.

Тургенев, приехавши в Петербург, объявил, что члены, бывшие на съезде в Москве, нашли необходимым прекратить действия Союза благоденствия, и потом одному только Никите Муравьеву прочел новый устав Общества, после чего из предосторожности он положил его в бутылку и засыпал табаком. Из петербургских членов деятельностью Никиты Муравьева образовалось новое Общество. Скоро потом труды по Обществу разделили с Никитою полковник князь Трубецкой и адъютант Бистрома князь Оболенский; Николай же Тургенев первое время по приезде своем в Петербург мало принимал участия в делах нового Тайного общества, хотя и не прекращал сношений со многими из членов. Непонятно, как в своем сочинении о России он мог решиться отвергать существование Тайного общества и потом отрекаться от участия, которое он принимал в нем как действительный член на съезде в Москве и после на многих совещаниях в Петербурге.

В Москве, когда разъехались приезжие члены, остались только два брата Фонвизиных; в Смоленской губернии я был один, если не считать Граббе, который со своим полком мог быть всегда переведен оттуда. Правда, мне поручено было принять Пассека и Петра Чаадаева при первом свидании с ними. Когда Чаадаев приехал в Москву, я предложил ему вступить в наше Общество; он на это согласился, но сказал мне, что напрасно я не принял его прежде, тогда он не вышел бы в отставку и постарался бы попасть в адъютанты к великому князю Николаю Павловичу, который, очень может быть, покровительствовал бы под рукой Тайное общество, если бы ему внушить, что это Общество может быть для него опорой в случае восшествия на престол старшего брата.

Бурцов по приезде своем в Тульчин, объявил на общем совещании о несуществовании Тайного общества. Все присутствующие члены напали на него и на членов, бывших на съезде в Москве, доказывая очень справедливо, что восемь человек не имели никакого права

уничтожить целое Тайное общество. Они тут же дали друг другу обещание никак не прекращать своих действий. Бурцов остался один и совершенно в стороне; он даже никому не показал нового устава и с тех пор прекратил все свои сношения с товарищами по Обществу.

Из тульчинских членов, под руководством Пестеля, образовалось новое Общество, которого уже явная цель была изменение образа правления в России, и с этого времени они назывались южными, в отличие от петербургских, которые назывались северные.

В 20 году в Смоленской губернии был повсеместный неурожай, и в начале 21 года везде нуждались, а в Рославльском уезде, вместо хлеба, ели сосновую кору и положительно умирали с голоду. Михайло Муравьев, рославльский помещик, бывши свидетелем крайней нужды, претерпеваемой в его уезде, хлопотал в Москве о средствах помочь бедным людям. Теща его, Н. Н. Шереметева, собрала ему в несколько дней пожертвований от разных лиц до 15 000. Дмитрий Давыдов, первый наш сахаровар, принимавший участие во всех увеселениях Москвы, на одном бале возбудил сострадание к умирающим от голоду знакомых ему дам; каждая из них тут же отдала ему в пользу бедных или турецкую свою шаль (Вяземская), или браслет, или серьги и т. д. Разумеется, что мужья их откупили вещи, пожертвованные их женами, и внесли за них деньги, которых набралось около 6000; потом при других еще пожертвованиях составилось около 30 000 для вспомоществования бедным в Рославльском уезде.

И. А. Фонвизин, коротко знакомый с князем Голицыным, московским генерал-губернатором, и много им уважаемый, отправился к нему и рассказал о бедствиях в Рославльском уезде и о бездействии тамошнего начальства. Голицын ничего про это не знал. Бывши сам человек очень добрый, он принял в этом деле живое участие и обещал от себя донести правительству, но советовал Фонвизину прежде съездить в Рославль и привезти ему оттуда подробные сведения, на которых он мог бы основаться в своем донесении. Фонвизин и я, мы отправились в Рославль; М. Муравьев уже был там.

При въезде нашем в этот уезд беспрестанно попадались нам люди, совершенно изможденные, и что многие из них умирали от нужды, в этом не было никакого сомнения. Нищие со всех сторон шли в город; каж-

дый из них надеялся получить от городских жителей хоть небольшой кусок хлеба. Чтобы определить имена помещиков, между крестьянами которых наиболее было нищих, Фонвизин и я, мы расположились на постоялом дворе с целым мешком медных денег. Все нищие входили к нам свободно; каждому из них я давал пятак и спрашивал его имя, название его деревни и какому помещику он принадлежит: Фонвизин все это записывал. Таким образом, составилась список, из которого уже можно было видеть приблизительно, в каких селениях и чьих помещиков крестьяне наиболее нуждались.

Потом мы поехали к М. Муравьеву и нашли у него Левашевых и дядю его Тютчева. Ни Левашев, ни Тютчев не были членами Тайного общества, но действовали совершенно в его смысле. Левашевы жили уединенно в деревне, занимались воспитанием своих детей и улучшением своих крестьян, входя в положение каждого из них и помогая им по возможности. У них были заведены училища для крестьянских мальчиков по порядку взаимного обучения. В это время таких людей, как Левашевы и Тютчев, действующих в смысле Тайного общества и сами того не подозревая, было много в России.

Муравьев, Левашевы и Тютчев, зная своих соседей, и при помощи привезенного нами списка из Рославля могли определить, в каких местах наиболее нуждались в пособии. Они распорядились покупкою хлеба на пожертвованные деньги и раздачей его. В это время цены в Москве на хлеб необычайно возвысились: четверть ржи стоила до 25 руб., и на 30 000 руб., которые были в нашем распоряжении, можно было купить не более как 1300 четвертей, количество незначительное в отношении с количеством нуждающихся во всем уезде, и между тем не предвиделось никаких средств прокормить народ до следующей жатвы; но и будущая жатва не обещала ничего утешительного: за недостатком зернового хлеба большая часть крестьянских полей осталась незасеянной.

В этом случае Михайло Муравьев предпринял решительную меру. Он созвал в Рославль своих знакомых и многих незнакомых помещиков и предложил им подписать бумагу к министру внутренних дел, в которой рославльские дворяне доводили до сведения его о бедственном положении своего края. Бумага эта за подписью нескольких десятков рославльских дворян пошла к ми-

нистру мимо уездного предводителя, который из опасения прогневать начальство не хотел подписаться вместе с дворянами своего уезда, мимо губернского предводителя и мимо губернатора, зато она произвела сильное впечатление в Петербурге.

Тотчас был отправлен в Смоленск сенатор Мертваго, и в его распоряжение было назначено миллион рублей. Он считался одним из лучших московских сенаторов, но в Смоленске он проводил время или во сне, или на обедах, или за картами, исподволь собирая сведения о наиболее нуждающихся в пособиях. Видеть этого дремлющего старика, когда все около него страдало, было отвратительно.

Возвратясь в Жуково, я заехал к Пассеку и принял его в члены нашего Тайного общества. Он был этим чрезвычайно доволен; когда он бывал с Граббе, Фонвизиним и со мной, он замечал, что у нас есть какая-то от него тайна, и ему было очень неловко. Он всегда был добр до своих крестьян, но с этих пор он посвятил им все свое существование, и все его старания клонились к тому, чтобы упрочить их благосостояние. Он завел в своем имении прекрасные училища, по порядку взаимного обучения, и набрал в него взрослых ребят, предоставляя за них тем домам, к которым они принадлежали, разные выгоды. Читать мальчики учились по книжке «О правах и обязанностях гражданина», изданной при императрице Екатерине и запрещенной в последние годы царствования императора Александра. Курс ученья оканчивался тем, что мальчики переписывали каждый для себя в тетрадку и выучивали наизусть учреждения, написанные Пассеком для своих крестьян.

В этих учреждениях между прочими правами предоставлены были в их собственное распоряжение отдача рекрут и все мирские сборы. Они имели свой суд и расправу. По воскресеньям избранные от мира старики собирались в конторе и разбирали тяжбы между крестьянами. Однажды Пассек за грубость послал своего камердинера с жалобой на него к старикам, и они присудили его заплатить два рубля в общественный сбор. Камердинер же этот получал от своего барина 300 рублей в год. Пассек в этом случае остался очень доволен и стариками и собой. Он вообще двадцатью годами предупредил некоторые учреждения государственных имуществ. Бывши сам уже не первой молодости и желая насладиться успехом в деле, которое было

близко его сердцу, он употреблял усиленные меры для улучшения своих крестьян и истратил на них в несколько лет десятки тысяч, которые он имел в ломбарде; зато уже при нем в имении было много грамотных крестьян, и состояние их до невероятности улучшилось. Но крепостное состояние в этом деле все испортило. Теперь это имение принадлежит племянникам Пассека, и очень вероятно, что ни одно из благих его учреждений уже более не существует.

Осенью в 20 году было в Петербурге происшествие Семеновского полка. Император Александр в это время находился на съезде в Лейбахе и узнал от Меттерниха, что любимый его полк взбунтовался; известие его сильно поразило. Семеновский полк был расформирован, и нижние чины были развезены по разным крепостям Финляндии; потом многие из них были прогнаны сквозь строй, другие биты кнутом и сосланы на каторжную работу, остальные посланы служить без отставки: первый батальон — в сибирские гарнизоны, второй и третий размещены по разным армейским полкам³⁰. Офицеры же следующими чинами все были выписаны в армию с запрещением давать им отпуска и принимать от них просьбу в отставку; запрещено было также представлять их к какой бы то ни было награде. Четверо из них, Вадковский, Кошкаров, Ермолаев и князь Щербатов, были отданы под суд; при этом надеялись узнать от них что-нибудь положительное о существовании Тайного общества.

На Щербатова падало более подозрений, нежели на других, по связи его со мной и короткому знакомству с лицами, подозреваемыми правительством. Он был приговорен к лишению всех прав состояния и к разжалованию в солдаты; но ему обещали совершенное прощение, если он сообщит какие-нибудь сведения о существовании Тайного общества. Сам он не принадлежал к нему; выдаясь же беспрестанно со мной, он знал многое, но наша тайна была для него священна, и он решил лучше быть невинной жертвой, нежели поступить предательски. На все задаваемые ему вопросы о Тайном обществе он отвечал, что ничего не знает. При вступлении на престол ныне царствующего императора приговор суда над Щербатовым был исполнен, и он был послан на Кавказ солдатом.

После семеновской истории император Александр поступил совершенно под влияние Меттерниха, перешел

от народов, прежде усердно им защищаемых, на сторону властей, и во всех случаях почитал теперь своею обязанностью защищать священные права царей. Тут прекратилось в нем раздвоение: и в Европе, и в России политические его воззрения были одни и те же. В 22 году, по возвращении в Петербург, первым распоряжением правительства было закрыть масонские ложи и запретить в России тайные общества; со всех служащих были взяты расписки, что они не будут принадлежать к тайным обществам. Разумеется, что такое распоряжение поставило в необходимость петербургских членов быть очень осторожными, вследствие чего они редко собирались между собой, и прием новых членов почти совсем прекратился.

У императора была в руках «Зеленая книга», и он, прочитавши ее, говорил своим приближенным, что в этом уставе Союза благоденствия все было прекрасно, но что на это нисколько нельзя полагаться, что большая часть тайных обществ при начале своем имеет почти всегда только цель филантропическую, но что потом эта цель изменяется скоро и переходит в заговор против правительства³¹. С этих пор император находился в каком-то особенном опасении тайных обществ в России. К нему беспрестанно привозили бумаги, захваченные у лиц, подозреваемых полицией. И странно, в этом случае не попался ни один из действительных членов. Это самое еще более смущало императора. Он был уверен, что устрашающее его Тайное общество было чрезвычайно сильно, и сказал однажды князю П. М. Волконскому, желавшему его успокоить на этот счет: «Ты ничего не понимаешь, эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении; к тому же они имеют огромные средства; в прошлом году, во время неурожая в Смоленской губернии, они кормили целые уезды». И при этом назвал меня, Пассека, Фонвизина, Михаила Муравьева и Левашева. Все это передал мне Павел Колошин, приехавший из Петербурга по поручению Н. Тургенева; я был тогда случайно один в Москве. И. А. Фонвизин жил в подмосковной, а М. А. уехал в свою костромскую деревню. Тургенев заказывал нам с Колошиным быть как можно осторожнее после того, что император назвал некоторых из нас.

В 22 году, по сформировании нового Семеновского полка, вся гвардия выступила из Петербурга в поход под предлогом предстоящей будто бы войны, а в самом

деле потому, что опасались пребывания гвардии в столице. Васильчиков уже не командовал гвардейским корпусом. Чтобы уменьшить свою ответственность по случаю истории Семеновского полка, он уверял императора, что не в одной гвардии, но и в армии распространен дух неповиновения, и в доказательство подал ему письмо своего брата, командира гусарской бригады, в состав которой входили полки Лубенский и Гродненский. В этом письме Васильчиков жаловался старшему своему брату на Граббе, описывая все случаи, в которых его подчиненный оказывал ему всевозможные неуважения. Меньшой этот Васильчиков был плохой человек. Дибич, бывши еще начальником штаба 1-й армии и проезжая через Дорогобуж, просил убедительно Граббе, для пользы службы, во фрунте вести себя пристойно с бригадным своим командиром, прибавив: в комнате — дело другое, и сделал рукой движение, которое выражало: в комнате, пожалуй, можно его и поколотить.

Письмо Васильчикова сильно подействовало на императора. За несколько месяцев перед тем Граббе со своим полком из Дорогобужа был переведен не помню в какую губернию. Совершенно неожиданно получил он бумагу от начальника штаба его императорского величества с надписью: отставному полковнику Граббе. Князь Волконский писал к нему, что поведение его с бригадным командиром заслуживает примерного наказания, но что государь император, во уважение прошедшей отличной его службы, приказал не подвергать его военному суду и повелел ему с получением сего сдать полк старшему по себе и отправиться на жительство в Ярославль, не заезжая ни в одну столицу. Случившиеся тут офицеры были так поражены неожиданным распоряжением, что спросили у Граббе, что он прикажет им делать. Он их успокоил и, сдавши в 24 часа полк подполковнику Курилову, отправился с своим денщиком Иваном, едва имея с чем доехать до Ярославля. Он командовал Лубенским полком почти шесть лет; в это время на его месте всякий дошлый полковой командир составил бы себе огромное состояние. Некоторые из коротких приятелей Граббе сложились и доставляли ему годовое содержание, без чего он решительно не имел чем существовать в Ярославле³².

Поход гвардии имел совершенно противные последствия, нежели каких от него ожидал император. Офицеры всех полков, более свободные от службы, чем в Петер-

бурге, и не подвергаясь такому строгому надзору, как в столице, часто сообщались между собою, и много новых членов поступило в Тайное общество. Никита Муравьев в Витебске написал свою Конституцию для России³³; это был вкратце снимок с английской конституции. В 23 году, по возвращении гвардии в Петербург, Пущин принял Рылеева, с поступлением которого деятельность петербургских членов очень увеличилась. Много новых членов было принято.

В 22 году генерал Ермолов, вызванный с Кавказа начальствовать над отрядом, назначенным против восставших неаполитанцев, прожил некоторое время в Царском Селе и всякий день видался с императором. Неаполитанцы были уничтожены австрийцами прежде, нежели наш вспомогательный отряд двинулся с места, и Ермолов возвратился на Кавказ. В Москве, увидев приехавшего к нему М. Фонвизина, который был у него адъютантом, он воскликнул: «Поди сюда, величайший карбонарий». Фонвизин не знал, как понимать такого рода приветствие. Ермолов прибавил: «Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся». Болезненное воображение императора, конечно, преувеличивало средства и могущество Тайного общества, и потому понятно, что, не имея никаких положительных данных даже насчет существования этого Общества, ему трудно было приступить к решительным мерам против врага невидимого. Члены Тайного общества ничем резко не отличались от других. В это время свободное выражение мыслей было принадлежностью не только всякого порядочного человека, но и всякого, кто хотел казаться порядочным человеком.

Император, преследуемый призраком Тайного общества, все более и более становился недоверчивым, даже к людям, в преданности которых он, казалось, не мог сомневаться. Генерал-адъютант князь Меншиков, начальник канцелярии главного штаба, подозреваемый императором в близком сношении с людьми, опасными для правительства, лишился своего места. Князь П. М. Волконский, начальник штаба его императорского величества, находившийся неотлучно при императоре с самого восшествия его на престол, лишился также своего места и на некоторое время отдалился от двора. Причина такой немилости к Волконскому заключалась в том, что он никак не соглашался ехать в Гру-

зию на поклонение Аракчееву. Князь Александр Николаевич Голицын, министр просвещения и духовных дел, с самой его молодости непрерывно пользовавшийся милостями и доверием императора, внезапно был отставлен от своей должности.

В это время Аракчеев сблизил монаха Фотия с императором. Фотий был человек не совсем гошлый: малообразованный, изувер с пламенным воображением, он сильно действовал, особенно на женщин, смелостью и неожиданностью своих выражений. Скоро он овладел полным доверием императора, доказав ему, что благочестие и набожность светских людей, в том числе и князя Голицына, суть не что иное, как отступничество от истинного православия, которое одно ведет к вечному спасению. С этих пор император стал усердно посещать монастыри, беседовал со схимниками, посылал значительные вклады в разные обители и начал строго соблюдать все обряды греко-российской церкви. Многие книги, напечатанные на счет правительства, были запрещены, в том числе и «Естественное право» Куницына, и книжка, сочиненная Филаретом, теперешним митрополитом московским. За эту книжку, напечатанную по именному повелению, а потом у всех отобранную, и пострадал князь Голицын.

Цензура сделалась крайне стеснительна. В университетах многие кафедры уничтожены; во всех училищах запрещено учить мифологию древних, так как во всех высших заведениях преподавалась древняя словесность. В последние годы своего царствования император сделался почти нелюдимым. В путешествиях своих он не заезжал ни в один губернский город, и для него прокладывалась большая дорога и устраивалась по местам диким и по которым прежде не было никакого проезда.

В конце 22 года я женился и весь 23 год прожил очень уединенно в подмосковной тещи моей Н. Н. Шереметевой. Оба Фонвизина были женаты и жили тоже в своих подмосковных, и я даже с ними очень редко видался. О том, что делалось в Тульчине, ни они, ни я почти ничего не знали. Летом в 23 году мне случилось приехать в Москву ненадолго; тут познакомившись с полковником Копыловым, перешедшим из гвардейской артиллерии на Кавказ к Ермолову, и видя его готовность действовать в смысле Тайного общества, я принял его в наше Общество. Через несколько дней после того заехал ко мне Ив. Ал. Фонвизин и пригласил

меня приехать к нему в определенный час, в который он назначил свидание с Бестужевым-Рюминым.

Бестужев ему сказал, что он имеет важное поручение от Сергея Муравьева и других южных членов передать тем из нас, которых застанет в Москве. Я знал этого Бестужева взбалмошным и совершенно бестолковым мальчиком. Увидев меня, с улыбкой на устах он повторил мне то же, что говорил прежде Фонвизину. Я ему на это отвечал, что, зная его, никак не поверю, чтоб Сергей Муравьев дал какое-нибудь важное поручение к нам, и объявил ему, что мы не войдем с ним ни в какие сношения. Он на это улыбнулся так же неразумно, как и в первый раз, и затем удалился. После оказалось, что он точно приезжал от Сергея Муравьева с предложением к нам вступить в заговор, затеваемый на юге против императора. Странное существо был этот Бестужев-Рюмин. Если про него нельзя было сказать, что он решительно глуп, то в нем беспрестанно проявлялось что-то похожее на недоумков. В обыкновенной жизни он беспрестанно говорил самые невыносимые пошлости и на каждом шагу делал самые непозволительные промахи. Выписанный вместе с другими из старого Семеновского полка, он попал в Полтавский полк, которым командовал полковник Тизенгаузен. В Киеве Раевские, сыновья генерала, и Сергей Муравьев часто подымали его на смех.

Матвей Муравьев однажды стал упрекать брата своего за поведение его с Бестужевым, доказывая ему, что дурачить Бестужева вместе с Раевскими непристойно. Сергей в этом согласился, и, чтобы загладить вину свою перед юношей, прежним своим сослуживцем, он особенно стал ласкать его. Бестужев привязался к Сергею Муравьеву с неограниченной преданностью. Впоследствии и Сергей Муравьев страстно полюбил его.

Бестужев на юге был принят в Тайное общество, в котором в это время происходило сильное брожение и требовались люди на все готовые. Тут Бестужев попал совершенно на свое место. Решительный до безумия в своих действиях, он не ставил никогда в расчет препятствий, какие могли встретиться в предпринимаемом им деле, и шел всегда вперед без оглядки. В Киеве на контрактах он нашел возможность первый войти в сношение с варшавским Тайным обществом. Узнавши через прежнего своего сослуживца Тютчева о существовании Тайного общества соединенных славян, к которому Тютчев

принадлежал и что начальник этого Тайного общества артиллерии поручик Петр Борисов, Бестужев поспешил с этим важным открытием к Сергею Муравьеву, потом отправился в 8-ю дивизию к Борисову и уговорил его присоединиться с своими славянами к Южному тайному обществу.

24 и 25 года я жил в Жукове, ни с кем не видаясь, кроме Пассека, Мих. Муравьева и Левашевых, и то довольно редко по дальности между нами расстояния. Я пристально занялся сельским хозяйством и часть моих полей уже обрабатывал наемными людьми. Я мог надеяться, что при улучшении состояния моих крестьян они скоро найдут возможность платить мне оброк, часть которого ежегодно учитывалась бы на покупку той земли, какою они пользовались, и что со временем они, совершенно освобождаясь, будут иметь в собственность нужную им землю.

В конце 25 года я отправился с своим семейством в Москву и прибыл туда 8 декабря. На пути я узнал о кончине императора Александра в Таганроге и о приносимой везде присяге цесаревичу Константину Павловичу. Известие это меня более смутило, нежели этого можно было ожидать. Теперь, с горестным чувством, я представил бедственное положение России под управлением нового царя. Конечно, последние годы царствования императора Александра были жалкие годы для России; но он имел за себя прошедшее; по вступлении на престол в продолжение двенадцати лет он усердно подвизался для блага своего Отечества, и благие его усилия по всем частям двинули Россию далеко вперед.

Цесаревич же славный наездник, первый фрунтвик во всей империи, ничего и никогда не хотел знать, кроме солдатиков. Всем был известен его пестовый нрав и дикий обычай. Чего же можно было от него ожидать доброго для России?

В Москве кроме Фонвизиных и Алексея Шереметева я нашел и многих других членов Тайного общества: полковника Митькова, полковника Нарышкина, Семенова, служившего в канцелярии князя Голицына, Нелединского, адъютанта цесаревича, и многих других. Мы иногда собирались или у Фонвизиных, или у Митькова. На этих совещаниях все присутствующие члены, казалось, были очень одушевлены и как будто ожидали чего-то торжественного и решительного. Нарышкин, недавно приехавший с юга, уверял, что там все готово к

восстанию и что южные члены имеют за себя огромное число штыков. Митьков с своей стороны также уверял, что петербургские члены могут в случае нужды рассчитывать на большую часть гвардейских полков. 15 декабря я целый день был дома и в этот день никого не видел.

Алексей Шереметев возвратился домой поздно ночью и сообщил мне полученные известия об отречении цесаревича и что на место его взойдет на престол Николай Павлович; потом он рассказал мне, что Семенов получил письмо от 12-го, в котором Пущин писал к нему, что они в Петербурге решились сами не присягать и не допустить гвардейские полки до присяги; вместе с тем Пущин предлагал членам, находившимся тогда в Москве, содействовать петербургским членам, насколько это будет для них возможным.

Я очень удивился, что М. А. Фонвизин не сообщил мне в течение дня таких важных известий. Причина тому были дворянские выборы, на которых он очень хлопотал вместе с своим братом. Несмотря на то что было уже за полночь, мы с Алексеем Шереметевым поехали к Фонвизиным; я его разбудил и уговорил его вместе с нами ехать к полковнику Митькову, который казался мне человеком весьма решительным; мы его также разбудили. Надо было определить, что мы могли сделать в Москве при теперешних обстоятельствах.

Я предложил Фонвизину ехать тотчас же домой, надеть свой генеральский мундир, потом отправиться в Хамовнические казармы и поднять войска, в них квартирующие, под каким бы то ни было предлогом. Митькову я предложил ехать вместе со мной к полковнику Гурко, начальнику штаба 5-го корпуса. Я с ним был довольно хорошо знаком еще в Семеновском полку и знал, что он принадлежал к Союзу благоденствия. Можно было надеяться уговорить Гурко действовать вместе с нами. Тогда при отряде войск, выведенных Фонвизиним, в ту же ночь мы бы арестовали корпусного командира графа Толстого и градоначальника московского князя Голицына, а потом и других лиц, которые могли бы противодействовать восстанию.

Алексей Шереметев как адъютант Толстого должен был ехать к полкам, квартирующим в окрестностях Москвы, и приказать им именем корпусного командира идти в Москву. На походе Шереметев, полковник Нарышкин и несколько офицеров, служивших в старом

Семеновском полку, должны были приготовить войска к восстанию, и можно было надеяться, что, пришедши в Москву, они присоединились бы к войскам уже восставшим.

На другой день мы непременно должны были получить известие о том, что совершилось в Петербурге. Если бы предприятие петербургским членам удалось, то мы нашим содействием в Москве дополнили бы их успех; в случае же неудачи в Петербурге мы нашей попыткой в Москве заключили бы наше поприще, исполнив свои обязанности до конца и к Тайному обществу и к своим товарищам. Мы беседовали у Митькова до четырех часов пополудни, и мои собеседники единогласно заключили, что мы четверо не имеем никакого права приступить к такому важному предприятию. На завтрашний день вечером назначено было всем съехаться у Митькова и пригласить на это совещание Михайлу Орлова.

На другой день утром я сидел у Фонвизина, когда вбежал к нему человек с известием, что великий князь Николай Павлович приехал в Москву в открытых санях и прямо въехал в дом военного губернатора. Фонвизин был уверен, что великий князь бежал из Петербурга, где все восстало против него. Оказалось, что прискакал в открытых санях генерал-адъютант граф Комаровский с приказанием привести Москву к присяге Николаю Павловичу. Новый император собственноручно написал князю Голицыну: мы здесь только что потушили пожар, примите все нужные меры, чтобы у вас не случилось чего-нибудь подобного.

В тот же день, когда собрались для принесения присяги в Успенский собор, преосвященный Филарет вынес из алтаря небольшой золотой ящик и сказал, что в этом ковчеге заключается залог будущего счастья России; потом, открыв ящик, он прочел духовное завещание покойного императора Александра Павловича, в котором он назначил наследником престола великого князя Николая Павловича. При этом завещании было отречение цесаревича. Филарет его прочел. После чего все бывшие в соборе принесли присягу императору Николаю Павловичу, а потом и вся Москва присягнула ему.

Полутру Фонвизин просил меня непременно побывать у Орлова и привести его вечером к Митькову; я отправился к нему под Донской³⁴. Всем уже были известны происшествия 14 декабря в Петербурге; знали также,

что все действующие лица в этом происшествии сидели в крепости. Приехав к Орлову, я сказал ему: «Eh bien, général, tout est fini» *.

Он протянул мне руку и с какой-то уверенностью отвечал: «Comment fini? Ce n'est que le commencement de la fin» **.

Тут его позвали наверх к графине; он сказал, что воротится через несколько минут, и просил меня непременно дожидаться его. Во время его отсутствия взойшел человек высокий, толстый, рыжий, в изношенном адъютантском мундире без аксельбанта и вообще наружности непривлекательной. Я молчал, он также. Орлов, возвратившись, сказал: «А! Муханов, здравствуй; вы не знакомы?» — и познакомил нас. Пришлось протянуть руку рыжему человеку. Ни Орлов, ни я, мы никого не знали лично из членов, действовавших 14 декабря.

Муханов был со всеми коротко знаком. Он нам рассказывал подробности про каждого из них и, наконец, сказал: «Это ужасно лишиться таких товарищей; во что бы то ни стало, надо их выручить: надо ехать в Петербург и убить его».

Орлов встал с своего места, подошел к Муханову, взял его за ухо и чмокнул его в лоб. Мне казалось все это странно. Перед приходом Муханова я уговаривал Орлова поехать к Митькову, где все его ожидали. На это приглашение он отвечал, что никак не может удовлетворить моему желанию, потому что он сказался больным, чтобы не присягать сегодня; а между тем он был в мундире, звезде и ленте и можно было подумать, что он возвратился от присяги.

Видя, что с ним не добиться никакого толку, я подошел к нему и сказал, что так как в теперешних обстоятельствах сношения мои с ним могут подвергнуть его опасности, то, чтобы успокоить его, я обещаюсь никогда не посещать его. Он крепко пожал мне руку и обнял меня, но, прежде чем мы расстались, он обратился к Муханову и сказал: «Поезжай, Муханов, к Митькову». Потом сказал мне: «Везите его туда, им все останутся довольны».

Такое предложение меня ужасно удивило, и на этот

* — Итак, генерал, все кончено (франц.).

** — Как кончено? Это только начало конца (франц.).

Здесь и далее переводы иностранных текстов сделаны составителями.

раз я совершенно потерялся. Вместо того чтобы сказать Орлову откровенно, что я не могу вести Муханова, которого я совершенно не знаю, к Митькову, который его также не знает, я вышел вместе с Мухановым, сел с ним в мои сани и повез его на совещание. Митьков принял его вежливо; Муханов почти никого не знал из присутствующих, но через полчаса он уже разглагольствовал, как будто был в кругу самых коротких своих приятелей. Он был знаком с Рылеевым, Пушным, Оболенским, Ал. Бестужевым и многими другими петербургскими членами, принявшими участие в восстании. Все слушали его со вниманием; все это он опять заключил предложением ехать в Петербург, чтобы выручить из крепости товарищей и убить царя. Для этого он находил удобным сделать в эфесе шпаги очень маленький пистолет и на выходе, нагнув шпагу, выстрелить в императора. Предложение самого предприятия и способ привести его в исполнение были так безумны, что присутствующие слушали Муханова молча и без малейшего возражения.

В вечер этот у Митькова собрались в последний раз на совещание некоторые из членов Тайного общества, существовавшего почти 10 лет. В это время в Петербурге все уже было кончено, и в Тульчине начались аресты. В Москве первый был арестован и отвезен в Петропавловскую крепость М. Орлов, потом полковник Митьков и многие другие. Меня арестовали не раньше 10 января 1826 года.

II

После 14 декабря многие из членов Тайного общества были арестованы в Петербурге; я оставался на свободе до 10 января. В этот день вечером я спокойно пил дома чай, вдруг вызвал меня полицеймейстер Обрезков и объявил, что ему надобно переговорить со мной наедине. Я провел его к себе в комнату. Он требовал от меня моих бумаг. Я объявил ему, что у меня никаких бумаг нет, а что если бы и были такие, которые могли быть для него любопытны, то я бы имел время их сжечь. Я ожидал ареста и нарочно положил на стол листок с исчислениями о выкупе крепостных крестьян в России, надеясь, что этот листок возьмут вместе со мной, что он, может быть, обратит на себя внимание правительства. Я предложил Обрезкову взять эти исчисления, но он от-

вечал мне, что эти цифры ему нисколько не нужны. После этого он посоветовал мне одеться потеплее и пригласил ехать с собой. К отъезду у меня было уже все приготовлено заранее.

Я зашел в сопровождении полицеймейстера проститься с женой, сыном и тещей. Обрезков отвез меня к обер-полицеймейстеру Дмитрию Ивановичу Шульгину, который встретил меня словами: «Вы много повредили себе тем, что сожгли свои бумаги. Я отвечал, что не жег никаких бумаг, но что, если бы имел опасные для себя бумаги, то, зная, что каждый день арестуются разные лица, я имел бы все время сжечь их. «Не может быть, чтобы у вас не было каких писмен (sic!),— сказал мне на это обер-полицеймейстер,— потому что вас учили читать и писать; вы, верно, получаете и какие-нибудь письма и отвечаете на них».— «У меня лежат на столе,— сказал я ему,— два письма, одно от сестры, другое из деревни от старосты».

Шульгин с радостью сказал мне, что больше ничего и не нужно, и тотчас послал Обрезкова за этими письмами. Когда я остался вдвоем с Шульгиным, мы разговорились с ним, и он мне признался, что ему необходимо было видеть хоть одно письмо, потому что в бумаге, при которой должны были меня отправить и которая была подписана князем Голицыным, было сказано, что со мной отправляются найденные у меня бумаги.

Вскоре Обрезков возвратился с письмами и сочинением Тэера, которое он, будучи пьян, захватил у меня на столе.

Я был отправлен в Петербург с частным приставом, который и привез меня прямо в главный штаб. Тут какой-то адъютант повел меня к Потапову. Потапов был очень вежлив и отправил меня в Зимний дворец к с[анкт]-петербургскому коменданту Башуцкому. Башуцкий распорядился, и меня отвели в одну из комнат нижнего этажа Зимнего дворца. У дверей и окна поставлено было по солдату с обнаженными саблями. Здесь провел я ночь и другой день. Вечером повели меня наверх, и, к крайнему моему удивлению, я очутился в Эрмитаже. В огромной зале, почти в углу, на том месте, где висел портрет Климента IX, стоял раскрытый ломберный стол и за ним сидел в мундире генерал Левашев. Он пригласил меня сесть против него и начал вопросом: «Принадлежали ли вы к Тайному обществу?» Я отвечал утврдительно. Далее он спросил: «Какие вам известны

действия Тайного общества, к которому вы принадлежали?» Я отвечал, что собственно действий Тайного общества я никаких не знаю.

— Милостивый государь,— сказал мне тогда Левашев,— не думайте, что нам ничего не известно. Происшествия 14 декабря были только преждевременной вспышкой, и вы должны были еще в 1817 году нанести удар императору Александру.

Это заставило меня призадуматься; я не полагал, чтобы совещание, бывшее в 17 году в Москве, могло быть известно.

— Я даже вам расскажу,— продолжал Левашев,— подробности намереваемого вами цареубийства: из числа бывших тогда на совещании ваших товарищей на вас пал жребий.

— Ваше превосходительство, это не совсем справедливо; я вызвался сам нанести удар императору и не хотел уступить этой чести никому из моих товарищей.

Левашев стал записывать мои слова.

— Теперь, милостивый государь,— продолжал он,— не угодно ли вам будет назвать тех из ваших товарищей, которые были на этом совещании.

— Этого я никак не могу сделать, потому что, вступая в Тайное общество, я дал обещание никого не называть.

— Так вас заставят назвать их. Я приступаю к обязанности судьи и скажу вам, что в России есть пытка.

— Очень благодарен вашему превосходительству за эту доверенность; но должен вам сказать, что теперь еще более, нежели прежде, я чувствую моею обязанностью никого не называть.

— Pour cette fois je ne vous parle pas comme votre juge, mais comme un gentilhomme votre égal, et je ne conçois pas, pourquoi vous voulez être martyr pour des gens, qui vous ont trahi et vous ont nommé.

— Je ne suis pas ici pour juger la conduite de mes camarades, et je ne dois penser qu'à remplir les engagements, que j'ai pris en entrant dans la Société *.

* — Сейчас я говорю с вами не как ваш судья, а как дворянин с дворянином. Я не понимаю, зачем вы хотите стать мучеником ради людей, которые предали вас, назвав ваше имя.

— Я здесь не для того, чтобы быть судьей моим товарищам, и мой долг — помнить об обязательствах, которые я взял на себя, вступая в Общество (франц.).

— Все ваши товарищи показывают, что цель Общества была заменить самодержавие представительным правлением.

— Это может быть,— отвечал я.

— Что вы знаете про конституцию, которую предполагалось ввести в России?

— Про это я решительно ничего не знаю.

Действительно, про Конституцию Никиты Муравьева я не знал ничего в то время, и хотя, в бытность мою в Тульчине, Пестель и читал мне отрывки из «Русской правды», но, сколько могу припомнить, об образовании волостных и сельских обществ.

— Но какие же были ваши действия по Обществу? — продолжал Левашев.

— Я всего более занимался отысканием способа уничтожить крепостное состояние в России.

— Что же вы можете сказать об этом?

— То, что это такой узел, который должен быть развязан правительством, или, в противном случае насильственно развязанный, он может иметь самые пагубные последствия.

— Но что же может сделать тут правительство?

— Оно может выкупить крестьян у помещиков.

— Это невозможно! Вы знаете, как русское правительство скудно деньгами.

Затем последовало опять предложение назвать членов Тайного общества, и после отказа Левашев дал мне подписать измаранный им почтовый листок; я подписал его, не читая. Левашев пригласил меня выйти. Я вышел в ту залу, в которой висела картина Сальватора Розы «Блудный сын». При допросе Левашева мне было довольно легко, и я во все время допроса любовался «Святою фамилией» Доминикина; но когда я вышел в другую комнату, где ожидал меня фельдъегерь, и когда остался с ним вдвоем, то угрозы пытки в первый раз смутили меня. Минут через десять дверь отворилась, и Левашев сделал мне знак войти в залу, в которой был допрос. Возле ломберного стола стоял новый император. Он сказал мне, чтобы я подошел ближе, и начал таким образом:

— Вы нарушили вашу присягу?

— Виноват, государь.

— Что вас ожидает на том свете? Проклятие. Мнение людей вы можете презирать, но что ожидает вас на том свете, должно вас ужаснуть. Впрочем, я не хочу вас

окончательно губить: я пришлю к вам священника. Что же вы мне ничего не отвечаете?

— Что вам угодно, государь, от меня?

— Я, кажется, говорю вам довольно ясно: если вы не хотите губить ваше семейство и чтобы с вами обращались, как с свиньей, то вы должны во всем признаться.

— Я дал слово не называть никого; все же, что знал про себя, я уже сказал его превосходительству,— ответил я, указывая на Левашева, стоящего поодаль в почти-тельном положении.

— Что вы мне с его превосходительством и с вашим мерзким честным словом!

— Назвать, государь, я никого не могу.

Новый император отскочил три шага назад, протянул ко мне руку и сказал:

— Заковать его так, чтобы он пошевелиться не мог.

Во время этого второго допроса я был спокоен; я боялся сначала, что царь уничтожит меня, говоря умеренно и с участием, что он нападает на слабые и ребяческие стороны Общества, что он победит великодушием. Я был спокоен, потому что во время допроса был сильнее его; но когда по знаку Левашева я вышел к фельдъегерю и фельдъегерь повез меня в крепость, то мне еще более прежнего стала приходиться мысль о пытке; я был уверен, что новый император не произнес слова «пытка» только потому, что считал это для себя непристойным.

Фельдъегерь привез меня к коменданту Сукину; его и меня привели в небольшую комнату, в которой была устроена церковь. Воображение мое было сильно поражено; прислуга, по случаю траура³⁵ одетая в черное, предвещала что-то недоброе. С фельдъегерем просидел я с полчаса; он по временам зевал, закрывая рот рукою, а я молил об одном, чтобы бог дал мне силы перенести пытку. Наконец в ближних комнатах послышался звук железа и приближение многих людей. Впереди всех появился комендант с своей деревянной ногой; он подошел к свечке, поднес к ней листок почтовой бумаги и сказал с расстановкой:

— Государь приказал заковать тебя.

На меня кинулись несколько человек, посадили меня на стул и стали надевать ручные и ножные железа³⁶. Радость моя была невыразима; я был убежден, что надо мной совершилось чудо: железо еще не совсем пытка.

Меня передали плац-адъютанту Трусову; он связал вместе два конца своего носового платка, надел его мне на голову и повез в Алексеевский равелин. Переезжая подъемный мост, я вспомнил знаменитый стих: «Оставьте всякую надежду вы, которые сюда входите»⁸⁷. Про этот равелин говорили, что в него сажают только «забытых» и что из него никто никогда не выходил. Из сачней меня вынули солдаты, принадлежащие к команде Алексеевского рavelина, и ввели меня в 1-й номер. Тут я увидел семидесятилетнего старика, главного начальника рavelина, подчиненного непосредственно императору. С меня сняли железа, раздели, надели толстую рубашку в лохмотьях и такие же панталоны; потом комендант стал на колени, надел на меня снятые железа, обернул наручники тряпкой и надел их, спрашивая, могу ли я так писать. Я сказал, что могу. После этого комендант пожелал мне доброй ночи, сказав: «Божья милость всех нас спасет». Все вышли, дверь затворилась, и замок щелкнул два раза.

Комната, в которую посадили меня, была 6 шагов длины и 4 ширины. Стены после наводнения 1824 года были покрыты пятнами; стекла были выкрашены белой краской, и внутри от них была вделана в окно крепкая железная решетка. Около окна в углу стояла кровать, на ней был тюфяк и гошпитальное бумажное одеяло. Возле кровати стоял маленький столик, на нем кружка с водою, на кружке были вырезаны буквы А. Р. В другом углу, против кровати, была печь. В третьем углу, против печи, столик. Кроме того, было еще два стула и на одном из них ночник. Когда я остался один, я был совершенно счастлив: пытка миновалась на этот раз, я имел время собраться с духом и даже спрашивал у себя, что они думали произвести надо мной надетыми на меня железами, которые, как я узнал после, весили 22 фунта. В 9 часов вечера принесли ужинать, причем солдат, исполнявший должность дворецкого, каждый раз очень вежливо кланялся. Не евши более двух суток, я поел шей с большим удовольствием. Ходить по комнате мне было нельзя, потому в железах это было неудобно, и я опасался, что звук желез произведет неприятное чувство в соседях. Я лег спать и спал бы очень спокойно, если бы порой не пробуждали меня наручники.

На другой день, по заведенному в равелине порядку, поутру явился комендант рavelина в сопровождении унтер-офицера и ефрейтора. Он спросил о моем здоровье

и отправился далее по казематам. Все утро я не вставал с постели; часов в 12 услышал я приближающиеся к двери шаги и сделанный почти шепотом вопрос: «Кто здесь сидит?» На этот вопрос отвечено «Дмитриев». Дверь растворилась и взошел рослый, старый и белый как лунь протопоп Петропавловского собора Стахий. Я с ногами сидел на кровати. Он взял стул и, проговорив что-то насчет моего жалкого положения, сказал, что его прислал государь. Затем начался формальный допрос и увещания:

— Всякий ли год бываете у исповеди и святого причастия?

— Я не исповедовался и не причащался 15 лет.

— Конечно, это случилось потому, что вы были заняты обязанностями службы и не имели времени исполнить этого христианского долга?

— Я уже восемь лет как в отставке, и не исповедовался и не причащался потому, что не хотел исполнять это как обряд, зная, что в России более нежели где-нибудь оказывают терпимость к религиозным мнениям; словом, я не христианин.

Стахий увещевал меня, как умел, и наконец напомнил о том, что ожидает меня на том свете.

— Если вы верите в божественное милосердие, — сказал я ему, — то вы должны быть уверены, что мы все будем прощены: и вы, и я, и мои судьи.

Этот старик был добрый человек; он заплакал и сказал мне, что ему очень жалко, что он не может быть мне полезен. Тем наше свидание и кончилось. Стахий вышел. Воображение мое разыгрывалось более и более и по временам доходило до какой-то восторженности; когда появился Стахий, он мне напомнил собой инквизитора в «Дон Карлосе», но после разговора я узнал в нем весьма простого русского попа. После его ухода вместо обеда ефрейтор с обыкновенной вежливостью принес кусок черного хлеба, за который я его поблагодарил так же вежливо. Этот день прошел без дальнейших приключений.

На третий день поутру (16 генваря) взошел ко мне с обыкновенной свитой плац-адъютант Трусов. Кроме священника, все должны были входить в каземат в сопровождении ефрейтора и унтер-офицера. Трусов принес мне трубку и табак. Узнавши от меня, что они не принадлежат мне, он унес их назад. В то время я никак не догадался, что это было что-то вроде искушения. В тот

же день вечером неожиданно распахнулись двери, и ко мне вошел еще более рослый, чем Стахий, протопоп Казанского собора П. Н. Мысловский. Приемы его были совсем другие: он бросился ко мне на шею, обнял меня с нежностью и просил, чтобы я переносил свое положение с терпением и чтобы я помнил, как страдали апостолы и первые отцы церкви.

— Батюшка,— спросил я его,— вы пришли ко мне по поручению правительства?

Это его несколько озадачило.

— Конечно, без позволения правительства я не мог бы посетить вас,— отвечал он,— но в вашем положении вы бы, вероятно, обрадовались, ежели каким-нибудь образом забежала к вам даже собака, и потому я полагал, что мое посещение не может быть излишним.

— Конечно, в моем положении посещение человека, который бы пришел ко мне побеседовать, могло быть для меня очень приятно; но вы священник, и поэтому я почитаю своей обязанностью на первый раз нашего знакомства объясниться с вами откровенно. Как священник вы не можете доставить мне никакого утешенья, тогда как для некоторых из моих товарищей посещения ваши могут быть очень утешительны и вы можете облегчить их положение.

— Мне нет дела,— отвечал Мысловский,— какой вы веры; я знаю только, что вы страдаете, и очень буду счастлив, ежели мои посещения не как священника, а как человека могут быть для вас хоть сколько-нибудь приятны.

После такого объяснения я подал ему руку и поблагодарил его.

Он являлся ко мне потом всякий день, и в наших разговорах не было и речи о религии. Вел себя он со мной просто и без малейших фраз. Пройдя пешком от Казанского собора до крепости и обойдя много казематов, он ел с большим аппетитом ломоть решетного хлеба, запивая его славной невской водой, которую впоследствии мы называли нашим шампанским.

Кажется, на 7-й день моего пребывания в равелине я услышал очень явственно шаги двух человек, подходивших к моей двери. В двери было небольшое стеклянное окошко, внутри загороженное железной решеткой, а снаружи закрытое зеленым фланелевым мешком. Обыкновенно часовые подходили к этому окну в валеных башмаках и едва раздвигали мешок; чтобы осмотреть ка-

зemat, так что почти никогда нельзя было заметить их приближения и осмотра. На этот раз весь мешок был поднят, и я мог явственно видеть ус и часть лица Левашева, который сказал кому-то: «Celui-ci a les fers aux bras et aux pieds» *.

Меня уверяли впоследствии, что другой был царь, что не совсем вероятно, но очень может быть, что это был великий князь Михаил Павлович. В этот вечер, через три номера от меня, против обыкновенной тишины в равелине происходил довольно долго продолжавшийся шум. Я узнал от Мысловского, что в эту ночь вынесли из равелина несчастного Булатова полоумного и полуживого. В продолжение 8 дней ни ласки, ни угрозы не могли заставить его съесть что-нибудь ³⁸. Его отвезли в сухопутный госпиталь, где он на другой или на третий день умер. Перед смертью ему было дозволено свидание с двумя малолетними дочерьми, страстно им любимыми. Дочери не узнали его и убежали от него с ужасом.

На другой день вечером, после того как все двери были уже заперты, взошел ко мне тихо ефрейтор и подал мне крупичатую булку; он просил меня от имени офицера непременно съесть ее всю, потому что если на другое утро найдут у меня хоть кусочек этой булки, то офицеру может быть за это худо. Я со своей стороны просил ефрейтора унести булку, но он оставил ее на столе и ушел. Мне ничего другого не оставалось, как съесть ее, хоть есть мне вовсе не хотелось. Последствием такой любезности со стороны офицера было то, что у меня сделались жестокие спазмы в желудке; я простонал целую ночь, и только утром меня облегчила сильная рвота.

При обыкновенном утреннем посещении явился ко мне крепостной доктор и спросил у меня о моем здоровье. Я сказал, что у меня были спазмы, но что теперь мне лучше. Он советовал мне воздержаться от сухой пищи, на что я ему отвечал, что я всегда запиваю хлеб водой. Часа через два взошел ко мне петропавловский комендант Сукин; изъявив предварительно сожаление о моем положении, он со слезами на глазах просил меня сжалиться над собой и назвать всех своих товарищей. Я отвечал ему, что назвать своих товарищей ни для него, ни для кого на свете я не могу. Впрочем, я был тронут слезами старика, и мне было жаль, что я не имел возможности сделать ему приятного. Он много рас-

* У этого кандалы на руках и на ногах (франц.).

пространился о том, какой у нас добрый царь, и назвал его даже ангелом. Я отвечал ему: «Дай бог, чтобы это было правда».

— Вы затеяли пустое,— говорил он.— Россия—обширный край, который может управляться только самодержавным царем. Если бы даже и удалось 14-е, то за ним последовало бы столько беспорядков, что едва ли через 10 лет все пришло бы в порядок.

— Мы никогда и не предполагали,— отвечал я ему,— устроить все с первого разу.

Во все это время я сидел с ногами на кровати, а старик стоял передо мной на своей деревянной ноге. Окончив свои рассуждения, он сказал:

— Ну, несмотря на ваше упорство, я велю вам дать обедать. А так как вы давно не употребляли скромной пищи, то я велю прежде напоить вас чаем.

Я уверял его, что это нисколько не нужно, но он, не слушая меня, повторил еще раз, что велит напоить меня чаем и принести мне обедать. В этот же день мне дали очень жидкого чаю и шей с говядиной, которых я почти не ел. Когда вечером пришел ко мне Мысловский, я рассказал ему все бывшее между мной и комендантом и чистосердечно отозвался о нем, как о весьма добром человеке. На это Мысловский заметил, что главная доброты коменданта состоит в желании, чтобы я не умер от сухой еды, как умер Булатов от голоду, и что вообще члены следственной комиссии очень хлопочут о том, чтобы никто из нас не умер до окончания дела.

Я понял, что в этих словах много правды.

На другой день зашел ко мне Трусов и объявил мне от имени коменданта, что я так упрям, что его превосходительство никогда более не придет ко мне.

Мне часто приходили на ум жена и сын; но так как такие мысли не были утешительны в моем положении, то я отгонял их от себя.

В первых числах февраля Трусов принес мне письмо от жены, в котором она извещала, что она благополучно родила сына и что она и дети здоровы. Прочтя это письмо, я чуть не сошел с ума; я так был счастлив, что бросился к двери, стучал кулаком и требовал к себе офицера. Намерение мое было потребовать бумаги и перо и изъявить за мое счастье искреннюю благодарность царю, приславшему мне письмо. В это время офицера не было в рavelине, и письмо мое осталось ненаписанным. Я был совершенно покоен, не имея более надобно-

сти отгонять от себя мыслию семействе, и считал себя самым счастливым человеком во всем Петербурге.

После ужина я долго не мог уснуть и только что начал дремать, дверь с шумом растворилась и Трусов вошел ко мне с обыкновенной свитой. Мне принесли мое платье и шубу, сняли с меня железа, и когда я оделся, то надели их опять. Трусов взял у офицера четыре ключа от моих замков. По его совету я сделал из носового платка подвязку, посредством которой держал ножные железа. Трусов накинул мне на голову свой носовой платок и повез меня в дом к коменданту. Тут из рук его кто-то принял меня и посадил за ширмы, несмотря на которые и на платок, я мог видеть прислугу, носившую блюда в боковую комнату.

Около полуночи меня взяли за руки и повели в те комнаты, в которых перед этим ужинали. В первой из этих комнат я ничего не мог видеть сквозь платок, кроме множества свечей и столов, за которыми сидели люди и писали. Из этой комнаты меня привели в довольно большую залу, также очень ярко освещенную. Руку мою опустили, я остановился, и с меня сняли платок.

Я стоял посреди комнаты, в шагах 10 от меня стоял стол, покрытый красным сукном. На крайнем конце его сидел председатель следственной комиссии Татищев, рядом с ним великий князь Михаил Павлович; сбоку от Татищева сидели князь Голицын (Александр Николаевич) и Дибич; третий стул был порожний (Левашева), четвертое место занимал Чернышев. По другую сторону стола около великого князя сидел Голенищев-Кутузов, потом Бенкендорф, Потапов и полковник флигель-адъютант Адлерберг, который, не будучи членом комиссии, записывал все сколько-нибудь важное, чтобы тотчас доставлять императору сведения о ходе дела. Когда сняли с меня платок, с минуту во всей комнате продолжалось молчание. Наконец Чернышев махнул мне пальцем и весьма торжественным голосом сказал: «Приблизьтесь». Подходя к столу, я нарушил моими цепями тишину в комнате. Начался опять формальный допрос.

Чернышев спросил у меня, всякий ли год я бываю на исповеди и у св. причастия. Я отвечал ему то же, что и Стахию.

— Присягали ли вы императору Николаю Павловичу?

— Нет, не присягал.

— Почему же вы не присягали?

— Я не присягал потому, что присяга происходит с такими обрядами и с такой клятвой, что я считал ее для себя неприличною, тем более что я нисколько не верю святости такой клятвы.

Только при появлении моем в комитет я вполне понял, что, доставивши мне письмо от жены, меня хотели поймать в ловушку; я смотрел на всех членов комиссии с каким-то омерзением.

Чернышев просил меня назвать членов Тайного общества, но я отвечал ему то же, что и Левашеву.

— Что же может вас заставлять так сильно упорствовать в этом случае? — спросил Чернышев.

— Я уже сказал, что дал слово не называть никого.

— Вы хотите спасти ваших товарищей, но это вам не удастся.

— Если б я думал о спасении кого-нибудь, то, вероятно, постарался бы спасти себя и не рассказал бы того, что рассказал генералу Левашеву.

— Себя, милостивый государь, вы спасти не можете. Комитет должен вам объявить, что ежели он спрашивает у вас имена ваших товарищей, то единственно потому, что желает доставить вам возможность облегчить свою судьбу. И так как вы упорствуете, то комитет назовет вам всех членов Тайного общества, бывших в 1817 году на совещании, на котором решено было убить покойного императора. Тут были: Александр, Никита, Сергей и Матвей Муравьевы, Лунин, Фонвизин и Шаховской. Иные из ваших товарищей показывают, что на вас пал жребий нанести удар императору, а другие — что вы сами вызвались на это.

— Последнее показание справедливо, и я точно вызвался сам*.

— Какое ужасное положение, — сказал князь Голицын, — иметь душу, обремененную такою греховностью! Был ли у вас священник?

— Да, священник приходил ко мне.

В это время дремавший прежде Кутузов проснулся и, спросонья не разобрав, в чем дело, воскликнул:

* В донесении сказано, что я вызвался на покушение, бывши терзаем страстью несчастной любви. Я имею все причины думать, что это — показание Никиты Муравьева, желавшего такой сентиментальной фразой уменьшить мою виновность перед комитетом. После, когда я у него спрашивал об этом, он всякий раз смеялся и отшучивался вместо ответа.

Все подстрочные примечания, кроме переводов иностранных текстов, принадлежат авторам воспоминаний. — *Ред.*

— Как, он и попа не хотел пустить к себе?

Голицын его успокоил, сказавши, что у меня был священник.

Когда я объявил на вопрос одного из членов, что я совсем не православный христианин, то Дибич (лютеранин) воскликнул:

— Так, мы умнее наших предков; где же нам верить и действовать, как верили и действовали наши отцы.

— Сначала вы были,— продолжал допрос Чернышев,— одним из самых ревностных членов; что же заставило вас удалиться от Общества?

— По получении письма от Трубецкого, которое всех нас так встревожило, и после общего мнения, что Россия не может быть более несчастною, как под управлением императора Александра, я объявил, что в этом случае каждый должен действовать отдельно по своей совести, а не так, как член Тайного общества, и сказал, что я решил убить императора. В тот вечер, в который было это совещание, никто не сопротивлялся моему намерению; на другой день вечером собрались все те же члены и умоляли меня не приводить в исполнение моего намерения; но я сказал им, что они не имеют никакого права препятствовать мне, что я буду действовать совершенно независимо от Тайного общества и что никак не могу отказаться совершить то, что они вчера сами находили необходимым. После упорных, несколько раз повторенных просьб отложить намерение, которое, по их мнению, могло погубить всех, я согласился и сказал, что не принадлежу больше к их Обществу, потому что они или возбудили меня вчера к самому ужасному преступлению, или сегодня лишают возможности совершить самое прекрасное дело, какое только возможно для человека, истинно любящего Россию.

— Не было ли кого,— спросил Чернышев,— кто бы при самом начале уговаривал вас отказаться от вашего намерения?

— Точно; Михайло Фонвизин, с которым я жил в то время вместе, уговаривал меня в продолжение всей ночи.— Я назвал Фонвизина, думая, что мое показание может быть ему полезно.

По окончании этого допроса мне опять пришла мысль о пытке, и я был почти убежден, что на этот раз мне ее не миновать; но, к крайнему моему удивлению, Чернышев, очень грозно смотревший на меня во время допроса, взглянул, улыбаясь, на великого князя Михаила

Павловича и потом сказал мне довольно кротко, что мне зададутся вопросы письменно и что я должен буду отвечать также письменно.

Мне надели на глаза платок и отвезли обратно в ра-велин.

На другой день утром Трусов привез мне письменные вопросы от комитета. Вопросы были те же самые, которые мне предлагались изустно накануне. Тут опять был отдых. Я хорошо знал, что, пока я буду писать ответы, меня оставят в покое. Мне дали перо и чернильницу, и я писал ответы, медленно, кажется, дней 10. В продолжение этого времени Трусов заходил ко мне несколько раз, чтобы спросить, кончил ли я.

На все я отвечал то же, что и в комитете; но когда мне пришлось отвечать на вопрос, кто известен мне из членов Тайного общества, то меня взяло раздумье. Кроме тех лиц, которых мне называл комитет, мне бы пришлось назвать очень немногих, и, назвавши этих немногих, я не подвергал бы почти никакой опасности, потому что одни из них были за границей, другие слишком мало принимали участия в делах Общества. Тут мне представилось, что я разыгрываю роль Дон-Кихота, вышедшего с обнаженною шпагою против льва, который, увидавши его, зевнул, отвернулся и спокойно улегся. Тут мне представилось мое семейство, соединение с которым я делал невозможным и, может быть, из пустого тщеславия.

В это время Мысловский по-прежнему посещал меня ежедневно; мы с ним очень сблизились; он мне приносил письма от моих. Подосланный правительством, он совершенно перешел на нашу сторону. Сначала я решительно не хотел читать принесенных им писем, опасаясь, чтобы из этого не вышло беды для него; но он ужасно этим обиделся и сказал мне, что он никогда не сочтет преступлением служить ближнему, который находится в таком положении, как я. Во всех этих случаях он действовал так ловко и решительно, что я наконец за него успокоился и через него переписывался с своими. Бывши в раздумье, назвать мне или нет известных мне членов Тайного общества, я попросил совета у Мысловского. Можно было подумать, что он только и ждал этого вопроса. Он отвечал мне и даже несколько торжественно, что я веду себя не совсем благородно, и, тогда как все признались, я моим упорством могу только замедлить ход дела в комитете. На что я мог ему отве-

тить только: «Так и вы, батюшка, тоже против меня; я этого не ожидал от вас». При этих словах он бросился меня обнимать и сказал: «Любезный друг, поступайте по совести и как бог вам внушит».

Я наконец отправил мои ответы, не назвавши никого; но сам я чувствовал, что прежнее намерение мое не называть никого слабело с каждым часом. Тюрьма, железа и другого рода истязания произвели свое действие, они развратили меня. Отсюда начался целый ряд сделок с самим собой, целый ряд придуманных мною же софизмов. Я старался себя уверить, что, назвавши известных мне членов Тайного общества, я никому не могу повредить, но многим могу быть полезен своими показаниями.

Отославши ответы, в которых я никого не назвал, на другой день я потребовал пера и бумаги и написал в комитет, что я наконец убедился, что, не называя никого, я лишаю себя возможности быть полезным для тех, которые бы сослались на меня для своего оправдания. Это был первый шаг в тюремном разврате.

Разумеется, я тотчас же получил вопросные пункты, на которые я так долго отказывался отвечать. Я назвал те лица, которые сам комитет назвал мне, и еще два лица: генерала Пассека, принятого мною в Общество, и П. Чаадаева. Первый умер в 1825 году, второй был в это время за границей. Для обоих суд был не страшен.

После этого я оставался долго забытым.

Наступил великий пост: у меня спросили, что я буду есть, постное или скоромное. Я отвечал, что мне все равно, и меня целый пост кормили шами со сметками. Мысловский по-прежнему навещал меня, но никогда не заводил со мной религиозного разговора. Однажды мне случилось сказать ему почему-то, что правительство наше не требует ни от кого православного исповедания. Мысловский отвечал, что правительство действительно ничего не требует, но что многих людей, которые были крещены в православной вере и которые оказались впоследствии неправославными, ссылали в Соловки или другие монастыри на заключение.

Этими словами Мысловский отворил мне еще один выход к соблазну. Я начал рассуждать очень основательно, что ежели правительство требует от православных, чтобы они всегда оставались православными, то, следовательно, оно требует только одного соблюдения обрядов.

На шестой неделе поста я прямо сказал Мысловскому, что желаю исповедаться и причаститься. «Любезный друг,— отвечал он мне,— я сам хотел давно предложить вам это, но, зная вас, никак не смел». Было положено, что он придет ко мне в вербное воскресенье с дарами, и в самом деле в этот день он явился ко мне в епитрахиль. Он хотел было начать формальностью, но я прямо сказал, что он знает мое мнение на этот счет. После этого он только спросил у меня, верю ли я богу. Я отвечал утвердительно. Он пробормотал про себя какую-то молитву и причастил меня.

Впоследствии я узнал, что этот день был для казанского протопопа днем великого торжества. В моем каземате он вел себя как самый простой, очень неглупый и весьма добрый человек, но зато вне стен крепости он вел свои дела не совсем для себя безвыгодно. Он не мог удержаться от искушения и рассказал всем, что он обратил в христианство самого упорного безбожника.

В вербное воскресенье вечером, когда я уже начал засыпать, часов в 10, вошел ко мне обыкновенным порядком плац-майор Подушкин; он развернул бумагу и прочел при всех присутствующих, что государь император приказал снять с меня оковы. С меня сняли ножные кандалы, после чего Подушкин объявил мне, что ручные останутся на мне. Первое время мне было неловко без ножных оков; я был обессилен долгим содержанием, и наручники иногда совершенно перевешивали меня вперед. В светлое воскресенье вечером, также в 10 часов, посещение Подушкина повторилось, и он опять по-прежнему произнес, что император велел снять с меня наручники.

После этого целый месяц меня не тревожили, время тянулось с страшной медленностью, но не без радостных минут. Когда я жил в Москве, теща моя, Н. Н. Шереметева, требовала от меня, чтобы я каждое воскресенье обедал у ее брата И. Н. Тютчева, отца Ф. И. Тютчева и Д. И., вышедшей за Сушкова. За этими обедами я проводил самые скучные минуты моей жизни, но отказаться от них было невозможно, это было бы ужасное огорчение для Н. Н. Шереметевой. Когда в воскресенье солдат приносил мне крепостных шей, я всегда вспоминал с удовольствием, что не пойду обедать к Тютчевым.

В мае месяце я неожиданно получил новый вопрос из комитета о том, в чем состоял разговор полковника

Митькова с Мухановым по получении известия о 14 декабря. Я совершенно пропал. В этом разговоре Муханов предлагал ехать в Петербург и убить императора. Сказать, что я не был при этом разговоре, было невозможно. Мне бы могли доказать, что я лгу, и потом, может быть, не поверили бы, если б я сказал что-нибудь в пользу Муханова. Я видел Муханова только один раз у Михайлы Орлова, он вызвался и у него убить императора. Услышав этот вызов, М. Орлов взял его за ухо и поцеловал за такое намерение в лоб. Потом Орлов просил меня отвезти Муханова к Митькову.

Мне показалась одна возможность спасти Муханова: описать мое свидание с ним у Орлова и Митькова, не показывая, разумеется, что Орлов целовал его; но описать то, что по словам Муханова я был уверен, что он никогда не принадлежал к Тайному обществу, и потому в моих показаниях не назвал его, что многоречивый вызов его отправиться в Петербург все присутствующие выслушали как пустую болтовню, и на нее никто не обратил внимания. Отправив такой отзыв в комитет, я несколько не успокоился, а чувствовал, что я был, хотя и невиновной, причиной, может быть, совершенной гибели Муханова. Положение мое было ужасное, это были минуты самые тяжелые из всех лет моего заточения. Я решился написать к императору и рассказать в письме все, что уже отвечал в комитете, и объяснить ему, каким образом Муханов через меня попал к Митькову. Я просил наложить на меня какое угодно наказание, но избавить Муханова от ответственности в деле, в котором он участвовал одной болтовней.

На другой день меня повезли в комитет. За красным столом сидел один Чернышев. Он торжественно прочел мне мое показание, написанное не моею рукою, в котором еще больше было сказано в пользу Михайлы Орлова, чем сколько сказал я. Он спросил меня потом, готов ли я подтвердить мое показание. Я отвечал, что подтверждаю его.

— Ваша священная обязанность всегда говорить истину, — сказал он.

После этого меня вывели в другую комнату, из которой я слышал разговор Чернышева с Мухановым.

Это была страшная для меня минута. Я ожидал, как пытки, очной ставки с Мухановым и вздохнул свободно только тогда, когда по прочтении моего показания Муханов сказал:

— Я не запираюсь, что я говорил вздор, но намерения совершить преступление я никогда не имел.

Меня отвели в рavelин, и с этих пор не тревожили до окончания следствия.

Когда следственная комиссия поднесла свое донесение императору, все дело поступило в Верховный уголовный суд.

Во время суда мне дозволены были свидания с Н. Н. Шереметевой, а потом с женою и сыновьями. С наступлением лета всех содержавшихся в рavelине поочередно пускали гулять в маленький треугольный садик, находящийся внутри рavelина. В этом саду есть могила. Здесь, по крепостному преданию, похоронена княжна Тараканова, дочь императрицы Елизаветы Петровны и Разумовского, предательски увезенная графом Алексеем Григорьевичем Орловым из Италии. По прибытии в Россию княжна Тараканова была посажена в рavelин; она утонула в каземате во время наводнения, бывшего в семидесятых годах ³⁹.

В начале июля меня повели в дом коменданта. Я уже знал через Мысловского, что нас позовут в Верховный уголовный суд для свидетельства всех наших показаний. Меня привели в небольшую комнату, где за столом на председательском месте сидел бывший министр внутренних дел князь Ал. Бор. Куракин; направо и налево от него сидело еще человек шесть членов суда. Бенкендорф присутствовал как депутат от комитета.

Сенатор Баранов очень вежливо предложил пересмотреть лежащие перед ним бумаги и спросил, мои ли это показания. Прочсть все эти бумаги было невозможно в короткое время, да и к тому же я очень понимал, что меня не затем призвали, потому что 121 подсудимый должны были в одни или не более как в двое суток проверить все свои показания и бумаги. Я перелистывал кое-как бумаги, которых Баранов даже не выпускал во все время из рук, и видел на иных листах свой почерк, на других почерк мне совершенно незнакомый. Баранов предложил мне что-то подписать, и я подписал его листок не читая. В этом случае Верховный уголовный суд хотел сохранить ежели не самую форму, требуемую в судебных местах, то по крайней мере хоть тень этой формы.

12 июля, часу в первом, меня опять повели в дом коменданта, и на этот раз я очень был удивлен, когда Трусов, приведя меня в одну проходную комнату, исчез, и я

очутился с глаза на глаз с Никитой и Матвеем Муравьевыми и Волконским. Тут было еще два лица, мне незнакомые... Одно в адъютантском мундире — это был Александр Бестужев (Марлинский); другое — в самом смешном наряде, какой только можно себе представить, это был Вильгельм Кюхельбекер (издатель «Мнемозины»). Он был в той же одежде, в которой его взяли при входе в Варшаву, — в изорванном тулупе и теплых сапогах.

Свидание с Муравьевыми и в особенности разговор с Никитой были для меня истинным наслаждением. Матвей был мрачен; он предчувствовал, что ожидало его брата. Кроме Матвея, никто не был мрачен. О себе я не могу судить, похудел ли я во время шестимесячного заключения, но я был истинно поражен худобой не только присутствующих товарищей, но и всех подсудимых, которых проводили через нашу комнату. Вскоре явился Мысловский, отозвал меня в сторону и сказал:

— Вы услышите о смертном приговоре, не верьте, чтобы совершилась казнь.

Некоторое время мы оставались вшестером в нашей комнате; потом Трусов провел нас через ряд пустых комнат, и мы прошли в Верховный уголовный суд.

Митрополиты, архиереи, члены Государственного совета и генералы сидели за красным столом; за ними стоял Сенат. Все были обращены лицом к подсудимым. Нас шестерых выстроили гуськом. Министр юстиции князь Лобанов очень хлопотал, чтобы все происходило надлежащим образом.

Перед столом стоял пюпитр на одной ножке; на нем лежали бумаги.

Обер-секретарь, пресмешной наружности, первоначально сделал нам перекличку, и когда Кюхельбекер не скоро откликнулся на свое имя, то Лобанов закричал повелительным голосом: «Да отвечайте же, да отвечайте же!» Потом началось чтение приговора. Когда прочли мое имя в числе приговоренных к смертной казни, мне показалось это только смешным фарсом, и в самом деле нам всем шестерым смертная казнь была заменена ссылкой в каторжные работы на 20 лет. После этого меня отвели опять в 1-й номер рavelина. Священник обещался зайти ко мне и не зашел. Едва успели меня раздеть, как явился крепостной доктор с вопросом о моем здоровье. Я сказал, что у меня немного зуб болит;

он удивился и ушел. Его послали ко всем бывшим в суде, чтобы подать помощь тем, которые занемогли, выслушав приговор.

Ужин подали немного ранее обыкновенного, и я тотчас же крепко заснул. В полночь меня разбудили, принесли платье, одели меня и вывели на мост, который идет от равелина к крепости. Здесь я встретил опять Никиту Муравьева и еще нескольких знакомых. Всех нас повели в крепость; из всех концов, из всех казематов вели приговоренных. Когда все собрались, нас повели под конвоем отряда Петропавловского полка через крепость в Петровские ворота. Вышедши из крепости, мы увидели влево что-то странное и в эту минуту никому не показавшееся похожим на виселицу. Это был помост, над которым возвышались два столба; на столбах лежала перекладина, а на ней висели веревки. Я помню, что когда мы проходили, то за одну из этих веревок схватился и повис какой-то человек; но слова Мысловского уверили меня, что смертной казни не будет. Большая часть из нас была в той же уверенности.

На кронверке стояло несколько десятков лиц, большею частью это были лица, принадлежавшие к иностранным посольствам; они были, говорят, удивлены, что люди, которые через полчаса будут лишены всего, чем обыкновенно дорожат в жизни, шли без малейшего раздумья, с торжеством и весело говоря между собою. Перед воротами всех нас (кроме носивших гвардейские и флотские мундиры) выстроили покоем спиной к крепости, прочли общую сентенцию; военным велели снять мундиры и поставили нас на колени. Я стоял на правом фланге, и с меня началась экзекуция. Шпага, которую должны были переломить надо мной, была плохо подпилена; фурлейт ударил меня ею со всего маху по голове, но она не переломилась; я упал. «Ежели ты повторишь еще раз такой удар,— сказал я фурлейту,— так ты убьешь меня до смерти». В эту минуту я взглянул на Кутузова, который был на лошади в нескольких шагах от меня, и видел, что он смеялся.

Все военные мундиры и ордена были отнесены шагов на 100 вперед и были брошены в разведенные для этого костры.

Экзекуция кончилась так рано, что ее никто не видел; вообще перед крепостью не было народа. После экзекуции нас отвели опять в крепость и меня опять в

1-й номер равелина. Ефрейтор, который принес мне обедать, был необыкновенно бледен и шепнул мне, что за крепостью совершили ужас, что пятерых из наших повесили. Я улыбнулся, нисколько ему не веря, но ожидал Мысловского с нетерпением. Наконец вечером он взошел ко мне с сосудом в руках. Я бросился к нему и спросил, правда ли, что была смертная казнь. Он хотел было отвечать мне шуткою, но я сказал, что теперь не время шутить. Тогда он сел на стул, судорожно сжал сосуд зубами и зарыдал. Он рассказал мне все печальное происшествие.

После приговора Пестель, Сергей Муравьев, Рылев, Михайло Бестужев и Каховский были отведены в особые казематы. Сестра Сергея Муравьева Кат. Ив. Бибикова, узнавши, что брат ее приговорен к смертной казни, поскакала в Царское Село и просила через Дибича о дозволении иметь свидание с братом. Ей позволено увидеться с ним на один час. Свидание их происходило в доме коменданта Сукина и в его присутствии. Сергей Муравьев был очень покоен и просил сестру не оставлять попечениями их брата Матвея. Разлука их навсегда, по словам самого Сукина, была ужасна.

Когда Сергей Муравьев возвратился в каземат, к нему вошел с печальным видом плац-майор Подушкин. Сергей Муравьев предупредил его: «Вы, конечно, пришли надеть на меня оковы». Подушкин позвал людей; на ноги ему надели железа. То же было сделано и с четырьмя товарищами Сергея Муравьева. Все смотрели совершенно спокойно на приготовление казни, кроме Михайлы Бестужева: он был очень молод, и ему не хотелось умирать.

Ночью пришел к ним священник Мысловский с дарами. Кроме Пестеля, который был лютеранин, все они причастились. Когда после экзекуции нас ввели в казематы, их вывели перед собор. Был второй час ночи. Бестужев насилу мог идти, и священник Мысловский вел его под руку. Сергей Муравьев, увидя его, просил у него прощенья в том, что погубил его.

Когда их привели к виселице, Сергей Муравьев просил позволения помолиться; он стал на колени и громко произнес: «Боже, спаси Россию и царя!» Для многих такая молитва казалась непонятною, но Сергей Муравьев был с глубокими христианскими убеждениями и молил за царя, как молил Иисус на кресте за врагов сво-

их. Потом священник подошел к каждому из них с крестом.

Пестель сказал ему: «Я хоть не православный, но прошу вас благословить меня в дальний путь». Прощаясь в последний раз, они все пожали друг другу руки. На них надели белые рубашки, колпаки на лицо и завязали им руки. Сергей Муравьев и Пестель нашли и после этого возможность еще раз пожать друг другу руку. Наконец их поставили на помост и каждому накинули петлю. В это время священник, сошедши по ступеням с помоста, обернулся и с ужасом увидел висевших Бестужева и Пестеля и троих, которые оборвались и упали на помост ⁴⁰. Сергей Муравьев жестоко разбился; он переломил ногу и мог только выговорить: «Бедная Россия! и повесить-то порядочно у нас не умеют!» Каховский выругался по-русски. Рылеев не сказал ни слова. Неудача казни произошла оттого, что за полчаса перед тем шел небольшой дождь, веревки намокли, палач не притянул довольно петлю, и когда он опустил доску, на которой стояли осужденные, то веревки соскользнули с их шен. Генерал Чернышев, бывший распорядителем казни, не потерял голову: он велел тотчас же поднять трех упавших и вновь их повесить. Казненные оставались недолго на виселице; их сняли и отнесли в какой-то погреб, куда едва пропустили Мысловского: он непременно хотел прочесть над ними молитвы.

Еще несколько слов о Мысловском. 15 июля на Петровской площади был назначен парад и очистительное молебствие, которое должен был отслужить митрополит со всем духовенством. Протоиерей Мысловский отпустил образ казанской божьей матери на молебствие с другим священником, а сам в то же время надел черную ризу и отслужил в Казанском соборе панихиду по пяти усопшим. Бибикова зашла помолиться в Казанский собор и удивилась, увидав Мысловского в черном облачении и услышав имена Сергея, Павла, Михаила, Кондратия ⁴¹.






М. А. Бестужев

БРАТЯ БЕСТУЖЕВЫ

*(14 декабря. Дни предшествующие. Был в эти дни и местожительства?)*¹

 Нас было пять братьев, и все пятеро погибли в водовороте 14 декабря. Посвятим несколько строк для каждого из них для того, чтобы, хотя неудовлетворительно, ответить на ваши вопросы.

Старший брат, Николай, последнее время своей службы в Кронштадте жил вместе со мною и младшим братом Петром на казенной квартире, в доме, который впоследствии переделан для главного командира Кронштадтского порта. Рядом с нами занимал комнаты капитан-лейтенант Михаил Афанасьевич Дохтуров, а над нами была квартира Катерины Петровны Абросимовой, вдовы штурманского офицера. Я упоминаю об этих личностях потому, что первый играл незавидную роль при арестовании брата Николая на квартире второй личности, т. е. Абросимовой. Около этого времени генерал Леонтий Васильевич Спафарьев предложил брату принять должность помощника его как директора всех маяков в Финском заливе. Брат изъявил согласие и должен был переехать в Петербург. Тут он поселился вместе с матушкою и сестрами, где и проживал до 14 декабря. Дом этот находился в 7-й линии Васильевского острова и принадлежал купцу Гурьеву. Из окон дома слева видна была церковь Андрея Первозванного, а напротив лабазы Андреевского рынка.

Наконец, наскучив возиться с устройством маячных ламп, рефлекторов, машин для вертящихся огней маяков, а главное, со взбалмошным своим начальником, он бросил эту должность и поступил историографом русского флота и начальником морского музея, находив-

шегося в Адмиралтействе. Тут открылось обширное помещение для его умственной и технической деятельности, и надо сказать, что требовалось много энергии и силы воли, чтобы начать с пользою действовать в том хаосе, какой царил в архивах и модельных залах. В грудах, покрытых пылью и плесенью, лежали драгоценные манускрипты; в тетрадах, сшитых на живую нитку, автографов Петра Великого и прочих его деятелей недоставало многих листов, они были вырезаны, а чаще просто выдраны; в залах моделей между дорогими и замечательными по отделке моделями находились какие-то кораблики-игрушки и предметы, совершенно чуждые флоту. Все это составлено, свалено, скомкано без всякого толку. Двенадцать человек мастеровых занимались более деланием сундучков и баульчиков, чем моделями. Можно себе представить, как много и бесполезно было потеряно времени для этой черной работы, тогда как он обязан был, по званию историографа, представить на суд общества результаты своих исторических исследований. И я был свидетелем его моральной пытки, когда он несколько раз, исписав много листов, с досадой рвал их или по недостатку потерянных фактов, или после находки новых, изменявших сущность написанного им ².

Он увидел себя в безвыходном положении... Ему оставался единственный выход — привести в порядок хаос архива, и он принялся за этот подвиг Геркулеса, очистившего конюшни царя Авгия от навоза, со всей энергией безотрадного положения. Он буквально проводил целые дни в пыльной атмосфере архива и выходил подышать свежим воздухом или в модельную залу, где водворялся порядок систематическою расстановкою в хронологическом порядке моделей, или в мастерскую, где пополнялись пробелы моделей мастеровыми, требовавшими его указаний.

По временам я его встречал у Рылеева, на обычных «русских завтраках», которые были постоянно около второго или третьего часа пополудни и на которые обыкновенно собирались многие литераторы и члены нашего Общества. Завтрак неизменно состоял из графина очищенного русского вина, нескольких кочней кислой капусты и ржаного хлеба. Да не покажется вам странным такая спартанская обстановка завтрака, ежели взять в соображение, во-первых, потребность натуры брата Александра, требующей кислой пищи, на лише-

ние коей так часто жаловался он на Кавказе, а во-вторых, что эта потребность гармонировала со всегдашней наклонностью Рылеева — налагать печать руссизма на свою жизнь.

Брат Александр, по обязанности адъютанта герцога Виртембергского, каждое утро должен был являться к нему, а через день оставаться там до вечера по обязанности дежурного адъютанта. Жил он с Рылеевым в доме, занимаемом директором Американской компании Прокофьевым, на Мойке, недалеко от Синего моста.

Иногда герцог увольнял его от своих обедов, и тогда он спешил на свои любимые «русские завтраки». Я тоже очень любил эти завтраки, и, как только была возможность, я спешил отдохнуть там душою и сердцем, в дружной семье литераторов и поэтов, от убийственной шагистики, поглощавшей все мое утро до вечера.

Особенно врезался у меня в памяти один из них, на котором, в числе многих писателей, были Дельвиг, Ф. Глинка, Гнедич, Грибоедов и другие. Тут же присутствовал брат А. Пушкина, Лёв, которого брат Александр в насмешку называл «Блёв», намекая на его умеренное употребление бахусовой влаги. Помню, что он говорил наизусть много стихов своего брата, еще не напечатанных: прочитал превосходный разговор Тани с нянею, приведший в восторг слушателей.

Помню, как тут же брат Александр и Рылеев просили Льва Пушкина передать брату, не согласится ли он продать им каждый стих этого эпизода по пяти рублей для предполагаемой «Полярной звездочки», что впоследствии было утверждено с согласия А. Пушкина.

Помню, как зашла речь о Жуковском и как многие жалели, что лавры на его челе начинают блекнуть в придворной атмосфере, как от сожаления, неприметно, перешли к шуткам на его счет. Ходя взад и вперед с сигарами, закусывая пластовой капустой, то там, то сям вырывались стихи с оттенками эпиграммы или сарказма, и наконец брат Александр, при шуме возгласов и хохота, редижировал известную эпигramму, приписанную впоследствии А. Пушкину:

Из савана оделся он в ливрею,
На пудру променял свой лавровый венец,
С указкой втерся во дворец;
И там, пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею...
«Бедный певец!..»⁸

Брат Петр был нрава кроткого, флегматического и любивший до страсти чтение сурьезных сочинений; постоянно молчаливый, был красноречив, когда удавалось его расшевелить, и тогда он говорил сжато, красно и логично.

Он был адъютантом главного командира Кронштадтского порта вице-адмирала Федора Васильевича Моллера и жил, до последнего времени, на квартире, которую занимал брат Николай.

В последнее время мы с ним редко виделись. Обязанности по службе и отсутствие матушки и сестер в Петербурге были тому причиною.

За пять дней до 14 декабря он приехал в Петербург, сопровождая жену Михаила Гавриловича Степового — Любовь Ивановну, и уехал обратно в Кронштадт, по нашему настоянию, за день до рокового дня.

Каково же было мое удивление, когда 13 декабря, быв на совещании у Рылеева, я, забежав навестить Оresta Сомова, больного и жившего в одном доме с Рылеевым, неожиданно увидел брата Петра у него. Он бросился ко мне на шею и умолял не говорить о своем возвращении старшим братьям.

— Они меня заставят снова уехать, — говорил он взволнованным голосом, — и я буду лишен завидной участи разделять опасность вашего славного предприятия.

Что было делать? Я согласился молчать, — и он явился на площади, только что я привел Московский полк⁴.

Осужденный служить на Кавказе солдатом, он под ранцем выстрадал всю персидскую и турецкую кампанию, был ранен в левую руку при штурме Ахалцыха и потом сведен с ума в одной из кавказских крепостей, попав под начальство начальника этого укрепления — непроходимого бурбона, т. е. офицера из нижних чинов. Это вот как случилось... Генерал Раевский, бывший член нашего Общества и прощенный государем за чистосердечное раскаяние, проживая, как начальник отряда, в Тифлисе, наполнил свой штаб большею частию из декабристов и ссыльных офицеров. Прочих, не бывших в его штабе, он ласково принимал в своем доме. Отставной флотский офицер фон Дезин, муж премиленькой жены своей, воспитанницы Смольного монастыря и подружки одной из моих сестер, вышедшей с нею в тот же год, приревновал брата Александра и вместо того, чтобы рассчитаться с братом, наговорил матушке при

выходе из церкви дерзостей. Брат вызвал его на дуэль — он отказался.

Рылеев встретил его случайно на улице и, в ответ на его дерзости, исхлестал его глупую рожу кравашем⁵, бывшим в его руке.

Этот-то субъект был назначен на Кавказ как чиновник-провиантмейстер и как-то, попав на вечер к Раевскому, увидел себя посреди декабристов. В паническом страхе за свою жизнь он на другой же день уехал без разрешения в Петербург, а там, чтоб как-нибудь оправдать свое безрассудство, подал государю донос, в котором представлял Раевского как изменника.

Гневный царь прислал строжайший выговор Раевскому, а главнокомандующему на Кавказе приказ: разослать всех окружающих Раевского и находящихся в Тифлисе декабристов по разным крепостям, с тем чтобы их подвергнуть досконально шагистике⁶.

Несчастливая судьба Петра бросила его в лапы одного из тех животных, которые носят название «бурбонов». В кавказские жары, в полной амунии, под ружьем в раненой руке, он его в три месяца доконал. Все усилия братьев Александра и Павла возратить ему рассудок остались тщетны. Попытки матушки, испрашивавшей милостивого разрешения о позволении взять его к себе и лечить, пока это было возможно, остались без ответа, и, наконец, его прислали к ней в деревню в окончательном сумасшествии, которым он мучил и мать и сестер целые семь лет. Болезнь доросла до ужасающих симптомов. Опасение за его, за собственную их жизнь, опасение сгореть в пожаре дома, что повторялось несколько раз, заставило мать обратиться к начальнику штаба жандармов Бенкендорфу с покорнейшею просьбою: поместить брата Петра в заведение умалишенных герцога, бывшее на 5-й версте от столицы по Петергофской дороге. Бенкендорф доложил об этом царю. И если бы это не был факт — поверит ли будущее поколение, чтобы властитель семидесяти миллионов дал такого рода резолюцию: «В просьбе отказать, так как это заведение очень близко от столицы». Впоследствии подведомственные агенты правительства, устыдясь бессмысленности такой резолюции, дали позволение матери поместить брата Петра в это заведение. Он был там помещен и через три месяца умер⁷.

Брат Павел воспитывался в артиллерийском училище. В последнее время он был в офицерском классе и

готовился по выдержании экзамена поступить в гвардейскую конную артиллерию. На другой день 14-го числа великий князь Михаил во время парадного выхода обнял его, поцеловал [и] сказал: «Для меня — ты не брат бунтовщиков. Я тебя знаю как хорошего офицера и постараюсь забыть, что ты называешься Бестужевым».

Это было лобзание Иуды... Присутствие брата Бестужевых посреди лихорадочно потрясенной 14 декабря молодежи было опасно. Великий князь понимал, что эта закваска рано или поздно приведет все тесто в брожение, и он изыскивал все средства выбросить эту закваску. Случай представился к его услугам. В день коронации столица была иллюминирована, были различные транспаранты, и перед одним из них, дышащим верно-подданныческим выражением чувств, собралась толпа, и из среды ее слышались едкие эпиграммы. Произошел скандал. Нашлись благожелатели, которые донесли, что начинщиком одного был П. Бестужев, во главе офицерского класса артиллерийского училища. Назначено строжайшее следствие, и оказалось, что брат был непричастен этому делу. На этот раз гроза его миновала, но ненадолго.

Несколько месяцев спустя великий князь Михаил Павлович, пробегаая по офицерским дортуарам, увидел развернутую книгу на одном из столиков, помещавшихся между двумя кроватями. Он схватывает книгу — то была «Полярная звезда». Смотрит, на чем она была развернута, — это была «Исповедь Наливайки».

— Кто здесь спит? — спросил он гневно, указав на одну из кроватей.

— Бестужев, ваше высочество! — отвечали ему.

— Арестовать его!..

И началось новое следствие, и несмотря на то, что и в этом казусе он был совершенно невиноват, потому что по следствию оказалось, что книга принадлежала и была читана товарищем его, спавшим на кровати по другую сторону стола. Но ясно было видно намерение правительства так или сяк удалить брата из училища. Эту скрытую идею, облеченную мраком формальностей суда, брат Павел вывел на свежую воду в своем ответе великому князю Михаилу, когда тот убеждал его сознаться в виновности.

— Ваше высочество, я сознаюсь! я кругом виноват, я должен быть наказан, потому что я — брат моих братьев.

Матушка написала к государю просьбу и умоляла не лишать ее последней подпоры в старости. Илья Бибилов приехал к ней от великого князя для ее успокоения и передачи слов государя: что сыну ее будет легкое отеческое наказание, после которого он будет попрежнему служить.

— Со своей стороны, полковник, и я прошу вас передать государю мои слова: за что сын мой должен быть наказан по делу, в котором он не причастен? Да, наконец, если бы суд и нашел и уличил, что он читал «Полярную звезду», то можно ли наказывать человека за чтение книги, одобренной цензурою и за которую издатели получили от августейшего семейства царские подарки? Вы, полковник, дадите мне слово передать это государю.

— Будьте уверены, я исполню вашу просьбу, — отвечал благородный, прямой Бибилов.

И он точно это исполнил, а бедный брат все-таки обречен был искупить роковое имя Бестужевых. Он просидел около года в Бобруйской крепости и потом, точно по словам милосердного царя, был выпущен на службу, но спросите — куда?.. На Кавказ в [Бурную]⁸, где гарнизон постоянно вымирал, в трехлетнюю службу, и куда Ермолов ссылал тех офицеров, которые по суду должны были идти или в Сибирь, или под солдатскую лямку. Тут он нахлебался всех кавказских наслаждений в виде лихорадок, завалов желудка, расстройства печени и проч. и проч., и, протаскавшись с этими подругами его боевой жизни обе кампании, персидскую и турецкую, он вышел в отставку с Анненским крестом вместо просимых им денег за изобретение прицела к пушкам, который введен был во всей артиллерии под названием «бестужевского прицела»⁹.

В Петербурге великий князь почувствовал, вероятно, некое угрызение совести и предложил брату, через Ростовцева, должность старшего адъютанта при главном управлении военно-учебных заведений. Брат принял предложение, прослужил там года три и снова вышел в отставку, поехал в Москву и там женился на богатой наследнице, единственной дочери владимирского помещика Евграфа Васильевича Трегубова, старосветского русского барина, с замашками аристократа и со страстию к рифмоплетству, похожею на хвостовскую. К его кавказским гостинцам присоединились тяжелые труды по устройству расстроенного имения. Он заболел и умер че-

рез шесть недель после смерти матушки, последовавшей 27 октября 1846 года, схоронив до своей кончины единственного своего сына Александра.

Отец его жены умер несколько месяцев после, а жена его через три или четыре года вышла замуж за артиллерийского офицера Мыльникова, имела от него трех малюток и вскоре умерла.

Теперь очередь дошла до меня.

Но что я могу прибавить после того, что я писал вам и изустно беседовал о себе? Постараюсь пополнить пробелы, ускользнувшие из моей памяти.

Видя воочию совершавшееся систематическое разрушение нашего флота под управлением французского министра (маркиза де Траверсе), а потом немецкого (Антон Вильгельм Моллер) и будучи лично оскорблен вопиющею несправедливостью в деле проекта К. П. Торсона о преобразовании флота, я невольно проникся чувством омерзения к морской службе и, заглушив мою страсть к морю, искал случая сокрыть свою голову где бы то ни было. Дела нашего Общества близились к окончательным результатам. Брат Александр, которому я исповедал состояние моей души, предложил мне перейти на службу в гвардию, объяснив мне, что мое присутствие в полках гвардии, может быть, будет полезно для нашего дела,— я согласился. Он, будучи в дружеских отношениях с Ильею Гавриловичем Бибиковым, членом нашего Общества, адъютантом великого князя Михаила, который его уважал и любил, взялся за перевод. Великий князь, ценя его ходатайство, захотел ознаменовать свое к нему расположение особенною милостию и перевел меня в Московский полк, коего он был шефом. Приказ о моем переводе был получен мною накануне представления [в Кронштадте] комедии Коцебу: «Пажеские шутки», в которой роль колченого солдата играл я. Вы вправе спросить меня: какой это театр? Этот театр был устроен и управляем братом Петром и в шутку названный Петрозаводским. Он, следуя за примером брата Николая, устроившего во время его кронштадтской службы прекрасный театр, где он был и директор, и костюмист, и режиссер, и главный актер, и за примером вашего покорнейшего слуги, устроившего точно в тех же условиях театр в Архангельске,— брат Петр, говорю я, аранжировал премиленький театр, и представления шли с блестящим успехом. Он, зная мои сценические таланты, упросил взять вышеупо-

мянутую роль, и когда комедия выдержала все репетиции и была назначена к представлению, я должен был ехать в Петербург. Всем, включая и себя, нам было крайне это неприятно, но что ж делать?.. Я написал ко всему лику актеров следующую эпистолу: «С прискорбием извещая о постигшей кончине моего сценического поприща, по случаю перевода моего в гвардию, прошу почтить последние минуты моего отъезда и с бокалом в руке пожелать мне на том свете быть столь же счастливым, как я был с вами на этом».

В полку меня встретили неприязненно все те, которым я, как первый поручик, сел на голову; зато со старшими я жил в ладах, сблизившись с ними у Александра П. Корнилова задолго до моего перевода. Захватив сильную простуду на ученье в манеже, я переехал от матушки к Рылееву и брату Александру и там проболел месяца четыре.

В пароксизмах лихорадки мне, как в калейдоскопе, являлись и исчезали лица литераторов и поэтов, поодиночке и группами, говорящих, смеющихся, спорящих или читающих стихи или прозу, как это обыкновенно происходило на «русских завтраках» или за вечерним чаем. О политике редко заходила речь; о делах нашего Общества — никогда. Об этом предмете мы толковали поздними вечерами, когда оставались только члены нашего Общества ¹⁰.

По принятии мною роты от капитана Мартынова я должен был переехать на казенную квартиру в Московские казармы, где и оставался до 14 декабря.

Вначале с ротою мне было немало хлопот. Мой предместник — славный фрунтовик и до костей пропитанный тогдашнею системою командования — был жесток с солдатами и даже на учении их бил шомполами. Желая поставить роту на иных принципах, я с первого же дня уничтожил употребление не только шомполов, но даже палок и розог ¹¹. Вы сами служили и знаете натуру русского солдата. Они меня не поняли и приняли мое гуманное с ними обращение за слабость. Но, слава богу, после нескольких случаев недоумения все обошлось как нельзя к лучшему, я заслужил их любовь и доверенность. Судились и наказывались они своим судом, и [в] штрафную книгу ни одного солдата не было записано, — так что я даже имел удовольствие заслужить строгий выговор от великого князя за потворство к подчиненным. Не в похвальбу себе я вам пишу об

этом, а чтобы объяснить, каким образом я имел возможность через преданных мне душою солдат приготовить полк к восстанию, когда ни один из ротных офицеров не были членами [Общества] и когда солдаты всех полков были под аргусовыми очами лазутчиков и шпионов.

[11 декабря.] В последние дни перед 14 декабря все остававшееся от ротных учений время было поглощено приготовлением солдат и беседе с ротными командирами, так что я только урывками мог забегать к Рылеву и брату Александру, чтоб сообщить им результаты своих действий.

В пятницу, т. е. 11 декабря, наш батальон вступил в караулы по 1-му отделению, и я с ротою был назначен на главную гауптвахту в Зимний дворец.

При смене караульный капитан передал мне секретное приказание великого князя Николая Павловича: «Начиная от вечерней зари до утренней приводить часовых к покоям его высочества лично самому капитану». Во втором часу ночи, прошедши с часовым длинный темный коридор, освещенный одною только лампою, я остановился пред дверьми спальни его высочества, — часовые, один, сходя с круглого матика, а другой, вступая на него, впотьмах нечаянно скрестились ружьями, и железо курков резко звякнуло. Почти в то же мгновение полуотворилась дверь и в отверстие показалось бледное, испуганное лицо великого князя.

— Что это значит? Что случилось? Кто тут? — спрашивал он дрожащим голосом.

— Караульный капитан, ваше высочество, — отвечал я.

— А, это ты, Бестужев! Что ж там такое?

— Ничего, ваше высочество, часовые при смене сцепились ружьями...

— И только?.. Ну, если что случится, то ты дай мне тотчас знать, — и он скрылся.

Это, по-видимому, ничтожное обстоятельство глубоко врезалось в его душу, что можно было заметить при личных его допросах, когда он несколько раз обращался ко мне с желчными упреками и когда вскоре после 14-го он составил дворцовую роту для охранения его особы более надежную стражею.

[12 декабря.] В субботу матушка и сестры приехали из деревни. Только поздним вечером мне удалось обнять их. Матушка просила меня заехать к брату

Александр и сказать ему, чтоб приезжал в воскресенье к ним обедать, так как все братья налицо в Петербурге и она хочет видеть всех. У него я застал многих из нашего Общества и пробыл тут далеко за полночь.

[13 декабря.] На другой день я был назначен дежурным по караулам второго отделения, но, несмотря на это, я приехал к обеду, и мы все пятеро сели за стол с тремя сестрами и матушкою посредине. Старушка со слезами на глазах благодарила бога за его неизреченную милость, даровавшую благо свидеться после долгой разлуки со всеми сыновьями и видеть всех нас вступившими на блестящий путь будущности. С мрачными думами сидели мы, опустив головы, и, украдкой перебрасываясь взглядами, старались улыбаться, когда она, любуясь нами, осыпала нас своими материнскими ласками.

Несчастливая мать!.. Могла ли она предвидеть, что не пройдет и суток, как ее золотые сны сменятся горестною действительностью!..

Мне должно было уехать для осмотра караулов. Я простился с матушкою и сестрами, не зная, увижусь ли я когда с ними ¹².

Заклучив объезд теми караулами, которые занимала одна из рот нашего полка, во-первых, чтобы узнать, не воротился ли Михаил Павлович ¹³, а во-вторых, чтоб сообщить караульным офицерам распоряжение, вследствие которого они должны были по смене караула — если уже полка не найдут в казармах — вести солдат прямо на Сенатскую площадь, я, будучи близко от дома вице-адмирала М[ихайловского], заехал тоже навсегда проститься с хозяевами, а главное со старшею дочерью, которая мне очень нравилась и которая страстно меня любила. У них я нашел многочисленное общество; молодежь танцевала под фортепиано. Хозяева играли в карты, дочка танцевала. Я решился уехать потихоньку и для того вышел в столовую, где оставил шарф и кивер. Когда я в лихорадочном волнении тщетно старался застегнуть крючки шарфа, Анета подкралась и застегнула крючки. Я обнял ее, поцеловал в лоб и промолвил: «Прощай, мой друг!..»

Но, видно, и голос и лицо мое говорили то, что она давно предчувствовала и что ей сообщили другие гвардейские офицеры, как слухи о предполагаемом бунте.

Она затряслась всем телом, побледнела, как полотно, и упала к ногам моим без чувств. Поднять ее, поло-

жить на диван и сдать на руки ее няне было дело одной минуты. Я спешил, чтобы не быть свидетелем суматохи, поднявшейся в доме. Несчастливая девушка! Она отгадала, что я прощался с нею навеки...

Заехав в полк, я взял с собою князя Щепина-Ростовского и поспешил к Рылееву. Ночь я провел с ним, укрощая его лихорадочно-напряженное состояние и боясь оставить его одного из опасения, чтоб он не наделал чего-либо преждевременно.

Что было после, я когда-нибудь сообщу вам, если вы пожелаете, а теперь, ответив на ваш вопрос, перейду к другим.

14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

Перемещение мое из казарм Московского полка в Петропавловскую крепость было последнее.

Шумно и бурливо совещание накануне 14-го в квартире Рылеева. Многолюдное собрание было в каком-то лихорадочно-высоконастроенном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобноисполнимые предложения и распоряжения, слова без дел, за которые многие дорого поплатились, не будучи виноваты ни в чем, ни перед кем. Чаше других слышались хвастливые возгласы Якубовича и Щепина-Ростовского. Первый был храбрый офицер, но хвастун и сам трубил о своих подвигах на Кавказе. Но недаром сказано: «Кто про свои дела твердит всем без умолку — в том мало очень толку», и это он доказал 14 декабря на Сенатской площади. Храбрость солдата и храбрость заговорщика не одно и то же. В первом случае — даже при неудаче — его ждет почесть и награды, тогда как в последнем при удаче ему предстоит туманная будущность, а при проигрыше дела — верный позор и бесславная смерть. Щепина-Ростовского, хотя он не был членом Общества, я нарочно привел на это совещание, чтобы посмотреть, не попятится ли он. Будучи наэлектризован мною, может быть, чрез меру и чувствуя непреодолимую силу, влекущую его в водоворот, бил руками и ногами и старался как бы заглушить и отуманить рассудок всплеском воды и брызгами.

Зато как прекрасен был в этот вечер Рылеев! Он был нехорош собою, говорил просто, но не гладко; но когда он попадал на свою любимую тему — на любовь

к Родине,— физиогномия его оживлялась, черные как смоль глаза озарялись неземным светом, речь текла плавно, как огненная лава, и тогда, бывало, не устанешь любоваться им *.

Так и в этот роковой вечер, решавший туманный вопрос: «То be or not to be **», его лик, как луна бледный, но озаренный каким-то сверхъестественным светом, то появлялся, то исчезал в бурных волнах этого моря, кипящего различными страстями и побуждениями. Я любовался им, сидя в стороне, подле Сутгофа, с которым мы беседовали, поверяя друг другу свои заветные мысли. К нам подошел Рылеев и, взяв обеими своими руками руку каждого из нас, сказал:

— Мир вам, люди дела, а не слова! Вы не беснуетесь, как Щенин или Якубович, но уверен, что сделаете свое дело. Мы...

Я прервал его:

— Мне крайне подозрительны эти бравады и хвастливые выходы, особенно Якубовича. Вы поручили ему поднять артиллеристов и Измайловский полк ¹⁵, прийти с ними ко мне и тогда уже вести всех на площадь к Сенату — поверь мне, он этого не исполнит, а ежели и исполнит, то промедление в то время, когда энтузиазм солдат возбужден, может повредить успеху или совсем его испортить.

— Как можно предполагать, чтобы храбрый кавказец?..

— Но храбрость солдата не то, что храбрость заговорщика, а он достаточно умен, чтоб понять это различие. Одним словом, я приведу полк, постараюсь не допустить его до присяги, а другие полки пусть присоединяются со мною на площади.

— Солдаты твоей роты, я знаю, пойдут за тобою в огонь и в воду, но прочие роты? — спросил, немного подумав, Рылеев.

* И этого-то человека сумели загрязнить трусостью?! В записках декабристов помещено описание 14 декабря И. И. Пущина ¹⁴. Этот небольшой отрывочек, вероятно, прошел через руки какого-нибудь верноподданного, прежде нежели он был напечатан Герценом, и, вероятно, эта фраза вставная (стр. 148). То же можно сказать и об отзыве про брата Александра и про Сутгофа и Панова (стр. 155). Точно так же показано ложно о Трубецком, будто бы находившемся на площади в свите императора (стр. 159). Промакхи они, или умышленные вставки — не знаю. Опровергать их я не намерен, но они будут опровергнуты моим правдивым описанием.

** Быть или не быть (англ.).

— В последние два дня солдаты мои усердно работали в других ротах, а ротные командиры дали мне честное слово не останавливать своих солдат, ежели они пойдут с моими. Ротных командиров я убедил не идти на площадь и не увеличивать понапрасну число жертв.

— А что скажете вы? — сказал Рылеев, обратившись к Сутгофу.

— Повторяю то же, что вам сказал Бестужев, — отвечал Сутгоф. — Я приведу [свою роту] на площадь, когда соберется туда хоть часть войска.

— А прочие роты? — спросил Рылеев.

— Может быть, и прочие последуют за моею, но за этих я не могу ручаться.

Это были последние слова, которыми мы обменялись на этом свете с Рылеевым. Было близко полуночи, когда мы его оставили, и я спешил домой, чтобы быть готовому к роковому завтрашнему дню и подкрепить ослабшие от напряженной деятельности силы хоть несколькими часами сна. Но вышло не так. Вечно без толку кипящая натура Щепина вдруг окунулась в сферу ей неведомую, бурливое волнение которой еще более ее вскипятило. Не понимая, что дело шло совсем не о том, чтобы иметь царем Константина или Николая, он за Константина выкрикивал самые отчаянные фразы, и следственною комиссиею был помещен в число самых отчаянных членов нашего Общества, тогда как даже о существовании Общества он ничего не знал. Видя его восторженное состояние, я раскаялся, что напустил чересчур много пару в эту машину, и, страшась, чтобы не лопнул паровик, решился провести ночь у него, наблюдая по временам открывать предохранительные клапаны. Не стану описывать эту ночь, его беснования и мои усилия укротить их. Наконец наступил рассвет, и нас потребовали к полковому командиру генералу Фредериксу, где мы нашли капитана Корнилова (старшего брата севастопольского героя). Когда Фредерикс прочитал нам отречение Константина и манифест Николая, я, наблюдавший Корнилова, заметил, что его пунцовое лицо подернулось бледностью. Неожиданное отречение Константина его поразило до такой степени, что он вышел шатаясь от генерала. Сходя по лестнице, ведущей в бельэтаж Фредерикса, я остановил Корнилова и спросил:

— Ну! как теперь ты намерен действовать?

— Я не могу действовать с вами и беру свое слово назад.

— Но ты позабыл одно условие,— возразил я, показав ему ручку пистолета, спрятанного в рукаве шинели.

— Ну что ж — убей меня! Я лучше соглашусь умереть, нежели участвовать в незаконном предприятии!

— Нет, для чего же умирать, живи, но не мешай солдатам твоей роты идти с моими, ежели они пойдут на площадь.

— Обещаю,— заключил он и сдержал свое слово ¹⁶.

Чтоб прояснить темноту вышеприведенного разговора, скажу несколько слов. Корнилов был отличный человек во всех отношениях: образованный, добрый и славный товарищ, но помешался на политике и считал непреложными свои глубоко непреложные соображения. По этим соображениям он считал немыслимым отречение Константина, когда вся Россия ему присягнула. Он охотно согласился действовать вместе со мною, и когда я ему заметил: «Ну, а ежели Константин откажется?» — «Тогда я позволю тебе застрелить меня, но не присягну другому».

Глубокий политик попался, как кур во щи.

Пришедши к себе на квартиру, я нашел там брата Александра, с нетерпением дожидавшего меня.

— Где же Якубович? — спросил я.

— Якубович остался на своей квартире обдумывать, как бы похрабрее изменить нам. На все мои убеждения ехать к артиллеристам и измайловцам он упорно повторял: «Вы затеяли дело несбыточное — вы не знаете русского солдата, как знаю я».

— Итак, надежда на артиллерию и прочие полки исчезла,— сказал я чуть не со слезами на глазах.— Ну, видно богу так угодно. Медлить нечего, пойдем в полк — я поведу его на площадь.

— Погодим,— сказал брат.— Вчера Рылеев крепко сомневался в хвастливых выходках Якубовича и обещал мне поехать к артиллеристам, измайловцам, семеновцам и егерям и привести их сюда.

— Нет, брат, промедление погубит дело. Пойдем и уведем полк до присяги.

Брат послушался меня — мы пошли. Брат говорил солдатам, что он адъютант императора Константина, что его задержали на дороге в Петербург и хотят за-

ставить гвардию присягнуть Николаю и пр. и пр. Солдаты отвечали в один голос:

— Не хотим Николая — ура, Константин!!

Брат пошел в другие роты, а я, раздав боевые патроны, выстроил свою роту на дворе и, разослав своих надежных агентов в другие роты, чтобы брали с собою боевые патроны, выходили и присоединялись к нам, с барабанным боем вышел на главный двор, куда выносили уже налож для присяги. Знамена уже были принесены, и знаменные ряды солдат ожидали нашего появления на большом дворе, чтоб со знаменами примкнуть к идущим на площадь ротам. Щепин выстроил свою роту позади моей; позади нас образовалась нестройная толпа солдат, выбегающих из своих рот. Не было никакой возможности построить их даже в густую колонну, к тому же мы боялись терять время, и я двинулся вперед со своею ротою. Когда мы подходили к своду ворот, где находился выход из учебной залы, куда принесены были знамена, — они показались в сопровождении знаменных рядов. Знамя моего батальона примкнуло к голове моей роты, а другое пронесли далее, чтобы примкнуть к ротам, принадлежащим их батальону. Это обстоятельство было причиною беспорядочной свалки, которая остановила движение полка и чуть не вовсе испортила дело, так хорошо начавшееся. Нестройная толпа солдат прочих рот, полагая, что знамя несли к наложу, около которого строились уже москвичи, не согласившиеся идти с нами, бросилась на знаменный ряд с намерением отнять у них знамя. Началась борьба, беспутная свалка разрасталась от недомыслия; каждая сторона думала видеть в другой своего врага, тогда как обе стороны были наши.

Вышедши из казарм, я уже переходил по мосту Фонтанку, как ко мне подбежал унтер-офицер роты Щепина.

— Ваше высокоблагородие, — говорил он, задыхаясь от изнеможения, — ради бога воротитесь, уймите, уймите свалку...

— Да где же ваша рота? Где князь? — спрашивал я, остановив своих солдат.

— Где, ваше высокоблагородие? Вестимо там, на дворе.

— Да что ж они там делают?

— Да, бестолковые, дерутся за знамя.

— А князь-то ваш, что ж он не уймет их?

— Да что князь... рубит направо и налево чужих и своих. Ефрейтора Федорова, своей роты,— поранил руку.

— Правое плечо вперед,— скомандовал я,— марш! Пойдемте, ребята, помирим их...

Мы вошли на двор другими воротами, немного позади волнующейся толпы, залившей почти весь двор. Знамя то исчезало, то снова всплывало над колеблющимися султанами и штыками солдат. Казалось, не было никакой возможности, окунувшись в это ярящееся море, добраться до знамени, до причины раздора.

Но так или иначе, а действовать было надо.

— Ребята, сомкни ряды,— закричал я своим,— держись плотно один к другому.

Слитые как бы в одну массу, мои солдаты врезались в середину толпы и подвигались безостановочно вперед, разбрызгивая по сторонам отдельно волнующиеся массы солдат.

— Смирно,— скомандовал я, достигши знамени.

Разгоряченные солдаты затихли, опустив ружья к ноге. Я подошел к Щепину [и] взял знамя из рук знаменосца.

— Князь — вот ваше знамя, ведите солдат на площадь.

— Ребята, за мной,— завопил неистово Щепин, и вся эта за минуту бурливая масса, готовая резать друг друга, как один человек двинулась за ворота казармы и затопила Гороховую улицу во всю ширину.

При нашем выходе из казармы мы увидели брата Александра. Он стоял подле генерала Фредерикса и убеждал его удалиться. Видя, что его убеждения тщетны, он распахнул шинель и показал ему пистолет. Фредерикс отскочил влево и наткнулся на Щепина, который так ловко рубнул его своею острою саблею, что он упал на землю. Подходя к своду выхода, Щепин подбежал к генералу бригадному Шеншину, уговаривавшему отдельную кучку непокорных, и обработал его подобно Фредериксу. Под сводом выхода полковник Хвошинский стоял с поднятыми вверх руками, крича солдатам воротиться. Щепин замахнулся на него саблею, Хвошинский побежал прочь, согнувшись в дугу от страха, и Щепин имел только возможность вытянуть ему вдоль спины сильный удар саблею плашмя. Хвошинский отчаянным голосом кричал, убегая:

— Умираю! Умираю!

Солдаты помирали со смеху.

Проходя по Гороховой улице, мимо квартиры, занимаемой Якубовичем, мы увидели его, сбегающего торопливо по лестнице на улицу к нам.

— Что бы это значило? — проговорил брат Александр. — Впрочем, надо испытать его...

Якубович с саблею наголо, на острие которой красовалась его шляпа с белым пером, пошел впереди нас с восторженными криками:

— Ура! Константин!

— По праву храброго кавказца прими начальство над войсками.

— Да для чего эти церемонии?.. — сказал он в смущении. Потом, подумавши немного, прибавил: — Ну хорошо, я согласен.

Вышедши на Сенатскую площадь, мы ее нашли совершенно пустою.

— Что? Имею ли я теперь право повторить тебе, что вы затеяли дело неудобоисполнимое. Видишь, не один я так думал, — говорил Якубович.

— Ты бы не мог сказать этого, если бы сдержал данное тобою слово и привел сюда прежде нас или артиллерию, или измайловцев, — возразил брат.

Мы со Щепиным поспешили рассчитать солдат и построить их в каре. Моя рота, с рядовыми из прочих, заняла 2 фаса: один, обращенный к Сенату, другой — к монументу Петра I. Рота Щепина, с рядовыми других рот, заняла фасы, обращенные к Исаакию и к Адмиралтейству.

Было уже около 9 часов.

Мы стояли более 2 часов, а против нас не показывалось никакое войско. Первые, кого мы увидели, были конногвардейцы, которые справа по три тихо приближались, держась близко к Адмиралтейскому бульвару, и, повернув направо, выстроились тылом к Адмиралтейству и правым флангом к Неве. Потом показались преображенцы, подвигавшиеся от Дворцовой площади, с артиллериею впереди, для которой позабыли или не успели взять зарядов, и за ними было послано. Заряды привезли уже к вечеру. Первый батальон преображенцев, прошед позади конногвардейцев, замкнул выезд с Исаакиевского моста, коннопионеры, прошедши тем же путем, замкнули выход к Английской набережной. Павловский полк стал тылом к дому Лобанова-Ростовского, Семеновский — вдоль Конногвардейского манежа, Из-

майловский был остановлен на улице, образовавшейся после постройки дома Лобанова¹⁷. Прочие полки были размещены по главным улицам, идущим к площадям: Дворцовой, Исаакиевской и Петровской. Прибытие и размещение войск не было одновременно, но сопровождалось большими паузами и суматохою. Так, измайловцев, отказавшихся решительно от присяги Николаю, избивших Ростовцева, вздумавшего их уговаривать, вывели против войск, с которыми они ждали с минуты на минуту удобного случая, чтоб соединиться. Новый император, будучи шефом этого полка, на трехкратное приветствие: «Здорово, ребята!» — не получил даже казенного ответа и удалился в смущении. И этот полк оставили стоять до вечера против нас. Преображенцев, поставленных против нас у Исаакиевского моста, оставили тоже до вечера, хотя они, по убеждению Чевкина, решительно отказались присягнуть Николаю¹⁸. Конногвардейцев, посылаемых трижды в атаку против нас и только в третий раз успевших проскакать до Сената и выстроиться тылом к нему, тоже оставили там до вечера, а этот полк настолько был приготовлен находившимися в нем членами нашего Общества, что при движении нашего полка они наверное соединились бы с нами. Они, равно как и преображенцы, через народ, окружающий каре, передавали нам свое намерение.

Окончив трудную работу — постройку каре из обрывков разных рот, около которого собрались уже многие из наших членов, — и не видя Якубовича, я спросил о причине его отсутствия.

— Он сказал мне, — ответил брат, — что, по причине страшной головной боли, он удаляется с площади. Но посмотри на него, — продолжал он, указывая на свиту государя, — вероятно, атмосфера нового царя живоительно подействовала на его чувствительные нервы.

И брат не ошибся в своем предположении. Якубович, в избытке своих верноподданнических чувств, подошел к государю и просил позволения обратить нас на путь законности¹⁹. Государь согласился. Он, привязав белый платок на свою саблю, быстро приблизился к каре и, сказав вполголоса Кюхельбекеру (Михайле): «Держись, вас крепко боятся», — удалился.

Вскоре эскадрон конногвардейцев отделился из строя и помчался на нас. Его встретил народ градом камней из мостовой и разобранных дров, находившихся за

забором подле Исаакиевской церкви. Всадники, неохотно и вяло нападавшие, в беспорядке воротились за свой фронт. Вторую и третью атаку московское каре уже без содействия народа выдержало с хладнокровною стойкостью. После отражения третьей атаки конногвардейцы проскакали к Сенату, и, когда начали выстраиваться во фронт, солдаты моего фаса, полагая, что они хотят атаковать с этой стороны, мгновенно приложились и хотели дать залп, который, вероятно, положил бы всех без исключения. Я, забывая опасность, выбежал перед фас и скомандовал: «Отставь!»

Солдаты опустили ружья, но несколько пуль просвистело мимо моих ушей и несколько конногвардейцев упали с коней. Коннопионеры немного спустя помчались, бог весть по чьему приказанию, мимо моего фаса и конногвардейцев. Мои солдаты пустили по ним беглый огонь и заставили воротиться назад. Я был на другом фесе и не мог предупредить или остановить. Как ни прискорбны эти два случая, но они породили счастливые для нас результаты. Выстрелы были услышаны в гвардейских казармах, и к нам поспешили на помощь. Чтоб не повторять того, что так хорошо написано в записках о 14 декабря Пушкиным²⁰, я приведу его слова.

Почти в одно время с происшествием в лейб-гвардейских казармах происходило подобное в Гвардейском экипаже. «Генерал Шипов, полковой командир Семёновского полка и начальник бригады, в состав которой входил Гвардейский экипаж, был в их казармах. Шипов, незадолго перед тем ревностный член Тайного общества и человек, совершенно преданный Пестелю, нашёл в эту минуту для себя удобным разыграть роль посредника перед офицерами Гвардейского экипажа, не желавшими присягать. Он им ничего не приказывал, как их начальник, но умолял не сгубить себя и доброе дело, уверял, что безрассудным своим предприятием они отсрочивают на неопределенное время исполнение того, чего можно было ожидать от императора Николая Павловича. Все его убеждения остались тщетными; офицеры сказали ему решительно, что они не присягнут, и сошли к солдатам, их ожидавшим». Между тем Н. Бестужев уговаривал солдат не присягать Николаю, когда вдруг послышались выстрелы. «Ребята, наших бьют!» — закричал Кюхельбекер, и весь экипаж, как одна душа, двинулся за братом Николаем, который и привел его на площадь²¹.

«На площади экипаж выстроился направо от Московского полка и выслал своих стрелков под начальством лейтенанта Михаила Кюхельбекера. С Гвардейским экипажем кроме ротных командиров — Кюхельбекера, Арбузова, Пушкина — пришло: два брата Беляевы, Бодиско, Дивов и капитан-лейтенант Николай Бестужев, родной брат Александра и Михаила Бестужевых; он не принадлежал к Гвардейскому экипажу». Лейб-гренадеры поднялись, по правдивому рассказу того же Пушина, так: «...между тем Коновницын, конноартиллерист, освободившийся как-то из-под ареста, скакал верхом к Сенату и встретил Одоевского, который недавно сменился с внутреннего караула и ехал к лейб-гренадерам с известием, что Московский полк давно на площади. Коновницын поехал с ним вместе. Приехавши в казармы и узнавши, что лейб-гренадеры присягнули Николаю Павловичу и люди были распущены обедать, они пришли к Сутгофу с упреком, что он не привел свою роту на сборное место, тогда как Московский полк давно уже был там. Сутгоф, прежде про это ничего не знавший, без дальних слов отправился в свою роту и приказал людям надеть перевязи и портупей и взять ружья; люди повиновались, патроны были тут же розданы, и вся рота, беспрепятственно вышедши из казарм²², отправилась к Сенату. В это время случившийся тут батальонный адъютант Панов бросился в остальные семь рот и убеждал солдат не отставать от роты Сутгофа; все семь рот, как по волшебному мановению, схватили ружья, разобрали патроны и хлынули из казарм. Панова, который был небольшого роста, люди вынесли на руках. Угрозы, а потом увещания полкового командира Стюрлера не произвели никакого действия на солдат. Панов повел их через крепость, в это время он мог бы овладеть ею, и, вышедши на Дворцовую набережную, повернул было во дворец, но тут кто-то сказал ему, что товарищи его не здесь, а у Сената и что во дворце стоит саперный батальон²³. Панов пошел далее по набережной, потом повернул налево и, вышедши на Дворцовую площадь, прошел мимо стоявших тут орудий, которые, как говорили после, он мог бы захватить. В продолжение всего этого времени Стюрлер шел с своим полком и не переставал уговаривать солдат вернуться в казармы. Когда лейб-гренадеры поравнялись с Московским полком, Каховский выстрелил в Стюрлера и смертельно его ранил. Стюрлер был при-

родный швейцарец. В 11 году Лагарп прислал его в Россию и письменно просил у царственного своего воспитанника, императора Александра, покровительствовать своему земляку. Стюрлер был определен поручиком в Семеновский полк. Человек он был неглупый и замечательно храбрый, но, впрочем, истый кондотьери. По-русски говорил он плохо и был невыносимый педант по службе: ни офицеры, ни солдаты не любили его; зато он сам страстно любил деньги. На Сенатской площади лейб-гренадеры построились налево и несколько вперед от Московского полка. Одоевский присоединился к товарищам незадолго до прибытия лейб-гренадер».

Нам готовилась вовсе неожиданная помощь. Я проходил фас моего каре, обращенный к Неве, и вижу приближающихся кадет морского и 1-го кадетского корпуса.

— Мы присланы депутатами от наших корпусов для того, чтобы испросить позволения прийти на площадь и сражаться в рядах ваших,—говорил, запыхавшись, один из них.

Я невольно улыбнулся, и на мгновение мысль: дать им позволение — промелькнула в уме. Присутствие этих юных птенцов на площади, стоящих рядом с усами гренадерами, поистине оригинально окрасило бы наше восстание. Участие детей в бунте — единственный, небывалый факт в летописях истории. Но я удержался от искушения при мысли подвергнуть опасности жизнь и будущность этих ребят-героев.

— Благодарите своих товарищей за благородное намерение и поберегите себя для будущих подвигов,—ответил я им сурьезно, и они удалились*.

Пропуская все другие подробности происшествий 14 декабря, я упомяну только об оплеухе, которою наградил Оболенский Ростовцева, встретившись с ним на возвратном пути от конноартиллеристов на площадь, а Ростовцев — из Измайловского полка, где его порядочно помяли солдаты, когда он вздумал ораторствовать за Николая, во дворец.

День был сумрачный — ветер дул холодный. Солдаты, затянутые в парадную форму с 5 часов утра, стояли на площади уже более 7 часов. Со всех сторон мы

* При первом посещении государем этих двух корпусов кадеты 1-го корпуса на его приветствие: «Здорово, дети», отвечали глубоким молчанием, а моряки поставили в коридоре, через который он проходил, миниатюрную виселицу с пятью повешенными мышами.

были окружены войсками — без главного начальства (потому что диктатор Трубецкой не являлся), без артиллерии *, без кавалерии, словом, лишённые всех моральных и физических опор для поддержания храбрости солдат. Они с необычайною энергиею оставались непоколебимы и, дрожа от холода, стояли в рядах, как на параде. Чтобы пощупать состояние их духа, я подошел к Любимову, сфрейтору, молодцу и красавцу из всей моей роты, женившемуся только три дня тому назад, и которого я благословлял, когда он шел под венец.

— Что, Любимов, призадумался, аль мечтаешь о своей молодой жене? — сказал я, потрепав его по плечу.

— До жены ли теперь, ваше высокоблагородие. Я развожу умом, для чего мы стоим на одном месте: посмотрите — солнце на закате, ноги отерпли от стоянки, руки заоченели от холода, а мы стоим.

— Погоди, Любимов, пойдем! И ты разомнешь и руки, и ноги.

С сокрушенным сердцем я удалился от него. Кюхельбекер и Пущин уговаривали народ очистить площадь, потому что готовились стрелять в нас. Я присоединился к ним, но на все мои убеждения был один ответ: умрем вместе с вами. К нам подскочил Сухозанет и передал последнюю волю царя: чтобы мы положили оружие, или в нас будут стрелять.

— Отправляйтесь назад, — вскрикнули мы, а Пущин прибавил:

— И пришлите кого-нибудь почище вас.

На возвратном скаку к батарее он вынул из шляпы султан, что было условлено, как сигнал к пальбе, и выстрел грянул. Картечь была направлена выше голов. Толпа народа не шелохнулась. Другим выстрелом — в самую середину массы — повалило много безвинных, остальные распрыгнулись во все стороны. Я побежал к своему фасу к Неве. Последовал третий выстрел. Много солдат моей роты упали и стонали, катаясь по земле в предсмертном мучении. Прочие побежали к Неве. Любимов очутился подле меня.

* Пешая гвардейская артиллерия не соединилась с нами потому, что князь Алек[сандр] Голицын и прочие члены Общества, по малодушию, позволили полковнику Сумарокову себя арестовать. Гвардейские конноартиллеристы тоже были арестованы полковником Пистолем-Корсом. Они ушли из-под ареста и явились на площадь. «Что нам в вас без пушек», — сказали мы им. Они возвратились в казармы и на этот раз были арестованы покрепче.

— Всяко может быть, ваше высокоблагородие, я не покину вас,— говорил он с братским участием, и вдруг упал к моим ногам, пораженный картечью в грудь. Кровь брызнула из глубокой раны. Я дал ему свой платок. Он прижал его к груди, а меня увлекла толпа бегущих солдат. Я забежал вперед.

— За мной, ребята! — крикнул я москвцам и спустился на реку.

Посредине ее я остановил солдат и с помощью моих славных унтер-офицеров начал строить густую колонну, с намерением идти по льду Невы до самой Петропавловской крепости и занять ее. Если бы это удалось, мы бы имели прекрасное point d'appui *, куда бы могли собраться все наши и откуда мы бы могли с Николаем начать переговоры при пушках, обращенных во дворец. Я уже успел выстроить три взвода, как завизжало ядро, ударившись в лед и прыгая рикошетами вдоль реки. Я оборотился назад, чтобы посмотреть, откуда палят, и по дыму из орудий увидел батарею, поставленную около середины Исаакиевского моста. Я продолжал строить колонну, хотя ядра вырывали из нее то ряд справа, то слева. Солдаты не унывали, и даже старики подсмеивались над молодыми, говоря им, когда они наклонялись при визге ядер:

— Что раскланиваешься? Аль оно тебе знакомо?

Уж достраивался хвост колонны, как вдруг раздался крик:

— Тонем!

Я [увидел] огромную полынью, в которой барахтались и тонули солдаты. Лед, под тяжестью собравшихся людей и разбиваемый ядрами, не выдержал и провалился. Солдаты бросились к берегу и вышли к самой Академии художеств.

— Куда же мы теперь? — спросил меня знаменосец.

Я взглянул в отворенные ворота Академии и увидел круглый двор, столь для меня памятный. Вспомнил залы античных статуй, живописи и проч., окружающие двор, и — мгновенная мысль, что, заняв их, мы можем долго защищаться,— вскричал: «Сюда, ребята!» Передовая кучка солдат пробежала в ворота мимо оторопевшего швейцара, который, впрочем, оправившись от страха, спустил гири ворот, и они захлопнулись перед нашим носом. Я приказал взять бревно из днища бар-

* Точку опоры (франц.).

ки, разломанной на реке, чтоб им сбить с петель ворота. Молодцы дружно принялись за дело: ворота уже потрескивали под их ударами, но мы увидели эскадрон кавалергардов²⁴, во весь карьер мчавшихся на нас. У солдат опустились руки. Можно ли было думать о сопротивлении при такой суматохе, когда все столнулись в одну нестройную кучу?

— Спасайтесь, ребята, кто как может! — И солдаты разбежались в разные стороны.

Я подошел к знаменщику, обнял его, промолвив:

— Скажи своим товарищам москвцам, что я в лице твоем прощаюсь навсегда с ними. Ты же отнеси и вручи знамя вот этому офицеру, который скачет впереди; этим ты оградишь себя от наказания.

Я еще постоял некоторое время, видел, как на половине площади Румянцева знаменщик подошел к офицеру, отдавая знамя, и как тот рубнул его с плеча. Знаменщик упал, и у меня чуть слезы не брызнули. Я забыл фамилию этого презренного героя, но помнится, что она начиналась с частички фон и что он, повергая к ногам императора отбитое им с боя знамя, получил Владимира за храбрость!!²⁵

Медленно перебираясь по переулкам к мирному жилищу сестер, я чувствовал, как лихорадочное волнение постепенно утихало во мне и от души отлегалась какая-то тягость, давившая меня. Мне как-то легко дышалось, совесть была спокойна. Я знал, что исполнил свой долг безупречно, и даже находил удовольствие выдумывать себе самые страшные и самые унижительные казни. Здоровый организм вступал в свои права: проведши 3 дня почти без сна и пищи, я почувствовал голод и желание уснуть. Сестры встретили меня со слезами и расспросами.

— Теперь не время, *mes soeurs* *, вздыхать, плакать и болтать, время дорого. Дайте мне чего-нибудь закусить и отдохнуть немного, и я, на вечную разлуку с вами, постараюсь удовлетворить ваше любопытство²⁶.

Наскоро закусив, я поспешил уснуть, попросив сестер приготовить матушку, когда она проснется. Долго ли я спал, не знаю, но, когда проснулся, было совершенно темно. Пока никто не мешает, надо было подумать о будущем, бежать или без хлопот самому явиться под арест. Попробуем сперва первое, а при

* Сестрицы (франц.).

неудаче употребим второй способ. Я нарядился в старый флотский вицмундир брата Николая, надел его енотовую шубу и в таком маскарадном костюме явился к матушке и, став на колени, просил ее благословения.

— Да благословит тебя бог,— сказала она, перекрестив меня,— и да вооружит он тебя терпением для перенесения всех страданий, тебя ожидающих.

Я обнял сестер, выбежал за ворота и бросился на первого извозчика, приказав ему ехать на Исаакиевскую площадь, чтобы пробраться, ежели возможно, к Торсону.

— Да пустят ли нас, барин, к Исаакию. Там идет мытье да катанье, кругом стоят пушки и солдаты.

— О каком ты мытье говоришь? — спросил я.

— Вестимо дело, замывают кровь, посыпают новым снегом и укатывают.

— А что, разве много было крови? — спросил я его.

— Ну, на порядке, значит, много было, то есть убитых. Вот смотри,— прибавил он, указывая на воз, покрытый рогожами,— ведь это все покойнички, дай бог им царство небесное. Ведь все они то есть настоящие праведники — стояли за правое дело, а теперь их пижают под лед без христианского погребения...

— Да что же тут приключилось, расскажи пожалуйста.

— Вишь, расскажи — одним словом, страх...

Нас остановил жандарм. Я заплатил извозчику и начал с другого конца Исаакиевской площади зигзагами и обходами пробираться к Галерной улице, где жил Торсон. Странно оживленную картину представляла площадь эта. Она была местами освещена пылающими кострами, у которых грелись артиллеристы и солдаты. Сквозь дым и мерцание пламени то показывались, то скрывались блестящие жерла пушек, поставленных на всех выходах главных улиц на площадь. Фитили мерцающими звездочками курились при каждом оружии. Внутри этого заветного круга, где за несколько часов решилась участь царя и России, рабочий люд деятельно хлопотал смыть и уничтожить все следы незаконной попытки неразумных людей, мечтающих хоть немного облегчить тяжесть их горькой судьбины. Одни скоблили красный снег, другие посыпали вымытые и выскобленные места белым снегом, остальные убирали тела убитых и свозили их на реку²⁷. С большим трудом, почти прокравшись, я достиг Галерной улицы и

почти бегом достиг до середины, где остановлен был пикетом Павловского полка, и мне приказано было ждать, пока офицер выйдет и опросит меня. «Вот и попался»,—подумал я. Я назвал себя шкипером 8-го экипажа, а ежели офицер знает меня—я инстинктивно прислонился к фонарному столбу, чтобы свет не падал мне на лицо. По другую сторону столба стояла небольшая кучка лейб-гренадер, москвичей и матросов Гвардейского экипажа. Их разыскивали по домам, окаймляющим Галерную улицу, и приводили к пикету, чтобы препроводить в сборное место. Измайловцы привели новых арестантов.

— Что, опять наловили мышей!—сказал, смеясь, один из павловцев—шутник и балагур, занимавший всю честную компанию пресмешными выходками.

— А, чай, тебе трудно было сгибаться над каждой дыркой да норкой? Вишь какой вырос—как этот фонарный столб.

— Послали бы тебя, и ты то же бы делал, что мы,—возразил измайловец.

— Нет, брат, погоди, ты чистую чушь несешь. Первое, нас бы и не послали—мы, не кобенясь, присягнули вашему шефу. Наши ребята сказали: кто ни поп, тот батька, и кто бы ни выдергал усы, как вам выдергивали,—все равно: тот или другой. А вы? Смотри-ка, не хотим изменять присяге! Приколотили Ростовцева, не хотели здороваться с новым царем, посылали сказать москвичам, что готовы идти с ними, а теперь ловите их, чтобы предать распятию. Нет, брат,—говорил он, выступив вперед, подбоченясь и выставя ногу вперед,—у меня хоть медяной налобник, но лоб-то не медный. Если б я сказал: пойду—так и пошел бы...

— И мы бы пошли,—прервал его измайловец.

— А что же вы не шли к нам?—вставил вопрос один из москвичей.

— А что же вы стояли на одном месте, как будто примерзли к мостовой?

— Мы...

Появление офицера прервало эту интересную сцену. Он подошел ко мне.

— Кто вы? И куда идете?

Мой ответ был:

— Я шкипер 8-го флотского экипажа. По обязанности службы я был в Галерной гавани и теперь возвращаюсь к семейству.

— Хорошо, мы это узнаем, я велю вас проводить к семейству. Эй!

— Ваше благородие! — вытянувшись, рапортовал старший унтер-офицер пикета. — Привели опять новых арестантов.

— Да когда же этому будет конец! — запальчиво вскричал офицер. — Ну, отправь их на сборное место. Да назначь кого-нибудь проводить до дому этого господина.

— Помилуйте, ваше благородие, кого я назначу? Конвой прежней партии еще не вернулся назад, а для этой толпы мало будет и остальных пикетов.

— Ну, черт с ним, пусть идет куда хочет, а ты отправляй арестантов.

Меня пропустили, и я, хотя в сообществе с чертом, несказанно был рад, вырвавшись из когтей этого блаженного. Почти бегом я достиг казарм 8-го флотского экипажа, где жил Торсон, и, запыхавшись, вошел в комнаты без всякого доклада. В зале, сумрачно освещенной одною свечой, за круглым дубовым столом сидела почтенная старушка, мать его, в памятном мне белом чепце, с чулком в руках и с книгою, которую она читала, не обращая внимания на вязанье. Напротив нее, раскладывая гранпасьянс, сидела, умница, красавица, его сестра и, подпершись локотком, так задумалась, что не слыхала даже довольно шумного моего появления. Громкий задухивный смех ее матери пробудил ее. Она ахнула, увидя меня в таком маскарадном костюме, вскочила со стула и, подбежав ко мне, спрашивала, всхлипывая:

— Итак, все кончено... где брат, где брат мой?

— Вы раненько начали святки... — говорила простодушная старушка, заливаясь веселым смехом. — Скажите-ка, по какому поводу вы так нарядились?..

— Ради бога успокойтесь, Катерина Петровна, ваш брат на площади не был. Успокойтесь, сядьте, ваша матушка наблюдает нас.

— Она глуха, ничего не слышит, что говорим мы.

— Но она умна и опытна и может прочесть на вашем лице несчастье, которое мы от нее скрываем.

— Да поведаете ли вы наконец причину вашего маскарада! — повторила старушка, взглядывая попеременно то на меня, то на дочь свою.

— Причина самая простая. Я ехал к сестрам, неловкий извозчик опрокинул меня на Неве у взвоза в

лужу. Пока просушивают мой мундир, я нарядился в этот костюм брата Николая и приехал к вашему сыну, чтоб поговорить о деле, не терпящем отлагательств.

Я прокричал ей на ухо эту приготовленную ложь и поместился между ними, чувствуя сам необыкновенную слабость от волнения и испытываемых ощущений.

Если бы я владел пером Шиллера или Гете или кистью Брюллова, какую высокодраматическую сцену, какую поразительно эффектную картину написал бы я, изображая нашу беседу при мерцающем свете нагоревшей свечи — беседу в группе трех лиц, случайно и так эффективно (так у автора. — *Ред.*) поставленных один против другого. Старушка, совершенно глухая, сосредоточила все свои чувства во взоре. Ощущение неведомой душевной тревоги тучками набегало на ее невозмутимо ангельское чело, когда кроткий взор ее с видимым беспокойством переносился с моего лица на лицо своей дочери, глотавшей слезы и старающейся всхлипывания плача заглушить или прикрыть принужденным смехом. Мое положение было не лучше. Зная, что Константин Петрович был кумир, боготворимый ими; зная, что с его потерей они лишаются и блага душевного и материальных средств своего существования, я должен был сестру его успокаивать, когда гибель его была непреложна. Чтоб сколько-нибудь замаскировать, что происходило в душе моей, я взял перочинный ножичек, лежавший на столе, и стал чертить и вырезать на дубовом столе. Не знаю, как и почему, — у меня вырезался якорь, веретено и шток, которого я превратил в крест, и явился символ христиан: надежда и вера.

— Вот что должно быть вашею путеводною звездою в вашей будущей жизни, — заключил я, заслышав шаги входящего К. П. Торсона. Впоследствии, когда и сестра, и старушка мать приехали в Сибирь, чтобы уладить жизнь изгнанника, Катерина Петровна часто вспоминала этот роковой вечер и повторяла, что вырезанный мной символ веры и надежды сохранился в том же виде до последнего дня их пребывания в Петербурге и что, часто упавая духом под гнетом страданий, достаточно было взглянуть на него, чтоб почувствовать новые силы для перенесения новых тревог.

Так кончился достопамятный для нас день 14 декабря.

[15 декабря.] Светало, амы с Торсоном не прерывали еще беседы. Зная, что нас ожидает в будущем, как умирающие, имели потребность передать свои заветные мысли, свои предсмертные завещания.

— Итак, ты думаешь бежать за границу? Но какими путями, как? Ты знаешь, как это трудно исполнить в России и притом зимою?

— Согласен с тобою — трудно, но не совсем невозможно. Главное я уже обдумал, а о подробностях подумаю после. Слушай: я переоденусь в костюм русского мужика и буду играть роль приказчика, которому вверяют обоз, ежегодно приходящий из Архангельска в Питер. Мне этот приказчик знаком и сделает для меня все, чтобы спасти меня. В бытность мою в Архангельске я это испытал. Он меня возьмет как помощника. Надо только достать паспорт. Ну да об этом похлопочет Борецкий, к которому я теперь отправлюсь. Делопроизводитель в квартале у него в руках.

— Но кто таковой этот Борецкий и как ты так смело вверяешься первому встречному?

— Борецкий, как тебе известно, актер по страсти. Настоящая его фамилия Пустошкин. Он новгородский дворянин и наш дальний родственник: человек простой, но безупречно честный. Любит он наше семейство более, нежели театр, для которого он променял будущность военного офицера на славу: со временем сделаться Яковлевым — его идолом. Он же достанет мне бороду, парик и прочие принадлежности костюма.

— Ну хорошо, а потом что?

— Лишь бы мне выбраться за заставу, а тогда я безопасно достигну Архангельска. Там до открытия навигации буду скрываться на островах между лоцманами, между которыми есть задушевные мои приятели, которые помогут мне на английском или французском корабле высадиться в Англию или во Францию.

— Дай бог, чтобы твои предположения сбылись. А я что-то крепко сомневаюсь.

— Ну, как бы то ни было, — закончил я, — а действовать надо. Удастся — хорошо; не удастся — меня отведут в квартал, т. е. во дворец. Пойдем, уж Петербург проснулся. Ведь ты меня проводишь?

— Хорошо, тем более что я зайду по дороге к шведу-староверу. У него ты найдешь, если он только согласится, самый безопасный приют.

Мы вышли. По улицам разъезжали конные патру-

ли. Мы их счастливо миновали, хотя некоторые нас спрашивали. На Козьем Болоте Торсон зашел к портному. Я его ожидал, прохаживаясь, как журавль по болоту. Наконец он соединился со мной и поведал неудачу своей попытки. Портной говорил: если бы вы пришли вчера, хотя бы поздно вечером, дело можно бы уладить. А в эту ночь полиция переписывала у всех мастеров наличных работников, наказав строго-настрого впредь не принимать новых без разрешения полиции. Ну делать было нечего, мы отправились к Борецкому. Проводив меня до ворот, он простился со мной до свидания — в Сибири...

Я вошел в переднюю; там никого не было, некому было доложить обо мне. Чрез отворенные двери в залу и в спальню до меня доходили голоса оживленного разговора, под шумок которого я вошел в спальню его, не будучи им замечен. Он, еще не одетый, сидя на кровати, рассказывал жене своей, стоящей перед ним в утреннем пеньюаре, разные страшные сказки вчерашнего дня, как очевидец. Рассказывал, как Александр Бестужев и Рылеев, укрывшись в Сенат, отражали атаки чуть ли не всей гвардии. Как Бестужев Николай также храбро защищался, заняв Адмиралтейство. А кровь-то, кровь... а убитых и счету нет.

— Да что же ты мне ничего не скажешь о Михайле Александровиче? — просила его жена.

— Да что, матушка, говорить о мертвых.

— Как, он убит! — всплеснув руками, вскричала жена.

— Убит.

— И ты сам его видел мертвым?

— Видел, матушка, собственными своими глазами, — говорил простак Борецкий, не желая повредить эффекту, произведенному на жену его рассказом.

— Ах, бедный, бедный! — всхлипывая, произносила эта добрая женщина, любившая меня не как родственника, а как родного своего сына.

— Здравия желаю!! — произнес я громко, тихо подошедший к ней сзади...

— Ах! Ох! — вскрикнули муж и жена. — С нами сила крестная!

— Да что же это, наяву или мне мерещится? Иван Петрович, да скажи, жив он или мертв?

— Жив, матушка, жив, слава богу.

— Да ведь ты видел его мертвым?

— Это мне померещилось. Вот и все... Ах ты боже мой!.. Да неужели ты и взаправду жив? — восклицал он, вскочив с постели, целуя в обе щеки и душа меня в своих объятиях. — Да как же это?.. Ведь тебя изрубили и бросили в Неву!

— О, неверный Фома! Да ты ощупай мои раны и удостоверься, что они уже зажили... Впрочем, ты с такою настойчивою уверенностью убеждаешь меня в моей смерти, что я, наконец, начинаю сомневаться: и в самом деле — жив ли я? Ну, верный поклонник Мельпомены, становись в обычную тебе позу Терамена и начинай: «Едва оставили мы грустные Трезены...» Поведай — с достоинственным ли я достоинством греческого героя отправился в Елисейские поля? Ведь ты жене говорил, что на глазах твоих меня изрубили.

— Ну, братец ты мой, я это жене приврал. Всяк человек есть ложь. Да как же и не поверить, когда все об этом одинаково повторяли. Ну, признаться, с некоторыми вариантами.

— Ну, пожалуйста, расскажи, как я умирал. Ведь это до меня довольно близко касается.

— Надо тебе, братец ты мой, откровенно признаться, что я решительно ничего не знал, что происходило в Петербурге вчера. Поутру я собрался в театр на репетицию, увидел на улице кучки народа, оживленные каким-то жарким говором. Я спросил у дворника о причине этого сходбища, и он мне поведал, что народ со всех концов города спешит на Сенатскую площадь, что туда пришли солдаты с криком: «Ура, Константин!», а великий князь Николай Павлович вывел против них остальную гвардию и хочет их всех истребить. Разумеется, братец ты мой, что я о репетиции забыл, вмешался в толпу и прибежал на площадь. Боже ты мой, господи, что там происходило!.. Народ как есть вплотную запрудил всю площадь и волновался, как бурное море. В волнах этого моря виднелся небольшой островок — это был ваш каре. В противоположность урагану, крутящемуся около него, он стоял недвижим, спокойно и безмолвно. Только ветер колыхал иногда высокие султаны их киверов, и временные проблески света на небе — прыскали искры на окружавшую его толпу, отражаясь на гранях штыков их. Да, братец ты мой, это была поразительно прелестная картина!.. Я видел царя, окруженного своим штабом и уговаривающего народ «разойтись по домам», слышал, как беснующаяся толпа

кричала ему в ответ: «Вишь, какой мягонький стал. Не пойдем! Умрем с ними вместе»; видел, как полки, словно грозные тучи, облегали ваш маленький остров; видел, как понеслась на вас кавалерия, как плавно склонились штыки, как опрокидывались кони со всадниками, наткнувшись на эту стальную щетину, и с каким диким остервенением толпы народа отразили второй натиск поленьями дров; признаюсь, и я, грешный человек, метнул одно полено в бок кавалеристу: бедняга, склонясь на луку, повернул лошадь и исчез. Видел я, братец ты мой, и тебя, как ты при третьей атаке появился перед фасом каре и стал против солдат, готовых дать залп, от которого вся эта кавалерия, обскакавшая каре, легла бы лоском,— как ты скомандовал «отставь»; одним словом, я смотрел на быстро сменяющиеся картины. Я видел непрерывный ряд сцен, присутствуя на площади как зритель и как актер. Я находился в каком-то чаду, в каком-то моральном опьянении, попеременно увлекая толпу и увлекаясь с нею. Я находил какое-то безотчетное удовольствие отдаваться на произвол этой сумятице, которая бросала меня от одного конца площади на другой, от одного полка окружавших вас гвардейцев к другому; повсюду я замечал на мрачных лицах солдат общее недовольство; везде слышалось громкое сетование на ваше бездействие. «Пусть они двинутся,— говорили они,— и мы пойдем вместе с ними». Я видел, как пришли к вам матросы Гвардейского экипажа, потом лейб-гренадеры; видел смерть их полкового командира, видел торжественное шествие митрополита во всем облачении, великого князя Михаила, уговаривавшего московцев положить оружие, видел, как смертельно раненный Милорадович, шатаясь на седле, поскакал прочь от непокорных солдат, и, наконец, услышал роковой выстрел от пушки, положивший конец этой страшной фантазмагории. Толпа вздрогнула, смолкла, но не двигалась с места. Второй выстрел повалил множество из передовых. Народ прыгнул во все стороны. Третий выстрел был направлен на открытый каре. Повалило много,— но он не покидал своего места. При четвертом, пятом выстреле каре дрогнула, и солдаты побежали по Галерной улице, а москвичи к Неве. Я спустился на реку у Исаакиевского моста со стороны Адмиралтейства.

— Да зачем же тебя нелегкая понесла на Васильевский остров? — спросил я восторженного рассказчика.

— Ах, братец ты мой, как же ты меня не понимаешь? Я спешил навестить твою матушку и сестриц, чтобы успокоить их и рассказать все, что я видел. К тому же я видел, что ты с москвичами идешь тоже к Васильевскому острову, и думал сойтись с тобою и идти вместе. Не тут-то было... Смотрю — ты остановил солдат, начал строить колонну по мере того, как они подбегали. А между тем, братец ты мой, смотрю я — по Исаакиевскому мосту летит батарея, остановилась посреди не моста и открыла огонь из четырех орудий. «Ах, бедный Мишель, — думаю я, — пропал ты...» А ядра-то так и свищут, так и ломают лед кругом колонны, так и вырывают из нее целые ряды. Гренадеры стоят как вкопанные, только где инде наклонялись черные султаны, как бы кланяясь летящим над головами ядрам. Ты, обратясь спиной к мосту, говорил что-то солдатам, а между тем уже седьмой взвод колонны пристраивался — как внезапно раздался крик: тонем, спасите, тонем!.. Разбитый ядрами лед не выдержал, середина колонны погрузилась в воду, прочие бросились на берег и столпились на взвозе против Академии художеств. У меня, братец ты мой, сердце расплылось, как вода, голова пошла кругом, в глазах помутилось, и я закрыл их руками, чтобы ничего не видеть. Долго ли я был в этом положении, не могу дать себе отчета, но когда я опаматовался, я увидел себя окруженным толпою народа.

«Ведь я тебе говорил, что он оживет», — восклицал какой-то фабричный в тиковом халате, подпоясанный ремнем. Он без умолку болтал, прерывая неудержимый поток болтовни только, когда его рот был полон водою, которую он хлебал из кожаного картуза, чтоб вспрыснуть мое лицо, с усердием размазывая по нем ручьями текущую воду своею грязною рукою.

«Да где же Бестужев? Где его солдаты?» — спрашивал я у кругом стоящей толпы, как будто толпа могла знать тебя.

«Это ты о Бестужине-то говоришь? — спросил меня тот же болтливый субъект. — Э! приятель, да ведь их на площади было целых четверо. Ну уж что это за отпетые головы!» — Тут он мне, едва переводя дыхание, с присвистом от выбитого переднего зуба и энергически размахивая руками, рассказывал геройские подвиги Бестужиных после ретирады войска с площади. Как один из них, моряк, заперся в Адмиралтействе, другой — в Сенате, а третий — в Академии художеств.

Как ты, со знаменем в руке и с небольшою частью солдат, бесстрашно встретил атаку кавалерийского батальона и как ты был тут же изрублен и брошен в Неву.

— И ты все это видел собственными своими глазами? — спросил я его.

— Ну, не то чтоб собственными, а как бы тебе сказать, мне досконально все это рассказал Назар, наш уставщик по башмачному делу.

— Ну, хорошо! А как же ты, ничего этого не видавши, уверял жену и рассказывал о наших подвигах, как очевидец. Назар мог видеть, как моего знаменосца изрубили, и мог смешать мое лицо с этим несчастным, но ведь ты...

— Ах, братец ты мой, что ты привязываешься с пустяками. Сказано: что всяк человек есть ложь — ну вот и разгадка моим словам, а что я поверил ему на слово, так это потому, что я слышал повторение этого рассказа в двадцати уголках и закоулках города, по которому я шлялся чуть не всю ночь, не имея сил идти к твоей матушке и рассказать все, что я видел и слышал. Тебе известно, как я любил все ваше семейство... ты знаешь, как я тебя любил, ты это видел, проживая у меня по твоем переводе в гвардию. Ну, слава богу!.. Ты жив. Дай мне еще раз тебя расцеловать... — И он целовал меня, обрызгивая каплями слез.

Прекраснейший человек был этот Борецкий, в прозаической оболочке вмещавший поэтическую душу. Он весь был соткан из доброты и простоты. Отец мой определил его в горный корпус за несколько годов прежде определения брата Александра. Но его душа не симпатизировала с подземною мрачною жизнью рудопла,—его увлекла сценическая слава знаменитых в то время жрецов Мельпомены: Дмитревского, Яковлева, Самойлова и других, и он предался этой богине душой и телом. Употребляя различные хитрости, он в классное время убегал без спроса в театр, пренебрегая опасностью быть выключенным из корпуса за подобные проделки, и, подкупив капельдинера райка, просиживал часто в темноте и голодал чуть ли не с полудня до времени начала представления, чтобы насладиться лицедейством своего кумира Яковлева. В 12 году он воспользовался послаблением начальства, допускавшего молодых людей в ряды защитников Отечества, перешел в военную службу, по окончании кампании вышел в от-

ставку и, переименовав фамилию Пустошкина на кличку Борецкого, дебютировал на сцене довольно удачно в роли Эдипа Озерова и потом погряз в счастливой посредственности второстепенных актеров.

— Ну, полно, полно,— сказал я, невольно растроганный его нелицемерными чувствами.— Теперь не время нежничать, а надо действовать. Поговорим ладком,— продолжал я, садясь на край его постели.— Ты, переименовав меч Марса на котурны Мельпомены, вероятно, нашел в гардеробе этой госпожи обильный запас различных нарядов. Я пришел просить тебя достать мне наряд русского мужичка с париком и бородою. Скажи, можешь ли ты это для меня сделать?..

— Почему ж? Очень можно, но ты скажи в свою очередь: для чего тебе он понадобился?..

Я рассказал ему о своем намерении выйти из Петербурга и идти с обозом в Архангельск.

— Хорошо придумано, но трудновато исполнить,— сказал он, немного подумав.— Чтоб выйти за заставу и идти с обозом, надо иметь вид, а у тебя ведь нет его?

— Нет, но похлопачи! Нельзя ль достать его?

— Ежели б можно было, я бы не задумался ценою жизни купить тебе паспорт. Но во всяком случае попробуем...

Он начал одеваться, я — раздеваться и, сбросив лишнюю одежду, растянулся на его постели. Сон морил меня. Бессонные ночи и неустанные движения изнурили меня, а жгучие впечатления недавних событий сильно волновали мою душу. Я заснул сном праведника.

Уже смеркалось, когда я проснулся. Долго я не мог дать себе отчета: где я. Во сне мне все мерещились сцены 14-го, и я мечтал, что нахожусь на площади. Чу!! Глухой звук пушечного выстрела. Я приподнялся с постели и, подперевшись на локоть, стал прислушиваться. Ничем не возмутимая тишина длилась несколько минут, потом опять выстрел... Я вскочил с кровати, набросил на себя верхнюю одежду и намеревался бежать туда, откуда слышалась канонада. Выбегая из спальни, я встретил хозяйку. Она загородила мне дверь в переднюю и повлекла в столовую, где накрыт был стол для обеда.

— На что это похоже,— лепетала словоохотливая хлебосолка,— с раннего утра чуть не до поздней ночи вы крошки хлеба в рот не брали и голодный бежите невесть куда. А я для дорогого гостя приготовила ваши

любимые кушанья. Ну, полно упрямитесь — пойдемте обедать...

— Время ли думать об обеде, когда... Вы слышите, опять выстрел?..

— Что это, бог с вами, какие выстрелы? Я ничего не слышу да и не слыхала во время вашего сна.

Ее слова дышали такою простодушною уверенностью, что я поверил, приписывая слышанные мною звуки постоянному шуму в больной моей голове. Мы сели за стол. Я ничего не мог есть. Но, уступая упрекам и сетованиям добродушной хозяйки, отведав несколько из блюд моих любимых кушаньев, объявил положительно, что обед кончен.

— Мы нехорошо сделали, — сказал я обиженной хлебосолке, — что не подождали вашего мужа. Он, вероятно, скоро воротится и привезет мне костюм.

— Да ведь он давно его привез; а я, глупая, заболтавшись, и позабыла вам сказать об этом. Вот он, примеряйте и посмотрите, впору ль он вам.

Я схватил все маскарадные принадлежности и удалился в спальную, чтоб примерить их, и вышел в столовую, преобразясь в русского мужика. Все было как будто по мне сшито. Только парик и борода неплотно прилегали ко лбу и подбородку, и я спросил у хозяйки иголку и черного шелку, чтобы немного поосадить парик и бороду.

Пока я занимался кропотливою моею работою, словоохотливая моя хозяйка болтала без умолку, повторяя мне все закулисные сплетни и интрижки театральных львиц, во всех подробностях ей известных, как давнишней швее при театре. Она была в восторге, что нашла такого молчаливого и внимательного слушателя, тогда как я почти ничего не слышал из ее рассказов, мысленно пробегая прошедшее и будущее, а в настоящем конвульсивно прислушиваясь к звукам, изредка раздававшимся, как пушечные выстрелы.

— ...И, наконец, вероломный, он ее покинул! — заключила она свой патетический рассказ, склонив голову и тяжело вздыхая.

— Еще! — воскликнул я, встав и с беспокойством прислушиваясь.

— Да что еще вам сказать? Что она была неутешна, вы можете это отгадать, если судить по тому сердечному участию и вниманию, с которым вы слушали мой рассказ.

— Опять!.. Нет, я не в силах более оставаться. Прощайте!

Подвязав наскоро парик и бороду и нахлобучив шапку, я побежал с лестницы, скача через две, три ступеньки и провожаемый восторженными похвалами моему чувствительному сердцу.

Я выбежал на улицу в настежь растворенные ворота и направил свой бег на Сенатскую площадь, где я предполагал найти возобновление вчерашней борьбы, но приубранная и прикатанная площадь была пуста, артиллерия с пехотными прикрытиями исчезла, народ и экипажи совершали мирно свое обычное движение, и только небольшие кучки там и сям столпившихся прохожих виднелись на ней, как черные пятна на листе белой бумаги. Эти кучки уж не были так велики и густы, как накануне, когда я пробивался кругом площади на Галерную улицу; их разредило время протекших суток. Интерес ослабевал, но зато в обратной пропорции росли, словно снежные комья, нелепые рассказы о происшедших событиях.

Обходя площадь, чтобы заглянуть в каждую улицу, выходящую на нее, я услышал явственно произнесенную мою фамилию и из любопытства подошел и вмешался в группу слушателей, безмолвно стоявших около оратора. По двум полоскам красного сукна, пришитым к длинному воротнику его шинели, не трудно было догадаться, что он принадлежал к сословию денщиков, а по наглому бесстыдству выдавать за правду пошлые вымыслы — к разряду тех лиц, которые, нанюхавшись воздухом, вдыхаемого их патронами, и посидев украдкою на тех стульях, на которых господа их рассуждали или беседовали, мечтают, что они имеют право настолько презирать среду, из коей они вышли, чтобы навязывать ей небылицы как несомненные истины.

— Так вот, господа,— продолжал ливрейный оратор, с гордостью озирая толпу и с важностью засунув большой палец правой руки между пуговиц своей наглухо настегнутой шинели,— этот-то Бестужин, значит, моряк, который привел Гвардейский экипаж, бросился с ними в мирательство и завладел одним большим кораблем. Его, значит, и окружила со всех сторон гвардейская пехота и кавалерия... «Сдавайся!» — кричат ему, а он в ответ: пиф-паф из пушек!..

— Да как же это, любезный господин,— возразил один из предстоящих слушателей, вероятно сиделец из

лабаза, судя по толстому слою муки, покрывавшему его тулуп,— любезный человек, откуда взял он пушки? У новостроящихся кораблей их нету-ка.

— Откуда?.. Ах, умная ты голова! Да разве в мирательстве мало всякого оружия? На то оно, значит, мирательство.— Вот, так сказать, снова кричат ему: эй, сдайся — плохо, значит, тебе будет! «Я взорву, так сказать, корабль, а живой не сдамся»,— отвечал он, и показался, так сказать, дым. Пехота и кавалерия отретировались, значит, подальше, а корабль тем временем и пошел в Неву...

— Да как же?.. любезный господин, а лед-то?

— Что лед этакой, значит, махине, как стопушечный корабль! Он, можно сказать, изломал его, как тонкое стекло, и пошел, значит, прямо в Кронштадт, где теперь Бестужин, значит, и находится.

— Ну, а мы пойдем-ка, брат, домой,— сказал маловерный лабазник своему соседу,— любезный человек, кажется, заехал в завирательные палестины.

И я поспешил домой тоже.

Спустившись с Адмиралтейского бульвара, чтобы перейти на Невский проспект, я увидел толпу любопытных, сопровождавших какого-то флигель-адъютанта. Всмотревшись попристальнее, я узнал... боже мой — я не верил глазам своим — Торсона... «Какими путями и так скоро успели до тебя добраться?» — подумал я. Они довольно близко проходили мимо меня, и я мог довольно хорошо рассмотреть всю группу. Впереди шел с самодовольным видом (как мне показалось) Алексей Лазарев, гордо подняв голову и не понимая унижительной роли сыщика. За ним шел Торсон, поступью твердую, с лицом спокойным и со связанными назад руками. Его вели в преторию на суд Пилата. За что? Чем он провинился? Он не бунтовал, на площади не был, так неужели он тем виновен пред человеками, что пламенно желал им блага? И неужели этот благородный человек, как Иисус Христос, будет распят, тогда как легионы Варрав останутся нетронутыми? А Варрава бе разбойник!!

Я как остановился, так и простоял как вкопанный несколько минут, погруженный в грустные, горькие думы: «Нет, Учителю!! Я, подобно Петру, не отрекусь от тебя»,— подумал я. И не малодушные ли бежать бог знает куда, когда я могу с чистою совестью разделить с тобою твою горькую участь. Я докажу, что свято хра-

ню твое учение и горжусь честью быть членом того священного Общества, в которое ты принял меня, где каждый член должен полагать душу свою для блага Отчизны... Я решился добровольно предать себя Пилату.

Почти у самой квартиры Борецкого я встретил хозяина, возвращающегося домой в глубокой задумчивости. Подошедши к нему, я сказал:

— Ваше почтение! Я к вам...

— А ты, верно, от Злобина? — вопросительно отвечал мне Борецкий, как бы просыпаясь от сна.

— Точно так, — отвечал я, изменив голос.

— Ну, так вот что: отнеси ты к нему назад этот паспорт и скажи, что теперь его, дескать, не надо. Пусть с богом отправляется в путь-дорогу.

— Так, значит, я в Архангельск-то не поеду, — сказал я своим голосом, снимая с головы шапку вместе с париком.

— Ах, какой же ты шутник, братец ты мой. Ведь не признал... Как есть не признал. Ну! Хотя ты, братец ты мой, в совершенстве играешь свою роль, а все-таки ехать со Злобиным тебе невозможно.

— Да я и сам никуда ехать не хочу... Не хочу долее скрываться и завтра отдамся добровольно правительству.

— Нет — зачем же? Мы подумаем да поразведем умом. Не так, то удастся, может быть, другим способом.

Тут он мне подробно рассказал все свои хлопоты, чтобы уладить дело.

— Условившись со Злобиным, с которым ты хорошо был знаком в Архангельске, взяв от него паспорт одного из его спутников, незадолго умершего в больнице, условившись, как и когда ты к нему придешь, чтобы отправиться в далекий путь, я, — продолжал Борецкий, — проехал на заставу, чтобы разузнать: не будет ли препятствия при проезде из города. И хорошо сделал. Ты бы тут попался как кур во щи. Караульный офицер мне сообщил, что получено приказание не пропускать ни пешего, ни конного без особенной записки от коменданта Башуцкого. Прежде, нежели он даст пропуск, он лично каждого и опрашивает, и осматривает. Как видишь, дело-то вышло дрянь. Не зная, как долго продолжится запрещение, я поехал к твоей матушке, чтобы успокоить ее насчет твоей участи и уверить, что ты будешь безопасен в моем убежище. Но я ее не видел. Подъезжая, я заметил, что дом окружен был шпионами и сыщиками

тайной полиции. Рисковать было опасно. Я повернул домой, и, приметив за собой сани, неотступно следующие за мной, отпустил извозчика, вошел в дом со сквозным проходом, вышел на другую улицу и таким образом, тихо пешествуя, встретился с тобою. Ну, братец ты мой, пойдем домой. Мы порядком истомились. Отдохнем и телом и душою, а главное — поужинаем: я голоден, как волк...

Мне послышался очень явственно глухой звук выстрела.

— Ты слышал выстрел из пушки? — спросил я, его останавливая.

— Какой выстрел? Я никакого выстрела не слышал.

— Прислушайся хорошенько!

Мы остановились и слушали.

— Ну, вот опять. Неужто и теперь не слышишь?.. Где и кто это палит?

— Ха! Ха! Ха! — заливался добродушным смехом мой хозяин... — Где и кто палит? Да ты посмотри, где, — продолжал он, всхлипывая от смеху и указывая на ворота своей квартиры, — а палит-то кто? Наш дворник. Смотри, он теперь идет в калитку, и берегись, чтоб он не застрелил тебя выстрелом, который сию секунду последует.

И в самом деле — едва дворник захлопнул калитку, как раздался звук глухого выстрела. Тут только понял я, в чем дело. Ворота на двор были вделаны в свод, прорезающий насквозь здание. Калитка в этих воротах дубовая, толстая, запиралась со стуком, эхо которого, по случайному акустическому устройству свода, повторялось несколько раз при входе или выходе посетителя.

Я в свою очередь не мог не расхохотаться такому прозаическому исходу всех моих восторженных надежд и волнений.

Пока накрывали стол для ужина, я сообщил ему свое твердое намерение добровольно предаться в руки правительства. Поведал свое затруднительное положение добыть свою воинскую сбрую от матушки, где я ее оставил, променяв на костюм флотского шкипера, в котором невозможно мне явиться во дворец.

— Ну! Так прощай. Я снова отправлюсь в путь... — говорил он, надевая шапку и направляясь к дверям.

— Ах ты, сумасшедший! Да поужинай прежде. Ведь ты с самого утра ничего не ел...

— Поем когда-нибудь, — кричал он с конца уже лестницы.

Мир праху твоему, добрейший из смертных! Безгранична твоя привязанность ко всему нашему семейству и расположение, в особенности ко мне, воспоминание коих всякий раз извлекает из сердца невольный вздох, а из души — теплую молитву, чтоб господь, хотя там, дал тебе успокоение, которого ты был лишен здесь. Семейные огорчения довели его до умопомешательства и рано-временно свели в могилу...

Измученный, иззябший и голодный возвратился он уже поздно ночью и рассказал, с каким затруднением и опасностью он проник в дом к матушке, обманув бдительность соглядатаев. Он рассеял мрак неизвестности касательно моей участи, по возможности успокоил моих родных и сообщил им мое намерение явиться во дворец и передал просьбу: прислать с ним мою военную сбрую. Он рассказал мне, каким страхом и ужасом он был объят при посещении полицеймейстера, как он, скрываясь за дверью сопредельной с залом комнаты, слышал требование именем правительства у родных моих сведений об укрывательстве лейб-гвардии Московского полка Михаила Бестужева и при отрицательном ответе уехал, проходя мимо той комнаты, где чистили и приготавливали амуницию этого дезертира, куда если б потрудился заглянуть через дверь, чуть не настезь растворенную, он бы нашел конец нити того клубка, который он с таким старанием тщетно распутывал. С самодовольством рассказывал свою ухарскую проделку с сыщиками, неумоимо следившими за всеми входящими и выходящими из нашего дома. Как он, связав в узел мою амуницию, велел растворить настезь ворота и мгновенно вылетел на лихаче-извозчике и, несмотря на погоню, счастливо избавился от преследования, околесив чуть не полгорода, чтоб скрыть даже след от погони.

Немногие оставшиеся часы ночи показались мне вечностью. Я не мог заснуть; я только болезненно забывался, и тогда в горячечно-лихорадочном волнении мне чудилось, как наяву, — эшафот, виселица, палач или столб, врытый на краю могилы, куда бросят мои бранные останки. Я открывал глаза и ясно видел двенадцать стволов, уставленных на мою грудь, — я царапал лицо, сплясав сдернуть повязку с глаз своих. Но все эти ужасы поглощались сценами, заставлявшими меня содрогаться от омерзения. Мне чудилось, что на пути в императорскую преторию я узан, арестован и меня, в полном одеянии гвардейского офицера, посреди любопытной толпы

праздного народа, посреди улицы, вяжут веревками и за конвоем ведут, как ночного вора, в дворцовый квартал.

«Нет! — думал я, вскакивая с постели, где я вместо успокоения и подкрепления сил для предстоящей бури нашел только мучение.— Нет! Я постараюсь избежать этого унижения. Ну! Во дворец!.. Будь, что будет!..»

[16 декабря.] Сомнительный рассвет утра едва начал брезжить сквозь грязно-пепельную атмосферу Северной Пальмиры, как я уже облекся в полную форму. За чайным столом, уставленным различными яствами, меня уже ждала хозяйка, никак не хотевшая отпустить меня без того, чтоб я не отведал ее пирожков, нарочно для меня приготовленных. Скоро к нам явился добродушный полусонный хозяин, зевая. Так как было еще очень рано, то несколько бесконечных часов я должен был сидеть за чайным столом, уступая чуть не слезным мольбам добродушной хозяйки, волею-неволею пить и есть, тогда как каждый глоток ее душистого чая и каждый кусок ее вкусных пирожков останавливался в пересохшем моем горле и душил меня. Небольшой чайный столик разделял два противоположных мира: с одной — мир мучительных волнений и страшная будущность, с другой — мир отрадного спокойствия, семейного быта и уверенность невозбранно вкушать блага настоящего; с одной — человека, безмолвно погруженного в свои мрачные думы, с другой стороны — неистощимое красноречие добродушной хозяйки, чтобы занять и угостить дорогого гостя, и для полноты картины должно прибавить фигуру моего хозяина, который, умаявшись хлопотами предшествующего дня и недоспав, в спокойном шлафроке и туфлях, вкусив достаточное количество земных благ, состоявших из полдюжины стаканов чая и дюжины вкусных пирожков, сидя, уснул сном праведника. Часы пробили девять. Время наступило ехать.

Безотвязная мысль: быть узванным и подвергнуться аресту на улице — заставила меня вместо форменной шинели надеть енотовую шубу; под нею я спрятал кивер, а на голову надел простую фуражку. Шпагу я не взял, предупреждая заранее неминуемый арест. Наскоро простясь с моей доброю хозяйкою, которая со слезами на глазах крестила и благословляла меня; поцеловав осторожно [хозяина], чтобы не прервать сладкого

сна его, я выбежал на улицу и бросился на первого попавшегося на глаза извозчика.

Погода была сумрачная, на душе было мрачно. Ни один луч надежды не мог озарить этого мрака, который раздирался только мгновенными молниями при воспоминании отдельных фактов моей виновности перед правительством, сгруппировавшихся в одну плотную массу моего преступления, непростяемого преступления: быть виновником всех смут 14 декабря. В самом деле — если бы меня не было в этот день в полку, он канул бы в вечность без шума, может быть с некоторыми волнениями, как это было в других полках гвардии, — и войска присягнули бы новому императору; об народе нечего было заботиться, а об заговорщиках — тем менее... Нас бы без огласки, втихомолку, поодиночке перехватала тайная полиция, и мы бы безвестно сгнили в сырых подвалах тюрьмы. А теперь — иное дело. Острое шило, в виде штыка, брошенное мною в правительственный мешок, утаить было невозможно. И власти, даже отечески снисходительные, из милости только заменили бы позор или мучения казни расстрелянием. С ясным познанием своей участи, не падая духом, бодро я приближался с тяжелым бременем креста к Голгофе, которая виднелась в серых громадах Зимнего дворца. Мысленно целуя крест, на котором будут распинать меня, я в душе поклялся тем же крестом — символом любви к ближнему — умереть, не погубив ни единого из соучастников наших замыслов. Эта клятва обрекала меня на роль незавидную: отпираться и отрицать даже то, что происходило перед моими глазами; роль пошлая, заставлявшая меня часто краснеть от стыда, но роль благородная, когда, оборотясь, я с гордостью в душе и с отрядным чувством в сердце могу перечислить не один десяток товарищей, избавленных мною от лямки, тюрьмы или Сибири ²⁸.

Я сошел с саней у комендантского подъезда и машинально, по привычке, спросил у ваньки, сколько ему надобно? «Да что, барин, гривинничек-то уж надо бы». Сунув руку в карман, я узнал, что мелкие деньги я позабыл на спальном столике. В руку попалась пятирублевая бумажка. Я ее бросил в шапку ваньки. Он разинул рот от удивления — мгновенно чувство сомнения, не фальшивая ли это ассигнация, изобразилось на его спявшем от удовольствия челе. «Барин! А барин!» — кричал он мне, растягивая и разглаживая бумажку на ко-

лениях. Когда я уже поднимался по лестнице, до меня долетали его возгласы: «Воротись, барин! Да впрямь... что ж это такое!..»

Эти возгласы, эта неуместная щедрость, ошеломившая бедного крестьянина, который вместо гривны получил их 50, были весьма естественны; я не обратил на них внимания и худо сделал. Неутешный ванька, вздыхая и охая, носился со своею бумажкою и, растянув ее обеими руками, совал под нос каждому входящему и выходящему из дворца, наконец наткнулся на плац (или флигель)-адъютанта, который, успокоив его насчет законности его бумажки, пожелал узнать, кого и откуда привез. Ванька мог только ответить на второй вопрос, и этого было достаточно, чтобы отыскать дом, через дворника узнать, у кого я скрывался два дня, и в конце концов притянуть Борецкого к ответу чуть ли не в уголовном преступлении. К счастью его, допрос снимал с него генерал-адъютант Левашев, из всех допросчиков самый добросовестный. Вся беззаботная, спокойная личность подсудимого, все ответы дышали такой безмятежной невинностью, что его отпустили с миром домой, снабдив душеспасительным наставлением: прятать родственные чувства в карман, когда должно руководиться единственно чувствами верноподданности.

Когда через несколько часов после чрез ржавые и запыленные стекла двери, отделявшие меня от залы дворцовой гауптвахты, я увидел приведенного к допросу Борецкого, я недоумевал, какими путями и так скоро могли дознаться, что он был укрывателем меня в продолжение целых суток. Что я был у него, я этого не показал на допросе. Как же могли узнать, что Борецкий меня скрывал целые сутки?

Проследив по памяти все малейшие обстоятельства минувших суток, я невольно остановился на ваньке, как на единственном существе, могшем указать дом, откуда он меня привез во дворец, в чем я и убедился из рассказов Борецкого, сообщенных мне впоследствии.

Итак, ничтожный случай, самый невинный акт христианской любви к ближнему, едва не погубил самого невиннейшего из смертных, а в отношении ко мне он лишил меня с первого шага при допросах [веры] в искренность моих показаний. И в самом деле: можно ли было дать веру моим показаниям, когда при самом начале допроса, произнося с благоговением стереотипную

фразу, что единственный путь к милосердию государя есть чистосердечное признание во всем, он начал вопрос вопросом: у кого вы скрывались вчерашний день,— я с спокойной наивностью отвечал: в Галерной гавани, тогда как дворник показал даже ранний час утра, в который я переступил порог их дома. После этого я увидел необходимость опуститься, как улитка, на самое дно раковины безусловного отрицания и, утопая, лишним словом не топить других *.

Сбросив шубу и фуражку, с кивером в руках, я пошел во внутренние покои дворца. Проходя залу, смежную с комнатою, обыкновенно назначенною для караульного офицера кавалергардов, кирасиров и конногвардейцев, всегда постоянно занимавших внутренние караулы, я увидел в этой зале караул Преображенского полка, смененный и выстроившийся в три шеренги. «Здорово, ребята!» — сказал я им, проходя. «Здравия желаем, ваше высокоблагородие!» — отвечали преображенцы, узнав меня. Я прошел в комнату кавалергардского офицера. Он сидел, развалившись в креслах, погруженный в чтение французского романа, и при громком возгласе преображенцев, ожидая видеть генерала, приподнялся, чтобы видеть пред собою начальника, но увидел меня, требовавшего доложить государю, что я хочу его видеть. «Как доложить об вас?» — спросил он... «Скажите, что штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка Бестужев желает говорить с ним», — отвечал я.

— Бестужев, — произнес он невнятно, опускаясь в свое кресло.

— Да... Бестужев, — отвечал я, — что же тут удивительного?

А между тем по всему дворцу поднялась суматоха и беготня. Флигель-адъютанты, камер-лакеи и гоф-фурьеры бегали, и шепотом произносимое имя «Бестужев» слышалось со всех сторон.

Прошло несколько минут в моих настоятельных требованиях видеть государя и в несвязных ответах караульного офицера, когда позади себя я услышал голос

* Мне помнится, что я вам из Селенгинска отослал тетрадку, писанную В. И. Штейнгелем со слов Фаленберга. Там вы ясно увидели, как гибельна была система откровенности. На эту удочку он попался, не будучи ни в чем виноват, не облегчив ни на йоту свою участь, а напротив, добившись своею откровенностью до каторжной работы. Я бы мог привести много таких примеров, например Дивова и других.

преображенского полковника (помнится мне, Микулина):

— Господин штабс-капитан Бестужев! Я вас арестую — пожалуйста свою шпагу.

— Извините, полковник, — отвечал я, — что лишаю вас этого удовольствия. Я уже арестован.

— Кто вас арестовал?

— Я арестовал сам себя, и вы видите, что шпаги при мне нет.

— Все это очень хорошо, — продолжал он, идя со мною рядом на главную гауптвахту в сопровождении двух конвойных, — но нехорошо, что вы явились не на главную гауптвахту, а прошли во внутренние покои государя.

— Что же вы тут находите нехорошего? — спросил я.

— А то, что ваше похвальное намерение: добровольно отдаться в руки правительству — может быть истолковано не в вашу пользу, и вы можете за это пострадать.

— Но вы, полковник, своим свидетельством можете уничтожить такое обидное подозрение. Вы видите, что шпаги при мне нет, и увидите, что нет при мне ни кинжала, ни пистолета.

— Все это так, но лучше, если б вы явились на главную гауптвахту, как сделал ваш брат Александр Александрович.

Меня привели на дворцовую гауптвахту и, не снимая мундира, связали руки назад толстою веревкою...²⁹

[АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН]³⁰

<...> Я был посажен за перегородку, разделявшую большую входную комнату гауптвахты на две неравные половины.

Узкое пространство, куда меня поместили, было темно и грязно. Там стоял только один ветхий стул. Через стеклянную дверь я невидимо присутствовал на этом базаре житейской суеты. Я был зрителем таких возмутительных сцен, что я невольно себя спрашивал: неужели это люди? Блестящая толпа гвардейцев превратилась в наглую дворню буяна-хозяина и в подражание ему, и заслуживая его милостивое внимание, и ему в угоду, безнаказанно глумилась над связанными

их собратами по мундиру. Тут я увидел, как тлетворен дух дворцов... Я тут видел, как самые священные связи дружбы, любви и даже родства служили только поводом, чтоб рельефнее выказать свою душевную низость и лакейскую преданность... Ужасно...

Но и до меня дошла очередь.

Избавьте меня от описаний сцен с великим князем Михаилом Павловичем — их даже было бы совестно описывать. Я кончу в двух словах. С меня оборвали мундир и сожгли в дворцовых сенях, и это миниатюрное *auto da fe* * послужило, вероятно, впоследствии программой громадно буфонского всесожжения мундиров при сентенции. Мне стянули руки веревкою так, что я из гордости только не кричал. Сторож, старый солдат, накинул на меня из жалости мою шубу. Равнодушие к жизни, презрение к людям мною овладело до такой степени, что я желал в ту минуту как можно скорее умереть, мне хотелось добиться этого каким бы то ни было путем.

Когда бурный поток высочайшего бешенства уже выходил из берегов, я спокойно опустил на стул и задумался. «Как смеешь ты садиться в моем присутствии!» — зарычал Лев. «Я устал слушать», — был мой ответ. «Встань, мерзавец!» — и он протянул руку, вероятно с намерением приподнять меня. Руки мои судорожно рванулись. Он отскочил назад. «Хорошо ли связан?» — спросил он у дежурного по караулам полковника Микулина. И когда тот отвечал, что даже очень хорошо, он снова подскочил и продолжал неистовствовать, но я сидел и не обращал никакого внимания на слова его.

Двое суток меня держали и мучили днем и ночью допросами, на которые я решил ничего не отвечать. Я не увлекся, как многие, лстивыми обещаниями и уверениями, что единственный путь к спасению — это чистосердечное сознание. Я очень хорошо понимал, что человеку, приведшему первым полк и взятому с оружием в руках, нет спасения, знал, как одно незначительное слово может погубить других, и притом мне доставляло какое-то наслаждение бесить его. В первый раз, когда меня привели к личному допросу самого Незабвенного ³¹, он вбежал в кабинет и, обратившись к

* Суд веры (*исп.*) — публичное сожжение осужденного инквизицией.

Чернышеву, произнес с расстановкой, указывая на меня: «Видишь, как молод, а уж совершенный злодей. Без него такой каши не заварилось бы! Но что всего лучше, он меня караулил перед бунтом. Понимаешь... Он меня караулил!..»

Чтоб пояснить эти его слова, должно сказать, в каком страхе находилась вся царская фамилия в продолжение всего периода рокового ожидания депеш из Варшавы, особенно после доноса Ростовцева. Переехав в Зимний дворец, Незабвенный приказал ставить на ночь часовых у своей спальни и водить на смену самому караульному капитану. 12-го числа декабря я стоял со своей ротой в карауле и вследствие приказа повел часовых на смену. В коридоре было довольно темно. Часовые, сменяясь, сцепились ружьями; железо звякнуло довольно громко. Через несколько минут в полуотворенных дверях появилась бледная, вытянутая фигура Незабвенного. «Что такое? Кто тут? — спросил он торопливо. — А, это ты, Бестужев, что случилось?..» Когда я объяснил причину шума: «Ничего больше? Ну, хорошо... Ступайте».

Эта мысль, что подобные телохранители оберегали его накануне бунта, так его занимала, что он успокоился только тогда, когда издал указ о формировании роты дворцовых гренадеров.

В последнем ночном свидании моем с ним мы растались довольно холодно. Я, по обыкновению, молчал. Он тоже неразговорчив был. Наконец посмотрел на меня исподлобья, оторвал клочок бумаги и карандашом написал: «В железа!» Левашев принял клочок, запечатал, и меня отвезли в крепость. Было за полночь. Командант Сукин спал.

Я, завернутый в енотовую шубу и крепко стиснутый между двух рослых конногвардейцев, держащих меня под руки, — я задышался в жарко натопленной комнате. На мои просьбы, чтобы они освободили мне руки, по крайней мере хоть бы дали напиток, они отвечали: «Не приказано-с». Мне оставалось терпеть. Я понемногу начал их втягивать на болтовню, и когда дошло до того, что они узнали во мне того офицера, который спас их эскадрон, бросившись впереди приложившегося фаса целого карея и остановившего залп почти в упор, они опустили руки мои, посадили на стул, сняли шубу и принесли воды. «Простите, ваше высокоблагородие, — повторяли добряки, — мы не знали, что это вы». Как

это наивно мило. Сукин встал. Зевая сполупросонья, распечатал куверт, поднес с изумлением лоскуток к свече, долго не мог разобрать написанного карандашом, наконец понял, подошел ко мне и сказал: «Жалею вас, вас приказано заковать в железа».

Меня привели в Алексеевский равелин. Двери 14-го № распахнулись, чтоб принять свою жертву. Мне показалось роковым совпадение 14-го № моего гроба с 14-м числом декабря... Меня раздели до нитки и облекли в казенную форму затворников. При мерцающем свете тусклого ночника тюремщики суетились около меня, как тени подземного царства смерти: ни малейшего шороха от их шагов, ни звука голоса, они говорили взорами и непонятным для меня языком едва приметных знаков. Казалось, это был похоронный обряд погребения, когда покойника наряжают, чтоб уложить в гроб. И точно, они скоро меня уложили на кровать и покрыли одеялом, потому что скованные мои руки и ноги отказывались мне служить.

Дверь, как крышка гроба, тихо затворилась, и двойной поворот ключа скрипом своим напомнил мне о гвоздях, заколачиваемых в последнее домовище усопшего.

Три бессонные ночи и душевная тревога, истомившая меня, погрузили меня в глубокий сон праведника, который продолжался почти до полудня следующего дня. Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я. Но скоро звук цепей на ногах моих навел меня на терпovouю тропину существенности. Я силился приподняться и не мог. Онемевший мой организм от неподвижного положения и оков, казалось, потерял всю энергию; я лежал без ясного сознания — жив ли я, или умер. Наконец тихий поворот, вероятно уже смазанного, ключа привлек мое внимание. Я взглянул на дверь — в нее входил седовласый священник. «Наконец-то, — подумал я, — и хорошо — чем скорее, тем лучше». Священник подошел к кровати и долго смотрел на меня. «Начинайте, батюшка, я готов!» — сказал я ему, приготовляясь исповедать земные грехи свои перед смертью и сиюсь тщетно приподняться. «Не беспокойтесь, лежите, — сказал он, садясь подле кровати и вынимая бумагу и карандаш, — вам будет покойнее так отвечать на вопросные пункты». Вспышка негодования приподняла меня. «Выйдите, батюшка, оставьте меня, — сказал я. — Как вы решились унизиться до такой постыдной роли?» —

«Итак, вы не хотите мне отвечать?» — «Не хочу да и не могу, меня уже и без вас допрашивали». — «Жалею о тебе, сын мой, — продолжал он, вставая и покачивая своею седою головою, — жалею». — «Пожалуйста, оставьте меня без сожаления», — заключил я, отвернувшись от него. Он ушел. Тяжкие думы налегли мне на душу. Я уже начал смутно догадываться о существовании другого рода смерти, которая убивает не вдруг, а понемногу, всякий день перемежая свои приступы мучениями тела и души, и так всю жизнь, до последнего издыхания. Неужели на такие муки нас обрекают?.. Страшно думать.

Ради бога, извините меня, что я утомляю терпение ваше такими отступлениями и беспрестанно забываю, что для вас как для историографа нужны одни факты. Но что же станете делать!.. Расшевеливая старые раны, невольно перечувствуются старые болезненные ощущения. К тому же я полагаю, что для биографа подобные сведения нелишни. Но как бы то ни было, даю слово быть по возможности кратким.

Гробовая эта жизнь тянулась однообразно до 12 июля 1826 г., перемежаясь допросами, очными ставками и сладкою беседою с братом Николаем через стенку. Как я дошел до того, чтобы передать ему этот язык богов для узников, и какую он нам принес пользу касательно нашего дела, я не стану описывать — это целая история.

По выслушании сентенции нас рассадили на новоселья: меня в Невскую куртину, его — право не помню, но только не в Алексеевский рavelин. Тут в одном отделении со мною были Тютчев и Фролов. Строгость присмотра поослабла, и мы болтали и смеялись целый день и даже ночью, хотя все были разделены толстыми переборками. В особенности нас сместило посещение медика, пришедшего наведаться, не нужна ли нам его помощь после слушания сентенции. Мы ему объявили, что чувствуем себя гораздо лучше прежнего и потому благодарим за внимание. На другой день, немного спустя после полуночи, в потемках, нас собрали в общий двор, окруженный кареем из солдат, чтоб вести на экзекуцию. Какой веселый говор, какая радость! Сколько жарких объятий и радостных слез при свидании! Сколько острот и смеху! Потом разделили нас по небольшим кучкам для того, чтоб каждой гвардейской бригаде доставить особое удовольствие зрелища. Потом шествие

на гласис перед войско. Потом чтение сентенции; потом обрывание мундиров и орденов; потом ломание шпак над головою; потом *auto da fe* военной амуниции и, наконец, возвращение по казематам в затрапезных халатах и форменных шляпах с перьями, касках, военных фуражках и в чикчирах и шпорах. Этот буфонско-маскарадный кортеж проходил в виду пяти виселиц, где в судорогах смерти покачивались злополучные жертвы тирании!..³² И смешно-ужасен был этот адский карнавал.

Тогда как нас заставляли плясать в этом маскараде, брат Николай со всеми моряками, приплыв в Кронштадт, испытывали ту же операцию на адмиральском корабле эскадры, назначенной для крейсерства. Они возвратились поздно ночью, их хотели выгрузить на Английской набережной, чтоб сразу отправить по канату в Сибирь; но огромные толпы собравшегося на набережной народа заставили катера возвратиться в Петропавловскую крепость, и их разместили по казематам.

[КАЗНЬ РЫЛЕЕВА]³³

...Сорвались с петли из пяти висельников точно трое: М. Бестужев, С. Муравьев и третий, ты говоришь, Каховский: я утверждаю — Рылеев. Ты основываешь свое убеждение на словах плац-майора Подушкина, плац-адъютанта и офицера Волкова; но из всех свидетельств только Волкова, как единственного личного свидетеля, принять должно; все прочие говорили по слухам. Но как мог знать Волков, кто Каховский, кто Рылеев? У кого он мог спросить об этом? Не у палача же, не у Кутузова же!..

Сверх того тюремная жизнь морально так изменила всех нас, что брат Николай едва признал Рылеева, когда в Алексеевском равелине они бросились друг другу на шею. И чтоб яснее доказать тебе, что молодой офицер Волков, присутствуя по обязанности на такой страшной экзекуции, при благородстве его чувств (что он тебе потом доказал в Кексгольме), был ошеломлен, был нравственно уничтожен ужасом совершившейся перед его глазами драмы.

В доказательство сему я приведу его же свидетельство, повторенное тобою, что когда висельники сорвались с петли, они приблизились друг к другу и пожали свя-

занные руки на вечное прощание. Они сделать этого не могли по двум очень уважительным причинам. Во-первых, потому что, упавши, на пороге смерти, они больно ушиблись и были не в состоянии исполнить этого обряда. Один Рылеев, разбив при падении голову и потеряв много крови, мог подняться и говорить с Кутузовым. Во-вторых, они не могли этого сделать уже потому, что были наряжены перед казнию в какие-то мешки, с круглыми отверстиями на дне, куда просунули головы осужденных и под ногами связали веревкой.

В лихорадочном состоянии своей памяти Волков смешал моменты: точно, это было, но только было в начале казни. Когда осужденных ввели на эшафот, все пятеро висельников приблизились друг к другу, поцеловались и, оборачиваясь задом, потому что руки были связаны, пожали друг другу руки, взошли твердо на доску, которая должна была заставить их умирать дважды; и эта доска, эти веревки не изменили надеждам Незабвенного. Они умерли дважды, может быть, умирали в медленных страданиях тысячелетние минуты, но умерли, погибли, а этого-то только ему и хотелось.

Теперь я тебе хочу привести свои доводы, что третий сорвавшийся с петли был Рылеев, а не Каховский³⁴. В тот же день тот же самый плац[майор] Подушкин посетил меня в Невской куртине. Когда я его спросил:

— Скажите пожалуйста, мы знаем, что повешенных должно быть пять, а мы видели³⁵ только двух.

— Три сорвались, батюшка, сорвались,— ответил он.

— Кто же сорвался? — спросил я.

— Муравьев-Апостол, Бестужев и еще третий — он бранился с генерал-губернатором Петербурга.

— Кто же это?

— Ну, право, батюшка, не знаю.

Плац-адъютант Трусов положительно сказал, что это был Рылеев. Впоследствии, когда наши дамы прибыли в Читу, Катерина Ивановна Трубецкая и Александра Григорьевна Муравьева подтвердили это. Они говорили, что в тот же день во всех аристократических кружках Петербурга рассказывали, как достоверное, сделавшееся известным через молодого адъютанта Кутузова, что из трех сорвавшихся поднялся на ноги весь окровавленный Рылеев и, обратившись к Кутузову, сказал:

— Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется: вы видите — мы умираем в му-
чениях.

Когда же неистовый возглас Кутузова: «Вешайте их скорее снова...» возмутил спокойный предсмертный дух Рылеева, этот свободный, необузданный дух передового заговорщика вспыхнул прежнею неукротимостью и вы-
лился в следующем ответе: «Подлый опричник тирана. Дай же палачу твои аксельбанты, чтоб нам не умирать в третий раз» ³⁶.






Н. А. Бестужев

ВОСПОМИНАНИЕ О РЫЛЕЕВЕ

Известно мне: гибель ждет
Того, кто первый восстает
На угнетателей народа —
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной:
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Я жребий свой благословляю.

«Исповедь Наливайки»¹

огда Рылеев писал исповедь Наливайки, у него жил больной брат мой Михаил Бестужев. Однажды он сидел в своей комнате и читал, Рылеев работал в кабинете и оканчивал эти стихи. Дописав, он принес их брату и прочел. Пророческий дух отрывка невольно порастил Михаила.

— Знаешь ли, — сказал он, — какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою? Ты как будто хочешь указать на будущий свой жребий в этих стихах.

— Неужели ты думаешь, что я сомневался хоть минуту в своем назначении, — сказал Рылеев. — Верь мне, что каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей гибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России, и вместе с тем в необходимости примера для пробуждения спящих россиян.

Почти в каждом сочинении Рылеева выливается из его души подобное предвещание. Мысль быть орудием или жертвою начатков свободы наполняла все его существование, составляла единственную цель его жизни. Освобождение Отечества или мученичество за сво-

буду для примера будущих поколений были ежеминутным его помышлением; это самоотвержение не было вдохновением одной минуты, подобно решимости древнего Курция или новейшего Винкельрида, но постоянно возрастало вместе с любовью к Отечеству, которая, наконец, перешла в страсть — в высокое восторженное чувство.

Он не скрывал своих предчувствий от друзей и родных. Я был свидетелем [его] прощанья с матерью, нежно его любившею и отъезжавшею в деревню. Она была очень грустна; ее тревожила мысль, что не увидит более сына, которого, казалось ей, оставляет обреченного на какую-то гибельную судьбу. Со всею материнскою нежностью просила, чтобы он дал ей спокойно закрыть глаза, что она хочет видеть его счастливым и желает умереть с тою же мыслью, что он останется счастлив и после нее.

— Побереги себя,— говорила она,— ты неосторожен в словах и поступках; правительство подозрительно; шпионы его везде подслушивают, а ты как будто поставляешь славой вызывать их внимание.

— Вы напрасно думаете, любезная матушка,— отвечал Рылеев,— что я везде таков же, как перед вами. Моя цель выше того, чтобы только дразнить правительство и доставлять работу его наемникам. Напротив, я скрытен с чужими; мне надобно, чтобы меня оставляли спокойно действовать. Если же я откровенно говорю с друзьями — мы работаем вместе; ежели я не скрываюсь от вас, это оттого, что вы более или менее разделяете мои чувства.

— Милый Кондратий, эта откровенность и убивает меня; она и показывает, что у тебя есть важные замыслы, которые ведут за собою важные последствия. С горечью предвижу, что ты вызываешься умереть не своею смертью; зачем ты открываешь эту ужасную тайну матери?

Глаза ее были полны слез, когда она говорила последние слова.

— Он не любит меня,— сказала она, обратясь ко мне и взяв меня за руку,— вы друг его, пользуетесь его расположением, убедите его — может быть, он вам поверит, что он убьет меня, ежели с ним что-нибудь случится... Конечно, бог волен взять его у меня каждую минуту... но накликать беду самому...— Она не могла продолжать.

Я говорил к ее успокоению, что мог только придумать, она слушала и качала головой с недоверчивостью. Рылеев взял ее за другую руку и начал:

— Матушка, до сих пор я видел, что вы говорили только об образе моих мыслей, и не таил их от вас, не хотел тревожить, открываясь в цели всей моей жизни, всех моих помышлений. Теперь вижу — вы угадываете, чего я ищу, чего хочу... Мне должно сказать вам, что я член Тайного общества, которое хочет ниспровержения деспотизма, счастья России и свободы всех ее детей...

Мать Рылеева побледнела, рука ее охолодела в моей. Он продолжал:

— Не пугайтесь, милая матушка, выслушайте, и вы успокоитесь. Да, намерение наше страшно для того, кто смотрит на него со стороны и, не вникая в него, не видя прекрасной его цели, примечает одни только ужасы, грозящие каждому из нас; но вы мне мать — вы можете, вы должны ближе рассматривать своего сына. Ежели вы отдали меня в военную службу на жертву всем ее трудностям, опасностям, самой смерти, могшей меня постичь на каждом шагу, — для чего вы жертвовали мной? Вы хотели, чтобы я служил Отечеству, чтоб я исполнил долг мой, а между тем материнское сердце, разделяясь между страхом и надеждой, втайне желало, чтобы я отличался, возвышался между другими, — мог ли я искать того и другого, не встречая беспрестанно смерти? Нет, но вы тогда столько не боялись, как теперь; неужели отличия могли уменьшить страх вашей потери? Ежели нет, то я скажу вам, для чего вы можете достойнее пожертвовать мною. Я служил Отечеству, пока оно нуждалось в службе своих граждан, и не хотел продолжать ее, когда увидел, что буду служить только для прихотей самовластного деспота; я желал лучше служить человечеству, избрал звание судьи, и вы благословили меня. Что меня ожидало в военной службе? Может быть, военная слава, может быть, безвестная смерть; но в наше время свет уже утомился от военных подвигов и славы героев, приобретаемой не за благородное дело помощи страждущему человечеству, но для его угнетения. Суворов был великий полководец, но слава его бледнее, когда вспомним, что он был орудием деспотизма и побеждал для искоренения расцветавшей свободы Европы. Должен ли был я, получив эти понятия, оставаться в военной службе? Нет,

матушка, ныне наступил век гражданского мужества, я чувствую, мое призвание выше, — я буду лить кровь свою, но за свободу Отечества, за счастье соотчичей, для исторжения из рук самовластия железного скипетра, для приобретения законных прав угнетенному человечеству — вот будут мои дела. Если я успею, вы не можете сомневаться в награде за них: счастье россии будет лучшим для меня отличием. Если же паду в борьбе законного права со властью, ежели современники не будут уметь понять и оценить меня — вы будете знать чистоту и святость моих намерений; может быть, потомство отдаст мне справедливость, а история запишет имя мое вместе с именами великих людей, погибших за человечество. В ней имя Брута стоит выше Цезарева — итак, благословите меня!

Я никогда не видал Рылеева столь красноречивым: глаза его сверкали, лицо горело каким-то необыкновенным для него румянцем.

Мать его, которой он сообщил свой энтузиазм, улыбалась, но слезы ее не переставали катиться. Она наклонила его голову — благословила; горечь и чувство внутреннего удовольствия смешивались на лице ее, наконец первая взяла верх — она залилась слезами и сказала:

— Все так, но я не переживу тебя...

Все действия жизни Рылеева ознаменованы были печатью любви к Отечеству; она появлялась в разных видах: сперва сыновнею привязанностью к Родине, потом негодованием к злоупотреблениям и, наконец, развернулась совершенно в желании ему свободы. В «Думах» его мы видим жаркое желание внушить в других ту же любовь к своей земле, ко всему народному; привязать внимание к деяниям старины, показать, что и Россия богата примерами для подражания, что сии примеры могут равняться с великими образцами древности.

В «Сатире на временщика» открывается все презрение к почестям и власти человека, который прихотям деспота жертвует счастьем своих сограждан. В том положении, в каком была и есть Россия, никто еще не достигал столь высокой степени силы и власти, как Аракчеев, не имея другого определенного звания, кроме принятого им титула верного царского слуги; этот приближенный вельможа под личиною скромности, устраняя всякую власть, один, незримый никем, без вся-

кой явной должности, в тайне кабинета, вращал всею тягостью дел государственных, и злобная, подозрительная его политика лазутчески вкрадывалась во все отрасли правления.

Не было министерства, звания, дела, которое не зависело бы или оставалось бы неизвестно сему невидимому Протею — министру, политику, царедворцу; не было места, куда бы не проник его хитрый подсмотр; не было происшествия, которое бы не отозвалось в этом Дионисиевом ухе. Где деспотизм управляет, там утешение — закон: малые угнетаются средними, средние большими, сии еще высшими; но над теми и другими притеснителями, равно как и над притесненными, была одна гроза: временщик. Одни карались за угнетения, другие за жалобы. Все государство трепетало под железною рукою любимца-правителя. Никто не смел жаловаться: едва возникал малейший ропот — и навечно исчезал в пустынях Сибири или в смрадных склепах крепостей.

В таком положении была Россия, когда Рылеев громко и всенародно вызвал временщика на суд истины; когда назвал его деяния, определил им цену и смело предал проклятию потомства слепую или умышленную покорность вельможи для подавления Отечества.

Нельзя представить изумления, ужаса, даже можно сказать оцепенения, каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном. Все думали, что кары грянут, истребят и дерзновенного поэта, и тех, которые внимали ему; но изображение было слишком верно, очень близко, чтобы обиженному вельможе осмелиться узнать себя в сатире.

Он постыдился признаться явно, туча пронеслась мимо; оковы оцепенения пали, мало-помалу расторглись, и глухой шепот одобрения был наградою юного правдивого стихотворца². Это был первый удар, нанесенный Рылеевым самовластию.

Многие не видят нравственных последствий его сатиры, но она научила и показала, что можно говорить истину, не опасаясь; можно судить о действиях власти и вызывать сильных на суд народный.

С этого стихотворения началось политическое поприще Рылеева. Пылкость юношеской души, порыв благородного негодования и меткие удары сатиры, без-

боязненно нанесенные такому сопернику, обратили общее внимание.

Уже в России начинали чувствовать тягость деспотизма, видеть бедствия, угнетающие Отечество, и помышлять о средствах для введения нового, лучшего порядка вещей.

Тайное общество, составленное из нескольких друзей человечества, существовало, и Рылеев, взысканный общим уважением за свои заслуги перед человечеством, увенчанный заслуженными похвалами за поэтические дарования, с полною доверенностию к его характеру и мнениям был принят в это Общество. Здесь порывы его души, болезнь сердца о несчастиях Родины и неясные понятия о желании лучшего получили надлежащее направление. Отсюда мы видим уже в нем новый порядок идей, другие действия, иные поступки. Пылкий юноша созрел постоянным и осторожным мужем; раздраженный смельчак переменялся в скрытного и предприимчивого заговорщика; дерзновенный поэт — в обдуманного стихотворца, который уже не гремел проклятиями на площадях против эфемерных любимцев, но в сочинениях своих желал направлять умы соотчичей к единственной цели, — к благородной свободе народов.

Служив в артиллерии, женись и взяв отставку, он жил в своей деревне. Его качества заставили соседей избрать его заседателем в уголовный суд по Петербургской губернии.

Сострадание к человечеству, нелицеприятие, пылкая справедливость, неутомимое защищение истины сделало его известным в столице. Между простым народом имя и честность его вошли в пословицу. Однажды по важному подозрению схвачен был какой-то мещанин и представлен бывшему тогда военному губернатору Милорадовичу. Сделали ему допрос; но как степень виновности могла только объясниться собственным признанием, то Милорадович грозил ему всеми наказаниями, ежели он не сознается. Мещанин был невинен и не хотел брать на себя напрасно преступления; тогда Милорадович, соскуча заpiresательствами, объявил, что отдает его под уголовный суд, зная, как неохотно русские простолюдины вверяются судам. Он думал, что этот человек от страха суда скажет ему истину, но мещанин вместо того упал ему в ноги и с горячими слезами благодарил за милость.

— Какую же милость оказал я тебе? — спросил губернатор.

— Вы меня отдали под суд, — отвечал мещанин, — и теперь я знаю, что избавлюсь от всех мук и привязок, знаю, что буду оправдан: там есть Рылеев, он не дает погибать невинным!

Это происшествие более всех похвал дает понятие о действиях сего человека. Я не скажу ничего о известном деле разумовских крестьян: мнение Рылеева о сих несчастных было написано с силою чувствований, защищавших невинное дело. Император, вельможи, власти, судьи, угождающие силе, — все было против, один Рылеев взял сторону угнетенных, и это его мнение будет служить вечным памятником истины — свидетелем, с какой смелостью Рылеев говорил правду³.

Кроме высоких чувствований, любви к Отечеству и истине, душа его и сердце были доступны всякому благородному впечатлению. Любовь и дружба сопутствовали ему на всем поприще жизни. Я был свидетелем его домашнего быта, много раз слышал, как он повторял мне о своем счастье, пересчитывал качества своей супруги и описывал любовь свою к ней. Здесь я считаю священным долгом сказать то, что я знаю о его привязанности к супруге и семейству, потому что были люди, которые сомневались в его к ней верности — подозревали, что он ее оставлял для других; я несколько раз должен был защищать его публично; но тогда не мог я сего сделать так, как могу теперь. Он был жив, с меня взято было обещание не говорить ничего, могшего служить в его оправдание. Поступки его в отношении к супруге могли казаться двусмысленными и не могли быть объяснены, но теперь, когда смерть запечатлела его уста, мои должны говорить. Светские отношения и связи теперь прерваны, я могу говорить, как из-за пределов гроба.

Несколько раз случалось, что меня как коротко знакомого Рылееву спрашивали в обществе, любит ли он свою жену, и на мой утвердительный ответ всегда показывали сомнение; всегда говорили, что он не живет дома, что он часы своих досугов посвящает не супруге, а другим. В других местах говорили яснее, называя по имени ту женщину, о которой предполагали, что она завладела его сердцем.

Такие обвинения повторялись часто и доказывали, что клевета успела далеко пустить свои отрасли. Я защищал его, как умел, потому что не мог тогда оправдать ни его частых отсутствий из дома, ни его ложной неверности.

Против первого обвинения теперь достаточно, если скажу, что в последние два года своей жизни Рылеев, которого единственная цель, одно помышление — был переворот, должен был действовать для Тайного общества. Он обязан был многих посещать, совещаться со многими членами. Мысль о перемене в Отечестве не оставляла его ни на минуту, не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Для нее забывал он собственное семейное счастье.

Часто ему нельзя было явно делать своих посещений; тайна оных распространилась, но чужое любопытство не постигло ее, а клевета дала ей другое направление.

Вот что я должен сказать о другом обвинении. При всей моей короткости я не был другом Рылеева; дружбою и доверенностию пользовался брат мой Александр; но когда с ним случались обстоятельства, требовавшие холодного размышления, он всегда прибегал ко мне; в этом случае он делал мне честь предпочтения, не доверяя, как говорил он, ни собственной пылкости, ни Александровой опрометчивости. Я несколько раз говорил ему об оскорбительных подозрениях, о слухах в обществе, которые носились на его счет, и несколько раз получал в ответ просьбу повременить объяснением и не стараться защищать его, потому что он не признает других судей, кроме своей совести, которая не упрекает его ни в чем. Итак, я с ним молчал, но не переставал защищать его, сколько было моих сил и способностей.

Однажды я написал повесть, в которой изобразил мучения влюбленного человека, томление страсти, отчаяние неразделенной любви, и изобразил это довольно живо. Насчет литературных занятий Рылеев и мы с братом составляли нечто целое. Ни один из нас не делал плана, не кончал сочинения, не показав другому. При первом моем свидании с Рылеевым он спросил меня, кончил ли я начатую мною повесть, и на утвердительный мой ответ просил ее прочесть. Я начал с описания веселых происшествий, перешел к завязке, принимая мало-помалу выражение грусти, которую хотел

изобразить; дошел до того места, где любовь, где совесть, разделяя сердце героя повести, лишают его совершенно спокойствия, ведут его постепенно к отчаянию; наконец, когда дошел до описания всех ужасов бессонницы, самозабвения и покушения на самоубийство, Рылеев вдруг остановил меня:

— Довольно, довольно,— вскричал он дрожащим голосом.

Я взглянул на него и увидел, что слезы катились у него градом. Это меня удивило, хотя я и знал его чувствительность; мне не раз случалось видеть, как слезы выступали у него при рассказе о благородном поступке, при высокой мысли, даже при чтении хорошо написанной повести; но это внутреннее движение слишком было сильно для обыкновенного впечатления.

— Что с тобою сделалось? — спросил я.

— Дай мне оправиться, и я расскажу тебе все,— отвечал он.

Встал и после нескольких оборотов по комнате снова сел подле меня и начал:

— Ты спрашиваешь меня о причине моего поведения, которым меня упрекают в свете, теперь я должен объяснить тебе это. Несколько времени тому назад приехала сюда в Петербург г-жа К. по важному уголовному делу о ее муже. Несколько человек моих знакомых, многие важные люди просили меня заняться этим делом, уговаривали познакомиться с нею. За первое я взялся по обязанности, второго старался всячески избегать, потому что не люблю знакомиться с теми, чьи дела на моих руках, и по свойственной мне неловкости и застенчивости с женщинами.

Но я к тому был вынужден как усиленными просьбами, так и необходимостью узнать некоторые обстоятельства лично, потому что дело тянулось давно, было спутано нижними инстанциями, и бумаг было очень много, писанных на польском языке, мне не совершенно знакомом. Одним словом, меня привезли к ней. Я увидел женщину во всем блеске молодости и красоты, ловкую, умную, со всеми очарованиями слез и пламенного красноречия, вдыхаемого ее несчастным положением. Мое обыкновенное замешательство увеличилось еще более неожиданностью моих впечатлений, видя в первый раз в жизни столько привлекательного в этой необыкновенной женщине.

Однако же, после первого посещения, я не унес с собою никакого постороннего чувствования, кроме желания ей помочь, если это можно.

В последовавших за сим свиданиях слезы прекрасной моей клиентки мало-помалу осушились, на место их заступила заманчивая томность, милая рассеянность, которая перерывалась одним только вниманием ко мне. Это внимание перешло наконец в угождение. Моим советом она желала руководствоваться, мое мнение было всегда самое справедливое, мой образ мыслей — самый благородный. Довольно было упомянуть о какой-нибудь вещи или книге, то и другое являлось у нее на столе. Сообразно с моим вкусом она читала и восхищалась тем, что нравилось мне; но все это делалось с такою деликатностью и осторожностью, с такою ловкостью противопоставлялись иногда и противоречия, что самая бдительная щекотливость не могла тревожиться. Никогда не было прямого намека в глаза: все это я слышал от других, и все, как будто нарочно, старались наперерыв передавать ее слова и мнения на мой счет.

Я начал находить удовольствие в ее обществе, дикость моя понемногу исчезла, я не замечал за собой, предавался вполне и без опасения тем впечатлениям, которые эта женщина на меня производила, и, наконец, к стыду моему, я должен тебе сказать, я стал к ней равнодушен... Вот моя повесть, вот что лежит у меня на совести.

Он остановился. Я никак не ожидал этого признания и с внутренним беспокойством спросил его:

— Но все это, может быть, с ее стороны одно только желание быть любезною, желание, свойственное всем женщинам, и в особенности полькам. Может быть, и ты слишком строг к себе и обманываешься в своих чувствованиях, и желание пользоваться обществом приятной женщины принимаешь за другое?..

— Нет, как я ни неопытен, но умею различать и то и другое. Я вижу, каким огнем горят ее глаза, когда разговор наш касается чувствований; мне нельзя не видеть, нельзя скрыть от самого себя того предпочтения, которое она, зная мою застенчивость, самыми ловкими оборотами и так искусно умеет дать мне перед другими. Если она одна только со мною, она задумчива, рассеянна, разговор наш прерывается, я теряюсь, берусь за шляпу, хочу уйти, и один взгляд ее приковывает меня к стулу. Одним словом, она дает мне знать

о состоянии своего сердца и, конечно, давно знает, что происходит в моем...

— Все это мне слишком странно именно потому, что случилось с тобою. Ни ты хорош, ни ловок, ни любезен с женщинами. Твоего поэтического дарования недостаточно для женщины, чтобы влюбиться. Узнав тебя короче, верю, что можно полюбить и любить очень; но такая быстрая победа над светской женщиной с первого раза невероятна. Для этого надобны блестящие, очаровательные качества. Стихи, добродетель, правдивость, прямодушные любят, но не влюбляются в них, и если это с ее стороны кокетство, которым она старается закупить своего судью, то...

— Нет, она не кокетка,— прервал он с чувством,— нет ничего естественнее слов ее, движений, действий. Все в ней так просто и так мило!..

— И тем опаснее!

Восклицание Рылеева, которым он прервал мои слова, дало мне понятие о степени его чувствований. Чтобы вернее испытать его, я принял обыкновенный, веселый вид и сказал ему, улыбаясь:

— В таком случае я дивлюсь, почему ты не воспользуешься такими обстоятельствами, таким случаем, какого многие или, лучше сказать, никто не поставил бы в зазор совести?

— Боже меня от этого сохрани! Оставляя то, что я обожаю свою жену и не понимаю, как другое чувство могло закрасться в мое сердце; оставляя все нравственные приличия семейственного человека, я не сделаю этого, как честный человек, потому что не хочу воспользоваться ее слабостью и вовлечь ее в преступление. Сверх того, не сделаю как судья. Ежели дело ее справедливо, на совесть мою ляжет, что я, пользуясь ее несчастным положением, взял такую преступную взятку; ежели несправедливо — мне или надобно будет решить его против совести, или, решив его прямодушно, обмануть ее надежды.

— Станный человек! Чего же ты хочешь? Ты не желаешь пользоваться благосклонностью женщины, намерен оставаться верным своим правилам и продолжаешь свои посещения, тогда как еще один шаг по этой дороге может разрушить все твои укрепления чести и совести. Ты думаешь, что можешь противиться влечению склонности, и позволяешь этой женщине читать в твоём сердце; хочешь быть верен жене, подвергаясь

беспрестанно искушению. Видно,— прибавил я, смягчая шутливым выражением суровость упрека,— видно, ты за тем и не велишь приезжать сюда жене своей, чтобы продолжить время твоего заблуждения!

— Твой выговор жесток, но ты имеешь право так думать. Нет, не для продолжения, не для свободы моих дурачеств удерживаю в деревне жену мою, но для того, чтобы не дать ей видеть моего положения, не сделать ее свидетельницей моих страданий, моей борьбы с совестью. Это ее убьет. Ты не поверишь, какие мучительные часы провожу я иногда; не знаешь, до какой степени мучит меня бессонница, как часто говорю вслух с самим собой, вскакиваю с постели, как безумный, плачу и страдаю. Вот почему повесть твоя стрелой вошла в мое сердце, вот почему я открылся перед тобою.

Мы говорили долго об этом предмете. Рылеев сказал, что писал уже к своей жене, чтобы она приехала, обещал мне, что не скроет от меня ни малейшего поступка, а я, с своей стороны, дал ему слово разведать со всем старанием об этой женщине.

С сей минуты я знал всякий день ощущения Рылеева. Приехала его жена. Сказал ли он ей о своей слабости, сказали ли ей о том другие? Этого мне не известно; знаю, что поведение его с нею было примерно, и хотя он решился оставить дом К., но ему не удалось. Казалось, что все были против него в заговоре: ему не позволяли исполнить своего намерения, и если он не бывал там несколько дней, его брали и насильно туда увозили. Не менее того он сделался осторожнее против самого себя и ни одним словом, ни одним взглядом не показывал состояния своей души, которое было еще хуже прежнего, потому что принуждение давало новую силу чувствам.

Быть героем, не иметь недостатков и слабостей, не сделать ни одного неосторожного шага в жизни очень славно, но, по моему мнению, человек с недостатками и слабостями достоин большей похвалы, ежели он может владеть ими. В первом случае я вижу одну только силу, которой нет препятствий; во втором мне представляется борьба и победа, и чем бой опаснее, тем победа славнее.

Как бы то ни было, такое состояние дел продолжалось: я видел страдание и силу души достойного моего друга; но это не мешало ему работать в пользу Тай-

ного общества со всею горячностью человека, обрекшего себя на жертву для счастья Отечества. Эта обязанность, которую мы на себя возложили, заставляла нас знакомиться с такими людьми, собирать такие сведения, о которых прежде и не помышляли. Нам нужно было следить за намерениями правительства, открывать его тайны — и однажды, при разведываниях наших, мы нечаянно узнали, что г-жа К. была... шпион правительства.

Для меня объяснилась вся загадка. Давно уже Рылеева подозревали как вольнодумца; его достоинства, вес между молодыми людьми давали повод думать, что мнения его разделяются другими. Рылеев не хотел знакомиться со властями, избегал всех больших обществ; обыкновенные средства для него не годились, он говорил публично то, что говорили многие; образ его мыслей был известен, но надобно было проникнуть глубже, в его душу и сердце.

Можно себе представить всю силу негодования пылкого Рылеева, когда вероломство женщины, которую считал он образцом своего пола, представилось ему в настоящем виде. Он хотел в ту же минуту ехать к ней, высказать все презрение к той роли, которую она приняла с ним; осыпать ее упреками, представить всю подлость ее положения и оставить ее навсегда. Мы с братом Александром успокоили его, и после согласился он с нами, что такой поступок всего скорее обнаружит то, что всего менее ему надобно было показывать. Такая ссора обнаружила бы и слабость его сердца, и негодование подозреваемого человека.

Мы положили, чтобы он никак не показывал того, что ему было известно, и напротив, старался дать более свободы своему обращению, чтобы робость, происходившая прежде от внутренней борьбы с собою, не могла быть принята за боязнь человека, скрывающего тайну.

Рылеев сказал и сделал. Данный урок излечил его от слабости, и когда возвращенное спокойствие позволило ему хладнокровнее наблюдать за этой женщиной, он ясно увидел ее намерения. По мере той, как он делался свободнее и показывал ей более внимания, она более и более устремлялась к своей цели. Томность ее чувствований заменилась выражением пламенной любви к Отечеству; все ее разговоры клонились к одному предмету: к несчастиям России, к деспотизму прави-

тельства, к злоупотреблениям доверенных лиц, к надеждам свободы народов и т. п. Рылеев мог бы обмануться сими поступками: его открытое сердце и жаркая душа только и искали сих ощущений. Но он был предостережен, и уже никакие очарования, никакие обольщения не выманили бы из груди тайны, сокровища, которые он становил дороже всего на свете, и обманщица в свою очередь осталась обманутою.

В дружбе Рылеев был чрезвычайно пылок. При самом простом, даже детском обращении с друзьями, в душе его заключались самые высокие к ним чувствования. Жертва, даже самопожертвование для дружбы ему ничего не стоили; честь друга для него была выше всяких соображений. Ни приличие, ни рассудок не сильны были удержать его при первом порыве, ежели друг его был обижен. Один из его друзей, имев неприятную историю, требовал удовлетворения и не получил его; искал своего соперника и нигде не мог встретить. Рылеев был счастливее: он встретил его дважды и в первый раз, при отказе на вызов, наплевал ему в лицо, в другой раз забылся до того, что, вырвав у своего противника хлыст, выстегал его публично, но ни тем, ни другим не мог убедить его на удовлетворение, которого тот хотел искать в полиции.

Всякая несправедливость, ложь, а тем более клевета находили в нем жестокого противника; в сих случаях никакие уважения не могли остановить его негодования. Часто раскаивался он, видя, что резкою защитою невинности наносил более вреда, нежели пользы; но при новом случае те же явления, та же неукротимая ненависть против несправедливости повторялись. Это была его слабость, которая огорчала его самого, друзей и приближенных. Я называл его мучеником правды.

К сему присовокуплялся другой, еще важнейший недостаток: сердце его было слишком открыто, слишком доверчиво. Он во всяком человеке видел благонамеренность, не подозревал обмана и, обманутый, не переставал верить. Опытность ни к чему для него не служила. Он все видел в радужные очки своей прекрасной души. Одна только скромность и застенчивость спасала его.

Если человек недоволен был правительством или злословил власти, Рылеев думал, что этот человек либерал и хочет блага Отечества. Это было причиною многих его ошибок на политическом поприще.

Я упомянул о таких его слабостях, которые всякому другому человеку сделали бы честь, но в Рылесе, как в лице политическом, они были важным недостатком. Должно ли присовокупить и то, что он слишком был к себе недоверчив, слишком мало чувствовал силу своей души над другими?

Рылесев был не красноречив и овладевал другими не тонкостями риторики или силою силлогизма, но жаром простого и иногда несвязного разговора, который в отрывистых выражениях и изображал всю силу мысли, всегда прекрасной, всегда правдивой, всегда привлекательной. Всего красноречивее было его лицо, на котором являлось прежде слов все то, что он хотел выразить, точно, как говорил Мур о Байроне, что он похож на гипсовую вазу, снаружи которой нет никаких украшений, но как скоро в ней загорится огонь, то изображения, изваянные внутри хитрою рукою художника, обнаруживаются сами собой. Истина всегда красноречива, и Рылесев, ее любимец, окруженный ее обаянием и ею вдохновленный, часто убеждал в таких предположениях, которых ни он детским лепетанием своим не мог еще объяснить, ни других довольно разумить, но он провидел их и заставлял провидеть других.

Все, что я знал о характере и свойствах Рылеева, я сказал. Обратимся к его поэзии; многие находят, что он не поэт и что стихи его принадлежат более к области ума, нежели воображения. У всякого свой образ мыслей, свой образ воззрения на предметы. Я согласен, что стихи Рылеева с механической стороны не могут назваться образцовыми, но, чтобы согласиться с последним, должно наперед сказать, что я почитаю поэзиею, и потом дать свое мнение о творениях этого человека.

По-моему, всякий благородный поступок, каждая высокая мысль, каждое нежное ощущение и все, что выходит из обыкновенного ряда наших обыкновенных действий, есть поэзия. Все, что может трогать сердце, наполнять и возвышать душу, есть поэзия. Любовь, гнев, ненависть суть страсти, но и религия, но и любовь к Отечеству — также страсти, и ежели стихи заставляют трепетать ту струну нашего сердца, которую сочинитель намеревался тронуть, в таком случае, каков бы ни был наружный вид стихов, они — поэзия. Я пойду далее. Часто случается, что вещи, простые сами по себе,

в применении к случаю и обстоятельствам делаются поэтическими; так, например, известная швейцарская ария горных пастухов, не заключающая в себе ничего особенного музыкального и слышимая ежедневно швейцарами в их родине, не производит на них никакого впечатления, но если тот же швейцар слышит ее вдалеке от своего Отечества, тогда она становится для него совершенно поэтической. Мне случилось быть свидетелем восторга моих соотечичей, когда однажды, посетив Гибралтар и осматривая исполинские подвиги англичан, пробивших эту поднебесную гору галереями во всю ее высоту, мы под облаками, на отдаленнейшем краю Европы, вдали от Родины, вдруг услышали голос и слова русской песни. Нельзя изъяснить этого чувствования. Теперь обратимся к стихам Рылеева.

Единственная мысль, постоянная его идея была пробудить в душах своих соотечественников чувствования любви к Отечеству, зажечь желание свободы. Такое намерение уже само по себе носит отпечаток поэзии, где бы оно ни было приведено в исполнение, но становится совершенно поэтическим, когда, окруженные шпионами деспотизма, посреди рабских похвал, посреди боязливой лести и трусливого подобострастия, посреди целой империи, стелящей под игом тяжкого самоуправства, мы вдруг внимаем голосу поэта, возвещающего нам высокие истины, впервые нами слышимые, но знакомые нашему сердцу. Сама природа влагает в нас понятие о свободе, и это понятие, этот слух сердца так верны, что, как бы ни заглушали их, они отзовутся при первом воззвании. В чем же другом заключается поэзия, как не в побуждении отголоска на песни ее в нашем сердце?

Я говорил о мысли, теперь скажу о исполнении. Вообще Рылеев там везде хорош, везде высок, где он говорит от чувства, но вообще описания его слабы, драматическая часть также. Доказательством тому служить может, что многие описания суть подражания, а драма часто взята целиком из других авторов. Несмотря на это, поэма «Войнаровский», как важнейшее оконченное сочинение, по соображению и ходу стоит выше всех поэм Пушкина, оригинального только в «Цыганах», хотя по стихосложению никак не может равняться ни с самыми слабыми произведениями сего поэта. Обаяние Пушкина заключается в его стихах, которые, как сказал один рецензент, катятся жемчугом по бархату.

Достоинство Рылеева состоит в силе чувствований, в жаре душевном. Переведите сочинения обоих поэтов на иностранный язык и увидите, что Пушкин станет ниже Рылеева. Мыслей последнего нельзя утратить в переводе,— прелесть слога и очаровательная гармония стихов первого потеряются. Мне кажется, что Пушкин сам не постиг применения своего таланта и употребляет его не там, где бы надлежало⁴. Он ищет верных, красивых, разительных описаний, ловкости оборотов, гармонии, ласкающей ухо, и проходит мимо высокого ощущения, глубокой мысли. Даже в других ему более нравится то же. Когда Рылеев напечатал «Войнаровского» и послал Пушкину экземпляр, прося сказать о нем свое мнение, Пушкин прислал ему назад со сделанными на полях замечаниями и противу стихов, истинно поэтических, истинно прекрасных, как, например, когда после рассказа пленного казака:

Мазепа горько улыбнулся,
Прилег безмолвный на траву
И в плащ широкий завернулся.

Или когда Мазепа говорит племяннику:

Но чувств твоих я не унижу,
Сказав, что родину мою
Я более, чем ты, люблю.
Как должно юному герою,
Любя страну своих отцов,
Женой, детьми и собою
Ты ей пожертвовать готов.
Но я — но я, пылая мстью,
Ее спасая от оков:
Я жертвовать готов ей честью.

После сих и многих других прекрасных мест, или вовсе не замеченных, или едва отмеченных, мнение Пушкина выражено слабо, тогда как при изображении палача, где Рылеев сказал:

Вот засучил он рукава...

Пушкин вымарал это место и написал на поле: «Продай мне этот стих».

Новые сочинения, начатые Рылеевым, носили на себе печать зрелейшего таланта. Можно было надеяться, что опытность на литературном поприще, очищенные понятия и большая разборчивость подарили бы нас

произведениями совершеннейшими. Жалею, что слабая моя память не может представить ясного тому доказательства из начатков Мазепы и Хмельницкого. Из первого некоторые отрывки напечатаны, другой еще был, так сказать, в пеленах, но уже рождение его обещало впереди возмужалость таланта. Во всех публично изданных сочинениях, как-то: «Думах», «Войнаровском», «Гражданском мужестве» и других, цель Рылсева обнаруживается в приноравливании, которое может сделать сам читатель, но его другие сочинения, писанные для ходу в рукописи, слишком явны и сколь ни бездельны кажутся в литературном отношении с первого взгляда (особенно песни, составленные им с Александром Бестужевым на голос народных подблюдных припевов) ⁵, но намерение, с которым писаны, и влияние, ими произведенное в короткое время, слишком значительны. Хотя правительство всеми мерами старалось истребить сии песни, где только могли находить их, но они были сделаны в простонародном духе, были слишком близки к его состоянию, чтобы можно было вытеснить их из памяти простолюдинов, которые видели в них верное изображение своего настоящего положения и возможность улучшения в будущем. С другой стороны, одного преследования, без всякого внутреннего достоинства, достаточно было для заманчивости сих легких творений, чтобы образованные люди пожелали сохранить их. Рабство народа, тяжесть притеснения, несчастная солдатская жизнь изображались в них простыми словами, но верными красками.

Удаленным от света нельзя положительно сказать, что они теперь в ходу, но, зная людей, зная, что однажды приобретенные ими понятия, подобно дереву, которому садовник, желая сообщить произвольную форму, как ни сгибает сучья, как ни обстригает ветви, но оно следует природному порядку и пускает вверх свои отрасли, кажется, трудно поверить, чтобы этот катехизис простого народа не распространялся более и более ⁶. В самый тот день, когда исполнена была над нами сентенция и нас, морских офицеров, возили для того в Кронштадт, бывший с нами унтер-офицер морской артиллерии сказывал нам наизусть все запрещенные стихи и песни Рылеева, прибавя, что у них нет канонира, который, умея грамоте, не имел бы переписанных этого рода сочинений и особенно песен Рылеева.

Мне пришла теперь на память одна малоизвестная

пиэса, написанная Рылеевым в последнее время для юношества высшего сословия русского; вот она:

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян.
Нет, не способен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влечить свой век молодой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.
Пусть юноши, не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенье века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.
Пусть с хладнокровием бросают хладный взор
На бедствия страдающей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риэги¹.

В этих стихах лучше всего изображаются все достоинства и недостатки поэзии Рылеева. Со всем тем, кто не скажет, что это стихотворение может стать на ряду с лучшими ирландскими мелодиями Мура?¹

Приступим теперь к важнейшей эпохе жизни Рылеева. Разделяемый между литературою, занятиями по Обществу и домашними попечениями, он тихо проводил жизнь свою, уважаемый общим мнением, любимый домашними и друзьями и подозреваемый правительством, которое, по-видимому, в последнее время было очень слабо в своем полицейском надзоре. Мало-помалу тайные дела для приготовления Общества отвлекли его от других занятий; он совершенно посвятил себя одной только заботе.

Не знаю, был ли он обманут сам, или желал другим представлять дела Общества в лучшем виде, только из его пламенных разговоров о распространении числа членов, принадлежащих к союзу благомыслящих людей, я и другие заключали, что Общество наше многочисленно и что значащие люди участвуют в оном. В сем положении дел застигла нас нечаянная смерть Александра. Более года прежде сего в разговорах наших я привык слышать от Рылеева, что смерть императора была назначена Обществом эпохою для начатия действий оно-го, и когда я узнал о съезде во дворце по случаю неча-

янной кончины царя, о замешательстве наследников престола, о назначении присяги Константину, тотчас бросился к Рылееву. Ко мне присоединился Торсон. Происшествие было неожиданно: весть о нем пришла совсем не оттуда, откуда ожидал я, и вместо начатия действий, я увидел, что Рылеев совершенно не знал об этом. Встревоженный и волнуемый духом, видя благоприятную минуту пропущенною, не видя Общества, не видя никакого начала к действию, я горько стал выговаривать Рылееву, что он поступил с нами иначе, нежели было должно.

— Где же Общество,— говорил я,— о котором столько рассказывал ты? Где же действователи, которым настала минута показаться? Где они соберутся, что предпримут, где силы их, какие их планы? Почему это Общество, ежели оно сильно, не знало о болезни царя, тогда как во дворце более недели получают бюллетени об опасном его положении? Ежели есть какие намерения, скажи их нам, и мы приступим к исполнению,— говори!

Рылеев долго молчал, облокотясь на колени и положив голову между рук. Он был поражен нечаянностью случая и наконец сказал:

— Это обстоятельство явно дает нам понятие о нашем бессилии. Я обманулся сам; мы не имеем установленного плана, никакие меры не приняты, число наличных членов в Петербурге невелико, но, несмотря на это, мы соберемся опять сегодня ввечеру; между тем я поеду собрать сведения, а вы, ежели можете, узнайте расположение умов в городе и в войске.

Батеньков и брат Александр явились в эту минуту, и первое начало происшествий, ознаменовавших период междуцарствия, началось бедным собранием пяти человек.

С сей минуты дом Рылеева сделался сборным местом наших совещаний, а он — душою оных. Ввечеру мы сообщили друг другу собранные сведения, они были неблагоприятны. Войско присягнуло Константину холодно, однако без изъявления неудовольствия. В городе еще не знали, отречется ли Константин, тайна его прежнего отречения в пользу Николая еще не распространилась. В Варшаву поскакали курьеры, и все были уверены, что дела останутся в том же положении.

Когда мы остались трое: Рылеев, брат мой Александр и я, то, после многих намерений, положили было

писать прокламации к войску и тайно разбросать их по казармам; но после, признав это неудобным, изорвали несколько написанных уже листов и решились все трое идти ночью по городу, останавливать каждого солдата, останавливаться у каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завещания покойного царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлена до 15 лет солдатская служба.

Это положено было рассказывать, чтобы приготовить дух войска для всякого случая, могшего представиться впоследствии. Я для того упоминаю об этом намерении, что оно было началом действий наших и осталось неизвестным комитету.

Нельзя представить жадности, с какою слушали нас солдаты, нельзя изъяснить быстроты, с какою разнеслись наши слова по войскам; на другой день такой же обход по городу удостоверил нас в этом.

Два дня сильного беспокойства, две бессонные ночи в ходьбе по городу и огорчение сильно подействовали на Рылеева. У него сделалось воспаление горла, он слег в постель, воспаление перешло в жабу, он едва мог переводить дыхание, но не переставал принимать участия в делах Общества. Мало-помалу число наше увеличилось, члены съезжались отовсюду, и болезнь Рылеева была предлогом беспрестанных собраний в его доме.

Мне прискорбно теперь припоминать предсказание, сделанное мною больному, и тогда было оно шуткою, но вскоре исполнилось ужасною истиною. Ему поставили на шею мушку, и когда она подействовала, надобно было сделать перевязку. Очищая больное место и прикладывая новый пластырь, я зацепил неосторожно за рану. Рылеев вскрикнул.

— Как не стыдно тебе быть так малодушным,— сказал я шутя,— и кричать от одного прикосновения, когда ты знаешь свою участь, знаешь, к чему тебе должно приучать свою шею.

Между тем сомнения насчет наследства престола возрастали. Нам открывался новый случай воспользоваться новою присягою. Мы работали усерднее, готовляли гвардию, питали и возбуждали дух неприязни к Николаю, существовавший между солдатами. Рылеев выздоравливал и не переставал быть источником и главною пружиною всех действий Общества.

Но, несмотря на успехи наши, невзирая на то, что новые члены прибывали, что за многие полки сделаны были обещания, мы мало уверены были в наших силах; никто не мог ручаться за полный полк, ротные командиры, участвовавшие в заговоре, могли отвечать только за свои роты, и то при некоторых благоприятных обстоятельствах. Часто в разговорах наших сомнение насчет успеха выражалось очень положительно. Не менее того мы видели необходимость действовать, чувствовали необходимость пробудить Россию. Рылеев всегда говаривал:

— Предвижу, что не будет успеха, но потрясение необходимо, тактика революций заключается в одном слове: дерзай, и ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других.

Наконец 12-го числа декабря, в субботу, явился у меня Рылеев. Вид его был беспокойный, он сообщил мне, что Оболенский выведал от Ростовцева, что сей последний имел разговор с Николаем, в котором объявил ему об умышляемом заговоре, о намерениях воспользоваться расположением солдат, и упрасивал его, для отвращения кровопролития, или отказаться от престола, или подождать цесаревича для формального и всенародного отказа. Оболенский заставил Ростовцева написать как письмо, писанное им до свидания, так и разговор с Николаем.

— Вот черновое изложение того и другого,— продолжал Рылеев,— собственной руки Ростовцева, прочти и скажи, что ты об этом думаешь?

Я прочитал. Там не было ничего упомянуто о существовании Общества, не названо ни одного лица, но говорилось о намерении воспротивиться вступлению на престол Николая, о могущем произойти кровопролитии. В справедливости же своего показания Ростовцев заверял головою, просил, чтобы его посадили с сей же минуты в крепость и не выпускали оттуда, ежели предсказываемое не случится.

— Уверен ли ты,— сказал я Рылееву,— что все, писанное в этом письме, и разговор совершенно согласны с правдою и что в них ничего не убавлено против изустного показания Ростовцева?

— Оболенский ручается за правдивость этой бумаги: он говорит, что Ростовцев почти добровольно объявил ему все это.

— По доброй душе своей Оболенский готов ему верить; но я думаю, что Ростовцев хочет ставить свечу

богу и сатане. Николаю он открывает заговор, пред нами умывает руки признанием, в котором, говорит он, нет ничего личного. Не менее того в этом признании он мог написать, что ему угодно, и скрыть то, что ему не надобно нам сказывать. Но пусть будет так, что Ростовцев, движимый сожалением, совестью, раскаянием, сказал и написал не более и не менее, однако ж у него сказано об умысле, и ежели у Николая теперь так много хлопот, что некогда расспросить об нем доносчика, или боязнь и политика мешают приняться за розыск, как бы надобно, то, конечно, эти причины не будут существовать в первый день по вступлении на престол, и Ростовцева заставят сказать что-нибудь поболее о том, о чем он говорит теперь с такою скромностью.

— Но если бы сказано было что-нибудь более, нас, конечно, тайная полиция прибрала бы к рукам.

— Я тебе повторю, что Николай боится сделать это. Опорная точка нашего заговора есть верность присяге Константину и нежелание присягать Николаю. Это намерение существует в войске, и, конечно, тайная полиция о том известила Николая, но как он сам еще не уверен, точно ли откажется от престола брат его, следовательно, арест людей, которые хотели остаться верными первой присяге, может показаться с дурной стороны Константину, ежели он вздумает принять корону.

— Итак, ты думаешь, что мы уже заявлены?

— Непременно, и будем взяты, ежели не теперь, то после присяги.

— Что же, ты полагаешь, нужно делать?

— Не показывать этого письма никому и действовать. Лучше быть взятыми на площади, нежели на постели. Пусть лучше узнают, за что мы погибнем, нежели будут удивляться, когда мы тайком исчезнем из общества, и никто не будет знать, где мы и за что пропали.

Рылеев бросился ко мне на шею.

— Я уверен был,—сказал он с сильным движением,—что это будет твое мнение. Итак, с богом! Судьба наша решена! К сомнениям нашим теперь, конечно, прибавятся все препятствия. Но мы начнем. Я уверен, что погибнем, но пример останется. Принесем собою жертву для будущей свободы Отечества!

Мы поехали вместе с ним к полковнику Финляндского полка Моллеру, члену Общества, чтобы спросить его решительного ответа, и не застали дома. Рылеев

поручил мне непременно узнать о его намерениях. Я был у Моллера опять ввечеру и нашел его в наилучшем расположении — с этим я отправился к Рылееву. В этот же вечер приехала ко мне из деревни мать с сестрами, и потому мне нельзя было оставаться на совещании. Рылеев обещал известить меня обо всем.

На другой день, поутру, передав мне некоторые слабые надежды, Рылеев поехал со мной опять к Моллеру и опять не застал его дома. Обещав приехать ко мне обедать, он поручил мне сыскать Моллера, чтобы, узнав его мысли, принять решительные меры.

Я отправился к Торсону, и там узнали мы, что Моллер у дяди своего, министра. Послали за ним. Он явился, но был уже не тот, с которым я говорил накануне. При первом вопросе о его намерениях он вспыхнул; сказал, что не намерен служить орудием и игрушкой других в таком деле, где голова нетвердо держится на плечах, и, не слушая наших убеждений, ушел.

Я сообщил Рылееву за обедом нашу неудачу.

— Нам надобно что-нибудь узнать о Финляндском полку, — сказал он, — поедem к Репину.

Мы поехали, насилу отыскали его, привезли ко мне, и вот его слова о состоянии Финляндского полка:

— Моллер и Тулубьев, который еще сегодня поутру с энтузиазмом дал свое слово, оба отказываются: Моллер по своим расчетам, Тулубьев — следуя ему. Я не могу ручаться ни за одного солдата; моей роты здесь нет, она с батальоном стоит в деревне, и притом я скрываюсь больным, подавши в отставку. Во всем полку один только Розен отвечает за себя, но я не знаю, что он будет в состоянии сделать.

Рылеев уехал, дав слово возвратиться ввечеру и известить нас об окончательных намерениях к завтрашним действиям.

Мы остались с Репиным. Общество наше увеличилось Торсоном и Батеньковым. В 10 часов приехал Рылеев с Пушиным и объявил нам о положенном на совещании, что в завтрашний день, при принятии присяги, должно поднимать войска, на которые есть надежда, и, как бы ни были малы силы, с которыми выйдут на площадь, идти с ними немедленно во дворец.

— Надобно нанести первый удар, — сказал он, — а там замешательство даст новый случай к действию; итак, брат ли твой Михаил с своей ротою, или Арбу-

зов, или Сутгоф — первый, кто придет на площадь, отправится тотчас ко дворцу.

Здесь Репин заметил Рылееву, что дворец слишком велик и выходов в нем множество, чтобы занять его одною ротою, что, наконец, Преображенский баталион, помещенный возле дворца, может в ту же минуту быть введен туда через Эрмитаж и что отважившаяся рота будет в слишком опасном положении, тогда как и без сего успех неверен, чтобы воспрепятствовать уходу царской фамилии.

— Ежели же,—прибавил он,—это необходимо, то недурно бы достать план дворца и по оному расположить действия, чтобы воспользоваться с выгодною малым числом.

— Мы не думаем,—сказал Рылеев,—чтобы могли кончить все действия одним занятием дворца, но довольно того, что ежели Николай и царская фамилия уедут оттуда и замешательство оставит его партию без головы. Тогда вся гвардия пристанет к нам, и самые нерешительные должны будут склониться на нашу сторону. Повторяю, что успех революций заключается в одном слове: дерзайте.

Таким образом кончился канун происшествия 14-го числа. Многие из товарищей, бывших на совещании 13-го числа, утверждают, что там никогда не было принято подобного намерения. Не быв на сем совещании, я этого не знаю и передаю только то, что говорил Рылеев Репину и мне ввечеру 13-го числа после сего совещания, и как я в сем случае пишу не историю Общества, но действия Рылеева, то я должен их передавать так, как я собственно их видел и слышал.

Рано поутру 14-го числа я был уже у Рылеева, он собирался ехать со двора.

— Я дожидал тебя,—сказал он,—что ты намерен делать?

— Ехать, по условию, в Гвардейский экипаж, может быть, там мое присутствие будет к чему-нибудь годно.

— Это хорошо. Сейчас был у меня Каховский и дал нам с твоим братом Александром слово об исполнении своего обещания, а мы сказали ему, на всякий случай, что с сей поры мы его не знаем, и он нас не знает, и чтобы он делал свое дело, как умеет. Я же, с своей стороны, еду в Финляндский и лейб-гренадерский полки, и если кто-либо выйдет на площадь, я стану в ряды солдат с сумою через плечо и с ружьем в руках.

— Как, во фраке?

— Да, а может быть, надену русский кафтан, чтобы сроднить солдата с поселянином в первом действии их взаимной свободы.

— Я тебе этого не советую. Русский солдат не понимает этих тонкостей патриотизма, и ты скорее подвергнешься опасности от удара прикладом, нежели сочувствию к твоему благородному, но неуместному поступку. К чему этот маскарад? Время национальной гвардии еще не настало.

Рылеев задумался.

— В самом деле, это слишком романтически,— сказал он,— итак, просто, без излишеств, без затей. Может быть,— продолжал он,— может быть, мечты наши сбудутся, но нет, вернее, что мы погибнем.

Он вздохнул, крепко обнял меня, мы простились и пошли.

Но здесь ожидала нас трудная сцена. Жена его выбежала к нам навстречу, и когда я хотел с нею поздороваться, она схватила мою руку и, заливаясь слезами, едва могла выговорить:

— Оставьте мне моего мужа, не уводите его — я знаю, что он идет на погибель.

Кто из моих товарищей испытал чувствования, одушевлявшие каждого из нас в эти незабвенные дни, тот может представить, что напряженная душа готова была ко всем пожертвованиям, и потому я уговаривал ее такими словами, как будто супруга и мать должна была понимать мои чувствования, но это было холодно для ее сердца. Рылеев, подобно мне, старался успокоить ее, что он возвратится скоро, что в намерениях его нет ничего опасного. Она не слушала нас, но в это время дикий, горестный и испытующий взгляд больших черных ее глаз попеременно устремлялся на обоих — я не мог вынести этого взгляда и смутился. Рылеев приметно был в замешательстве, вдруг она отчаянным голосом вскрикнула:

— Настенька, проси отца за себя и за меня!

Маленькая девочка выбежала, рыдая, обняла колени отца, а мать почти без чувств упала к нему на грудь. Рылеев положил ее на диван, вырвался из ее и дочерних объятий и убежал.

Здесь мы расстались.

Когда я пришел на площадь с Гвардейским экипажем, уже было поздно. Рылеев приветствовал меня

первым целованием свободы и после некоторых объяснений отвел меня на сторону и сказал:

— Предсказание наше сбывается, последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы: мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою.

Это были последние слова Рылеева, которые мне были сказаны. Остальная развязка нашей политической драмы всем известна...

Мы сидели в крепости, в Алексеевском равелине; в 14-м № был брат мой Михаил, в 15-м — я, в 16-м — кн[язь] Одоевский, в 17-м и в последнем — Рылеев. Мало-помалу мы с братом восстановили сношения посредством выдуманной им азбуки звуками в стену; мы объяснялись свободно⁸. Я хотел переговорить с Рылеевым, но все мои попытки дать понятие о нашей азбуке Одоевскому, между нами сидевшему, были безуспешны. Итак, все сношения между нами были очень коротки и неверны — через старого ефрейтора, словесно, и, почти перед самою сентенциею, записками. Это препятствие много повредило нашему делу.

Вот поведение Рылеева по комитету, сколько я мог судить из дела и его показаний, которые до меня доходили. Но здесь я говорю собственное мнение, одно заключение, то, что мне казалось, не основываясь ни на каких положительных доказательствах.

Рылеев старался перед комитетом выставить Общество и дела оногo гораздо важнее, нежели они были в самом деле. Он хотел придать весу нашим поступкам и для того часто делал такие показания, о таких вещах, которые никогда не существовали. Согласно с нашею мыслью, чтобы знали, чего хотело наше Общество, он открыл многие вещи, которые открывать бы не надлежало. Со всем тем это не были ни ложные показания на лица, ни какие-нибудь уловки для своего оправдания; напротив, он, принимая все на свой счет, выставлял себя причиною всего, в чем могли упрекнуть Общество. Сверх того, комитет употреблял все непозволительные средства: вначале обещали прощение; впоследствии, когда все было открыто и когда не для чего было щадить подсудимых, присовокупились угрозы, даже страшали пыtkoю. Комитет налагал дань на родственные связи, на дружбу; все хитрости и подлости были употреблены. Я знал через старого солдата, что Рылееву было обещано от государя прощение, ежели он признается в своих намерениях; жене его сказано

было то же; позволены были свидания, переписка, все было употреблено, чтобы заставить раскрыться Рылеева. Сверх того, зная нашу с ним дружбу, нас спрашивали часто от его имени о таких вещах, о которых нам прежде и на мысль не приходило. Я, признаюсь, обманутый сам обещанием царским, зная, за какую цену оно обещано Рылееву, и зная его намерение представлять в важнейшем виде вещи, думал действовать в том же смысле, чтобы не повредить ему и не выставить его лжецом, отрицаясь от показаний, сделанных будто от его имени, особенно в начале дела, когда я еще не разгадал этой хитрости комитета; но после я узнал это, и мы с братом взяли свои меры. Что же касается до Рылеева, он не изменил своей всегдашней доверчивости и до конца убежден был, что дело окончится для нас благополучно. Это было видно из его записки, посланной ко всем нам в равелине, когда он узнал о действиях Верховного уголовного суда; она начиналась следующими словами: «...красные кафтаны (т. е. сенаторы) горячатся и присудили нам смертную казнь, но за нас бог, государь и благомыслящие люди...» — окончания не помню.

Через 7 месяцев судьба привела нас еще видеться с ним. В безмолвном кладбище нашем, равелине, был маленький садик, куда нас вели по очереди гулять; очередь Рылеева была всегда во время ужина. Однажды ефрейтор, вынося от меня столовую посуду, отворил дверь в ту самую минуту, когда Рылеев проходил мимо; мы увидели друг друга, этого довольно было, чтобы вытолкнуть ефрейтора, броситься друг другу на шею и поцеловаться после столь долгой разлуки. Такой случай был эпохой в Алексеевском равелине, где тайна и молчание, где подслушивание и надзор не отступают ни на минуту от несчастных жертв, заживо туда похороненных...

Что мне теперь прибавить? С этой минуты я не видал его более. Я узнал о нем от священника, уже после казни; узнал, с каким мужеством и смирением принял он двукратную смерть от руки палача. «Положите мне руку на сердце и посмотрите, скорее ли оно бьется», — сказал он священнику. Они все пятеро поцеловались, оборотились так, чтоб можно было пожать им, связанным, друг другу руки, и приговор был исполнен. По неловкости палача, Рылеев, Каховский и Муравьев⁹ должны были вытерпеть эту казнь в другой

раз, и Рылеев с таким же равнодушием, как прежде, сказал: «Им мало нашей казни — им надобно еще тиранство!»

14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

Сабля моя давно была вложена¹⁰, и я стоял в интервале между Московским каре и колонною Гвардейского экипажа, нахлобуча шляпу и поджав руки, повторяя себе слова Рылеева, что мы дышим свободой¹¹. Я с горестью видел, что это дыхание стеснялось. Наша свобода и крики солдат походили более на стенания, на хрип умирающего. В самом деле: мы были окружены со всех сторон; бездействие поразило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто в начатом поприще раз остановился, уже побежден вполовину. Сверх того, пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на нас и стрельба наша прекратились; ура солдат становилось реже и слабее¹². День смеркался. Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, расступились на две стороны, и батарея артиллерии стала между ними с разверстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием сумерек¹³.

Митрополит, посланный для нашего увещания, возвратился без успеха¹⁴; Сухозанету, который, подъехав, показал нам артиллерию, громогласно прокричали подлеса — и это были последние порывы, последние усилия нашей независимости.

Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, третьи с визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся между колонн сенатского дома и на крышах соседних домов. Разбитые оконницы зазвенели, падая на землю, но люди, слетевшие вслед за ними, растянулись безмолвно и недвижимо¹⁵. С первого выстрела семь человек около меня упали: я не слышал ни одного вздоха, не заметил ни одного судорожного движения — столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии. Совершенная тишина царствовала между живыми и мертвыми. Другой и третий выстрелы повалили кучу солдат и черни, которая толпами собралась около нашего места. Я стоял точно в том же положении, смотрел печально в глаза

смерти и ждал рокового удара; в эту минуту существование было так горько, что гибель казалась мне благополучием. Однако судьбе угодно было иначе.

С пятым или шестым выстрелом колонна дрогнула, и когда я оглянулся — между мною и бегущими была уже целая площадь и сотни скошенных картечью жертв свободы¹⁶. Я должен был следовать общему движению и с каким-то мертвым чувством в душе пробирался между убитых; тут не было ни движения, ни крика, ни стенания, только в промежутках выстрелов можно было слышать, как кипящая кровь струилась по мостовой, растопляя снег, потом сама, алея, замерзала.

За нами двинули эскадрон конной гвардии, и когда при входе в узкую Галерную улицу бегущие столпились вместе, я достиг до лейб-гренадеров, следовавших сзади, и сошелся с братом Александром; здесь мы остановили несколько десятков человек, чтобы, в случае натиска конницы, сделать отпор и защитить отступление, но император предпочел продолжать стрельбу по длинной и узкой улице¹⁷.

Картечи догоняли лучше, нежели лошади, и составленный нами взвод рассеялся. Мертвые тела солдат и народа валялись и валились на каждом шагу; солдаты забегали в дома, стучались в ворота, старались спрятаться между выступами цоколей, но картечи прыгали от стены в стену и не щадили ни одного закоулка. Таким образом, толпы достигли до первого перекрестка и здесь были встречены новым огнем Павловского гренадерского полка.

Не видав, куда исчез брат мой, я повернул в полуотворенные ворота направо и сошелся с самим хозяином дома; двое порядочно одетых людей бросились также в ворота, и в ту минуту, как первый пригласил нас войти, картечь поразила одного из последних, и он, упав, загородил нам дорогу.

Прежде, нежели я успел нагнуться, чтобы приподнять его, он закрыл глаза навеки, кровь брызгала в обе стороны из груди и спины, пуля пробила его насквозь.

— Боже мой! Нельзя ли ему помочь! — воскликнул хозяин.

Шинель молодого человека свалилась с плеч при падении. Я безмолвно указал ему на рану, которая началась немного ниже левого соска и оканчивалась против самого хребта.

— Да будет воля божия! — сказал хозяин. — Поидемте ко мне, иначе еще кто-нибудь из нас убудет.

Итак, мы трое, перешед двор, остановились на крыльце; хозяин постучался в дверь; громкий лай собаки, раздавшийся, как гром, в пустых покоях, отвечивал ему.

О росте собаки можно было судить по необыкновенному ее голосу.

— Позвольте мне теперь спросить, господа, кого я имею честь у себя принимать, — говорил хозяин, пока слышался голос слуги, начавшего унимать собаку, отпирать дверь и отодвигать запоры.

Я распахнул шинель, и как полная форма мундира, штаб-офицерские эполеты и крест могли служить достаточным ответом, хозяин учтиво мне поклонился.

— А вы?..

Молодой человек очень приятной физиономии сказал ему свою фамилию и место службы — я жалею, что не помню ни того ни другого.

В эту минуту замок, запор и несколько задвижек были отодвинуты, дверь приотворилась и слуга вынул голову.

— Я не один, поддержи собаку, пока мы пройдем, — сказал хозяин и, подав нам обоим руки, пригласил войти в дом; предосторожность его была необходима, потому что датская собака чудовищной величины рвалась из рук слуги, едва могшего удерживать ее за ошейник.

Мы вошли в комнату нижнего этажа, и когда подали свечу, хозяин приказал запереть снова двери, закрыть ставни на набережную и на двор и не сказывать его дома.

Пушечные выстрелы гремели по улице и на Неве, ружейная пальба не переставала по обе стороны дома; все, что я сказал, едва ли продолжалось десять минут, потом пушки замолкли, ружейные выстрелы слышались изредка, наконец, и те перестали.

Подали чай без сливок, потому что хозяин постился. Разговор наш, хотя и относился до ужасных происшествий сего дня, был сух и холоден. Все трое были незнакомы друг другу, недоверчивость связывала каждому язык, принуждение каждого светилось сквозь светскую учтивость, когда мы остались друг с другом.

Тут я рассмотрел хозяина: он был с меня ростом и по виду лет 45 мужчина, но с цветущим здоровьем, с приятным и красивым лицом. Постоянные черные глаза

ручались за твердость его характера, в черных волосах не было ни одной седины, которая бы обнаружила излишество внутреннего огня. На сером фраке, шитом столько по моде, чтобы не отстать от ней и не походить на бульварных щеголей, надета была неаполитанская звезда.

Наконец на обеих сторонах дома все утихло; слуга, вышедший несколько раз за ворота, сказывал, что по улицам и набережной разъезжают патрули.

Тогда молодой человек встал, поблагодарил хозяина за гостеприимство, повторил свою фамилию и был выпущен слугою на безлюдную набережную. Пределы приличия не позволяли мне оставаться долее; но я считал еще опасным выйти на улицу и, когда хозяин, проводя своего гостя, подошел ко мне с таким видом, будто желал и моего ухода, я ему сказал:

— Вы сделали великодушное дело, укрыв нас от картечей, и теперь, когда их нечего бояться, молодой мой товарищ ушел; по законам учтивости должно бы уйти и мне, но ваши поступки внушают мне доверенность: я должен сказать причину, почему прошу у вас гостеприимства еще на час или на два,— я один из приведших на площадь войска, не присягнувшие Николаю.

Хозяин мой побледнел, сомнение выразилось на его лице.

— Теперь дело сделано,— продолжал я, заметив перемену,— вы властны располагать мною: или выдать, как бунтовщика, или укрыть, как преследуемого несчастливца.

Он протянул руку.

— Вы остаетесь у меня, сколько нужно для вашей безопасности,— сказал он.

— Рассудите, на что вы решаетесь: сверх мною сказанного, вы обязаны объявить, кого вы укрываете... я...

— Не нужно... мне довольно одного вашего несчастья,— сказал он, торопливо взяв меня за руку и сажая с участием на стул.

— Вы великодушный человек,— отвечал я,— в таком случае я не употреблю во зло вашего снисхождения, за которое да заплатит вам бог.

— Мы начнем с того, что перейдем отсюда в другую комнату, потому что я занимаю обыкновенно эту, а ко мне может кто-нибудь зайти, увидя сквозь ставни огонь.

Сказав это, он вывел меня в комнату, похожую на кабинет, но заставленную разными мебелью.

— Жена моя в деревне,— продолжал он,— я собираюсь также на днях ехать, и потому весь дом пуст, кроме моих двух комнат и третьей, где живет мой сын, служащий адъютантом у ***.

Мы сели, и разговор наш сделался откровеннее. Речь была о расположении войск. Хозяин мой был любопытным свидетелем на площади и видел, желали ли нового государя, и когда по сцеплению мыслей мы дошли до того, кто привел неприсягнувшие полки, я упомянул свою фамилию.

Хозяин мой остановил меня.

— Не сын ли вы Александра Бестужева, бывшего капитаном в инженерном кадетском корпусе?

Я отвечал утвердительно.

— В таком случае рад,— продолжал он,— что могу оказать услугу сыну моего благодетеля. Я воспитывался под его начальством, а потом, могу сказать, был его другом, пока обстоятельства не разлучили нас.

Здесь он рассказал мне свою жизнь, не богатую занимательными происшествиями; самое замечательное было то, что он коротко был известен покойному императору, переписывался с ним и имел несколько от него поручений в чужих краях, будучи употребляем также и как корреспондент ученого артиллерийского комитета; рассказывая свои сношения с Александром и любовь к нему, он дал волю чувствам и, когда кончил похвалы, вынул висевший на груди его портрет государя, поцеловал его с благоговейными слезами и прибавил, что это был подарок самого государя, потому данный, что он не хотел принять никогда никакой награды.

Ласки моего хозяина, которого я узнал имя и фамилию¹⁸, обворожили меня; я не замечал, как проходило время; было уже около 8 часов вечера, вдруг собака залаяла, у дверей поднялся страшный стук, наконец, разговоры в комнатах, хозяин немного смутился, но, когда он увидел вошедшего к нам молодого человека в адъютантском мундире, он мне шепнул, что это — его сын.

Красивый молодой человек лет двадцати двух, среднего роста, рассказал отцу, что он едва мог урваться из дворца, чтобы переодеться, и что должен немедленно ехать туда же.

Молодой человек столько был занят происшествиями этого дня, что почти вовсе не заметил меня, не спрашивал отца о том, что с ним случилось, и с жаром рассказывал о действиях государя, войск и артиллерии.

— Чем же все это кончилось? — сказал мой хозяин. — Я ушел с площади, только что начали стрелять, и потому не знаю остального.

— Одним словом, батюшка, эту толпу мерзавцев разогнали, несколько человек офицеров, с ними бывших, захватили; теперь открывается, что зачинщики всего — братья Бестужевы; их тут без счету, и ни одного из этих подлецов не могли поймать.

Я сжал руки и стиснул зубы, но здесь не место было вступаться за свою обиженную честь. Хозяин мой вздрогнул, взглянув при сих словах на меня, и начал:

— Не брани, любезный друг, так легкомысленно людей, не рассудив хорошенько о их поступках. Ты смотришь на них с одной стороны, видишь их глазами придворного, но если бы ты, подобно мне, был на площади между ними, тогда бы ты согласился, что требования их были очень справедливы.

Здесь хозяин рассказал, на чем основывалось недоверие солдат, сколько могло быть законно отречение Константина, не известное никому и которому не дано было никакого последствия, и как можно было положиться на новую записку его, писанную из Варшавы. Одним словом, говорил благоразумно, так что молодой человек должен был с ним согласиться и с сим убеждением уехал.

— Вы видите, — продолжал хозяин, — что вам небезопасно оставаться в моем доме, имея сына моего с сими мыслями отъявленным неприятелем вашим.


— Я и не намерен оставаться долее, — сказал я, — и хочу, поблагодаря вас, проститься.

— Нет, еще рано, мы поужинаем, дадим успокоиться городу и потом расстанемся...





И. И. Пущин
ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ

 Встреча моя с Пушкиным на новом нашем поприще¹ имела свою знаменательность. Пока он гулял и отдыхал в Михайловском, я уже успел поступить в Тайное общество; обстоятельства так расположили моей судьбой! Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михайло), Бурцов, Павел Колошин и Семенов². С Колошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем. Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял в Общество меня и Вольховского, который, поступив в гвардейский генеральный штаб, сделался его товарищем по службе. Бурцов тотчас узнал его, понял и оценил.

Эта высокая цель жизни самой своей таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла душу мою — я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах: стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдал за собою, как за частицей, хотя ничего не значащей, но входящей в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное свое действие.

Первая моя мысль была — открыться Пушкину: он всегда согласно со мною мыслил о деле общем (*res publica*), по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно и письменно, стихами и прозой. Не знаю, к счастью ли его, или несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался верить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня. К тому же в 1818 г., когда часть гвардии была в Москве по случаю приезда прусского короля, столько было опрометчивых действий одного члена Общества, что признали необходимым делать выбор со всею строгостию, и даже, несколько лет спустя, объявлено было об уничтожении Общества, чтобы тем удалить неудачно принятых членов. На этом основании я присоединил к союзу одного Рылеева, несмотря на то что всегда был окружен многими, разделяющими со мной мой образ мыслей.

Естественно, что Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки³, заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю. Особенно во время его болезни и продолжительного выздоровления, выдавая чаще обыкновенного, он затруднял меня вопросами и расспросами, от которых я, как умел, отделывался, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели: тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! В Россию скачет»... и другие мелочи в том же духе⁴. Не было живого человека, который не знал бы его стихов.

Нечего и говорить уже о разных его выходках, которые везде повторялись; например, однажды в Царском Селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором устроена была его будка, и побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз, в темной аллее, с императором, если бы на этот раз не встрепенулся его маленький шарло и не предостерег бы от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае, не обвиняя, говорил: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь!» Таким

же образом он во всеуслышание в театре кричал: «Теперь самое безопасное время — по Неве идет лед». В переводе: нечего опасаться крепости.

Конечно, болтовня эта — вздор; но этот вздор, похожий на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее свое развитие; следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно содействовал.

Между тем тот же Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственной улыбкой выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр.». Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что, обыкновенно, делал, когда немножко потеряется. Потом смотришь: Пушкин опять с тогдашними львами! Извините! (Анахронизм! Тогда не существовало еще этого аристократического прозвища.)

Странное смешение в этом великолепном создании! Никогда не переставал я любить его; знаю, что и он платил мне тем же чувством; но невольно, из дружбы к нему, желалось, чтобы он наконец настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание. Видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе; видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза.

Не заключайте, пожалуйста, из этого ворчанья, чтобы я когда-нибудь был спартанцем, каким-нибудь Катонном, — далеко от всего этого: всегда шалил, дурил и кутил с добрым товарищем. Пушкин сам увековечил это стихами ко мне; но при всей моей готовности к разгулу с ним хотелось, чтобы он не переступал некоторых границ и не профанировал себя, если можно так выразиться, сближением с людьми, которые, по их положению в свете, могли волею и неволею набрасывать на него некоторого рода тень.

Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдет он ко мне. Вместо «здравствуй» я его спраши-

ваю: «От нее ко мне или от меня к ней?» Уж и это надо вам объяснить, если пустился болтать.

В моем соседстве, на Мойке, жила Анжелика — прелесть полька!

На прочее завеса!

(Стих. Пушкина.)^а

Возвратясь однажды с ученья, я нахожу на письменном столе развернутый большой лист бумаги. На этом листе нарисована пером знакомая мне комната, трюмо, две кушетки. На одной из кушеток сидит, развалившись, претолстая женщина, почти портрет безобразной тетки нашей Анжелики. У ног ее — *стрикс*, маленькая неслышная собачонка.

Подписано: «От нее ко мне или от меня к ней?»

Не нужно было спрашивать, кто приходил. Кроме того, я понял, что этот раз Пушкин и ее не застал.

Очень жаль, что этот смело набросанный очерк в разгроме 1825 года не уцелел, как некоторые другие мелочи. Он стоил того, чтобы его литографировать.

Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу Общества было, когда он встретился со мною у Н. И. Тургенева, где тогда собирались все желавшие участвовать в предполагаемом издании политического журнала^а. Тут между прочим были Куницын и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берет меня за плечо. Оглядываюсь — Пушкин! «Ты что здесь делаешь? Наконец поймал тебя на самом деле», — шепнул он мне на ухо и прошел дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним. Подали чай, мы закурили сигарки и сели в уголок.

«Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, это ваше Общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашел сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай: право, любезный друг, это ни на что не похоже!»

Мне и на этот раз легко было без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание Общества, им отыскиваемого, что он может спросить Маслова и что я сам тут совершенно неожиданно. «Ты знаешь, Пушкин, что я отнюдь не литератор, и, вероятно, удивляешься,

что я попал некоторым образом в сотрудники журнала. Между тем это очень просто, как сейчас сам увидишь. На днях был у меня Николай Тургенев; разговорились мы с ним о необходимости и пользе издания в возможно свободном направлении; тогда это была преобладающая его мысль. Увидел он у меня на столе недавно появившуюся книгу m-me Staël: «*Considérations sur la Révolution française*» * и советовал мне попробовать написать что-нибудь об ней и из нее. Тут же пригласил меня в этот день вечером быть у него, — вот я и здесь!»

Не знаю настоящим образом, до какой степени это объяснение, совершенно справедливое, удовлетворило Пушкина, только вслед за этим у нас переменился разговор, и мы вошли в общий круг. Глядя на него, я долго думал: не должен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами? От него зависело принять или отвергнуть мое предложение. Между тем тут же невольно являлся вопрос: почему же помимо меня никто из близко знакомых ему старших наших членов не думал об нем? Значит, их останавливало почти то же, что меня пугало: образ его мыслей всем хорошо был известен, но не было полного к нему доверия.

Преследуемый мыслию, что у меня есть тайна от Пушкина и что, может быть, этим самым я лишаю Общество полезного деятеля, почти решался броситься к нему и все высказать, зажмуря глаза на последствия. В постоянной борьбе с самим собою, как нарочно, вскоре случилось мне встретить Сергея Львовича на Невском проспекте.

«Как вы, Сергей Львович? Что наш Александр?»

«Вы когда его видели?»

«Несколько дней тому назад у Тургенева».

Я заметил, что Сергей Львович что-то мрачен.

«*Je n'ai rien de mieux à faire que de me mettre en quatre pour rétablir la réputation de mon cher fils***». Видно, вы не знаете последнюю его проказу?»

Тут рассказал мне что-то, право, не помню, что именно, да и припоминать не хочется.

«Забудьте этот вздор, почтенный Сергей Львович! Вы знаете, что Александру многое можно простить: он оку-

* Госпожи Сталь: «Взгляд на Французскую революцию» (франц.).

** Мне не остается ничего лучшего, как лезть из кожи, чтоб восстановить доброе имя моего милого сына (франц.).

пает свои шалости неотъемлемыми достоинствами, которых нельзя не любить».

Отец пожал мне руку и продолжал свой путь.

Я задумался, и, признаюсь, эта встреча, совершенно случайная, произвела свое впечатление: мысль о принятии Пушкина исчезла из моей головы. Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, Тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательней и поостроже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своем быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не пришла еще пора кипучей его природе уговорить себя. Как ни вертел я все это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не вправе действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения в деле, ответственном пред целию самого союза⁷.

Круг знакомства нашего был совершенно разный.

После этого мы как-то не часто виделись. Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него. Летом маневры и другие служебные занятия увлекали меня из Петербурга. Все это, однако, не мешало нам при всякой возможности встречаться с прежней дружбой и радоваться нашим встречам у лицейской братии, которой уже немного оставалось в Петербурге; большею частью свидания мои с Пушкиным были у домоседа Дельвига.

В январе 1820 года я должен был ехать в Бессарабию к больной тогда замужней сестре моей⁸. Прожив в Кишиневе и Аккермане почти четыре месяца, в мае возвращался с нею, уже здоровою, в Петербург. Белорусский тракт ужасно скучен. Не встречая никого на станциях, я обыкновенно заглядывал в книгу для записывания подорожных и там искал проезжих. Вижу раз, что накануне проехал Пушкин в Екатеринославль. Спрашиваю смотрителя: «Какой это Пушкин?» Мне и в мысль не приходило, что это может быть Александр. Смотритель говорит, что это поэт Александр Сергеевич, едет, кажется, на службу, на перекладной, в красной русской рубашке, в опояске, в поярковой шляпе (время было ужасно жаркое). Я тут ровно ничего не понимал — живя в Бессарабии, никаких вестей о наших лицейских не имел. Это меня озадачило.

В Могилеве, на станции, встречаю фельдъегеря, разумеется, тотчас спрашиваю его: не знает ли он чего-нибудь о Пушкине. Он ничего не мог сообщить мне об нем, а рассказал только, что за несколько дней до его выезда сгорел в Царском Селе Лицей, остались одни стены, и воспитанников поместили во флигеле. Все это вместе заставило меня нетерпеливо желать скорей добраться до столицы.

Там после служебных формальностей я пустился разузнавать об Александре. Узнаю, что в одно прекрасное утро пригласил его полицеймейстер к графу Милорадовичу, тогдашнему петербургскому военному генерал-губернатору. Когда привезли Пушкина, Милорадович приказывает полицеймейстеру ехать в его квартиру и опечатать все бумаги. Пушкин, слыша это приказание, говорит ему: «Граф! Вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Лучше велите дать мне перо и бумаги, я здесь же все вам напишу» (Пушкин понял, в чем дело). Милорадович, тронутый этою свободою откровенностью, торжественно воскликнул: «Ah, c' est chevaleresque! * — и пожал ему руку.

Пушкин сел, написал контрабандные свои стихи и попросил дежурного адъютанта отнести их графу в кабинет. После этого подвига Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейшего приказания.

Вот все, что я дознал в Петербурге. Еду потом в Царское Село к Энгельгардту, обращаюсь к нему с тем же тревожным вопросом.

Директор рассказал мне, что государь (это было после того, как Пушкина уже призывали к Милорадовичу, чего Энгельгардт до свидания с царем и не знал) встретил его в саду и пригласил с ним пройтись.

— Энгельгардт, — сказал ему государь, — Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится откровенный его поступок с Милорадовичем, но это не исправляет дела.

Директор на это ответил:

— Воля вашего величества, но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника; в нем развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже — краса современной нашей литературы, а впереди еще большие

* А, это по-рыцарски! (Франц.)

на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его!

Не знаю, вследствие ли этого разговора, только Пушкин не был сослан, а командирован от Коллегии иностранных дел, где состоял на службе, к генералу Инзову, начальнику колоний южного края⁹.

Проезжай Пушкин сутками позже до поворота на Екатеринославль, я встретил бы его дорогой, и как от радно было бы обнять его в такую минуту! Видно, нам суждено было только один раз еще повидаться, и то не прежде 1825 года.

В промежуток этих пяти лет генерала Инзова назначили наместником Бессарабии; с ним Пушкин переехал из Екатеринославля в Кишинев, впоследствии оттуда поступил в Одессу к графу Воронцову по особым поручениям¹⁰. Я между тем, по некоторым обстоятельствам, сбросил конноартиллерийский мундир и преобразился в судьи уголовного департамента Московского надворного суда. Переход резкий, имевший, впрочем, тогда свое значение.

Князь Юсупов (во главе тех, про которых Грибоедов в «Горе от ума» сказал: «Что за тузы в Москве живут и умирают!»), видя на бале у московского военного генерал-губернатора князя Голицына неизвестное ему лицо, танцующее с его дочерью (он знал, хоть по фамилии, всю московскую публику), спрашивает Зубкова: кто этот молодой человек? Зубков называет меня и говорит, что я — надворный судья.

— Как! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-нибудь необыкновенное.

Юсупов — не пророк, а угадчик, и точно, на другой год ни я, ни многие другие уже не танцевали в Москве!

В 1824 году в Москве тотчас узналось, что Пушкина из Одессы сослали в псковскую деревню отца своего, под надзор местной власти; надзор этот был поручен Пещурову, тогдашнему предводителю дворянства Опочковского уезда. Все мы, огорченные несомненным этим известием, терялись в предположениях. Не зная ничего положительного, приписывали эту ссылку бывшим тогда неудовольствиям между ним и графом Воронцовым.

Были разнообразные слухи и толки, замешивали даже в это дело и графиню. Все это нисколько не утешало нас. Потом вскоре стали говорить, что Пушкин вдобавок отдан под наблюдение архимандрита Святотгорского монастыря, в четырех верстах от Михайловского. Это дополнительное сведение делало нам задачу еще сложнее, нисколько не разрешая ее ¹¹.

С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на рождество в Петербург для свидания с родными, я предположил съездить и в Псков к сестре Набоковой; муж ее командовал тогда дивизией, которая там стояла, а оттуда уже рукой подать в Михайловское. Вследствие этой программы я подал в отпуск на 28 дней в Петербургскую и Псковскую губернии.

Перед отъездом, на вечере у того же князя Голицына, встретился я с А. И. Тургеневым, который незадолго до того приехал в Москву. Я подсел к нему и спрашиваю: не имеет ли он каких-нибудь поручений к Пушкину, потому что я в генваре буду у него. «Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским и духовным?» — «Все это знаю; но знаю также, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении, особенно когда буду от него с небольшим в ста верстах. Если не пустят к нему, уеду назад». — «Не советовал бы. Впрочем, делайте, как знаете», — прибавил Тургенев.

Опасения доброго Александра Ивановича меня удивили, и оказалось, что они были совершенно напрасны. Почти те же предостережения выслушал я от В. Л. Пушкина, к которому заезжал проститься и сказать, что увижу его племянника. Со слезами на глазах дядя просил расцеловать его.

Как сказано, так и сделано.

Проведя праздник у отца в Петербурге, после крещения я поехал в Псков. Погостил у сестры несколько дней и от нее вечером пустился из Пскова ¹²; в Острове, проездом ночью, взял три бутылки клико и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы, наконец, с дороги в сторону, мчались среди леса по гористому проселку — все мне казалось не довольно скоро! Спускаясь с горы, недалеко от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть,

сани наши в ухабе так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кой-как удержался в санях. Схватили вожжи.

Кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, все лес, и снег им по брюхо — править не нужно. Скачем опять в гору извилистой тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора...

Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим! Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндедевшей шубе и шапке.

Было около восьми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза (она и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках) — мы очнулись. Совестно стало перед этою женщиной, впрочем, она все понимала. Не знаю, за кого приняла меня, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, — чуть не задушил ее в объятиях.

Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и пр., пр. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда, с самого Лицея, писал обглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери — дверь в комнату няни, где стояло множество палочек.

После первых наших обниманий пришел и Алексей, который, в свою очередь, кинулся целовать Пушкина; он не только знал и любил поэта, но и читал наизусть мно-

гне из его стихов. Я между тем приглядывался, где бы умыться и хоть сколько-нибудь оправиться. Дверь во внутренние комнаты была заперта — дом не топлён. Кой-как все это тут же уладили, копошась среди отрывистых вопросов: что? как? где? и пр.; вопросы большею частью не ожидали ответов; наконец помаленьку прибрались; подали нам кофе; мы уселись с трубками. Беседа пошла привольнее; многое надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга! Теперь не берусь всего этого передать.

Вообще Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако ж, ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании: им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне. Наружно он мало переменялся, оброс только бакенбардами; я нашел, что он тогда был очень похож на тот портрет, который потом видел в «Северных цветах» и теперь при издании его сочинений П. В. Анненковым¹³.

Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню; он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова из *ревности*; думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпитагмы на управление и неосторожные частые его разговоры о религии.

Случайно довелось мне недавно видеть копию с переписки графа Нессельроде с графом Воронцовым, вследствие которой Пушкин был сослан из Одессы на жительство в деревню отца. Поводом к этой переписке, без сомнения, было перехваченное на почте письмо Пушкина, но кому именно писанное — мне неизвестно; хотя об этом письме Нессельроде и не упоминает, а просто пишет, что по дошедшим до императора сведениям о поведении и образе жизни Пушкина в Одессе его величество находит, что пребывание в этом шумном городе для молодого человека во многих отношениях вредно, и потому поручает спросить его мнение на этот счет. Воронцов ответил, что совершенно согласен с высочайшим определением и вполне убежден, что Пушкину нужно больше уединения для собственной его пользы.

Вот копия с отрывка из письма Пушкина, которое в полном составе его мне неизвестно:

«Читая Шекспира и Библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. Ты хочешь узнать, что я делаю? — пишу пестрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил¹⁴. Он написал листов тысячу, чтобы доказать: *Qu'il ne peut éxister d'être intelligent Créateur et régulateur* *, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная».

Из дела видно, что Пушкин по назначенному маршруту, через Николаев, Елизаветград. Кременчуг, Чернигов и Витебск, отправился из Одессы 30 июля 1824 года, дав подписку нигде не останавливаться на пути по своему произволу и, по прибытии в Псков, явиться к гражданскому губернатору.

9 августа того же года Пушкин прибыл в имение отца своего статского советника Сергея Львовича Пушкина, состоящее в Опочковском уезде.

Мне показалось, что он вообще неохотно об этом говорил¹⁵; я это заключил по лаконическим отрывистым его ответам на некоторые мои вопросы, и потому я его просил оставить эту статью, тем более что все наши толкования ни к чему не вели, а только отклоняли нас от другой, близкой нам беседы. Заметно было, что ему как будто несколько наскучила прежняя шумная жизнь, в которой он частенько терялся.

Среди разговора *ex abrupto* ** он спросил меня: что об нем говорят в Петербурге и в Москве? При этом вопросе рассказал мне, будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его Левушка. На это я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения¹⁶, что вообще читающая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность во всей России и, наконец, что близкие и друзья помнят и любят его, желая искренно, чтоб скорее кончилось его изгнание.

* Что не существует высшего разума, создавшего мир и управляющего им (*франц.*).

** Вдруг (*лат.*).

Он терпеливо выслушал меня и сказал, что несколько примирился в эти четыре месяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным; что тут, хотя невольно, но все-таки отдыхает от прежнего шума и волнения; с Музой живет в ладу и трудится охотно и усердно. Скорбел только, что с ним нет сестры его, но что, с другой стороны, никак не согласится, чтоб она, по привязанности к нему, проскучала целую зиму в деревне. Хвалил своих соседей в Тригорском¹⁷, хотел даже взять меня к ним, но я отговорился тем, что приехал на такое короткое время, что не успею и на него самого наглядеться. Среди всего этого много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Уцелели бы все эти дорогие подробности, если бы тогда при нас был стенограф.

Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея, потребовал объяснения, каким образом из артиллеристов я преобразовался в судьи. Это было ему по сердцу, он гордился мною и за меня! Вот его строфы из «Годовщины 19 октября» 1825 года, где он вспоминает, сидя один, наше свидание и мое суждение:

И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных выюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада,

...Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.

Ты, осятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мненья
Завоевал почтение граждан¹⁸.

Незаметно коснулись опять подозрений насчет Общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение Отечеству¹⁹, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать». Потом, успокоившись, продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою — по многим моим глупостям». Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть.

Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличающуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений²⁰. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным исключительным положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль — улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было — я в свою очередь моргнул ему, и все было понятно без всяких слов.

Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой, начались тосты за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за *нее*²¹. Незаметно полетела в потолок и другая пробка; попотчевали искрометным няню, а всех других — хозяйской наливкой. Все домашнее население несколько развеселилось; кругом нас стало пошумнее, праздновали наше свидание.

Я привез Пушкину в подарок «Горе от ума»; он был очень доволен этой тогда рукописной комедией, до того ему вовсе почти незнакомой. После обеда, за чашкой кофе, он начал читать ее вслух; но опять жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частью явились в печати.

Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин взглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею²². Заметив его смущение и не подозревая причины, я спросил его: что это значит? Не успел он ответить, как вошел в комнату низенький рыжеватый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря.

Я подошел под благословение; Пушкин — тоже, прося его сесть. Монах начал извинением в том, что, может быть, помешал нам, потом сказал, что, узнавши мою фамилию, ожидал найти знакомого ему П. С. Пущина, уроженца великолукского, которого очень давно не видел. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит. Хотя посещение его было вовсе некстати, но я все-таки хотел *faire bonne mine à mauvais jeu* * и старался уверить его в противном; объяснил

* Делать хорошую мину при плохой игре (франц.).

ему, что я — Пушкин такой-то, лицейский товарищ хозяйина, а что генерал Пушкин, его знакомый, командует бригадой в Кишиневе, где я в 1820 году с ним встречался²³. Разговор завязался о том о сем. Между тем подали чай, Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу.

Я рад был, что мы избавились этого гостя, но мне неловко было за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал мою досаду, что накликал это посещение. «Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня — я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре!» Тут Пушкин как ни в чем не бывало продолжал читать комедию — я с необыкновенным удовольствием слушал его выразительное и исполненное жизни чтение, довольный тем, что мне удалось доставить ему такое высокое наслаждение.

Потом он мне прочел кой-что свое, большею частию в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пьес; продиктовал начало из поэмы «Цыганы» для «Полярной звезды»²⁴ и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические «Думы».

Время не стояло. К несчастью, вдруг запахло угаром. У меня собачье чутье, и голова моя не выносит угара. Тотчас же я отправился узнавать, откуда эта беда, неожиданная в такую пору дня. Вышло, что няня, воображая, что я останусь погостить, велела в других комнатах затопить печи, которые с самого начала зимы не топились. Когда закрыли трубы — хоть беги из дому! Я тотчас распорядился за беззаботного сына в отцовском доме: велел открыть трубы, запер на замок дверь в натопленные комнаты, притворил и нашу дверь, а форточку открыл.

Все это неприятно на меня подействовало не только в физическом, но и в нравственном отношении. «Как, — подумал я, — хоть в этом не успокоить его, как не устроить так, чтоб ему, бедному поэту, было где подвигаться в зимнее ненастье». В зале был бильярд; это могло бы служить для него развлечением. В порыве досады я даже упрекнул няню, зачем она не велит отапливать всего дома. Видно, однако, мое ворчанье имело некоторое действие, потому что после моего посещения перестали

экономничать дровами. Г-н Анненков в биографии Пушкина говорит, что он иногда один играл в два шара на бильярде. Ведь не летом же он этим забавлялся, находя приволье на божьем воздухе, среди полей и лесов, которые любил с детства. Я не мог познакомиться с местностью Михайловского, так живо им воспетой: она тогда была закутана снегом.

Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить; на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставанье после так отрадно промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце, со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: «Прощай, друг!» Ворота скрипнули за мной...

Сцена переменилась.

Я осужден: 1828 года, 5 генваря, привезли меня из Шлиссельбурга в Читу, где я соединился наконец с товарищами моего изгнания и заточения, прежде меня прибывшими в тамошний острог.

Что делалось с Пушкиным в эти годы моего странствования по разным мытарствам, я решительно не знаю; знаю только и глубоко чувствую, что Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевным словом. «В самый день моего приезда в Читу призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева и отдает листок бумаги, на котором неизвестною рукою написано было:

Мой первый друг, мой друг бесценный,
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил;
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Псков, 13 декабря 1826

Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнание. Увы! я не мог даже пожать руку той женщине, которая так радостно снесила утешить меня воспоминанием друга; но она поняла мое чувство без всякого внешнего проявления, нужного, может быть, другим людям и при других обстоятельствах; а Пушкину, верно, тогда не раз икнулось.

Наскоро, через частокол, Александра Григорьевна проговорила мне, что получила этот листок от одного своего знакомого пред самым отъездом из Петербурга, хранила его до свидания со мною и рада, что могла наконец исполнить порученное поэтом.

По приезде моем в Tobольск в 1839 году я послал эти стихи к Плетневу; таким образом были они напечатаны; а в 1842-м брат мой Михаил отыскал в Пскове самый подлинник Пушкина, который теперь хранится у меня в числе заветных моих сокровищ ²⁵.

В своеобразной нашей тюрьме я следил с любовью за постепенным литературным развитием Пушкина; мы наслаждались всеми его произведениями, являющимися в свет, получая почти все повременные журналы. В письмах родных и Энгельгардта, умевшего найти меня и за Байкалом ²⁶, я не раз имел о нем некоторые сведения. Бывший наш директор прислал мне его стихи «19 октября 1827 года»:

Бог помощь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!
Бог помощь вам, друзья мои,
И в счастье, и в житейском горе,
В стране чужой, в пустынном море
И в темных пропастях земли.

И в эту годовщину в кругу товарищей-друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных, которых они недосчитывали на лицейской сходке.

Впоследствии узнал я об его женитьбе и камер-юнкерстве; и то и другое как-то худо укладывалось во мне: я не умел представить себе Пушкина семьянином и царедворцем; жена красавица и придворная служба пугали меня за него. Все это вместе, по моим понятиям об нем, не обещало упрочить его счастья.

Проходили годы; ничем отрадным не навевало в нашу даль — там, на нашем западе, все шло тем же тяжелым ходом. Мы, грешные люди, стояли как поверстные столбы на большой дороге: иные путники, может быть, иногда и взглядывали, но продолжали путь тем же шагом и в том же направлении...

Между тем у нас, с течением времени, силою самых обстоятельств, устроились более смелые контрабандные сношения с европейской Россией — кой-когда доходили до нас не одни *газетные* известия. Таким образом, в генваре 1837 года²⁷ возвратившийся из отпуска наш плац-адъютант Розенберг зашел в мой 14-й номер. Я искренно обрадовался и забросал его расспросами о родных и близких, которых ему случилось видеть в Петербурге. Отдав мне отчет на мои вопросы, он с какою-то нерешительностью упомянул о Пушкине. Я тотчас ухватился за это дорогое мне имя: где он с ним встретился? Как он поживает и пр.? Розенберг выслушал меня в раздумье и, наконец, сказал: «Нечего от вас скрывать. Друга вашего нет! Он ранен на дуэли с Дантесом и через двое суток умер; я был при отпевании его тела в Конюшенной церкви, накануне моего выезда из Петербурга».

Слушая этот горький рассказ, я сначала решительно как будто не понимал слов рассказчика, — так далеко от меня была мысль, что Пушкин должен умереть во цвете лет, среди живых на него надежд. Это был для меня громовой удар из безоблачного неба — ошеломило меня, а вся скорбь не вдруг сказалась на сердце. Весть эта электрической искрой сообщилась в тюрьме — во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина — об общей нашей потере, но в итоге выходило одно: что его не стало и что не воротить его!

Провидение так решило; нам остается смиренно благоговеть перед его определением. Не стану беседовать с вами об этом народном горе, тогда несказанно меня поразившем: оно слишком тесно связано с жгучими оскорблениями, которые невыразимо должны были отравлять последние месяцы жизни Пушкина. Другим лучше меня, далекого, известны гнусные обстоятельства, породившие дуэль; с своей стороны скажу только, что я не мог без особенного отвращения об них слышать — меня возмущали лица, действовавшие и подозреваемые в участии по этому гадкому делу, подsekшему существование величайшего из поэтов.



И. Д. Якушкин. Акварель
Н. И. Уткина. 1816 г.

М. А. Бестужев. Копия неизвестного художника с акварели Н. А. Бестужева 1840-х гг.





М. С. Лунин. Акварель Н. А. Бестужева, 1836 г.

Н. А. Бестужев. Автопортрет. 1825 г. Акварель, гуашь.

И. И. Пущин. Акварель Н. А. Бестужева. 1828—1830 гг.





А. Е. Розен. Акварель Н. А. Бестужева. 1832 г.

Е. П. Оболенский. Неизвестный художник. Масло. 1820-е гг.

В. И. Штейнгель. Автолитография О. Эстеррайха. 1823 г.



Вид со стороны Васильевского острова на Адмиралтейство и Исаакиевский мост. Акварель А. Тозелли. (Фрагменты панорамы Петербурга.) 1817—1820 гг.



THE
HARBOUR
OF
SHELLY BEACH
1880



П. И. Пестель. Неизвестный художник. 1821—1824 гг.

К. Ф. Рылов. Рисунок Л. Питча с миниатюры 1820-х гг.



С. И. Муравьев-Апостол. Литография А. Скино 1850-х гг. с акварели Н. И. Уткина 1815 г.

М. П. Бестужев-Рюмин. Рисунок А. А. Ивановского (?). 1826 г.

П. Г. Каховский. Рисунок Л. Питча с миниатюры 1820-х гг.



Триумфальные (Нарвские) ворота. Акварель К. П. Бегрова. 1820-е гг.

Встреча Петербургского ополчения на Исаакиевской площади 12 июня 1814 г. Раскрашенная гравюра И. Иванова. 1815 г.



Сенатская (Петровская) площадь. Гуашь И.-В.-Г. Барта. 1810-е гг.

Н. А. Панов. Акварель
Н. А. Бестужева. 1839 г.



А. П. Арбузов. Фотография
1860-х гг. с акварели Н. А.
Бестужева 1830-х гг.



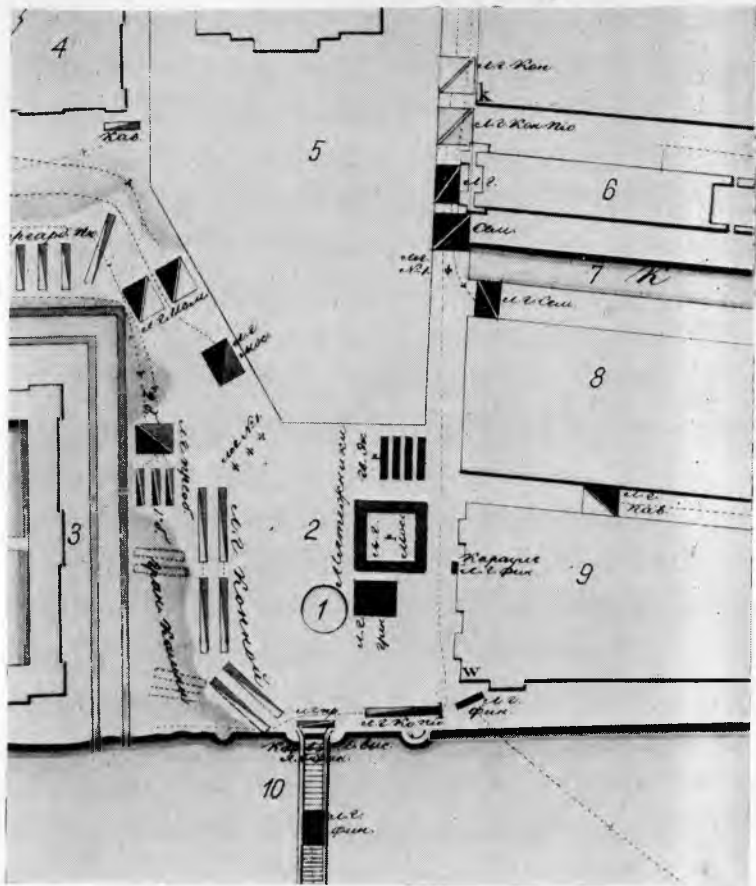
Дворцовая площадь. (Вид со стороны Адмиралтейства.) Акварель неизвестного художника. Начало XIX в.

Сенатская площадь. Раскрашенная гравюра Б. Патерсена. 1806 г. Слева — старое здание Сената, напротив него, на другом берегу Невы, — Академия художеств.



Адмиралтейство. (Вид со стороны Дворцовой площади).
Раскрашенная литография.
1820-е гг.

На Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Акварель К. И. Кольмана. 1820-е гг.



Расположение восставших и правительственных войск на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Фрагмент схемы, составленной в 1820-х гг.:

1 — памятник Петру I; 2 — восставшие войска: Гренадерский полк, Московский полк, Гвардейский экипаж; 3 — Адмиралтейство; 4 — дом Лобанова-Ростовского; 5 — строительная площадка Исаакиевского собора; 6 — Конногвардейский манеж; 7 — Новоадмиралтейский канал; 8 — дом Кусовниковой; 9 — Сенат; 10 — Исаакиевский наплавной мост.



А. А. Бестужев-Марлинский. Акварель Н. А. Бестужева. 1839 г.

В. К. Кюхельбекер. Гравюра И. И. Матюшина. 1880-е гг.

Н. М. Муравьев. Акварель П. Ф. Соколова. 1824 г.

А. И. Одоевский. Акварель Н. А. Бестужева. 1833 г.



Вид Петровского завода. Художник В. В. Давыдов. 1870 г. Копия с акварели Н. А. Бестужева 1830-х гг.

Камера Е. П. Оболенского в Петровской тюрьме. Художник В. В. Давыдов. 1850-е гг. Копия с акварели Н. А. Бестужева.

Размышляя тогда и теперь очень часто о ранней смерти друга, не раз я задавал себе вопрос: «Что было бы с Пушкиным, если бы пришлось ему испытать жизнь, совершенно иную от той, которая пала на его долю».

Вопрос дерзкий, но мне, может быть, простительный! Вы видели внутреннюю мою борьбу всякий раз, когда, сознавая его податливую готовность, приходила мне мысль принять его в члены Тайного нашего общества; видели, что почти уже на волоске висела его участь в то время, когда я случайно встретился с его отцом. Эта и пустая и совершенно ничего не значащая встреча между тем высказалась во мне каким-то знаменательным указанием... Только после смерти его все эти, по-видимому, ничтожные обстоятельства приняли в глазах моих вид явного действия промысла, который, спасая его от нашей судьбы, сохранил Поэта для славы России.

Положительно, сибирская жизнь, та, на которую впоследствии мы были обречены в течение тридцати лет, если бы и не вовсе иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь того развития, которое, к несчастью, и в другой сфере жизни несвоевременно было прервано.

Характеристическая черта гения Пушкина — разнообразие. Не было почти явления в природе, события в обыденной и общественной жизни, которые бы прошли мимо его, не вызвав дивных и неподражаемых звуков его лиры; и поэтому простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были сверх того могущественнейшими вдохновителями. В нашем же тесном и душном заточении природу можно было видеть только через железные решетки, а о живых людях разве только слышать.

Пушкин при всей своей восприимчивости никак не нашел бы там материалов, которыми он пользовался на поприще общественной жизни. Может быть, и самый резкий перелом в существовании, который далеко не все могут выдержать, пагубно отозвался бы на его своеобразном, чтобы не сказать капризном, существе.

Одним словом, в грустные минуты я утешал себя тем, что поэт не умирает и что Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех умеющих отыскивать его, живого, в бессмертных его творениях...

Еще пара слов.

Манифестом 26 августа 1856 года я возвращен из Сибири. В Нижнем Новгороде я посетил Даля (он провел с Пушкиным последнюю ночь). У него я видел Пушкина простреленный сюртук. Даль хочет принести его в дар Академии или Публичной библиотеке.

В Петербурге навещал меня, больного, Константин Данзас²⁸. Много говорил я о Пушкине с его секундантом. Он, между прочим, рассказал мне, что раз как-то, во время последней его болезни, приехала У. К. Глинка, сестра Кюхельбекера; но тогда ставили ему пиявки. Пушкин просил поблагодарить ее за участие, извинился, что не может принять. Вскоре потом со вздохом проговорил: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пушкина, ни Малиновского!»²⁹

Вот последний вздох Пушкина обо мне. Этот предсмертный голос друга дошел до меня с лишком через 20 лет!..

Им кончаю и рассказ мой.


С. Марьино. Август 1858-го.





Е. П. Оболенский

ВОСПОМИНАНИЯ

Начало моего знакомства с Кондратием Федоровичем Рылеевым было началом искренней, горячей к нему дружбы. Наверное не помню, но кажется мне — это было в 1822 году, т. е. после возвращения гвардейского корпуса из Бешенковичей, т. е. после предполагаемого похода за границу против революционных движений в Италии. Рылеев в то время только что издал «Войнаровского» и готовил к печати свои «Думы». Имя его было известно между литераторами, а свободолюбивое направление его мыслей обратило на него внимание членов Тайного общества. Иван Иванович Пущин первый, кажется, познакомился с ним и, по разрешении Верховной думы, принял его в число членов Общества. Сблизившись с Кондратием Федоровичем с первых дней знакомства, не могу не сказать, что я вверился ему всем сердцем и нашел в нем ту взаимную доверенность, которая так драгоценна во всяком возрасте человеческом, но наиболее ценится во дни молодости, где силы души ищут простора, ищут обширнейшего круга деятельности. Это стремление удовлетворялось отчасти вступлением в члены Тайного общества. Союз благоденствия — так оно называлось¹ — удовлетворял всем благородным стремлениям тех, которые искали в жизни не одних удовольствий, но истинной нравственной пользы собственной и всех ближних. Трудно было устоять против обаяний Союза, которого цель была: нравственное усовершенствование каждого из членов; обоюдная помощь для достижения цели;

умственное образование, как орудие для разумного понимания всего, что являет общество в гражданском устройстве и нравственном направлении; наконец, направление современного общества, посредством личного действия каждого члена в своем особенном кругу, к разрешению важнейших вопросов, как политических общих, так и современных, тем влиянием, которое мог иметь каждый член, и личным своим образованием и тем нравственным характером, которые в нем предполагались. В дали туманной, недостижимой виднелась окончательная цель — политическое преобразование Отечества, — когда все брошенные семена созреют и образование общее делается доступным для массы народа. Нетрудно было усвоить Рылееву все эти начала, при его пылкой, поэтической душе и восприимчивой натуре. Он с первого шага ринулся на открытое ему поприще и всего себя отдал той высокой идее, которую себе усвоил.

Скажу несколько слов о его наружности и первоначальной службе. Роста он был среднего. Черты лица его составляли довольно правильный овал, в котором ни одна черта резко не обозначалась пред другою. Волосы его были черны, слегка завитые, глаза темные, с выражением думы, и часто блестящие при одушевленной беседе; голова, немного наклоненная вперед, при мерной поступи показывала, что мысль его всегда была занята тою внутреннею жизнью, которая, выражаясь в вдохновенной песне, когда приходила минута вдохновения, в другие времена искала осуществления той идеи, которая была побудительным началом всей его деятельности.

Образование он получил в 1-м кадетском корпусе и начал службу в артиллерии. В беседах с ним я слышал, что его молодость была бурная; но подробностей об этом периоде его жизни я не слыхал, и мне не случилось даже быть знакомым с его товарищами по службе в этом периоде его жизни на военном поприще. Он женился рано, по любви и, кажется, не с полным одобрением его старушки матери, Настасьи Матвеевны Рылеевой, жившей в малой деревушке, в 60 верстах от Петербурга около села Рождествена. Жена его, Наталья Михайловна, любила его с увлечением; маленькая дочь Настенька, тогда еще четырех или пяти лет, маленькая, смугленькая и живая, одушевляла своим присутствием его домашнюю жизнь. О его общественной служебной

жизни я не много могу сказать. Сначала он служил заседателем в Петербургской уголовной палате, вместе с Ив. Ив. Пушиным, который променял мундир конно-гвардейской артиллерии на скромную службу, надеясь на этом поприще оказать существенную пользу и своим примером побудить и других принять на себя обязанности, от которых дворянство устранилось, предпочитая блестящие эполеты той пользе, которую они могли бы принести, внося в низшие судебные инстанции тот благородный образ мыслей, те чистые побуждения, которые украшают человека и в частной жизни, и на общественном поприще, составляют надежную опору всем слабым и беспомощным, всегда и везде составляющим большинство, коего нужды и страдания едва слышны меньшинству богатых и сильных. Впоследствии Рылеев перешел правителем дел в Американскую компанию и занимал скромную квартиру в доме компании. Как поэт, он пользовался знакомством и дружбою многих литераторов того времени. У Николая Ивановича Греча собиралась в то время раз в неделю вся литературная семья. Рылеев был одним из постоянных его собеседников. В особенности был он дружен с Александром Александровичем Бестужевым, которого, кажется, он и принял в члены Общества. Вместе с ним вступил также в члены Общества его брат Николай Александрович и меньший их брат Петр, рано кончивший земное свое поприще². Александр Бестужев тогда уже начинал литературное свое поприще повестями, которые по живости слога обещали блестящее развитие, впоследствии им так хорошо оправданное. Тут же должно вспомнить и Александра Осиповича Корниловича, офицера гвардейского генерального штаба, который усердно и с любовью трудился над памятниками Петровского времени и изложил плоды своих трудов в простом рассказе, возбуждившем общее сочувствие к изложенному им предмету. И у Рылеева собирались нередко литераторы и многие из близких его знакомых и друзей. Тут, кроме вышеименованных, бывали: Вильгельм Карлович Кюхельбекер, товарищ Пушина по Лицею, Фаддей Венедиктович Булгарин, Федор Николаевич Глинка, Орест Сомов, Никита Михайлович Муравьев, князь Сергей Петрович Трубецкой, князь Александр Иванович Одоевский и многие другие, коих имен не упомяну. Беседа была оживлена не всегда предметами чисто литературными; нередко она переходила на живые общественные вопросы того

времени по общему направлению большинства лиц дружеского собрания. Наталья Михайловна как хозяйка дома была внимательна ко всем и скромным своим обращением внушала общее к себе уважение.

Его общественная деятельность, по занимаемому им месту правителя дел Американской компании, заслуживала бы особенного рассмотрения по той пользе, которую он принес компании и своею деятельностью и, без сомнения, более существенными заслугами потому, что не прошло и двух лет со времени вступления его в должность, правление компании выразило ему свою благодарность, подарив ему дорогую енотовую шубу, оцененную в то время в семьсот рублей.

Из воспоминаний того времени могу только вспомнить, что его сильно тревожила вынужденная, в силу трактата с Северо-Американским союзом, передача североамериканцам основанной нами колонии Росс, в Калифорнии, которая могла быть для нас твердой опорной точкой для участия в богатых золотых приисках, столь прославившихся впоследствии. По случаю этой важной для Американской компании меры Рылеев как правитель дел вступил в сношения с важными государственными сановниками и впоследствии времени всегда пользовался их расположением. Наиболее же благосклонности оказывал ему Михаил Михайлович Сперанский и Николай Семенович Мордвинов.

В этом периоде времени, т. е. в конце 1823 года или в начале 1824 года, прибыл в Петербург Павел Иванович Пестель, имевший поручение от членов Южного общества войти в сношения с членами Северного, дабы условиться на счет совокупного действия всех членов Союза: этот приезд имел решительное влияние на Рылсева. Здесь нужно обратить внимание на замечательную личность Павла Ивановича Пестеля. Не имев случая сблизиться с ним, я могу только высказать впечатление, им на меня произведенное. Павел Иванович был в то время полковником и начальником Вятского пехотного полка. Роста небольшого, с приятными чертами лица, Павел Иванович отличался умом необыкновенным, ясным взглядом на предметы самые отвлеченные, и редким даром слова, увлекательно действующим на того, кому он доверял свои задушевные мысли. В Южном обществе он пользовался общим доверием и был избран, с самого основания Общества, в члены Верховной думы. Его взгляд на действия Общества и настоящую цель оного

соответствовал его умственному направлению, которое требовало во всем ясности, определенной цели и действий, направленных к достижению этой цели. «Русская правда», им написанная, составляла программу, им предлагаемую для политического государственного устройства. Цель его поездки в Петербург состояла в том, чтобы согласить Северное общество на действия, сообразные с действиями Южного. Членами Верховной думы в Петербурге в то время были: Трубецкой, Никита Михайлович Муравьев и я. На первом совещании с нами Павел Иванович с обычным увлекательным даром слова объяснил нам, что неопределенность цели и средств к достижению оной давала Обществу характер столь неопределенный, что действия каждого члена отдельно терялись в напрасных усилиях, между тем как, быв направлены к определенной и ясно признанной цели, могли бы служить к скорейшему достижению оной. Эта мысль была для нас не новою: давно уже в совещаниях наших она была обсуживаема и составляла предмет думы каждого из нас, но не была еще облечена в определенную форму. Предложение Павла Ивановича представляло эту форму и было привлекательно как плод долгих личных соображений ума светлого и в особенности украшенного его убедительным даром слова. Трудно было устоять против такой обаятельной личности, как Павел Иванович. Но при всем достоинстве ума его и убедительности слова каждый из нас чувствовал, что, единожды приняв предложение Павла Ивановича, каждый должен отказаться от собственного убеждения и, подчинившись ему, идти по пути, указанному им. Кроме того, мы не могли дать решительного ответа, не предложив его сначала членам Общества, наиболее облеченным доверием общим. Многие из них были в отсутствии, и потому мы отложили решительный ответ до того времени, когда представится возможность сообщить предложение тем, которых доверенность нас поставила на занимаемое нами место. Павел Иванович, познакомившись через нас с Кондратием Федоровичем, сблизился с ним и, открыв ему свои задушевные мысли, привлек его к собственному воззрению на цель Общества и на средства к достижению оной. Кажется, это сближение имело решительное влияние на дальнейшие политические действия Рылеева. Вскоре после отъезда Пестеля князь Трубецкой был назначен дежурным штаб-офицером 5-го пехотного корпуса, которого глав-

ная квартира находилась в Киеве. На его место был избран членом думы Кондратий Федорович.

К этому же времени, т. е. в половине 1824 года, должно отнести грустное событие, в коем Рылеев принимал участие как свидетель и которое грустно отозвалось в обществе того времени. Это была дуэль между офицером лейб-гвардии Семеновского полка Черновым и лейб-гв.[ардии] гусарского Новосильцовым. Оба были юноши с небольшим 20-ти лет, но каждый из них был поставлен на двух, почти противоположных, ступенях общества. Новосильцов — потомок Орловых, по богатству, родству и связям принадлежал к высшей аристократии. Чернов, сын бедной помещицы Аграфены Ивановны Черновой, жившей вблизи села Рождествена в маленькой своей деревушке, принадлежал к разряду тех офицеров, которые, получив образование в кадетском корпусе, выходят в армию. Переводом своим в гвардию он был обязан новому составу л.-гв. Семеновского полка, в который вошло по целому баталиону из полков: императора австрийского, короля прусского и графа Аракчеева. Между тем у Аграфены Ивановны Черновой была дочь замечательной красоты. Не помню, по какому случаю Новосильцов познакомился с Аграфеной Ивановной, был поражен красотой ее дочери и после немногих недель знакомства решился просить ее руки. Согласие матери и дочери было полное. Новосильцов и по личным достоинствам, и по наружности мог и должен был произвести сильное впечатление на девицу, жившую вдали от высшего, блестящего круга. Получив согласие ее матери, Новосильцов обращался с девицей Черновой, как с нареченной невестой, ездил с нею один в кабриолете по ближайшим окрестностям и в обращении с нею находился на той степени сближения, которая допускается только жениху с невестой. В порыве первых дней любви и очарования он забыл, что у него есть мать, Екатерина Владимировна, рожденная графиня Орлова, без согласия коей он не мог и думать о женитьбе. Скоро, однако ж, он опомнился, написал к матери и, как можно было ожидать, получил решительный отказ и строгое приказание немедленно прекратить все сношения с невестой и ее семейством. Разочарование ли в любви или боязнь гнева матери, но только Новосильцов по получении письма не долго думал, простился с невестой, с обещанием возвратиться скоро, и с того времени прекратил с нею все сношения. Кондратий Фе-

дорович был связан узами родства с семейством Черновых. Через брата невесты он знал все отношения Новосильцова к его сестре. После долгих ожиданий, в надежде, что Новосильцов обратится к нареченной своей невесте, видя, наконец, что он совершенно ее забыл и видимо ею пренебрегает, Чернов, после соглашения с Рылеевым, обратился к нему сначала письменно, а потом лично с требованием, чтобы Новосильцов объяснил причины своего поведения в отношении его сестры. Ответ сначала был уклончивый; потом с обеих сторон было сказано, может быть, несколько оскорбительных слов и, наконец, назначена была дуэль, по вызову Чернова, переданному Новосильцову Рылеевым. День назначен, противники сошлись, шаги размерены, сигнал подан, оба обратились лицом друг к другу, оба спустили курки и оба пали смертельно раненные³, обоих отвезли приближенные в свои квартиры — Чернова в скромную офицерскую квартиру Семеновского полка, Новосильцова в дом родственников. Рысеев был секундантом Чернова и не отходил от его страдальческого ложа. Близкая смерть положила конец вражде противников. Каждый из них горячо заботился о состоянии другого. Врачи не давали надежды ни тому, ни другому. Еще день, много два, и неизбежная смерть должна была кончить юную жизнь каждого из них. Оба готовились к смертному часу. По близкой дружбе с Рылеевым, я и многие другие приходили к Чернову, чтобы выразить ему сочувствие к поступку благородному, в котором он, вступаясь за честь сестры, пал жертвою того грустного предрассудка, который велит кровью омыть запятнанную честь. Предрассудок общий, чуждый духа христианского! Им ни честь не восстанавливается и ничто не разрешается, но удовлетворяется только общественное мнение, которое с недоверчивостью смотрит на того, кто решается не подчиниться общему закону. Свежо еще у меня в памяти мое грустное посещение. Вхожу в небольшую переднюю; меня встретил Рылеев. Он вошел к страдальцу и сказал о моем приходе; я вошел и, признаюсь, совершенно потерялся от сильного чувства, возбужденного видом юноши, так рано обреченного на смерть; кажется, я взял его руку и спросил: как он себя чувствует? На вопрос ответа не было, но последовал другой, который меня смутил: «Много лестных слов, не заслуженных мною» (я лично не был знаком с Черновым), — сказал мне умирающий. В избытке

сердечного чувства, молча пожал я ему руку, сказал ему то, что сердцем выговорилось в этот торжественный час, хотел его обнять, но не смел коснуться его, чтобы не растревожить его раны, и ушел в грустном раздумье. За мною вошел Александр Иванович Якубович, один из кавказских героев, раненный пулей в лоб; приехавший в Петербург для излечения от раны, выдержавший операцию черепной кости и громко прославленный во многих кругах за его смелый, отважный характер, за многие доблестные качества, свидетельствованные боевою кавказскою жизнью. Он был членом Общества. По своему обыкновению Александр Иванович сказал Чернову речь; ответ Чернова был скромнен в отношении к себе, но он умел сказать Якубовичу то слово, которое коснулось тонкой струны боевого сердца нашего кавказца. Он вышел от него со слезою на глазах, и мы молча пожали друг другу руки. Скоро не стало Чернова; мирно отошел он в вечность. В то же время не стало и Новосильцова. Мать и родные услаждали его последние минуты. Убитая горем мать приняла его последнее дыхание. Она же проводила, с немногими близкими, его гроб, последнее жилище единственного любимого сына, единственной ее надежды на земную радость, в родовой склеп. Мать Чернова не знала о горестной судьбе возлюбленного сына. Кажется, он не желал, чтобы сообщили ей и в особенности сестре то грустное событие, которого исход был так близок и так неизбежен. Многие и многие собрались утром назначенного для похорон дня ко гробу безмолвного уже Чернова. Товарищи вынесли его и понесли в церковь. Длинной вереницей тянулись и знакомые, и незнакомые, пришедшие воздать последний долг умершему юноше. Трудно сказать, какое множество провожало гроб до Смоленского кладбища. Все, что мыслило, чувствовало, соединилось тут в безмолвной процессии и безмолвно выразило сочувствие к тому, кто собою выразил идею общую, каждым сознаваемую и сознательно, и бессознательно, идею о защите слабого против сильного, скромного против гордого. Так здесь мыслят на земле, с земными помыслами! Высший суд, испытующий сердца, может быть, видит иначе; может быть, там, на небесах, давно уже соединил узами общей, вечной любви тех, которые здесь примириться не могли.

Во второй половине 1822 года родилась у Рылеева мысль издания альманаха с целью обратить предприя-

тие литературное в коммерческое. Цель Рылеева и его товарища в предприятии, Александра Бестужева, состояла в том, чтобы дать вознаграждение труду литературному более существенное, нежели то, которое получали до того времени люди, посвятившие себя занятиям умственным. Часто их единственная награда состояла в том, что они видели свое имя, напечатанное в издаваемом журнале; сами же они, приобретая славу и известность, терпели голод и холод, и существовали или от получаемого жалования, или от собственных доходов с имений или капиталов. Предприятие удалось. Все литераторы того времени согласились получить вознаграждение за статьи, отданные в альманах: в том числе находился и Александр Сергеевич Пушкин. «Полярная звезда» имела огромный успех и вознаградила издателей не только за первоначальные издержки, но доставила им чистой прибыли от 1500 до 2000 рублей.

Таким образом начался 1825 год, который встречен был нами с улыбкой радости и надежды. Я встретил его дома, в семье родной. Получив 28-дневный отпуск, я воспользовался им, чтобы возобновить прерванные сношения со многими из членов Общества, переехавшими по обязанностям службы в Москву. Исполнив эту цель моей поездки и утешившись ласками престарелого родителя и милых сестер, я возвратился в конце января в Петербург. Я нашел Рылеева еще занятого изданием альманаха, а по делам Общества все находилось в каком-то затишье. Многие из первоначальных членов находились вдали от Петербурга: Николай Иванович Тургенев был за границей; Иван Иванович Пущин переехал в Москву, кн[язь] Сергей Петрович Трубецкой был в Киеве; Михайло Михайлович Нарышкин был также в Москве. Таким образом наличное число членов Общества в Петербурге было весьма ограничено. Вновь принятые были еще слишком молоды и неопытны, чтобы вполне развить собою цель и намерения Общества, и потому они могли только приготовляться к будущей деятельности через постоянное взаимное сближение и обоюдный обмен мыслей и чувств в известные, периодически назначенные дни для частных совещаний. Так незаметно протекал 1825 год. Помню из этого времени появление Каховского, бывшего офицера лейб-гренадерского полка, приехавшего в Петербург по каким-то семейным делам. Рылеев был с ним знаком, узнал его короче и, находя в нем душу пылкую, принял его в члены Общест-

ва. Лично я его мало знал, но, по отзыву Рылеева, мне известно, что он высоко ценил его душевные качества. Он видел в нем второго Занда. Знаю также, что Рылеев ему много помогал в средствах к жизни и не щадил для него своего кошелька.

К этому времени, т. е. к началу осени 1825 года, вследствие ли темного, неразгаданного предчувствия, или вследствие дум, постоянно обращенных на один и тот же предмет, возникло во мне самое сомнение, довольно важное для внутреннего моего спокойствия. Я его сообщил Рылееву. Оно состояло в следующем: я спрашивал самого себя — имеем ли мы право как частные люди, составляющие едва заметную единицу в огромном большинстве населения нашего Отечества, предпринимать государственный переворот и свой образ воззрения на государственное устройство налагать почти насильно на тех, которые, может быть, довольствуясь настоящим, не ищут лучшего; если же ищут и стремятся к лучшему, то ищут и стремятся к нему путем исторического развития? Эта мысль долго не давала мне покоя в минуты и часы досуга, когда мысль проходит процесс самоиспытания. Может быть, она родилась во мне вследствие слова, данного нами Пестелю, и решения, принятого нами, воспользоваться или переменою царствования, или другим важным политическим событием для исполнения окончательной цели Союза, т. е. для государственного переворота теми средствами, которые будут готовы к тому времени.

Сообщив свою думу Рылееву, я нашел в нем жаркого противника моему воззрению. Его возражения были справедливы. Он говорил, что идеи не подлежат законам большинства или меньшинства; что они свободно рождаются и свободно развиваются в каждом мыслящем существе; далее, что они общительны, и если клонятся к пользе общей, если они не порождения чувства себялюбивого и своекорыстного, то суть только выражения несколькими лицами того, что большинство чувствует, но не может еще выразить. Вот почему он полагал себя вправе говорить и действовать в смысле цели Союза как выражения идеи общей, еще не выраженной большинством, в полной уверенности, что едва эти идеи сообщатся большинству, оно их примет и утвердит полным своим одобрением. Доказательством сочувствия большинства он приводил бесчисленные примеры общего и частного неудовольствия на притес-

нения, несправедливости, и частные и проистекающие от высшей власти; наконец, приводил примеры свободолюбивых идей, развившихся почти самобытно в некоторых лицах как купеческого, так и мещанского сословия, с которыми он бывал в личных сношениях. Чувствуя и ценя справедливость его возражений, я понимал, однако ж, что если идеи истины, свободы, правосудия составляют необходимую принадлежность всякого мыслящего существа и потому доступны и понятны каждому, то форма их выражения или выражение их в поступке подлжит некоторым общим законам, которые должны быть выражением одной общей идеи. Бедняк по чувству справедливости может сказать богатому: удели мне часть своего богатства. Но если он, получив отказ, решится по тому же чувству правды отнять у него эту часть силою, то своим поступком он нарушит саму идею справедливости, которая в нем возникла при чувстве своей бедности. Я понимал также, что государственное устройство есть выражение или осуществление идей свободы, истины и правды; но форма государственного устройства зависит не от теоретического воззрения, а от исторического развития народа, глубоко лежащего в общем сознании, в общем народном сочувствии⁴. Я смутно понимал также, что кроме законов уголовных, гражданских и государственных как выражения идей свободы, истины и правды в государственном устройстве должно быть выражение идеи любви высшей, связующей всех в одну общую семью. Ее выражение есть церковь. Много и долго спорили мы с Рылевым или, лучше сказать, обменивались мыслями, чувствами и воззрениями. Ежедневно в продолжение месяца или более или он заезжал ко мне, или я приходил к нему, и в беседе друг с другом проводили мы часы и расставались, когда уже утомлялись от долгой и поздней беседы. В этих ежедневных беседах вопросы были и философские и религиозные. Но после многих отступлений Рылев приходил к теме, заданной мною сначала. Я видел, что он понимал ее как охлаждение с моей стороны к делу Общества и потому его усилия клонились к тому, чтобы не допускать меня до охлаждения.

Между тем в тайнах высших судеб приготовлялось событие грустное, о котором никто из нас не помышлял и которое поразило нас, как поражает громовой удар при безоблачном небе. Император Александр Павлович приготовлялся к путешествию на юг. Много слухов

было тогда о причинах его путешествия. Между прочим говорили, что он готовил себе место успокоения от царственных трудов в Таганроге, где ему приготавливали дворец и где он думал с добродетельной супругой, Елизаветой Алексеевной, после отречения от престола поселиться в глубоком уединении и посвятить остаток дней покою и тишине. Много признаков утомления от царственных трудов и глубокого потрясения лучших сил души давно уже видимо было не только тем, которые были близки к его особе, но и нам, занимавшим места низшие в правительственной иерархии. Раскасирование старого Семеновского полка, наиболее им любимого, первое потрясло его веру в преданность к его особе тех полков гвардии, в любви которых он был наиболее уверен. Нельзя сомневаться в том, что он был убежден, что причина явного неповиновения полка не заключалась единственно в мелких притеснениях полковника Шварца, в его неумении обращаться с солдатами, в его желании унижить дух солдат и офицеров, но в действии Тайного общества, коего членами он полагал многих офицеров старого Семеновского полка. В этом он ошибался.

Сколько мне известно, из офицеров, бывших в то время при полку, членом Общества и одним из первых его основателей был Сергей Иванович Муравьев-Апостол⁵. Кроме его я не знал никого. Следствие, которое было сделано, не раскрыло ничего, кроме всем известного обращения полковника Шварца с солдатами и офицерами⁶ и противодействия сих последних тем благородным обращением с вверенными им нижними чинами, которое само собою, без всякого возмутительного начала, являло солдатам полковника Шварца в весьма невыгодном свете. С того времени можно было заметить, как вкралось недоверие в сердце императора к любимому им войску. Многие думали и говорили, что в нем преобладала фронтомания. С этим мнением я не совершенно согласен. Я весьма понимаю то возвышенное чувство, которое ощущает всякий военный, при виде прекрасного войска, каким была и всегда будет гвардия, движущаяся по мановению начальника. Тут соединяется и стройность движений, и тишина, и та самоуверенность каждого, движущегося безмолвно в этом строю, которая являет собою невидимую, несокрушимую силу и бодрость душевную, составляющие украшение человека. Это чувство мог разделять и разделял

император Александр при виде своего войска. На ежедневных его посещениях развода, в манеже, он искал не отличного фронтового образования, но тот дух, коим одушевлялось войско. Подъезжая к фронту и ожидая ответа на сердечный привет: «Здорово, ребята», он в одушевленном: «Здравия желаем, ваше императорское величество», слышал или голос, полный любви неподдельной, или какой-то полухолодный ответ, который болезненно отзывался в его любящей душе. Он был счастлив, если слышал первый, и всем был доволен. Тогда и министры принимались с докладами, и их доклады всегда счастливо проходили, и учение развода, хотя с ошибками, сходило с рук хорошо. Это настроение в особенности заметно стало в последние годы его жизни. Помню весьма хорошо последний петергофский праздник 1825 года. Император, проезжая по парку, встретил рядового лейб-гвардии Финляндского полка, который, нечаянно увидев государя, выезжавшего из-за кустов, стал во фронт по солдатскому обычаю и, не дожидаясь царского привета, громко и одушевленно воскликнул: «Здравия желаю, ваше императорское величество». Государь спросил его имя и велел немедленно произвести в унтер-офицеры. Заслуга рядового состояла единственно в чувстве, которое он умел выразить. Из этого примера можно видеть, как высоко ценил это чувство император Александр.

Довольно трудно выразить, но нетрудно понять и почувствовать тому, кто сам служил и находился в близких отношениях с солдатами, сколько истины в этих натурах, еще не испорченных воспитанием светским, не изнеженных роскошью. Взяв каждого отдельно, можно найти в нем и лукавство, весьма естественное в подчинении, который в начальнике видит не своего друга, но по большей части судью или безответственного начальника. Но в строю, в то время, когда ничто не возмущает его чистых побуждений, его голос есть голос истины, выражаемый всегда ее неподдельным одушевлением к тому лицу, которое заслужило его доверие. Тут видно и чувство народное, выраженное просто, но явственно слышимое теми, которые прислушиваются к нему. Так понимал я императора Александра в его ежедневных отношениях к любимому им войску.

Но обратимся к его поездке в Таганрог и к первому известию о его болезненном состоянии после поездки в Крым. Кто мог помышлять при легких припадках ли-

хорадки крымской, что болезнь опасна и поведет к скорому концу? Телеграфов тогда еще не существовало, и потому мы спокойно ожидали дальнейших известий, которые, однако ж, не замедлили прийти с характером угрожающим. Тогда начались молебствия в церквах о здравии государя и, кажется, во время второго молебствия в Зимнем дворце пришло известие о его смерти, и молебствие обратилось в торжественную панихиду. Затем провозглашен был императором Константин Павлович, и на другой день вся гвардия и все верховные власти принесли ему присягу.

Накануне присяги все наличные члены Общества собрались у Рылеева. Все единогласно решили, что ни противиться восшествию на престол, ни предпринять что-либо решительное в столь короткое время было невозможно. Сверх того, положено было вместе с появлением нового императора действия Общества на время прекратить. Грустно мы разошлись по своим домам, чувствуя, что надолго, а может быть и навсегда, отдалилось осуществление лучшей мечты нашей жизни! На другой же день весть пришла о возможном отречении от престола нового императора. Тогда же сделалось известным и завещание покойного, и вероятное вступление на престол великого князя Николая Павловича. Тут все пришло в движение, и вновь надежда на успех блеснула во всех сердцах. Не стану рассказывать о ежедневных наших совещаниях, о деятельности Рылеева, который, вопреки болезненному состоянию (у него открылась в это время жаба), употреблял всю силу духа на исполнение предначертанного намерения — воспользоваться переменою царствования для государственного переворота.

Действия Общества и каждого из членов обнародованы в докладе комиссии и в сентенции Верховного уголовного суда. Нельзя отрицать истины, выраженной фактами, но по совести могу и должен сказать, что и в горячечном бреде человек говорит то, чего после не помнит. Так и тут. Все, что было сказано в минуты, когда воображение, увлекаемое сильно-восторженным чувством, выговаривало в порыве увлечения, не может и не должно быть принято за истину. Но Верховный суд не мог быть тайным свидетелем того, что происходило на совещаниях, не мог вникать в нравственное состояние каждого. Он произносил приговор над фактом, а факт был неопровержим! ⁷ Покроем завесою прошедшее!

Настал день 14 декабря. Рано утром я был у Рылеева; он давно уже бодрствовал. Условившись в действиях дальнейших, я отправился к себе домой по обязанностям службы. Прибыв на площадь вместе с приходом Московского полка, я нашел Рылеева там. Он надел солдатскую суму и перевязь и готовился стать в ряды солдатские. Но вскоре нужно было ему отправиться в лейб-гренадерский полк для ускорения его прихода. Он отправился по назначению, исполнил поручение; но с тех пор я уже его не видал. Много переживалось в этот знаменательный день; многое осталось запечатленным в сердечной памяти чертами неизгладимыми. Я и многие со мною изъявляли мнение против мер, принятых в этот день Обществом, но необычность близкая, неотвратимая заставила отказаться от нравственного убеждения в пользу действия, к которому готовилось Общество в продолжение стольких лет. Не стану говорить о возможности успеха, едва ли кто из нас мог быть в этом убежден! Каждый надеялся на случай благоприятный, на неожиданную помощь, на то, что называется счастливою звездою; но при всей невероятности успеха каждый чувствовал, что обязан Обществу исполнить данное слово,— обязан исполнить свое назначение, и с этими чувствами, этими убеждениями в неотразимой необходимости действовать каждый стал в ряды. Действия каждого известны.

15 декабря я был уже в Алексеевском равелине⁸. После долгого, томительного дня наконец я остался один. Это первое отрадное чувство, которое я испытал в этот долгий, мучительный день. И Рылеев был там же, но я этого не знал. Моя комната была отдалена от всех прочих номеров; ее называли офицерскою. Особый часовой стоял на страже у моих дверей. Немая прислуга, немые приставники — все покрывалось мраком неизвестности. Но из вопросов комиссии я должен был убедиться, что и Рылеев разделяет общую участь. Первая весть мною от него получена была 21 января; при чтении этих немногих строк радость моя была неизъяснима⁹. Теплая душа Рылеева не переставала любить горячо, искренно; много отрады было в этом чувстве. Я не мог отвечать ему; я не имел искусства уберечь перо, чернила и бумагу: последняя всегда была номерована; перо, чернильница в одном экземпляре; ни посуды для чернила, ни места, куда бы спрятать; все так было от-

крыто в моей комнате, что я не находил возможности спрятать что-нибудь.

Что скажу я о днях, проведенных в заключении, под гнетом воспоминаний еще свежих, страстей, еще не утихших, вопросов комиссии, непрестанно возобновляемых, опасений за близких сердцу, страха одним лишним словом в ответе не прибавить лишнего горя тому, до кого коснется это слово? Все это было в первый период заключения. Постепенно вопросы сделались реже, личный вызов в комиссию прекратился, тишина водворялась постепенно в душе; новый свет проникал в нее, озарял ее в самых темных ее изгибах, где хранится тот итог жизни мыслящей, чувствующей, действующей, который составилась со дней немыслящей юности до времени мыслящего мужа.

<...> Таким образом протекали дни за днями, недели за неделями. Открылась весна, наступило начало лета, и нам, узникам, позволено было пользоваться воздухом в малом саду, устроенном внутри Алексеевского равелина. Часы прогулки распределялись поровну на всех узников: их было много, и потому не всякий день каждый пользовался этим удовольствием.

Однажды добрый наш сторож приносит два кленовых листа и осторожно кладет их в глубину комнаты, в дальний угол, куда не проникал глаз часового. Он уходит — я спешу к заветному углу, поднимаю листы и читаю:

Мне тошно здесь, как на чужбине;
Когда я сброшу жизнь мою?
Кто даст криле ми голубине?
И полещу и почию.
Весь мир, как смрадная могила;
Душа от тела рвется воя.
Творец! Ты мне прибежище и сила!
Вонми мой вопль, услышь мой стон!
Приникни на мое моление,
Вонми смиренню души,
Пошли друзьям моим спасенье,
А мне даруй грехов прощенье
И дух от тела разреши!

Кто поймет сочувствие душ, то невидимое соприкосновение, которое внезапно объемлет душу, когда нечто родное, близкое коснется ее, тот поймет и то, что я почувствовал при чтении этих строк Рылеева! То, что мыслил, чувствовал Рылеев, сделалось моим; его болезнь сделалась моею, его уныние усвоилось мне, его вопию-

щий голос вполне отразился в моей душе! К кому же мог я обратиться с новою моею скорбью, как не к тому, к которому давно уже обращались все мои чувства, все тайные помыслы моей души? Я молился, и кто может изъяснить тайну молитвы? Если можно уподобить видимое невидимому, то скажу: цветок, раскрывший свою чашечку лучам солнечным, едва вопьет их в себя, как издает благоухание, которое слышно всем, приблизившимся к цветку. Неужели это благоухание, издаваемое цветком, не вливается и лучом, которым оно было вызвано? Но если оно вливается лучом, то им же возносится к тому источнику, от коего получило начало! Так уподобляя видимое невидимому — сила любви вечной, коснувшись души, вызывает молитву, как благоухание, возносимое тому, от кого получило начало! ¹⁰ Кончилась молитва. У меня была толстая игла и несколько клочков серой оберточной бумаги. Я накалывал долго в возможно сжатой речи все то, что просилось под непокорное орудие моего письма, и, потрудившись около двух дней, успокоился душой и передал свою записку тому же доброму сторожу. Ответ не замедлил. Вот он:

«Любезный друг! Какой бесценный дар прислал ты мне! Сей дар чрез тебя, как чрез ближайшего моего друга, прислал мне сам спаситель, которого давно уже душа моя исповедует. Я ему вчера молился со слезами. О, какая была эта молитва, какие были эти слезы и благодарности, и обетов, и сокрушения, и желаний за тебя, за моих друзей, за моих врагов, за мою добрую жену, за мою бедную малютку — словом, за весь мир! Давно ли ты, любезный друг, так мыслишь? Скажи мне: чужое оно или твое? Ежели эта река жизни излилась из твоей души, то чаще ею животвори твоего друга. Чужое оно или твое, но оно уже мое, так как и твое, если и чужое. Вспомни брожение ума моего около двойственности духа и вещества». Радость моя была велика при получении этих драгоценных строк; но она была неполная, до получения следующих строф, писанных также на кленовых листьях:

О, милый друг, как внятен голос твой,
Как утешителен и сладок!
Он возвратил душе моей покой
И мысли смутные привел в порядок.
Спасителю, сей истине верховной,
Мы всецело подчинить должны
От полноты своей души
И мир вещественный и мир духовный.

Для смертного ужасен подвиг сей,
Но он к бессмертию стезя прямая,
И, благовествуя, речет о ней
Сама нам истина святая!
Блажен, кого Отец наш изберет,
Кто истины здесь будет проповедник,
Тому венец, того блаженство ждет,
Тот царствия небесного наследник!
Блажен, кто ведает, что бог един,
И мир, и истина, и благо наше;
Блажен, чей дух над плотью властелин,
Кто твердо шествует к Христовой чаше.
Прямый мудрец: он жребий свой вознес,
Он предпочел небесное земному,
И, как Петра, ведет его Христос
По треволненню мирскому!
Душою чист и сердцем прав
Перед кончиною подвижник постоянный:
Как Моисей с горы Навав
Узрит он край обетованный!

Это была последняя, лебединая песнь Рылеева. С того времени он замолк, и кленовые листья не являлись уже в заветном углу моей комнаты.

Между тем Верховный суд оканчивал порученное ему дело. Нас приводили, показывали подписанные нами показания. Я не знал, для чего меня спрашивают; не знал, что вместо следствия Верховный суд уже окончательно решил нашу участь; видел мои показания; отвечал, что признаю их за свои. Скоро настал день 9 июля. Нас собрали в залы комендантского дома. Радость была велика при встрече с друзьями, с которыми так давно мы жили в разлуке. Напрасно, однако ж, я искал Рылеева и прочих четверых. Смутно я понимал, что они избраны из среды нас для чего-то высшего, нежели чем предстояло нам. Вошли мы в залу. Знакомые и незнакомые лица сидели в парадных мундирах и безмолвно смотрели на нас. Обер-прокурор громко прочел сентенции каждого из нас. Я выслушал свой приговор как-то равнодушно¹¹. В эти минуты нет времени на размышление; и будущность, нам предстоявшая, коснувшись слуха, не представляла никакого ясного понятия о ее истинном значении. Мы вышли, и нас повели обратно не в прежний Алексеевский рavelин. Мне назначили пребывание в Кронверкской куртине. В длинном и широком коридоре указали мне на дверь. Я вошел в маленькую комнату, дощатой перегородкой отделенную от соседнего номера. Я удивился близкому соседству, от которого отвык в продолжении шести месяцев. Вечером

на другой день приходит к нам постоянный собеседник, постоянный утешитель, который с первых дней заключения свято исполнял свой долг как священник, как духовный отец, как единственный друг заключенных, Петр Николаевич Мысловский, протоиерей Казанского собора. Он зашел к каждому, чтобы по возможности приготовить к предстоящему исполнению приговора. Зная его скромность в отношении тех предметов, которые не входили в прямую его обязанность как священника, я не смел спросить его сначала о предстоящей участи пятерых, отделенных от нас и избранных к высшему испытанию.

Наконец перед уходом я решился спросить: что же будет с ними? Когда он прямо отвечать не мог, он отвечал всегда загадочно. Его последние слова в тот день были: «Конфирмация — декорация». Я понял, что испытание будет, но что оно кончится помилованием. И он был в этом убежден. И он надеялся. Надежды не сбылись.

Вот последнее, предсмертное письмо Рылеева к его жене:

«Бог и государь решили участь мою. Я должен умереть, и умереть смертию позорною. Письмо это, мой милый, мой бесценный друг, отдаст тебе духовный отец мой, протоиерей Петр Николаевич Мысловский. Он обещал мне молиться о душе моей. Отдай ему одну из золотых табакерок в знак признательности или, лучше сказать, на память, потому что возблагодарить его может один бог за те благодеяния, которые он оказал мне своими беседами. Не оставайся здесь долго, старайся кончить скорее дела свои, отправляйся к почтеннейшей матушке и проси ее, чтобы она простила меня; равно всех проси о том же. К. И. и детям ее кланяйся низко и скажи им, чтобы они не роптали на меня за М. П., не я его вовлек в общую беду, он сам это засвидетельствует.

Я хотел просить свидания с тобою, но раздумал, боясь, чтоб не расстроить себя. Молю бога за тебя, за Настеньку и за бедную сестру и буду всю ночь молиться. С рассветом будет ко мне священник, мой друг и благодетель, и причастит меня. Настеньку благословляю мысленно нерукотворным образом спасителя и поручаю всех вас святому покровительству живого бога. Прошу тебя более всего заботиться о ее воспитании; я желал бы, чтобы она была воспитана при тебе. Старайся перелить в нее твои христианские чувства, и она бу-

дет счастлива, несмотря ни на какие превратности в жизни; а когда будет иметь мужа, то ошастливит его, как ты, мой милый, мой добрый, неоцененный друг, ошастливила меня в продолжение 8-ми лет. Могу ли я, мой друг, благодарить тебя словами? Они не могут выразить чувств моих. Бог тебя вознаградит за все! Почтеннейшей П. В. душевная, искренняя и усерднейшая моя благодарность. Прощай! Велят одеваться. Да будет его святая воля!

Твой искренний друг
Кондратий Рылеев».

Настала полночь. Священник со святыми дарами вышел от Кондратия Федоровича, вышел и от Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, вышел и от Петра Каховского и от Михаила Бестужева-Рюмина. Пастор напутствовал Павла Ивановича Пестеля.

Я не спал, нам велено было одеваться; я слышал шаги, слышал шепот, но не понимал их значения. Прошло несколько времени, слышу звук цепей. Дверь отворилась на противоположной стороне коридора; цепи тяжело зазвенели. Слышу протяжный голос друга неизменного, Кондратия Федоровича Рылеева: «Простите, простите, братья!», и мерные шаги удалились к концу коридора. Я бросился к окошку; начинаю светать; вижу взвод павловских гренадеров и знакомого мне поручика Пильмана; вижу всех пятерых, окруженных гренадерами с примкнутыми штыками. Знак подали, и они удалились. И нам сказано было выходить. И нас повели те же гренадеры, и мы пришли на эспланаду перед крепостью. Все гвардейские полки были в строю. Вдали я видел пять виселиц; видел пятерых избранников, медленно приближающихся к роковому месту. Еще в ушах моих звенели слова: «Конфирмация — декорация»; еще надежда не оставляла меня. С нами скоро кончили: переломили шпаги, скинули мундиры и бросили в огонь; потом, надев халаты, тем же путем повели обратно в ту же крепость. Я опять занял тот же номер в Кронверкской куртине.

Избранные жертвы были готовы. Священник Петр Николаевич был с ними. Он подходит к Кондратию Федоровичу и говорит слово увещательное. Рылеев взял его руку, поднес к сердцу и говорит: «Слышишь, отец, оно не бьется сильнее прежнего». Все пятеро взойшли на место казни, и казнь совершилась...

Так пали пять жертв, избранных среди нас, как жертвы искупительные за грех общий; как готовые, спелые грозди, они упали на землю. Но не земля их приняла, а отец небесный, который нашел их достойными небесных своих обитателей. Они отошли в вечность, предочищенные от всего земного в горниле скорбей и внутренних, и внешних, и, приняв смерть, приняли вместе с нею и венец мученический, который не отыметя от них во веки. Слава господу богу!

21 июля 1826 года, вечером, мне принесли в мой номер Кронверкской куртины серую куртку и такие же панталоны из самого грубого солдатского сукна и возвестили, что мы должны готовиться к отправлению в путь. Накануне этого дня я имел свидание с младшими братьями, пажам, и, простившись с ними, просил их прислать мне необходимое платье и белье. Они исполнили мое желание: вероятно, нашли готовый сюртук с брюками и вместе с бельем уложили в небольшой чемодан и отправили ко мне: все это я получил и, удивляясь новому наряду, который мне принесли, спросил у плац-майора: «Зачем же мне послали партикулярное платье, если хотят, чтобы я носил серую куртку?» Ответ мне был, что это отдается на мою волю и что я могу воспользоваться казенным платьем, если этого сам пожелаю. Но так как мне приказано было приготовиться к дороге, то я, пораздумав, что у меня не было ни одной копейки в кармане и что — в дальней стороне и в дальнюю дорогу — единственный мой сюртук потерпит совершенное истребление, я решился надеть казенную аммуницию, которая хотя на вид не хороша, но весьма была покойна по ширине ее размеров, и стал дожидаться времени отправления. Вскоре после полупочи меня повели в комендантский дом: взойдя в комнату, вижу Александра Ивановича Якубовича в таком же наряде, как и я. Вслед за ним вошел Артамон Захарович Муравьев — бывший командир Ахтырского гусарского полка и Василий Львович Давыдов — отставной лейб-гусар. Артамон Захарович был одет щегольски: в длинном сюртуке и со всем изяществом, которое доставляет искусство портного, щедро награжденного. Его добрая жена, Вера Алексеевна, заботилась о нем. Василия Львовича я увидел тогда в первый раз; невелик ростом, но довольно тучный, с глазами живыми и выразительными; в саркастической его улыбке заметно было и направление его ума, и вместе с тем некоторое

добродушие, которое невольно располагало к нему тех, кто ближе с ним был знаком. На Василии Львовиче был надет фрак Буту, первого портного, остальной наряд соответствовал изящной отделке лучшего портного. Мы молча пожали друг другу руки. Якубович не мог удержаться от восклицания, когда увидел меня с отросшей бородой и в странном моем наряде. «Ну, Оболенский! — сказал он, подводя меня к зеркалу. — Если я похож на Стеньку Разина, то неминуемо ты должен быть похож на Ваньку Каина». Вскоре дверь распахнулась, и комендант крепости, генерал от инфантерии Сукин громко сказал: «По высочайшему повелению вас велено отправить в Сибирь закованными». Выслушав повеление, я обратился к нему и сказал, что, не имея при себе ни одной копейки денег, я прошу его об одной милости, чтобы мне возвратили золотые часы, довольно ценные, которые были у меня отобраны, когда привезли в крепость. Выслушав меня, генерал приказал плацадьютанту Трусову немедленно принести мои часы и возвратить мне. Это было исполнено; вскоре потом принесли ножные цепи; нас заковали, сдали фельдъегерю Седову при четырех жандармах, и мы вышли, чтобы отправиться в дальний путь. Провожая нас, крепостной плац-майор Егор Михайлович Подушкин подходит ко мне и таинственно пожимает мне руку; я отвечал пожатием — и тут слышу едва слышимый его шепот: возьмите, это от вашего брата. Тут я чувствую, что в руке моей деньги, — молча пожал я ему руку и внутренне благодарил бога за неожиданную помощь. У подъезда стояли четыре тройки: на одну из них меня посадили, невольное грустное чувство обнимало душу. Вдруг вижу — на мою телегу вскочил Козлов, адъютант военного министра Татищева, посланный им, чтобы быть свидетелем нашего отправления; мы с ним мало были знакомы. Он обласкал меня, как брат родной, и слезы, потоком лиясь из его глаз, свидетельствовали о глубоком чувстве, коим он был проникнут; отрадно мне было видеть сочувствие в таком человеке, с которым я едва был знаком. Тройки помчали нас с рассветом дня через Петербург в Шлиссельбургскую заставу, и мы остановились для перемены лошадей на первой станции... где нас ожидала жена Артамона Захаровича Муравьева для последнего прощания с мужем. Не более часа пробыли они вместе; лошадей переменили, и скоро мы миновали Новую Ладугу и с обычной быстротой ехали

все далее и далее. Путевые впечатления совершенно изгладились из моей памяти; быстрая и беспокойная езда, новостр положение — все вместе не дозволяло обращать внимание на внешние предметы. Мы останавливались в гостиницах; Артамон Захарович был общим казначеем и щедро платил за наше угощение; посторонних лиц до нас не допускали; наша отрада состояла в беседе друг с другом. Из путевых впечатлений наиболее в памяти сохранился въезд в Нижний, который совершился во время открытия ярмарки; тысячи народа толпились на площади, когда мы медленно проезжали через площадь к гостинице. Общее чувство к нам выразилось единственно безмолвным созерцанием наших колесниц с жандармами и нашего наряда с ножными украшениями. В Нижнем я купил необходимую для меня шинель и некоторые другие вещи, мне нужные, и из 150 рублей, полученных мною от Подушкина, немного оставалось у меня в наличности; мы продолжали путь по большому сибирскому тракту и в конце августа были уже в Иркутске.

Генерал-губернатор Лавинский находился в отсутствии; нас принял исправляющий его должность ст[ат-ский] сов[етник] Горлов; с нами он обошелся ласково и, поговорив с участием с каждым из нас, вышел из зала, вместе с ним вышли и другие, но оставался чиновник, нам тогда неизвестный (это был советник какой-то палаты Вахрушев). Во время нашей беседы с губернатором он смотрел на нас с видимым участием; наконец, когда старшие чиновники удалились, он подходит ко мне: слезы у него были на глазах; едва внятным голосом от душевного волнения он говорит мне: «Не откажите мне ради бога, примите» — и в руку кладет мне 25 руб.; я не знал, что мне делать, говорю ему шепотом: «Не беспокойтесь, у меня деньги есть, я не нуждаюсь»; вновь те же слова: «Ради бога, примите» [и] принуждал принять. До нашего конечного назначения в заводы нам отвели квартиру у частного пристава Затопляева; полицеймейстер в то время был Андрей Иванович Пирожков; градским головой был Ефим Андреевич Кузнецов, впоследствии столько прославившийся богатыми золотыми приисками, но еще более общественной благотворительностью. Много внимания и участия оказали нам как Ефим Андреевич, так и прочие чиновники и купечество и по возможности старались нас успокоить и развлечь во время краткого пребывания на-

шего в квартире г. Затопляева, который сам, равно как и Андрей Иванович Пирожков, никаким словом и никаким поступком не оскорбили в нас того чувства собственного достоинства, которое неизменно нами сохранялось. Недолго мы пользовались радушным гостеприимством; нас назначили — меня и Якубовича — в соляной завод, находящийся в 60 верстах от Иркутска, под названием Усолье; Муравьева и Давыдова — в Александровский винокуренный завод. Мы расстались с надеждою вновь увидеться при благоприятнейших обстоятельствах. С Якубовичем прибыли мы к месту нового назначения 30 августа. Вслед за нами приехали в Иркутск: Трубецкой, Волконский и два брата Борисовых, Петр Иванович и Андрей Иванович; первые двое были посланы в Николаевский, а последние два в Александровский винокуренный завод.

По прибытии в завод нас приняли в заводской конторе, отобрали деньги, бывшие при нас, и отвели квартиру у вдовы, у которой мы поселились в единственной ее горнице; сама же она жила в избе. Начальника соляного завода горного полковника Крюкова в то время не было в заводе, и потому никакого особого распоряжения об нас сделано не было, и мы пользовались свободою, хотя ограниченной полицейским надзором, но не стесняемой никакими формальными ограничениями; время от времени нас посещал заводской полицеймейстер урядник Скуратов, единственное лицо, с которым мы имели официальные сношения. С простым народом, населяющим завод, наши сношения ограничивались покупкою припасов и платою за простые услуги, нам оказываемые. Полицейский невидимый надзор непрерывно наблюдал за нами, и часто среди вечерней беседы вдвоем с Якубовичем мы слышали осторожные шаги приближающегося к запертым ставням агента полиции, и глаз его сквозь ставенную щель нередко был нами замечаем. Но, вопреки всем полицейским мерам, скоро до нас дошла весть, что княгиня Трубецкая приехала в Иркутск. Нельзя было сомневаться в верности известия, потому что никто не знал в Усолье о существовании княгини и потому выдумать известие о ее прибытии было бы невозможно; это было, кажется, недели через две после прибытия нашего в завод. К этому времени прибыл давно ожидаемый горный начальник Крюков, который должен был окончательно распорядиться о назначении нас на заводскую работу. На другое утро после его

прибытия нас позвали к нему. Заводская полиция отдала от его дома всех посторонних, и к нему во время этого свидания никого не впускали. Он нас принял не только ласково, но с таким вниманием, которое глубоко нас тронуло. После первых обычных приветствий разговор наш принял то направление полуоткровенное и не стеснительное для нас, которое ему умел дать образованный хозяин, вскоре затем вошла в гостиную его дочь с подносом в руке, на котором мы увидели кофе, приготовленный ее собственными руками. Хозяин откомендовал нас дочери, и мы с удовольствием выпили приготовленный ею прекрасный кофе; впоследствии мы узнали, что даже прислуга была выслана из дома, чтобы никто из посторонних не мог донести о внимании, которое нам оказал начальник завода. Отпуская нас, полковник объявил, что назначит нам работу только для формы, что мы можем быть спокойными и никакого притеснения опасаться не должны. Мы возвратились домой, довольные и покойные на счет будущности, нас ожидающей; невольно иногда тревожила нас мысль, что нас могут употребить в ту же работу, которую несли простые ссыльнокаторжные; я видел сам, как они возвращались с работы, покрытые с головы до ног соляными кристаллами, которые высыхали на волосах, на одежде, на бороде: они работали без рубашек, и каждая пара работников должна была вылить из соляного источника в соляную варницу известное число ушатов соленой влаги. На другой день после свидания с начальником урядник Скуратов приносит нам два казенных топора и объявляет, что мы назначены в дровосеки и что нам будет отведено место, где мы должны рубить дрова — в количестве, назначенном для каждого работника по заводскому положению; это было сказано вслух, шепотом же он объявил, что мы можем ходить туда для прогулки и что наш урок будет выполнен без нашего содействия. В тот же день нам указали назначенное нам место для рубки дров вблизи от завода, и мы возвратились домой, довольные прогулкой и назначением. Между тем мысль об открытии сношений с княгиней Трубецкой меня не покидала: я был уверен, что она даст мне какое-нибудь известие о старике отце, но как исполнить намерение при бдительном надзоре полиции — было весьма затруднительно; встав рано утром, в день, назначенный для начала работы, и напившись чаю, я простился с Якубовичем, который был

болел воспалением глаз, подпоясал шинель, заткнул за пояс данный мне топор и отправился в назначенное нам место. Прибыв в лес, я рассудил, что лучше приняться за работу, нежели празднично проводить время. Сверх того, зная опасения полковника Крюкова на доносы и не желая ввести его в ответственность за его к нам сношение, я храбро взялся за топор и начал рубить деревья, сколько у меня было сил и умения. Много я трудился, пока свалил первое дерево, и, наработавшись до поту лица, весело возвратился домой, в полной уверенности, что исполнил долг благодарности в отношении к внимательному начальнику. Между тем во время моей прогулки в лес заметил я человека, одетого довольно нарядно, в крытом сукном полушубке, с чертами лица довольно замечательными, и с выражением какого-то особенного сочувствия, когда он мне сделал обычный свой привет. Вечером того же дня вижу его вновь недалеко от нашего дома, и мне показалось, что он делает мне таинственные знаки: мое внимание было обращено на таинственного незнакомца. На другой день, выйдя на работу, я вновь увидел его на моем пути, и тот же таинственный знак указал мне на лес, куда я направлял мой путь; начав работу, я начал забывать мою встречу, но вижу, как он пробирается сквозь чащу в уединенное место и знаком, едва заметным, манит меня туда; недолго я думал и пошел за ним. Мой незнакомец встречает меня таинственными, но торжественными словами: «Мы давно знаем о вашем прибытии, в пророчестве Иезекииля, в такой-то главе, о вас сказано, и мы вас ожидали; наших здесь много; надейтесь на нас, мы вас не выдадим». Из его слов я видел сектатора; но ни место свидания, ни время не позволили мне его разуверить в его заблуждении; лесная дорога, через которую проезжали крестьяне, была недалеко; я уже слышал скрип телеги невдалеке; не теряя времени, я ему сказал: «Ты ошибаешься, мой друг, но если хочешь сослужить мне даровую службу, то исполни. Берешься ли доставить письмо к княгине Трубецкой, в Иркутск, за труды не могу я тебе заплатить, у меня денег нет?» Недолго он думал. «Будьте покойны,— сказал он мне,— завтра в сумерки я буду на таком-то месте; принесите мне письмо— оно будет доставлено». Так мы расстались; я догадывался потом, что мой незнакомый знакомец принадлежал к секте духоборцев; посоветовавшись с Якубовичем, я решился написать письмо и в назна-

женное время отнес к моему приятелю, он его взял и в ту же ночь отправился в Иркутск. Он верно исполнил поручение и через два дня принес письмо от княгини Трубецкой, которая уведомляла о своем прибытии, доставила успокоительные известия о родных и обещала вторичное письмо перед отъездом в Николаевский завод к мужу; через поверенного Ефима Андреевича Кузнецова письмо было вскоре получено, и мы нашли в нем пятьсот рублей, коими княгиня делилась с нами. Тогда же предложила она нам писать к родным, с обещанием доставить наше письмо через секретаря ее отца, который сопровождал ей до Иркутска и должен был возвратиться обратно в Петербург. Случай благоприятный был драгоценен для нас, и мы им воспользовались, сердечно благодаря Катерину Ивановну за ее дружеское внимание.

Но время теперь коснуться замечательной личности, каковою была княгиня Катерина Ивановна, рожденная графиня Лаваль. Ее отец со времени французской революции поселился у нас, женившись на Александре Григорьевне Козицкой, получил вместе с ее рукою богатое наследство, которое придавало его дому тот блеск, в котором роскошь служит только украшением и необходимою принадлежностью высокого образования и изящного вкуса. Воспитанная среди роскоши, Катерина Ивановна с малолетства видела себя предметом внимания и попечения как отца, который нежно ее любил, так и матери, и прочих родных. Кажется, в 1820 году она находилась в Париже с матерью, когда князь Сергей Петрович Трубецкой приехал туда же, провожая больную свою двоюродную сестру княжну Куракину; познакомившись с графиней Лаваль, он скоро сблизился с Катериной Ивановной, предложил ей руку и сердце и таким образом устроилась их судьба, которая впоследствии так резко очертила высокий характер Катерины Ивановны и среди всех превратностей судьбы устроила их семейное счастье на таких прочных основаниях, которых ничто не могло поколебать впоследствии. По сношениям Общества я был близок с князем Сергеем Петровичем; в 1821 году я в первый раз увидел Катерину Ивановну, и с того времени дружба к ней и глубокое уважение не изменялись, но, с каждым годом все более и более развиваясь, приняли тот характер, который теперь, когда ее нет уже между нами, когда она уже приняла высшую награду от единого истинно-

го ценителя всей нашей жизни, остались начертанные чертами неизгладимыми там, где все лучшее переходит с нами в иной мир. Событие 14 декабря и отправление в Сибирь князя Сергея Петровича служили только поводом к развитию тех сил души, коими одарена была Катерина Ивановна и которые она так прекрасно умела употребить для достижения высокой цели исполнения супружеского долга в отношении к тому, с коим соединена была узами вечной, ничем не разрушимой [любви]; она просила как высшей милости следовать за мужем и разделять его участь, получила высочайшее дозволение и, вопреки настоянию матери, которая не хотела ее отпускать, отправилась в дальний путь в сопровождении секретаря графа Лавалля француза М-г Vaucher; не доезжая ста или более верст до Красноярска, карета ее сломалась, починить ее было невозможно; княгиня недолго думала, села в перекладную телегу и таким образом доехала до Красноярска, откуда она послала тарантас, ею купленный, за своим спутником, который не мог выдержать тележной езды и остановился на станции. Соединившись наконец с мужем в Николаевском заводе, она с того времени не покидала нас и была во все время нашей общей жизни нашим ангелом-хранителем. Трудно выразить то, чем были для нас дамы, спутницы своих мужей; по справедливости их можно назвать сестрами милосердия, которые имели о нас попечение как близкие родные, коих присутствие везде и всегда вливало в нас бодрость, душевную силу; а утешение, коим мы обязаны им, словами изъяснить невозможно. Вслед за княгиней Трубецкой приехала и княгиня Мария Николаевна Волконская, дочь знаменитого в отечественных войнах Николая Николаевича Раевского: в то время, о котором я говорю, ее не было еще в Иркутске; но обратимся к прерванному рассказу.

Дни наши в заводе текли однообразно: каждый день утром мы шли с Якубовичем на обычную работу, и я наконец достиг в рубке дров того навыка, что мог уже рубить $\frac{1}{4}$ сажени в день; в третьем часу мы возвращались домой, обедали сытно, хотя не роскошно, а вечер проводили или в беседе друг с другом, или играли в шахматы. Сравнительно с тем, чего я ожидал, мы были так покойны, что я решительно не верил, чтобы наше положение не изменилось к худшему; мой товарищ был мнения противоположного и находился в твердом убеждении, что вместе с коронацией, назначенной 22 ав-

густа, последует манифест о нашем возвращении. Каждый из нас отстаивал свое мнение, и беседы наши оживлялись как рассказами товарища о кавказской боевой его жизни, так и воспоминаниями о недавнем прошедшем; таким образом протекали дни, как вдруг вечером 5 октября, в то время, когда мы играли в шахматы, входит урядник Скуратов и объявляет нам, чтобы мы собирались в дорогу и что нас велено представить в Иркутск. Первая мысль товарища была, что манифест прислан с фельдъегерем и что нас зовут в Иркутск, чтобы объявить высочайшую милость. Я молчал, но думал противное и начал укладывать все, что можно было поместить в наши чемоданы; одним словом, все, что не принадлежало к домашней кухонной утвари. Мой товарищ решительно не хотел брать ничего с собою в полной уверенности, что он скоро, на возвратном пути, легче и удобнее может засечь в Усолье и взять с собою все то, что ему покажется нужным для обратного пути. Молча я сделал свое дело: уложил наши чемоданы, но никак не мог уговорить товарища взять медных 25 руб., которые остались на руках хозяйки до предполагаемого нашего возвращения; тройки прибыли; при каждом из нас посадили по два казака, на третьей тройке нас провожал урядник Скуратов. Я указал молча Якубовичу на наш конвой, но он махнул рукой и, говоря: «Вот услышишь, тогда поверишь», сел на передовую тройку и поскакал. Таким образом продолжали мы путь до Иркутска. На перевозе тройка Якубовича была первая — переехав на другой берег, он махал мне белым платком. Тронулась наша тройка. Это было в самую заутреню 6 октября. Мы въезжаем в город. Якубович не перестает мне махать белым платком; наконец едем далее, проезжаем весь город, нигде не останавливаясь; белый платок перестал развеиваться; выезжаем наконец за город и на четвертой версте видим здание, окруженное войском: тут были и казаки, и пехота; часовые расставлены везде. Это были казармы казачьего войска. Въезжаем на двор; Якубович соскочил с телеги: его встречает Андрей Иванович Пирожков. Недолго задумывался наш кавказец: «Помилуйте, Андрей Иванович, — говорит он ему, — у вас здесь собрана и пехота, и кавалерия; где же ваша артиллерия?» Андрей Иванович не мог не улыбнуться, но молча протянул нам руку, провел в верхний покой, где мы нашли князей Трубецкого и Волконского; тут мы узнали истинную причину

нашего приезда; нас отправляли в *Нерчинские рудники!* Нас угостили чаем, завтраком, а между тем тройки для дальнейшего нашего отправления были уже готовы. В это время, смотря в окошко, вижу неизвестную мне даму, которая, въехав на двор, соскочила с дрожек и что-то расспрашивает у окруживших ее казаков. Я знал от Сергея Петровича, что Катерина Ивановна в Иркутске, и догадывался, что неизвестная мне дама спрашивает о нем. Поспешно сбегав с лестницы, я подбежал к ней: это была княжна Шаховская¹², приехавшая с сестрой, женой Александра Николаевича Муравьева, посланного на жительство в город Верхнеудинск. Первый ее вопрос был: «Здесь ли Сергей Петрович?» На ответ утвердительный она мне сказала: «Катерина Ивановна едет вслед за мною: она непременно хочет видеть мужа перед отъездом, скажите это ему». Но начальство не хотело допускать этого свидания и торопило нас к отъезду; мы медлили сколько могли, но наконец принуждены были сесть в назначенные нам повозки. Лошади тронулись; в это время вижу Катерину Ивановну, которая приехала на извозчике и успела соскочить и закричать мужу; в мгновение ока Сергей Петрович соскочил с повозки и был в объятиях жены; долго продолжалось это нежное объятие, слезы текли из глаз обоих. Полицеймейстер суетился около них, просил их расстаться друг с другом: напрасны были его просьбы. Его слова касались их слуха, но смысл их для них был непонятен. Наконец, однако ж, последнее «прости» было сказано, и вновь тройки умчали нас с удвоенною быстротой. Княгиня Трубецкая осталась в неизвестности об участи мужа. Никто не хотел ей сказать истины об окончательном назначении нашем; но, твердо решившись следовать за мужем и разделять его участь, какою бы она ни была горькою и тягостной, княгиня обратилась к начальству с требованием, чтобы ей дозволено было следовать за мужем и разделять с ним его участь. Долго томили ее разными уклончивыми ответами; в это время приехала в Иркутск княгиня Мария Николаевна Волконская, и обе соединились в одной мысли соединиться с мужьями и действовали в одном и том же решительном духе, не отступая ни перед угрозами, ни перед убеждениями. Наконец им представили положение о женах ссыльнокаторжных и о правилах, на которых они допускаются в заводы. Во-первых, они должны отказаться от пользования теми правами, ко-

которые принадлежат им по званию и состоянию. Во-вторых, они не могут ни получать, ни отправлять писем и денег, иначе как через заводское начальство. Далее свидание с мужьями дозволяется им только по воле того же начальства и в том месте, в которое им же будет определено. Изустно же прибавляли к этим правилам, что заводское начальство могло даже требовать от них и личной прислуги, как-то мытья полов и тому подобное. Прочитав условия, Катерина Ивановна и Марья Николаевна не усомнились утвердить их своими подписями, и, таким образом, начальство было наконец вынуждено дать свое согласие и дозволить им беспрепятственно следовать за мужьями в Нерчинские рудники.

Пока длились эти переговоры, мы уже давно переехали через Байкал на двухмачтовом низеньком судне «Ермак». Когда мы еще были на берегу, к нам присоединились и прочие товарищи: Муравьев, Давыдов и два брата Борисовых. Таким образом, на восьми тройках от Писольского монастыря помчали нас по большому Нерчинскому тракту при двух казачьих офицерах: при нас был хорунжий Чаусов — сын атамана Иркутского казачьего полка; при второй партии — хорунжий Черепанов; оба люди добрые, непритязательные, которые исполняли свой долг и были твердо убеждены, что мы не введем их в ответственность никаким необузданным поступком. Казаки, нас сопровождавшие, как все добрые русские люди, были готовы оказать нам во всякое время всякую помощь и всякую услугу. Из путевых впечатлений наиболее врезался мне в память приезд наш поздно вечером к берегу реки за Верхнеудинском. Тут был перевоз, и мы остались ночевать. Поставили самовар, и мы начали пить чай; в это время входит к нам в избу молодой парень, хорошо одетый, и чистым русским наречием говорит нам: «Дедушка просит вас принять его хлеб-соль», с этими словами он вносит к нам корзину с чистым белым хлебом, с булками, сухарями; все было так чисто, хорошо, вкусно, что мы немало удивились, увидя в таком дальнем крае такую роскошь; поблагодарив юношу, мы просили его передать нашу благодарность его почтенному деду и просили его посетить нас, если это его не затруднит. Через час приехал к нам и старец, и мы долго и приятно беседовали с ним; он называл себя коренным сибиряком, т. е. его предки поселились тут с первых времен насе-

ления Забайкальского края; трудом земледельческим и промышленностью звериной ловли приобрели они то благосостояние, коим он ныне пользовался. Простившись с ним, мы еще долго беседовали о старце и о том крае, который он с такой любовью нам описывал. За этим первым впечатлением следовало другое, не менее приятное, хотя в другом роде: это была остановка в селе Бианкине, где нас принял и угостил купец Кондинский; его обед и угощение были роскошны. Радушные хозяев было полное: они желали угостить нас баней, но мы не могли оставаться долго у них, чтобы не ввести в ответственность офицеров, и потому, простившись с хозяевами и поблагодарив за угощение, мы отправились в дальний путь. Во время этого краткого переезда по селениям, принадлежавшим к Нерчинским заводам, меня поразила картина довольно необыкновенная в это время года, где мороз доходит до 10-ти и более градусов: это были дети разных возрастов, которые в полдень стояли кучками около избы без всякой одежды — как мать родила — и грелись на солнце. Зрелище такой бедности давало понятие о благосостоянии заводских крестьян. Скоро мы прибыли к месту нашего назначения — в Благодатский рудник, — и тройки наши остановились у казармы, приготовленной для нашего жилища. Это было строение 7 сажен длины и 5 ширины; в нем были две избы, первая со входа назначалась для караульных солдат, вторая для нас; в нашей избе, со входа по левую сторону, находилась огромная русская печь; направо вдоль всей избы устроены были три чулана, отделенные друг от друга дощатыми перегородками; к противоположной стене от двери устроена была третья комната, наскоро сколоченная из досок. К трем первым чуланам вели две ступени, и у каждого чулана навешена дверь. Размер первых двух чуланов был: с правой стороны 3 аршина с небольшим длины и аршина два ширины. Размер последнего чулана — длина та же, но ширина аршина четыре. Скоро мы разместились. Давыдов и Якубович заняли каждый по особому чулану, Трубецкой и я поместились вместе в третьем чулане. Трубецкой имел свою дощатую кровать в длину; моя кровать устроена была так, что половина моего туловища находилась под кроватью Трубецкого, а другая примыкала к двери; Волконский занял противоположную сторону, против Трубецкого. Муравьев и двое Борисовых поместились подобным образом в своей дощатой

комнате. Караул наш состоял из горного унтер-офицера и трех рядовых, которые бессменно сторожили нас во все время нашего пребывания в Благодатском руднике. Караул был внутренний; те же караульные готовили нам кушанье, ставили самовар, служили нам и скоро полюбили нас и были нам полезнейшими помощниками. Нас принял управляющий рудником, горный офицер, которого фамилию я не запомнил.

Нам дали отдохнуть дня три: отобрали бывшие при нас деньги и распорядились таким образом, чтобы мы из выдаваемых нам денег могли закупать всю нужную нам провизию, а в издержанных деньгах отдавали бы отчет. Денег оказалось весьма мало: всякий отдавал из своих денег, что хотел, и никто не требовал большего против того, что было нами показано. В течение этих трех дней приехал и начальник Нерчинских заводов — берг-гауптман Тимофей Степанович Бурнашев — взглянуть на нас; на словах он был довольно груб, но в его распоряжениях видно было желание облегчить наше положение, не обременяя нас излишней тягостью. Скоро настало время начала наших работ; накануне нам было объявлено, чтобы мы приготовились с ранним утром к предстоявшему труду; на другой день в 5 часов пришли к нашим казармам штегер с рабочими, назначенными нам в товарищи; началась перекличка: «Трубецкой?» Ответ: «Я»; «Ефим Васильев?» — И Трубецкой пошел с Ефимом Васильевым. «Оболепский?» — «Я»; «Николай Белов?» — И двое мы пошли тем же путем. Таким образом всех нас распределили по разным шахтам, дали каждой паре по сальной свече, мне дали в руку кирку, товарищу молот, и мы спустились в шахты и пришли на место работы. Работа была не тягостна: под землею вообще довольно тепло, но, когда нужно было согреться, я брал молот и скоро согревался. В одиннадцать часов звонок возвещал окончание работы, и мы возвращались в свою казарму; тогда начинались приготовления к обеду. Артельщиком был нами выбран Якубович как самый опытный по военно-кухонной части. Вообще мы пользовались полной свободой внутри нашей казармы: двери были открыты, мы обедали, пили чай и ужинали вместе. Большое утешение было для нас то, что мы были вместе; тот же круг, в котором мы привыкли в продолжение стольких лет меняться мыслями и чувствами, перенесен был из петербургских палат в нашу убогую казарму; все более и более мы сближа-

лись, и общее горе скрепило еще более узы дружбы, нас соединявшей. Одна неизвестность о том, увенчается ли успехом твердое намерение княгинь Трубецкой и Волконской соединиться с мужьями, волновала нас в первые недели после нашего приезда. Но вскоре и это недоумение разрешилось; обе прибыли благополучно, и обе заняли небольшую избу в руднике, в полуверсте от наших казарм. Скоро назначено было свидание нашим дамам в самой казарме. Время свидания могло продлиться час. Первая пришла Катерина Ивановна; мы вышли с Волконским к соседям товарищам; свидание кончилось сменой Марьи Николаевны, которая в том же номере беседовала с мужем определенное время. Прибытие этих двух высоких женщин, русских по сердцу, высоких по характеру, благотельно подействовало на нас всех; с их прибытием у нас составила семья. Общие чувства обратились к ним, и их первой заботой были мы же; своими руками шили они нам то, что им казалось необходимым для каждого из нас; остальное покупалось ими в лавках; одним словом, то, что сердце женское угадывает по инстинкту любви, этого источника всего высокого, было ими угадано и исполнено; с их прибытием и связь наша с родными, с близкими сердцу получила то начало, которое потом уже не прекращалось, по их родственной попечительности доставлять и родным нашим те известия, которые могли их утешить при совершенной неизвестности о нашей участи. Но как исчислить все то, чем мы им обязаны в продолжение стольких лет, которые ими посвящены были попечению о своих мужьях, а вместе с ними и об нас? Как не вспомнить и импровизированные блюда, которые приносили нам в нашу казарму Благодатского рудника — плоды трудов княгинь Трубецкой и Волконской, в которых их теоретическое знание кухонного искусства было подчинено совершенному неведению применения теории к практике? Но мы были в восторге и нам все казалось так вкусным, что едва ли хлеб, недопеченный рукою княгини Трубецкой, не показался бы нам вкуснее лучшего произведения первого петербургского булочника. Как не вспомнить и ежедневных их посещений нашей казармы в первом или во втором часу, в те дни, в которые не позволено было иметь личного свидания с мужьями? Издали мы видели их приближение; им выносили два стула; они садились против единственного окна нашего чулана и тут проводили час и более в не-

мой беседе с мужьями. Иногда они приходили вместе, иногда каждая назначала себе час свидания и приходила отдельно. Мороз доходил до 20 градусов; закутанные в шубах, они сидели, доколе мороз не леденил их членов. Помню, как однажды, глядя на Катерину Ивановну, я замечаю, что она прижимает свои ножки, видимо страдая от стужи; я сообщил свое замечание Сергею Петровичу; он посмотрел на ботинки и, увидев, что она надела старые, уже довольно поношенные, обещался пожурить ее за то, что она в такой сильный мороз не надела своих новых теплых ботинок, а вышла в старых, истертых. На другой день было свидание; следствие было произведено, и оказалось, что действительно новые ботинки существуют, но что их нельзя было надеть, потому что ленты, коими они прикреплялись, были отпороты для того, чтобы употребить на шапочку из тафты, которую мне сшила княгиня для работы под землею, где шапочка оберегала мою голову от руды, коею наполнялись мои волосы при каждом сотрясении от ударов молотом.

Скоро, однако ж, при ежедневных наших трудах под землею последовало распоряжение, которое вывело нас из обычного спокойного нашего положения и было причиною сильной тревоги, которая отозвалась в сердцах наших хранительниц. К нам назначили особого горного офицера, молодого Рика, вероятно для ближайшего надзора над нами; мы не предвидели никакого изменения в нашем положении, но по окончании обеда или вечернего чая получаем приказание от г. Рика идти в наши чуланы, с тем чтобы во все время, кроме работ, быть там закрытыми и не сметь оттуда выходить ни для обеда, ни для ужина; и то, и другое, равно как и чай, мы должны были получать от сторожей, которые должны были разносить нам пищу по нашим чуланам. Мы показали г. Рику наши чуланы, сказали ему, что невозможно будет нам вынести душного и злокачественного воздуха, если мы будем закрыты в продолжение 18 часов, что никакое здоровье не может выдержать этого неестественного положения. Никакие убеждения не могли подействовать на г. Рика. Он подумал, что наши слова означают нашу решимость не повиноваться его распоряжению, и закричал солдатам: «Гоните их!» И действительно, солдаты были готовы к исполнению приказа; но они знали нас, и потому мы взошли в свои казематы, беспрекословно повинаясь отданному приказу.

нию, а солдаты молча смотрели на нас. Когда г. Рик удалился, мы начали рассуждать между собою, на что следует решиться. То, что мы говорили г. Рiku, было полным нашим убеждением; нам казалось и действительно было невозможно выдержать злокачественность воздуха в том малом пространстве, в котором мы находились, где другого положения мы не могли иметь, кроме сидячего или лежащего. Трубецкой, когда вставал, должен был нагнуться, потому что головой он касался потолка. Долго рассуждая, не знаю, кому из нас пришла мысль не принимать пищи до тех пор, пока условия нашего заключения не изменятся. Единогласно решено было привести это предложение в исполнение; с того же вечера мы отказались от предложенного ужина; на другой день вышли на работу, не напившись чаю; возвратившись, отказались от обеда и таким образом провели первые сутки без пищи — и не принимали даже воды, которую нам предлагали. На другие сутки повторилось то же самое¹³. Не помню, в этот ли второй или на третий день нашего добровольного поста нас на работу не вызывали, но объявили, что ожидают начальника, г. Бурнашева. Мы приготовились к бурной встрече; часу в двенадцатом видим ефрейтора и двух рядовых с примкнутыми штыками, которые подходят к нашим казармам; вызвали Трубецкого и Волконского; мы простились, не зная, что будет с ними; неизвестность будущего невольно тревожила нас. Сижую окошка — это было, кажется, в январе, — мороз сильный; вижу, на дороге стоят княгини Трубецкая и Волконская; обе ожидали мужей, которые должны были пройти мимо них. Но голос их едва доходил до слуха мужей; это было видно потому, что и та и другая умоляющими жестами дополняли то, что выговорить не могли. Со страхом и трепетом ждали мы возвращения товарищей; видим, их ведут обратно; я перекрестился; настала наша очередь с Якубовичем; из слов Трубецкого мы могли только понять, что Тимофей Степанович был грозен; мы взошли; не стану говорить о грубости его выражений, она была естественна в нем; *его угрозы плетей, кнута и прочего составляли часть его монолога*; его обвинение, что мы затеяли бунт и что бунтовать он нам не позволит. Наш ответ был весьма краток и прост: что если он называет бунтом непринятие нами пищи, то пусть вспомнит, что во все время нашего пребывания в Благодатском руднике мы ни разу ни в чем не пре-

ступали тех приказаний, которые нам были даны; что мы были совершенно довольны его распоряжениями до того времени, как г. Рик стеснил одну-единственную невинную свободу, коей мы пользовались, и что неестественно желать пищи, находясь в том тесном пространстве, в каком мы помещались. Нас отпустили немного смягченным голосом, но никакой надежды на изменение не подавали. После нас пошли тем же порядком и прочие товарищи. Слышали то же самое; говорили то же и возвратились так же. К обеду наши чуланы были отперты, и все пошло прежним порядком. Невольной горячей молитвою почтил я окончание этого эпизода нашей перчинской жизни. В нашей решимости рассуждения не было; инстинктивно предложение сделано, принято также и приведено в исполнение. Но успех увенчал наше желание освободиться от положения тягостного, которого мы, может быть, не вынесли бы...

Наши работы продолжались тем же порядком, и единственное изменение, которое произошло в порядке наших дней, состояло в том, что мужья получили дозволение иметь свидание с женами в их квартире, куда их провожал конвойный, который становился на часы во все время свидания. Это изменение весьма было приятно для наших дам. Настала весна, и мы получили позволение делать прогулки при конвое, в свободные дни от работ, по богатым лугам, орошаемым Аргунью. Сначала мы удалялись не более двух или трех верст от нашей казармы, но постепенно, приобретая все более и более смелости, мы, наконец, доходили до самой Аргуни, которая была от нас на расстоянии девяти верст. Богатая флора этого края обратила на себя общее наше внимание и возбудила удивление к красотам сибирской природы, так щедро рассыпанным и так мало еще известным в то время. Два брата Борисовых, любители естественных наук, наиболее занимались как собиранием цветов, так и зоологическими изысканиями; они набрали множество букашек разных пород красоты необыкновенной, хранили и берегли их и впоследствии составили довольно порядочную коллекцию насекомых, которая была предметом любопытства любителей естественных наук. Вскоре, однако ж, произошла перемена в работе, нам назначенной; но эта перемена вместо облегчения увеличила бремя тягости, на нас лежавшей. Приехал чиновник из Иркутска узнать лично от каждого из нас: не расстроено ли наше здоровье работою под

землей и не предпочтем ли мы работу на чистом воздухе? Мы единогласно утверждали, что работа под землей нам вовсе не тягостна и что мы ее предпочитаем работе на чистом воздухе, потому что в последней мы были бы подвержены всем переменам в воздухе, т. е. дождю и проч., и что здоровье наше ничем не пострадало от подземного воздуха. Наши представления не были уважены, и на другой же день мы были высланы на новую работу, нам назначенную; часть причин, по которой мы предпочитали подземную работу, нами не могла быть высказана; но мы понимали, что тягость, на нас лежавшая, увеличится. В подземной работе нам не было назначено урочного труда; мы работали сколько хотели и отдыхали так же; сверх того, работа оканчивалась в одиннадцать часов дня; в остальное время мы пользовались полной свободой. Но как объяснить и то сочувствие, которое мы находили под землей, в тех ссыльнокаторжных, которые не вдали от нас заняты были одинаковой с нами работою, но коих труды были втрое тягостнее? Они были в ножных цепях, и на них лежали все тягости подземного рудокопства. Они проводили шахты в местах новых розысков, устраивали галереи, которые должны были поддерживаться столбами и соединенными арками; как люди способные, они употреблялись и в плотничную работу, и хорошо, и плотно устраивали подземные ходы; они же выкачивали воду, которая накапливалась от времени до времени в местах, назначенных для розысков; они же относили руду, ими и нами добытую, к колодезю, откуда она подымалась вверх и относилась в назначенное место. Встречаясь с нами, эти люди, закаленные, по-видимому, в преступлениях, показывали нам немое, но весьма явственное сочувствие. Не раз случалось, когда я выходил из-под земли на чистый воздух подышать им некоторое время, едва завидит меня один из них, Орлов — знаменитый разбойник, красивый, плотный, плечистый, который силою был истинный богатырь, как даст знать своим товарищам, и тут же начнет он своим звучным, серебристым голосом заунывную русскую песню, которая чем-то родным, близким отзывалась сердцу знакомыми звуками. Не случайно запевал он песню, нет; он ею высказывал то, чего не мог выговорить словом. Не со мною одним, но и с товарищами многие из них делали то же, и не раз в порыве усердия брали наши молоты и в десять минут оканчивали работу, ко-

тую мы и в час не могли бы исполнить. Все это делалось без надежды возмездия. За нами надзирали, а мы могли только в коротких словах выразить, что мы их понимаем и оцениваем их усердие. Но конец подземной работе был положен, и мы вышли на новый труд, нам назначенный. Работа была урочная; рудоразборщики, обыкновенно подростки горных служителей, разбивали руду и отделяли годную к плавке от негодной; мы не могли заняться этим трудом, который требовал большого навыка в умении различать и сортировать руду по ее большей или меньшей годности. Итак, нам дали, каждой паре, по носилкам, и урочная наша работа состояла в том, что мы должны были перенести 30 носилок, по пяти пудов в каждой, с места рудоразбора в другое, общее складочное место. Переход был шагов в двести. Началась работа; не все могли исполнять урок; те, которые были посильнее, заменяли товарищей, и таким образом урок исполнялся; в одиннадцать часов звонок возвещал конец трудам, но в час другой звонок вновь призывал на тот же труд, который оканчивался в пять или шесть часов вечера. Таким образом, по новому распоряжению и время труда, и тяжесть его увеличены почти вдвое; наши прогулки к Аргуни менее были заманчивы; мы рады были отдыху в те дни, когда позволено было отдыхать. Но при всем том наше положение было довольно сносное, и тяжесть работы заменялась свободой, которой мы пользовались внутри нашей казармы, и утешениями от наших попечительниц, которые не раз были свидетельницами наших трудов и дружеской беседой облегчали их тяжесть. Но скоро и это положение должно было измениться. Не помню, в июле или в начале августа нас известили, что вновь назначенный комендант Лепарский приехал на Нерчинские заводы и на другой день будет нас осматривать. Многие из товарищей лично были с ним знакомы; командуя Северским конноегерским полком, он был известен как кроткий, снисходительный начальник, и вообще был любим и сослуживцами и подчиненными. Мы с удовольствием ожидали его прибытия. Действительно, на другой день он прибыл к нам в сопровождении г. Бурнашева, был ласков и учтив со всеми и, расставаясь с нами, оставил нам надежду на улучшение нашего положения. Ожидания не сбылись: в тот же день нас повели в ближайшую кузницу и там заковали нас в ножные цепи. В то же время отрядили к нам особый

военный караул из двенадцати казаков при унтер-офицере и повый порядок устроился в надзоре за нами. Горный чиновник и горный начальник боялись оказать нам снисхождение, о котором могли довести до сведения коменданта; казаки, бывшие при нас, боялись такого же доноса от горного начальства. Таким образом, обе власти, наблюдая одна за другою, были в равных отношениях к нам. Впрочем, выбор казаков был так хорошо сделан, что мы не могли довольно налюбоваться этим молодым, славным поколением. Все они были люди грамотные, большая часть кончили курс уездного училища и удивляли нас и разнородными познаниями и развитием умственным, которое трудно было ожидать в таком дальнем краю, о коем весьма редко носились слухи, и то как о месте диком, где и люди, и природа находились в первоначальной своей грубости. Здесь мы увидели совершенно противное. Наши казаки скоро полюбили нас, и их жажда знания, которое они хотели почерпнуть из беседы с нами, нас радовала и удивляла. Некоторые из них достигли впоследствии офицерских чинов и вообще отличались добрым поведением. Впрочем, кроме тяжести наших цепей, все осталось в прежнем порядке; работы были те же, но прогулка в свободные дни прекратилась, и трудно было бы иметь желание прогулки при ножных наших украшениях. Незаметно проходили таким образом дни и недели. Наши хранительницы не переставали нас утешать и беседами, и постоянным вниманием, и той чистою дружбой, которая на все, к чему коснется, налагает свою печать и освящает все. В течение этого времени новый острог, который был построен в Чите, наполнялся товарищами, которые привозимы были туда из разных крепостей, в коих они временно содержались. Скоро и до нас дошла очередь присоединиться к ним. Не помню, в октябре или ноябре вновь сели мы в приготовленные повозки. Наши казаки сопровождали нас и вновь помчали нас по прежнему Нерчинскому тракту. Скоро и Читинский острог показался вдали: все ближе и ближе рассматривали мы наше будущее помещение. Высокий тын окружал его; мы остановились у ворот; нас принял плац-майор Осип Адамович Лепарский, часовые дали свободный путь, мы бросились в объятия друзей: Пущин, Нарышкин, Фонвизин были тут. Нас распределили по четырем комнатам, в которых помещались прочие товарищи; шум от цепей

заглушал всякую речь: наконец свыклись мы и с этим шумом...

Расспросам, беседам не было конца в первые дни нашего прибытия. Постепенное сближение по одинаковому направлению мыслей и чувств теснее сблизило некоторых. Общее чувство расположения ко всем не изменилось, но оттенки этого чувства в личных сношениях, невольно сближая одних, теснее связывали их между собой. Эти отношения сохранились и впоследствии и неизменно сохраняются и ныне теми, у коих не изглаживается дружба, основанная на полном обоюдном доверии, на духе, руководящем теми, поступки коих составляют только отражение того вечного источника любви, коим они одарены щедрою рукой того, кто есть **Высшая** и совершеннейшая любовь.

Закljučаю мой рассказ полным благодарным воспоминанием тринадцати лет, проведенных мною в тесном пространстве с товарищами заключения, сначала в Читинском остроге, потом на Петровском заводе.

Политический характер Союза благоденствия при-ял конец, но нравственная печать, им положенная на каждого из членов его, сохранилась неизменно и утвердила основание того взаимного уважения, того нравственного чувства, коим все одушевлялись во взаимных и близких отношениях между собой.

Взаимное уважение было основано не на светских приличиях и не на привычке, приобретенной светским образованием, но на стремлении каждого ко всему, что носит печать истины и правды. Юноши, бывшие тут, возмужали под влиянием этого общего нравственного направления и сохранили впоследствии тот же самый неизменный характер. Рассеянные по всем краям Сибири, каждый сохранил свое личное достоинство и приобрел уважение тех, с коими он находился в близких отношениях <...>





А. Е. Розен
ЗАПИСКИ ДЕКАБРИСТА

14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

Кончина Александра I. — Присяга Константину. — Междуцарствие. — Начало заговора. — Решение заговора. — Присяга и восстание. Часть л.-гв. Московского полка. — 1-й батальон. — Лейб-гренадеры. — Гвардейский экипаж. — Расставление войска. — Уговорители и мирители. — Последнее убеждение. — Очищение площади. — Толки. — Неудача. — Булатов. — Книга барона Корфа. — Восстание на юге. — Заключение.



Фельдъегерь, доставивший весть о кончине Александра I, привез вместе и доносы Майбороды и именные списки членов Тайного общества. Копия с этих списков была отправлена в Варшаву к новому императору. Между тем от 27 ноября до 14 декабря тянулось междуцарствие. Император Константин, которому присягнула вся Россия, остался спокойно в Варшаве; твердо и неуклончиво отказался от права на престолонаследие; не принял поздравлений; не распечатал пакета министра, потому что надпись была сделана на имя императора. Великий князь Михаил Павлович был послан навстречу к императору и остановился на станции Неналь Лифляндской губ[ернии], где ожидал его прибытия или верной вести об отказе его от престола. В Петербурге все умолкло среди ожиданий; музыке запретили играть на разводах; театры были закрыты; дамы оделись в траур; в церквях служили панихиды с утра до вечера. В частных обществах, в кругу офицеров, в казармах разносились шепотом слухи и новости, противоречившие одни другим. Рассказывали о духовном завещании Александра I; рассуждали о неотъемлемом праве Константина на престол, о недействительности преждевременного его отречения, когда престол еще не был упразднен, когда цар-

ствовавший брат не был лишен возможности иметь еще своих прямых наследников — детей. Выставляя великодушные великого князя Николая, который по завещанию одного брата и по отречению другого имел все право на престол, но не принял власти, чтобы не обидеть брата и чтобы отстранить всякую причину к восстанию. Я уже сказал, что он знал о существовании Тайного общества, о цели его: он имел именной список большей части членов Общества. О том знали и гр[аф] Милорадович и много приближенных к вел[икому] кн[язю] Николаю, которому адресованы были важнейшие бумаги в Петербург, откуда сообщаемы были в Варшаву. Какие же меры были приняты к уничтожению предстоявших опасностей заговора или грозившего восстания?! Решительно никаких¹. Во всем выказывалось колебание, недоумение, все предоставлено было случаю: между тем как, по верным данным, следовало только арестовать Рылеева, Бестужевых, Оболенского и еще двух или трех декабристов, и не было бы 14 декабря. Но у страха глаза велики,— в виду были отношения семейные². Правительственные лица думали о сохранении своих мест и доходов,— прильнули к лицу, к государю, оставив в стороне Отечество и государство.

6 декабря стоял я во внутреннем карауле в Зимнем дворце; выход к обеду был многочисленный; до появления царской фамилии не было никаких бесед в разных кучках, как водилось прежде: кое-где сходились офицеры и говорили вполголоса. Генерал-адъютант В. В. Левашев имел особенно воинственный вид и ни на шаг не отходил от вел[икого] кн[язя] Николая. По окончании обеда подошел ко мне Оболенский и сказал: «Надо же положить конец этому невыносимому междуцарствию».

10 декабря, вечером, получил я записку от товарища, капитана Н. П. Репина, в которой он просил меня немедленно приехать к нему; это было в 8 часов. Я тотчас поехал, полагая, что он имел какую-нибудь неприятность или беду; я застал его одного в тревожном состоянии. В кратких и ясных словах изложил он мне дело важное, цель восстания, удобный случай действовать для отвращения гибельных междоусобий. Тут речи были бесполезны: надлежало иметь материальную силу, по крайней мере несколько батальонов с орудиями. Он просил моего содействия к присоединению 1-го батальона, в чем я положительно отказался, командуя в нем

только стрелковым взводом. Можно было положиться на готовность молодых офицеров, но отнюдь не на ротных командиров. Осталась еще попытка — она могла удалиться тем легче, что утверждали содействие полковника А. Ф. Моллера, командира 2-го батальона, давнишнего члена Тайного общества. С Репиным поехал я к К. Ф. Рылееву: он жил в доме Американской компании у Синего моста; мы застали его одного, сидевшего с книгою в руках — «Русский ратник» — и с большим шерстяным платком, обернутым вокруг шеи по причине болезни горла. Во взорах его выразительных глаз, всех чертах его лица виднелась восторженность к великому делу; речь его убедительная просто текла без всякой самонадеянности, без надменности, без фигурных фраз и возгласов; вскоре приехали Бестужевы и князь Щепин-Ростовский и положили собраться при первом нужном случае, смотря по получению вестей из Варшавы.

11 декабря поехал к Репину, где к большому неудовольствию моему застал до 16-ти молодых офицеров нашего полка, рассуждавших о событиях дня и частью уже посвященных в тайны главного предприятия. Мне удалось отозвать Репина в другую комнату, заметить ему неуместность и опасность таких преждевременных откровений, что в минуту действия можно положиться на их содействие. Юность легко приводится в восторг, нет ей преград непреодолимых, нет невозможности, а чем больше затруднений и опасностей, тем больше в ней отваги. Из всех тут присутствовавших не было ни единого члена Тайного общества, кроме хозяина.

12 декабря, вечером, был я приглашен на совещания к Рылееву и князю Оболенскому; там застал я главных участников 14 декабря. Постановлено было в день, назначенный для новой присяги, собраться на Сенатской площади, вести туда сколько возможно будет войска под предлогом поддержания прав Константина, вверить начальство над войском князю Трубецкому, если к тому времени не прибудет из Москвы М. Ф. Орлов³. Если главная сила будет на нашей стороне, то объявить престол упраздненным и ввести немедленно временное правление из пяти человек, по выбору членов Государственного совета и Сената. В числе пяти называли заранее И. С. Мордвинова, М. М. Сперанского и П. И. Пестеля⁴. Временному правлению надлежало управлять всеми делами государственными с помощью совета и

Сената до того времени, пока выборные люди вся земля Русской успеют собраться и положить основание новому правлению⁵. Наверно никто не знал, сколькими батальонами или ротами, из каких полков можно будет располагать. В случае достаточного числа войска положено было занять дворец, главные правительственные места, банки и почтамт для избежания всяких беспорядков. В случае малочисленности военной силы и неудачи надлежало отступить к Новгородским военным поселениям. Принятые меры к восстанию были неточны и неопределительны, почему на некоторые мои возражения и замечания князь Оболенский и Булатов сказали с усмешкою: «Ведь нельзя же делать репетиции!» Все из присутствовавших были готовы действовать, все были восторженны, все надеялись на успех, и только один из всех поразил меня совершенным самоотвержением; он спросил меня наедине: можно ли положиться наверно на содействие 1-го и 2-го батальонов нашего полка; и когда я представил ему все препятствия, затруднения, почти невозможность, то он с особенным выражением в лице и в голосе сказал мне: «Да, мало видов на успех, но все-таки надо, все-таки надо начать; начало и пример принесут плоды». Еще теперь слышу звуки, интонацию — все-таки надо,— то сказал мне Кондратий Федорович Рылеев.

13 декабря, в воскресенье, навестили меня несколько офицеров полка. На вопрос их, как следует поступить тому, кто в день восстания будет в карауле, ответил я положительно и кратко, что тот для общей безопасности и порядка должен держаться на занимаемом посту. Если этот случай спас и наградил офицера, занимавшего караул 14 декабря в Сенате, Якова Насакина, то я искренно тому радовался. К вечеру получил я частное уведомление о назначении следующего дня к принятию присяги. Ночью вестовой принес приказ полковой, по которому всем офицерам велено было собраться в квартире полкового командира в 7 часов утра. Сон прошел; с женою рассуждали об обязанностях христианина, гражданина, о предстоящих опасностях, о коих в эти последние дни мы беспрестанно беседовали; я мог ей совершенно открыться — ее ум и сердце все понимали. Наконец с молитвою предались воле божией. Наступил час разлуки.

14 декабря, до рассвета, собрались все офицеры у полкового командира генерала Воропанова, который, поздравив нас с новым императором, прочел письмо и

завещание Александра, отречение Константина и манифест Николая. В присутствии всех офицеров я выступил вперед и объявил генералу, «что если все им читанные письма и бумаги верны с подлинниками, в чём не имею никакой причины сомневаться, то почему 27 ноября не дали нам прямо присягнуть Николаю?». Генерал в замешательстве ответил мне: «Вы не так рассуждаете, о том думали и рассуждали люди поопытнее и постарше нас; извольте, господа, идти по своим батальонам для присяги». 2-й наш батальон полковника А. Ф. Моллера занял в этот день караулы в Зимнем дворце и по 1-му отделению. 1-й батальон наш присягнул в казармах, кроме моего стрелкового взвода, который накануне занял караул в Галерной гавани и еще не успел смениться. Из казарм поехали во дворец к разводу нашего 2-го батальона, развод был без парада. На Сенатской площади еще не было ни одного солдата. Воротившись домой, получил записку Рылеева, по коей меня ожидали в казармах Московского полка. Было 10 часов утра, лошади мои стояли запряженные. Въехав на Исаакиевский мост, увидел густую толпу народа на другом конце моста, а на Сенатской площади каре Московского полка. Я пробился сквозь толпу, пошел прямо к каре, стоявшему по ту сторону памятника, и был встречен громким «ура!». В каре стояли князь Д. А. Щепин-Ростовский, опершись на татарской сабле, утомившись и измучившись от борьбы во дворе казарм, где он с величайшим трудом боролся: переранил бригадного командира В. Н. Шеншина, полкового — Фредерикса, батальонного полковника Хвошинского, двух унтер-офицеров, и наконец вывел свою роту; за ней следовала и рота М. А. Бестужева 3-го и еще по несколько десятков солдат из других рот. Князь Щепин-Ростовский и М. А. Бестужев 3-й ждали и просили помощи, пеняли на караульного офицера Якова Насакина: отчего он не присоединялся к ним с караулом своим? На это я подтвердил им данную мною инструкцию накануне. Всех бодрее в каре стоял И. И. Пущин, хотя он как отставной был не в военной одежде; но солдаты охотно слушали его команду, видя его спокойствие и бодрость. На вопрос мой Пущину, где мне отыскать князя Трубецкого, он мне ответил: «Пропал или спрятался; если можно, то достань еще помощи, в противном случае и без тебя тут довольно жертв».

Народ со всех сторон хлынул на площадь; полиция

молчала. Войска еще не было никакого с противной стороны. Поспешно поехал в Финляндские казармы, где оставался только наш 1-й баталион, куда только что успел воротиться мой стрелковый взвод по смене из караула в Галерной гавани. 2-й наш баталион в этот день занял караулы по 1-му отделению во дворце и в городе, 3-й баталион по очереди зимовал за городом по деревням. Прошел по всем ротам, приказал солдатам проворно одеться, вложить кремни, взять патроны и выстроиться на улице, говоря, что должно идти на помощь нашим братьям. В полчаса выстроился баталион, подошли офицеры; никто не знал, по чьему приказанию выведен был баталион. Адъютанты скакали беспрестанно, один из них прямо к бригадному командиру Е. А. Головину с приказанием от корпусного Войнова вести баталион. Мы тронулись ротными колоннами; у морского кадетского корпуса встретил нас генерал-адъютант граф Комаровский верхом, который государем послан был за нашим баталионом. Нас остановили на середине Исаакиевского моста подле будки; там приказали зарядить ружья; большая часть солдат при этом перекрестилась. Быв уверен в повиновении моих стрелков, вознамерился сначала пробиться сквозь карабинерный взвод, стоявший впереди меня, и сквозь роту Преображенского полка капитана Титова, занявшую всю ширину моста со стороны Сенатской площади.

Но, как только я лично убедился, что восстание не имело начальника, следовательно не могло быть единства в предприятии, и не желая напрасно жертвовать людьми, а также не будучи в состоянии оставаться в рядах противной стороны, я решился остановить взвод мой в ту минуту, когда граф Комаровский и мой бригадный командир скомандовали всему баталиону: «Вперед!» — взвод мой единогласно и громко повторил: «Стой!», так что впереди стоявший карабинерный взвод дрогнул, заколебался, тронулся не весь, и только личным усилиям капитана А. С. Вяткина, не щадившего ни ругательств знаменитых, ни мощных кулаков своих, удалось подвинуть этот первый взвод. Баталионный командир наш, полковник А. Н. Тулубьев, исчез, быв отозван в казармы, где квартировало его семейство. Дважды возвращался ко мне бригадный командир, чтобы сдвинуть мой взвод, но напрасны были его убеждения и угрозы. Между тем я остановил не один мой стрелковый взвод, за моим взводом стояли еще три

роты, шесть взводов; но эти роты не слушались своих командиров, говоря, что впереди командир стрелков знает, что он делает. Был уже второй час пополудни; по мере увеличения числа войск для оцепления возмутителей полиция стала смелее и разогнала народ с площади, много народу потянулось на Васильевский остров вдоль боковых перил Исаакиевского моста. Люди рабочие и разпочинцы, шедшие с площади, просили меня держаться еще часок и уверяли, что все пойдет ладно. В это время вместе с отступающим народом командиру нашей 3-й егерской роты капитану Д. Н. Белевцову удалось отвести свою роту назад и перейти с нею через Неву от Академии художеств к Английской набережной, к углу Сенатской площади; за этот открытый и мужественный поступок Белевцов награжден был Владимирским крестом с бантом; остальные две роты оставались за моим взводом. С лишком два часа стоял я неподвижно, в самой мучительной внутренней борьбе, выжидая атаки на площади, чтобы поддержать ее тремя с половиною ротами, или восемьюстами солдат, готовых следовать за мною повсюду.

Между тем на Сенатской площади около восьмисот человек л.-гв. Московского полка составили каре: рота М. А. Бестужева 3-го стояла лицом к Адмиралтейскому бульвару, он по необходимости должен был наблюдать за тремя фасадами, а четвертым, обращенным к Исаакиевскому собору, командовал утомившийся князь Щепин-Ростовский. Это обстоятельство дало возможность М. А. Бестужеву спасти два эскадрона конногвардейцев, обскакавших каре и построившихся на полуружейный выстрел от него. Весь фас каре, обращенный к Сенату, приложился, чтобы дать залп, но был остановлен М. А. Бестужевым, который, выбежав вперед фаса, командовал: «Отставь!» Несколько пуль прожужжало мимо его ушей, и несколько конногвардейцев свалилось с лошадей.

После московцев прибыл на площадь Сенатскую по Галерной улице батальон Гвардейского экипажа. Когда батальон этот собран был во дворе казарм для принятия присяги и несколько офицеров, сопротивлявшихся присяге, были арестованы бригадным командиром генералом Шиповым, то в воротах казарм показался Н. А. Бестужев 1-й, в то самое мгновение, когда с площади слышались выстрелы ружейные против атаки конногвардейцев, и закричал солдатам: «Наших бьют!

Ребята, за мной!» — и все ринулись за ним на площадь. Второпях забыли прихватить с собой несколько орудий, стоявших в арсенале батальонном; впрочем, все надеялись на содействие гвардейской конной артиллерии. Батальон этот, выстроившись в колонну к атаке, стал за каре л.-гв. Московского полка, за фасом, обращенным к Исаакиевскому собору.

Потом присоединились три роты л.-гв. гренадерского полка, приведенные поручиком А. Н. Сутгофом, батальонным адъютантом Н. А. Пановым и подпоручиком Кожевниковым⁶. Перебежав через Неву, они вошли во внутренний двор Зимнего дворца, где уже стоял полковник Геруа с батальоном гвардейских сапер. Командант Башуцкий похвалил усердие grenадер на защиту престола, но люди, заметив свою ошибку, закричали: «Не наши!» — и, повернув полукругом около двора, вышли из дворца, прошли мимо государя, спросившего их: «Куда вы? Если за меня, так направо, если нет, так налево!» Кто-то ответил: «Налево!» — и все побежали на Сенатскую площадь врассыпную и были помещены внутри каре Московского полка, чтобы там рассчитать и построить их поротно, чего еще не успели, как артиллерия начала действовать⁷. Должно, однако, заметить, что Сутгоф вывел свою роту в полной походной амуниции, с небольшим запасом хлеба, предварив ее о предстоящих действиях.

Всего было на Сенатской площади в рядах восстания больше 2000 солдат⁸. Эта сила в руках одного начальника, в виду собравшегося тысячами вокруг народа, готового содействовать, могла бы все решить, и тем легче, что при наступательном действии много батальонов пристали бы к возмущившимся, которые при 10-градусном морозе, выпадавшем снеге с восточным резким ветром, в одних мундирах ограничивались страдательным положением и грелись только неумолкаемыми возгласами: «Ура!» Не видать было диктатора, да и помощники его не были на месте. Предложили Булатову — он отказался⁹; предложили Н. А. Бестужеву 1-му — он, как моряк, отказался; навязали наконец начальство князю Е. П. Оболенскому, не как тактику, а как офицеру, известному и любимому солдатами. Было в полном смысле безначалие: без всяких распоряжений, — все командовали, все чего-то ожидали, и в ожидании дружно отбивали атаки, упорно отказывались сдаться и гордо отвергли обещанное помилование.

Постепенно, смотря по расстоянию казарм от дворца, собирались войска противной стороны: л.-гв. конный полк приблизился к площади со стороны Английской набережной, батальоны Измайловского и егерского полков по Вознесенской улице к Синему мосту. Л.-гв. Семеновский по Гороховой. Близ Адмиралтейского бульвара стояло каре л.-гв. Преображенского полка, там присутствовал новый император на коне с многочисленною свитою; в каре находился цесаревич, отрок семилетний, с воспитателем своим¹⁰. Впереди каре поставлены были орудия бригады полковника Нестеровского, под прикрытием взвода кавалергардов под командою поручика И. А. Анненкова. Позади каре батальон л.-гв. Павловского полка; саперы стерегли дворец. Преданность войск к престолу была не безусловная: она колебалась в эту минуту. Когда 2-му батальону л.-гв. егерского, ныне Гатчинского, полка приказано было двинуться вперед от Синего моста и он уже тронулся, то по команде Якубовича: «Налево кругом!» — весь батальон обратился назад, несмотря на совершенную преданность престолу батальонного командира полковника В. И. Буссе, который за этот случай не получил звания флигель-адъютанта, отличия, коего удостоились получить все батальонные командиры, кроме еще моего батальонного командира А. Н. Тулубьева за то, что один взвод задержал три роты. Измайловский полк в тот день был также весьма ненадежен. Зато конногвардейский полк под начальством А. Ф. Орлова молодецки пять раз атаковал каре москвитцев и пять раз был отбит штыками и залпами: два эскадрона их были спасены от истребления М. А. Бестужевым 3-м. Я уже сказал, что у солдат было не больше пяти патронов в суме; пулею ранен был в руку ротмистр Велию, а поручик Галахов — камнем, брошенным из толпы народа.

Когда войско было расставлено так, что возмутители со всех сторон были окружены густыми колоннами, то народу уже немного оставалось на площади, и полиция уже смелее начала разгонять его с Адмиралтейской площади и Дворцовой, где сам император, на коне, приказывал народу и упрасивал его разойтись по домам, чтобы не мешать движению войск. Все средства были употреблены государем, чтобы прекратить возмущение без боя, без кровопролития¹¹.

Первый из тех, которые желали и старались уговорить возмутителей к возвращению в казармы, был кор-

пусной командир Войнов; но все его убеждения были напрасны, угрозы также, и кончилось тем, что из толпы народа кто-то пустил в него поленом так сильно в спину, что у старика свалилась шляпа и он принужден был удалиться. Генерал Бистром удерживал остальные роты л.-гв. Московского полка от присоединения их к восставшим товарищам и уговаривал их содержать караулы в тот же вечер. Генерал И. О. Сухозанет примчался к каре как бешеный, просил солдат разойтись, прежде чем станут стрелять из пушек; его спровадили и сказали: «Стреляйте!» Великий князь Михаил Павлович, в этот день только что возвратившийся из Неналея, с самоотвержением подъехал к каре, стал уговаривать солдат и едва не сделался жертвой своей смелости. В. К. Кюхельбекер, видя, что великому князю может удастся отклонить солдат, уже прицелил в него пистолетом, Петр Бестужев отвел его руку, пистолет дал осечку; князь должен был удалиться. Граф М. А. Милорадович, любимый вождь всех воинов, спокойно въехал в каре и старался уговорить солдат; ручался им честью, что государь простит им послушание, если они тотчас вернутся в свои казармы. Все просили графа скорее удалиться; князь Е. П. Оболенский взял под узду его коня, чтобы увести и спасти всадника, который противился; наконец, Оболенский штыком солдатского ружья колот коня его в бок, чтобы вывести героя из каре¹². В эту минуту пули Каховского и еще двух солдат смертельно ранили смелого воина, который в бесчисленных сражениях и стычках участвовал со славою и оставался невредимым: ему суждено было пасть от русской пули. Командир л.-гв. гренадерского полка полковник Стюрлер старался отвести своих grenадер, отделившихся от полка, и уговаривал их возвратиться с ним к полку и к долгу своему: пули Каховского и нескольких солдат ранили его смертельно¹³. Наконец по приказанию государя употреблено было еще последнее средство к усмирению: на извозничьих санях подъехал митрополит Серафим в сопровождении киевского митрополита Евгения и нескольких священников с животворящим крестом, умолял братьев христианскою любовью возвратиться в свои казармы. Серафим, равно как прежде него великий князь Михаил и граф Милорадович, обещал именем государя совершенное прощение всем возмущившимся, кроме зачинщиков. Его выслушали; воины осенили себя знаменiem креста, но мольбы его оста-

лись также тщетными; ему сказали: «Поди, батюшка, домой, помолись за нас за всех, здесь тебе нечего делать!»

День декабрьский скоро кончается: в исходе третьего часа начинает смеркаться; без сомнения, в сумерки нахлынул бы народ, разогнанный полицией; наверно, пристала бы часть войска. Император долго не решался на *ultima ratio regis* *, но видел, что медлить было нечего, и был вынужден прибегнуть к этому средству, когда граф Ф. К. Толь, прибывший в Петербург в тот же день после великого князя Михаила, сказал ему: «Sire, faites balayer la place par la mitraille, ou renoncez au trône» **.

Государь никогда не мог простить ему этой выходки, хотя не пренебрегал его полезною службою и доказанными его знаниями и способностями полководца.

Первый выстрел пушки, заряженной холостым зарядом, прогремел, — в ответ послышалось «ура!» — второй и третий посылали ядра, одно засело в стене Сената, другое навечно полетело по направлению от угла Сената к Академии художеств. Восстание опять ответило громким и звонким «ура!». Зарядили картечью; полковник Нестеровский наводил пушки, сам государь скомандовал: «Первая!», но фейерверкер с фитилем начал креститься; опять послышался тот же голос: «Первая»; тогда поручик Илья Бакунин приложил фитиль: в секунду картечь из орудий посыпалась градом в густое каре. Восстание разбежалось по Галерной улице и по Неве к Академии. Пушки двинулись вперед и дали другой залп картечью, одни по Галерной улице, другие — поперек Невы. От вторичного, совершенно напрасного залпа картечью учетверилось число убитых, виновных и невиновных, солдат и народа, особенно по узкому дефиле или ущелью Галерной улицы. Три фаса московского каре бросились с М. А. Бестужевым 3-м к набережной, картечь их провожала; на Неве он хотел построить людей по отделениям, но ядра, пущенные с угла Исаакиевского моста, подломили лед, и много потонуло людей; без этого обстоятельства, может быть, удалось бы Бестужеву занять Петропавловскую крепость. Лейб-гренадеры, Гвардейский экипаж и четвертый фас московского каре бро-

* Последний довод короля (лат.) ¹⁴.

** Ваше величество, прикажите очистить площадь картечью или откажитесь от престола (франц.).

сились по Галерной, куда подвезли пушки и повалили солдат продольными выстрелами. По этому случаю л.-гв. Павловский полк не мог быть помещен в Галерной улице во время дела, как повествует о том граф Комаровский в своих записках; но этот полк был поставлен там поздно вечером, после решения дела¹⁵, и едва не арестовал Бестужева, когда тот, уже переодетый в партикулярное платье, пробирался к К. П. Торсону.

Почти покажется невероятным, что из моих товарищей никто не был ни убит, ни ранен: у многих шинели и шубы были пробиты картечными пулями. Из залпа, сделанного против третьей атаки конной гвардии, одна пуля сорвала у меня левую кисточку от киверного кутаса и заставила ряд стрелков наклонить головы вбок; шутник это заметил и сказал: «Что это вы кланяетесь головами не прямо, а в сторону?» Особенно в баталионе Гвардейского экипажа легли целые ряды солдат; офицеры остались невредимы. Все бросились с площади по двум означенным направлениям, один только остановился, подошел к генералу Мартынову, чтобы через него передать свою саблю великому князю Михаилу, — то был Гвардейского экипажа лейтенант М. К. Кюхельбекер. В это самое время наскочил на него полковник пионерного эскадрона Засс с поднятою саблею, что заставило генерала Мартынова остановить его порыв и сказать ему: «Ай да храбрый полковник Засс! Вы видели, что он вручил мне свою полусаблю!» Когда площадь очистилась от возмутителей, то конная гвардия повернула к Исаакиевскому мосту на Васильевский остров. Я скомандовал налево кругом и остановил взвод возле манежа 1-го кадетского корпуса. По прибытии полкового командира из дворца приказано мне было вести мой взвод во двор директора всех корпусов, в 1-й линии, против Большого проспекта. Приехал полковой священник; мне приказано было отойти от моих людей. Я видел, что солдаты сомкнулись в круг, священник стал их расспрашивать и готовить к присяге; тогда я быстро ворвался в круг и громко, во всеуслышание объявил священнику, что солдаты мои ни в чем не виноваты, они слушались своего начальника. Взвод мой присягнул. Звезды горели на небе, а на земле бивачные огни в разных направлениях; меня со взводом моим назначили занять Андреевский рынок и караулить тамошний небольшой гостиный двор. Патрули ходили беспрестанно, и конные, и пешие; послали за шинелями в казар-

мы. С 10 часов утра до 10 часов вечера щеголял я с солдатами в одних тонких мундирах. Взводу принесли хлеба из казарм; негоциант Герман Кнооп, мой норвежский знакомец, велел им дать пищу и по чарке водки, а для меня принес бутылку отличнейшего вина. В течение ночи очищали Сенатскую площадь, Галерную улицу и дорогу через Неву; раненых отвезли в госпитали, близ прорубей находили различные одежды¹⁶. На другой день увиделся с женою на два часа, чтобы расстаться надолго. Меня арестовали по высочайшему повелению 15 декабря рано утром.

Действия или действователи 14 декабря обсуждены различным образом: одни видели в них мечтателей, другие — безумцев, третьи бранили, называли их обезьянами Запада, четвертые укоряли их в непомерном честолюбии; иной порицал безусловно, другой жалел; мало кто судил беспристрастно, и то почти тайно, соображаясь с достоинствами отдельной личности и выпуская из виду главную причину и главную цель. Газеты тогда не смели печатать правду; с плеча постановили приговор свой: что все мятежники-декабристы были гадко одеты и все имели зверский вид и отвратительную наружность. Совершившееся дело показало, что предприятие было явно начато среди белого дня. На большой площади, в виду народа, несколько человек дерзнуло обнаружить неудовольствие и ожидало общего участия для лучшей перемены. Правда, что первые роты из л.-гв. Московского полка были выведены под предлогом верности данной присяге Константину. Правда и то, что когда слышались возгласы в толпе: «Лучше вместо Константина конституцию!» — и когда спросили нескольких человек: «Кто это конституция?», то ответили им: «Это супруга Константина». Но также правда и то, что гренадерам и надежным унтер-офицерам были объявлены другие причины, — а в толпе посторонних хорошо знали эти причины! Декабристам на площади легко было предвидеть худой конец. Рылеев как угорелый бросался во все казармы, ко всем караулам, чтобы набрать больше материальной силы, и возвращался на площадь с пустыми руками; следовательно, они сознательно обрекли себя на жертву, обнаружили мужество, которое борется без всякой надежды на успех; и вышло, как мне сказал Рылеев: «А все-таки надо, все-таки надо!»

Однако успех предназначенного предприятия был

возможен, если сообразим все обстоятельства. Две тысячи солдат и вдесятеро больше народу были готовы на все по мановению начальника. Начальник был избран, я жил с ним вместе под одною крышею шесть лет в Читинском остроге и в Петровской тюрьме за Байкалом. Товарищи знали его давно и много лет до рокового дня; все согласится, что он был всегда муж правдивый, честный, весьма образованный, способный, на которого можно было положиться. Не знаю: отчего он не явился в назначенный час в назначенное место? Он, я думаю, и сам этого не знал: психология или физиология на то ответит. Согласен, что он потерял голову, могу назвать его жалким в этот день: но подлости, измены в нем не допускаю... В критическую минуту пришлось его заменить; из двух назначенных ему помощников один, полковник Булатов, имел способность и храбрость, но избрал себе сам отдельный круг действий; другой — капитан А. И. Якубович, с повязкою на простреленном челе, с безответною саблею, лихой рубака на Кавказе, — не принял начальства, он хотел действовать независимо. И в самом деле, хотел ли он протянуть или затянуть дело, но он играл роль двусмысленную: то подстрекал возмутителей, то обещал императору склонить их к покорности. Предложили начальствовать Н. А. Бестужеву 1-му: он, как моряк, отказался. Почти насильно поручили начальство князю Е. П. Оболенскому. Между тем уходило время; не было единства в распоряжениях, отчего сила вместо действующей стала только страдательною. Московцы твердо устояли и отбили пять атак л.-гв. конного полка. Солдаты не поддавались ни угрозам, ни увещаниям. Они не пошатнулись пред митрополитом в полном облачении с крестом, умолявшим их во имя господа. Эта сила, на морозе и в мундирах, стояла неподвижно в течение нескольких часов, когда она могла взять орудия, заряженные против нее. Орудия стояли близко под прикрытием взвода кавалергардов, под командою члена Тайного общества И. А. Анненкова. Нетрудно было приманить к себе л.-гв. Измайловский полк, в котором было много посвященных в тайны Общества. В ту же ночь бритвою лишил себя жизни капитан Богданович, упрекнув себя в том, что не содействовал¹⁷. Она могла разогнать полицию или арестовать полицию и удержать народ, доказавший готовность вооружиться чем попало — хоть поленом. Наконец в этот самый день занимал караулы во дворце,

в Адмиралтействе, в Сенате, в присутственных местах 2-й батальон л.-гв. Финляндского полка под начальством полковника А. Ф. Моллера, старинного члена Тайного общества; в его руках был дворец. Относительно Моллера я должен сказать, что накануне, 13 декабря, был у него Н. А. Бестужев, чтобы клонить его на содействие с батальоном; он положительно отказался и среди переговоров ударил по выдвинутому ящику письменного стола, ящик разбился. «Вот слово мое,— сказал он,— если дам его, то во что бы ни стало сдержу его; но в этом деле — не вижу успеха и не хочу быть четвертованным».

На Адмиралтейском бульваре, в двадцати шагах от императора, стоял полковник Булатов, командир армейского егерского полка в дивизии Н. М. Сипягина, недавно прибывший в Петербург в отпуск. Он имел два пистолета заряженных, за пазухой, с твердым намерением лишить его жизни: но рука невидимая удерживала его руку. В Булатове всегда было храбрости и смелости довольно. Лейб-гренадерам хорошо известно, как он в Отечественную войну с своею ротою брал неприятельские батареи, как он восторженно штурмовал их, как он под градом неприятельской картечи, во многих шагах впереди роты увлекал людей куда хотел. Этот смелый воин, когда государь при личном допросе изъявил ему удивление свое, что видит его в числе мятежников, ответил откровенно, что, напротив того, он удивлен видеть пред собою государя. «Что это значит?» — «Вчера с лишком два часа стоял я в двадцати шагах от вашего величества с заряженными пистолетами и с твердым намерением убить вас; но каждый раз, когда хватался за пистолет, сердце мне отказывало». Государю понравилось откровенное признание, и он приказал не сажать его в казематы крепости, где мы все содержались, но поместить его в квартире коменданта и дать ему хорошее содержание. Чрез несколько недель Булатов уморил себя голодом¹⁸, выдержав ужасную борьбу: имея пред собою хорошую и вкусную пищу, он сгрыз ногти своих пальцев и сосал кровь свою. Эти подробности передал мне плац-адъютант капитан Николаев и прибавил: Булатов сделал это от угрызений совести и глубокого раскаяния. «В чем же он раскаивался, когда он никого не убил и все стоял в стороне, как прочие зрители?» — спросил я. «То господа богу одному известно!» — ответил адъютант крепости.

Воспоминания мои написаны были в тридцатых годах. В 1857 году напечатана была книга «Восшествие на престол императора Николая I», составленная бароном М. А. Корфом, по запискам многих членов императорского дома и приближенных ко двору¹⁹. Если эти показания разнятся с моими, то это очень естественно, потому что составители записок, кроме великого князя Михаила Павловича и А. Ф. Орлова, находились в Зимнем дворце или окружали государя и двигались с ним только по Дворцовой и по Адмиралтейской площади, вдоль бульвара. Впрочем, разности эти столько же неважны, сколько разности в описании какого бы то ни было сражения, в коем невозможно, чтобы один человек верно и точно обнял бы взглядом все совершившиеся одновременные действия и движения в различных местностях.

Барон Корф приводит положительные факты, из коих видно, что император, быв еще великим князем, знал об изменении престолонаследия и еще до 27 ноября знал о существовании тайных обществ, и до 14 декабря имел именной список заговорщиков. То же самое подтверждает г. Устрялов в своем сочинении: «Царствование императора Николая I», напечатанном в 1848 году. Говорили, что первые страницы этой книги были пересмотрены самим императором до напечатания книги. Положительны были донесения графа Витта, доносы Шервуда и Майбороды, особенно последнего, бывшего казначеем Вятского пехотного полка полковника П. И. Пестеля и промотавшего в Москве несколько тысяч рублей при закупке полковых вещей. Кроме названных доносчиков был еще предостерегатель молодой офицер И. И. Ростовцев, адъютант генерала Бистрома. Нельзя причислить его к доносчикам, потому что он 12 декабря предварил членов Общества Рылеева и Оболенского, дав им прочесть письмо, написанное великому князю Николаю Павловичу, благодетелю его семейства. В письме своем предостерегал он его высочество от предстоящей опасности вообще, но не называл никого. В своем месте, далее, приложу подлинное письмо Оболенского ко мне относительно Ростовцева. По всем этим данным нетрудно сделать вывод, по какой причине великий князь Николай Павлович 27 ноября не исполнил завещания императора Александра I. Упомянутые два сочинения приписывают эту причину братской любви; но всем известно, что между обоими братьями,

Константином и Николаем, не было никогда особенного сочувствия или дружбы; сверх того, характеру Николая несродно было увлечение нежности или равнодушие к власти. Не вернее ли будет заключение, если скажем, что, имея в руках все доносы, в коих могли быть названы важные лица, даже не принадлежавшие к тайным обществам, Николай видел в одном краю России брата своего Константина, наследника престола по праву, во главе лучшей армии по своему устройству и обучению, в другом краю — А. П. Ермолова с обстрелянными и порохом пропитанными своими кавказцами, — в Петербурге напрасно заподозрили К. И. Бистрома, идола гвардейских солдат, и еще Н. С. Мордвинова и М. М. Сперанского и других, известных по любви к свободе, — на юге он видел в Тульчине и в Белой Церкви генералов и полковых командиров Пестеля, Бурцова, Аврамова, Тизенгаузена, Арт. З. Муравьева и батарейных начальников — Ентальцова и Берстеля... Такие сведения, подобные доносы заставляли невольно призадумываться...

В тот же самый день, 14 декабря²⁰, за 1500 верст от Петербурга был арестован полковник П. И. Пестель, главный двигатель Общества на юге. Приказ об его арестовании дан был из Таганрога вследствие доноса Майборода. Штаб главной квартиры 2-й армии вытребовал полкового командира под предлогом дел по службе; Пестель догадался, но не думал о восстании, просил только спрятать его «Русскую правду» и поехал в Тульчин, где перед заставой встретили его жандармы и проводили уже как арестанта. 29 декабря были арестованы братья С. и М. Муравьевы-Апостолы полковым командиром Черниговского пехотного полка; в ту же ночь молодые офицеры — члены тайного Общества соединенных славян Кузьмин, Соловьев, Сухинов, Мазалевский и другие освободили арестантов, ранили полкового командира Гебеля, и подняли шесть рот, расположенных ближе к полковому штабу. С. И. Муравьев выступил 31 декабря с намерением присоединиться к ближайшим сообщникам в Киеве. 1 января была дневка в Мотовиловке; через день повернул на Белую Церковь, а между Устиновкой и Королевкой был он настигнут отрядом гусар генерала Гейсмара; он выстроил каре, не велел стрелять и повел солдат в атаку на орудия. Картечный выстрел ранил и повалил его, а когда он опомнился, то уже не мог собрать солдат; он и Бе-

стужев-Рюмин были ими выданы гусарскому эскадронному командиру. Прочие офицеры и М. И. Муравьев-Апостол были взяты в плен, а младший брат его Ипполит Иванович был убит во время атаки²¹. Ротный командир Кузьмин под арестом застрелился. Сухинову удалось дойти до Кишинева, чтобы перебраться за границу, но он был выдан²². В своем месте возвращусь к этому происшествию, теперь выведу заключение о 14 декабря.

На упрек в употреблении для восстания и переворота военной силы, которая назначена на охранение и на защиту общественного спокойствия, замечу только, что к тому прибегли обдуманно для избежания междоусобной брани, для быстрого введения первоначального нового порядка. Напрасно много твердили и писали, что восстание 14 декабря осадило Россию назад на полстолетия и не позволит правительству привести в скорейшее исполнение свои благие намерения. Напротив того, оно было поводом к изобличению всех злоупотреблений старинных и новых, и вместе с тем последовавшее расследование заговора указало не только на язвы государственного устройства, но и представляло средства к вернейшему и скорому излечению. Новый государь в несколько месяцев узнал все состояние России лучше, нежели то удалось предшественникам его в десятки лет. Время скоро сотрет наименование мятежников и верно-подданных 14 декабря и соединит всех граждан для блага и для пользы общей. Конечно, так или иначе, благо устроилось бы и без 14 декабря: но это уже зависело бы не от Тайного общества, не от заговора, а от правительства. 27 ноября была сделана ошибка; но в десятых днях декабря, когда не оставалось никакого сомнения в чистосердечном отречении Константина от престола, когда Николаю известны были имена главных заговорщиков в Петербурге, то становится непостижимым, почему не предпринимал он никаких предупредительных мер? Дело выказалось и было очень просто: следовало арестовать Рылеева, Оболенского, Бестужевых, много что десять человек, и не было бы кровопролития 14 декабря, а там уже нетрудно было справиться поодиночке с отдельными членами тайных обществ. Ошибка важная со стороны государя; вот почему он и забыть не мог этого рокового дня. При малейшем нарушении могильной тишины и дисциплины имел он при-

вычку повторять: «Ce sont mes amis du quatorze!» * Вспоминание государя о 14 декабря на смертном одре своем в 1855 году застало еще 25 ссыльных в Сибири, переживших друзей. Впрочем, не один Николай называл их своими друзьями, но случалось мне слышать иногда от сосланных товарищей и родственников их: «Ce sont nos amis du quatorze**», которые удружили нам ссылкой». На это возражал я каждый раз, «что лучше томиться в Сибири, чем сгнить в Шлиссельбурге и Бобруйске».

СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Арест. — Спор за грамматику. — Караульня кавалергардская. — Допрос в Зимнем дворце. — Н. А. Бестужев 1-й. — Холод и голод. — Сострадательный часовой. — Перемещение. — Петропавловская крепость. — Каземат. — Одиночество. — Припоминания. — Следственная комиссия. — Допрос в крепости. — Действия комиссии. — Песни. — Кандалы. — Похороны. — Предчувствие, сочувствие. — М. Ф. Митков. — Полночь. — Очная ставка. — Свидание.

Поутру 15 декабря, как я уже сказал, за мной приехал полковой адъютант Грибовский и отвез меня к полковому командиру, где застал всех офицеров, кроме бывших еще в карауле с 14 декабря и еще не сменившихся. Генерал вспомнил мое вчерашнее замечание по поводу присяги, упрекнул меня, что я замарал мундир, и спросил присутствующих: «Кто из вас отвезет Розена на главную гауптвахту Зимнего дворца?» — никто не вызвался; тогда обратился он к дежурному по полку капитану Д. А. Тулубьеву и приказал отвезти меня в своей карете, а сани мои по моему приказанию ехали за каретой. В комендантской взяли мою шпагу, поставили ее в угол, где их стояло уже с полдюжины, и отвели меня на гауптвахту, где уже другие сутки стоял караул от нашего полка. В числе караульных офицеров стоял тут добрый мой товарищ П. И. Греч; больше обыкновенного бледный от утомления беспокойного караула, кивнул головою и сказал: «Ах, душа! Жаль тебя!» Полковник А. Ф. Моллер, напротив того, раскрасневшись, ходил взад и вперед и насвистывал в явном смущении; я попросил у него позволения написать к жене моей и отправить их с кучером моим, чтобы ее успокоить. Он сказал мне откровенно, что это невоз-

* Это мои друзья 14 [декабря] (франц.).

** Это наши друзья 14 [декабря] (франц.).

можно, но если имею что передать словесно, то охотно сделает, что сам и исполнил, передав через кучера, что я здоров и остался в Зимнем дворце. Меня отвели потом в длинную, узкую, заднюю комнату гауптвахты, где обыкновенно находятся караульные офицеры и днем, и ночью. Угол задней стены был отделен большим столом, за коим стоял диван, а на диване спал К. В. Чевкин, имея в изголовье свой свернутый мундир генерального штаба; он был арестован еще накануне 14 декабря за слишком смелую беседу с унтер-офицерами Преображенского полка в воротах казарм на Миллионной, которые пригласили его к полковому командиру²³. Чевкина перевели в другое место, а ко мне присоединили моего сослуживца капитана Н. П. Репина. При нас сменился караул, вошел славный комендант Башуцкий, осведомился о числе арестантов и, увидев меня, воскликнул: «Что это, боже мой! Такой отличный офицер!», но, догадавшись тотчас, что неуместно хвалить такого арестанта, хотел поправиться и прибавил: «То есть такой хорошей наружности!» Тогда новый караул перевел меня с Репиным в переднюю комнату, за стеклянную дверь первой перегородки от входа, где обыкновенно истопники складывали дрова на суточное отопление караульни. Из-за стеклянной двери мы видели, как конвой преображенцев окружил А. А. Бестужева 2-го (Марлинского), который сам явился во дворец с повинною головою; он был одет, как на бал, и когда конвою велели идти с ним, то сам скомандовал: «Марш!» — и пошел с ним в ногу. Через полчаса таким же порядком отвели И. И. Пущина²⁴; тут я был растроган, когда в минуту движения конвоя увидел молодого офицера, который бросился в середину конвоя, чтобы обнять Пущина: то был батальонный адъютант л.-гв. гренадерского полка С. П. Галахов.

Был уже двенадцатый час ночи; опять готовили конвой из 12 солдат Преображенского полка, не видать было арестанта; тогда вошел в мою перегородку дежурный по караулам полковник Микулин, чтобы осмотреть меня и Репина, не было ли у нас спрятанного оружия; потом объявил, что приказано вести нас к государю. Конвой повел нас по коридорам, по изгибам лестницы; в это время я почувствовал, что меня кто-то дергает за фалды мундира, оглянулся и увидел полковника Микулина, который на походе ощупал в моем кармане какую-то бумажку и вынул ее. Пришли в другой этаж, в

просторную освещенную переднюю, где беспрестанно приходили и уходили генералы и флигель-адъютанты. Неотвязчивый полковник спросил меня: от кого была записка, найденная в моем кармане? Я ответил, что не помню, но узнаю по почерку. Когда он показал мне записку, то объявил, что она жены моей. По окончании канонады на Сенатской площади просил я Репина зайти к ней и успокоить ее, потом отправил к ней солдата; чрез два часа она написала мне на бумажке: «*Sois tranquille, cher ami, Dieu me soutient, ménages toi*» *. Микулин возразил мне, что это невозможно или что жена моя не умеет писать по-французски, потому что ясно видно, что не женщина к мужчине, а, наоборот, мужчина пишет к женщине. «Не берусь быть судьей, в какой степени жена моя знает французский язык, но ручаюсь, что в этой записке нет ошибки грамматической». — «Помилуйте, да как же она пишет в мужском роде *tranquille* два *l* и *e*!» На счастье мое подошел адъютант государя полковник В. А. Перовский и прервал неприятный спор, сказав ученому грамматiku: «*Cessez donc, mon cher, vous dites des bêtises*» **. Из царского кабинета чрез генерал-адъютантские и флигель-адъютантские комнаты прошел И. В. Васильчиков в слезах; за ним шел Нейдгард, начальник штаба. На поклон мой ответил он вежливо и платком утер слезы. Вошел мой бригадный командир, остановился предо мною с невыразимым самодовольством, смотрел на меня с торжествующею улыбкою после вчерашнего неловкого положения и, наконец, удалился, когда я посреди конвоя скрестил руки на груди по-наполеоновски и готовился к допросу. Дежурный адъютант поспешно вошел и объявил, что государь более не принимает, и приказал фельдъегерям отвести меня на гауптвахту кавалергардского полка, а Репина на гауптвахту Преображенского полка.

Здесь в полковой караульне просидел я одну неделю. На другой день имел я радость увидеться с женою: она сидела в санях, я стоял на платформе и успокоил ее, сколько возможно было. На третий день вступил в караул И. А. Анненков, тот самый, который 14 декабря прикрывал артиллерию, а чрез полгода был приговорен к каторжной работе и к вечной ссылке ²⁵. Надобно упомянуть здесь, что из гвардейских и армейских пол-

* Успокойся, дорогой, бог меня охранит. Береги себя (франц.).

** Перестаньте, мой дорогой, вы говорите глупости (франц.).

ков всего более было членов Тайного общества в генеральном штабе и в кавалергардском полку. Странно было слышать суждение караульных офицеров и гостей их об арестованных однополчанах; слава богу, что таких чудаков было немного! С удовольствием провел сутки с ротмистром Тимковским; во всем видна была непритворная его привязанность к покойному императору Александру I; он не мог без слез вспоминать его. 21 декабря еще раз увиделся я с женою несколько минут. 22-го после обеда приехал за мною фельдъегерь; караульный офицер штаб-ротмистр Гудим Левкович, знаменитый в свое время мазурист, проводил меня до саней, искренно пожелав мне лучшего окончания дела. Приказано было от коменданта отвести меня в Зимний дворец к допросу.

На главной гауптвахте Зимнего дворца ожидал я моей очереди. В 10 часов вечера с конвоем отвели меня во внутренние покои царские; чрез полчаса, уже без конвоя, позвали меня в третью комнату к дежурному генерал-адъютанту В. В. Левашеву. Он сидел за письменным столом, пред ним лежали бумаги, и начал меня допрашивать по вопросным пунктам, и писал мои ответы²⁶. В начале допроса отворились другие двери, вошел император; я сделал несколько шагов вперед, чтобы ему поклониться, он повелительно и грозно сказал: «Стой!» Подошел ко мне, положил свою руку под эполет моего плеча и повторял: «Назад, назад, назад», подвигая меня и следуя за мною, пока не ступил я на прежнее место к письменному столу и восковые свечи, горевшие на столе, пришлились прямо против моих глаз. Тогда более минуты пристально смотрел он мне в глаза и, не заметив ни малейшего смущения, вспоминал, как он всегда доволен был моею службою, как он меня отличал, и прибавил, что теперь лежат на мне важные обвинения, что я грозил заколоть первого солдата, который вздумал бы двинуться за карабинерным взводом, что он требует от меня чистосердечных сознаний, обещал мне сделать все, что возможно будет, чтобы спасти меня, и ушел. Допрос продолжался, я не мог сказать всю правду, не хотел назвать никого из членов Тайного общества и из зачинщиков 14 декабря. Чрез полчаса опять вошел государь, взял у Левашева ответные пункты, искал чего-то; имен собственных никаких не было в моих показаниях; еще раз взглянул на меня с благоволением, уговаривая быть откровенным. Император

был одет в своем старом сюртуке Измайловского полка без эполет, бледность на лице, воспаление в глазах показывали ясно, что он много трудился и беспокоился, во все вникал лично; все хотел сам слышать; все сам читать. Когда он ушел в свой кабинет, то еще в третий раз отворил дверь и в дверях произнес последние слова, мною слышанные из уст его: «Тебя, Розен, охотно спасу!» Когда Левашев дописал последний пункт, то передал мне прочесть бумагу и приказал подписью засвидетельствовать истину моих показаний. Я просил его уволить меня от подписи, дав ему разуметь, что не мог показать всю правду. «В таком случае следует снова допросить вас!» Но ответы мои вторичные все-таки не могли назвать других; о личных моих действиях мне нечего было скрывать, потому что они были явны, в виду многих, под открытым небом во время дневного света; и так оставалось мне подписать правду и неправду. Эта скрытность, или это пренебрежение царским милостивым обещанием, вероятно, были одною из причин, почему 11 июля 1826 года при утверждении приговора Верховного уголовного суда из общего смягчения приговора для всех осужденных в каторгу изъяты были только четверо: два брата Н. А. Бестужев 1-й, М. А. Бестужев 3-й, М. Н. Глебов и я, а может быть, за рассуждение мое, высказанное полковому командиру в присутствии всех офицеров полка 14 декабря поутру. Еще изъят был от смягчения весь 8-й разряд, приговоренный на поселение, кроме Бодиско 1-го²⁷.

Первые эти высочайшие личные допросы государя были не для всех одинаковы, не для всех ласковы. Государь говорил с каждым обвиненным; после того делались допросы и были собственноручно записываемы генерал-адъютантами Левашевым, Толем и Бенкендорфом по очереди, всего чаще первым из них, который иногда в нетерпении, или от утомления, или от неограниченной преданности позволял себе странные выходки. Например, юному Бестужеву-Рюмину сказал он: «Vous savez: l'empereur n'a qu'à dire un mô et vous avez vécu»*. Полковнику М. Ф. Митькову сказал он: «Mais il y a des moyens pour vous faire avouer!»**, так что Митьков

* Вы знаете: императору стоит произнести слово, и вы — мертвы (франц.).

** Но есть способы заставить вас признать себя виновным (франц.).

нашелся вынужденным заметить ему, что мы живем в XIX веке и что пытка у нас уничтожена законом. Начальные допросы в Зимнем дворце не могли вникать во все подробности, но только служили к тому, чтобы государь лично мог каждого видеть и узнать новых сообщников, за которыми тотчас отправляли во все стороны фельдъегерей, жандармов и офицеров различных частей. Один из очень замечательных допросов состоялся с капитан-лейтенантом Н. А. Бестужевым. Надобно сказать наперед, что 14 декабря он хотел спастись бегством чрез ближайшую границу в Швецию: он дошел до Толбухина маяка, где караульные матросы его знали как помощника Спафарьева, директора всех маяков. Там он остановился, чтобы обогреться, но на беду узнала его жена одного матроса и донесла: там его догнали и на третий день привели во дворец. Он был измучен и голодом, и холодом. На счастье его, проходил в это время великий князь Михаил Павлович, так что Бестужев мог обратиться к нему с просьбою, чтобы он приказал дать ему пищи для подкрепления сил; иначе он не будет в состоянии отвечать на допросе. Кстати, в этой же комнате стоял ужин для дежурных флигель-адъютантов, и великий князь приказал ему сесть за стол и во время его ужина беседовал с ним несколько минут. Известны юмор великого князя и способность составлять каламбуры. Говорили, что он по уходе Бестужева обратился к адъютантам своим, Бибикову и Анненкову, и сказал им, перекрестившись: «Слава богу, что я с ним не познакомился третьего дня, он, пожалуй, втянул бы и меня!» Государь принял Н. А. Бестужева ласково, был тронут его выражениями и чувствами, исполненными высокой любви к Отечеству, и сказал ему: «Вы знаете, что все в моих руках, что могу простить вам, и если бы мог увериться в том, что впредь буду иметь в вас верного слугу, то готов простить вам». — «Ваше величество! В том и несчастье, — ответил Бестужев, — что вы все можете сделать; что вы выше закона: желаю, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности». В том же духе говорили другие, стараясь сколько возможно яснее представить зло от своеволия и самовластья. Они не могли укорять нового государя, царствующего только несколько дней; они не могли иметь личностей к нему, следовательно, могли говорить беспристрастно. С гораздо большими подробностями и с большею откровен-

ностью могли они развить свои убеждения изустно и письменно пред комитетом. Были, однако, примеры: чистосердечное признание императору, мольбы к нему о пощаде спасали приведенных в Зимний дворец. Так было с Трубецким, с Раевским, с Бурцовым, который в 1827—1828 годах оказывал величайшую храбрость и величайшие заслуги в турецкой и персидской войне как авангардный генерал, так что о нем печатно упоминалось в каждой реляции. Почти все члены первоначального Тайного общества, не участвовавшие в тайных совещаниях 1824 года и 1825-го, и особенно последних недель до 14 декабря, были изъяты от предания суду и только временно удалены на Кавказ или оставлены в местах своего жительства под присмотром полиции.

По окончании моего первого допроса повели меня обратно на главную гауптвахту дворца, за ту же перегородку, которую занимал прежде; она была первая на правой руке при входе в первую караульную комнату. Свет получала комнатка от полустеклянной двери, а тепло чрез верхний край деревянной перегородки, следовательно не могло быть ни светло, ни тепло, а только сносно на несколько часов. Я ожидал каждую минуту, что переведут меня или на другую гауптвахту, или в крепость. Ночь проспал на стуле, облокотясь о большой стол. На другой день видел, как беспрестанно приводили и уводили новых арестантов, военных и статских, знакомых и незнакомых. В случае слишком многочисленного их съезда сажали некоторых на несколько часов за мою перегородку, тогда приставляли еще другого часового с ружьем, со строгим приказанием, чтобы арестанты не говорили между собою; большой стол служил нам тогда внутреннюю перегородкою. Так провели со мною по несколько часов Поливанов, гр[аф] Булгари и много незнакомых; всех долее, даже целую ночь провел в моей комнатке полковник П. Х. Граббе, что особенно памятно для меня по бодрости его духа, по совершенному спокойствию его. Он был одет щеголем в мундире Северского конноегерского полка, со множеством орденов, в числе их Георгиевский крест. Когда на другой день вошел караульный полковник, то я с негодованием сказал ему: «Прикажите дать заслуженному полковнику хоть сноп соломы: он целый день и всю ночь провел здесь хуже, чем на бивуаках!» Наступили праздники рождественские, меня забыли,— между

тем, я сидел в узких ботфортах, в мундире; к счастью, имел при себе шинель, которая меня грела. Все проходящие в караульную смотрели в стеклянную дверь мою, почему я перевернул стул так, что мог сидеть спиною к дверям. Каждый день полковник и капитан нового караула обходили всех арестантов. В пятый день пришла очередь полковнику В. И. Буссе, прежнему моему сослуживцу; я просил его послать на мою квартиру, чтобы принесли мне сюртук, рейтузы, полусапожки и белье. Через несколько часов эти вещи были мне доставлены; добрая жена моя прибавила мягкую сафьяновую желтую подушку. В конце декабря рано смеркается; свечей мне не давали, да и незачем: потому что книг не было, а чрез стеклянную дверь проникал свет огня караульных и отражал на противоположной стене тени проходящих. Голоса разговаривающих были ясно слышны. Вообразите себе мое положение, когда я вечером услышал голос родного брата моего Отто; я вскочил, увидел его, слышал, как он просил позволения со мною видиться. Я его видел, но не мог говорить; он говорил, но меня видеть не мог...

В третий день праздника великий князь Михаил Павлович вошел в караульную, остановился при входе у моих дверей и спросил: «Как! Он все еще здесь?» Мне не хотелось ему сказать, что мне не на чем даже лежать, что мне холодно и что я голоден. Действительно, мне давали буквально к обеду и ужину по полутарелке холодного супу и по тоненькому кусочку ситного хлеба, в несколько золотников весу. Помню, что когда полковник Микулин во второй раз занял караул во дворце, то, лично осмотрев, приказал, чтобы не давали мне пищи больше той, которую я получал. Понятно, что это было не от скупости, не от жестокости, не от бережливости дворцовой кухни, а от беспечности и от несметного числа неожиданных гостей, стекавшихся со всех концов России. Один из товарищей моих, быв на допросе у государя, заявил, что его помещение невыносимо смрадно во дворце; «Что же делать,—ответил государь,—всех теперь равно и одинаково содержат: это случайно и временно!» Сон мой не мог быть продолжителен; я лег бы охотно на голый пол, но на полу было нестерпимо холодно; в моей каморке, прежде нежели она стала моею резиденциею, складывались дрова на суточное отопление покоев караульных. Ночью услышал я вполголоса зовущего солдата: «Ваше благоро-

дие, ваше благородие!» Я обернулся на стуле с вопросом: «Что такое?» — «Извольте испить свежего кваску, и вот еще мягкая булочка». То и другое он передал мне, просунув в дверь. Я ел и пил с жадностью, припоминая поговорку: «Хлеб мягкий да квас яшный,— проел бы целую осеннюю ночь!» Кормилец мой был солдат Преображенского полка, в тот самый день, когда полковник Микулин строго приказал не давать мне более той пищи, которую он сам осмотрел. Таких сострадательных солдат нашел я четырех в двенадцатидневную бытность мою на дворцовой гауптвахте; кроме упомянутого солдата еще из полка, в котором я служил, и из л.-гв. Измайловского и егерского. Иногда я вслушивался внимательно в ночные разговоры караульных солдат; в передней стояло их человек до двенадцати: «А жалко, брат! Много молодцов запирают в крепости, то и дело, что с утра до вечера туда их возят фельдъегеря!» Может статься, что сострадание их или внимание ко мне было возбуждено тем обстоятельством, что за другою перегородкою возле печки, в той же общей передней, содержались арестанты из Гвардейского экипажа — два брата Беляевых, Бодиско, Акулов, которым приносили такой же обед роскошный, какой приносили караульным офицерам; крох от их стола было бы достаточно на пропитание такого же еще числа арестантов; дворцовая казна не скупилась; но караульные начальники не умели распорядиться.

Наступил новый, 1826 год; я встретил его за тою же холодною перегородкою. 3 января вошел опять в караульную великий князь Михаил Павлович и, повернувшись к моей двери, сказал сердито: «Что это такое, он все еще здесь?!» — и тотчас вернулся. Чрез два часа флигель-адъютант полковник Веселовский перевел меня чрез дворцовый коридор к салтыковскому подъезду, где меня поместили в чистой комнате, где была кровать с тюфяком и чистым бельем. К двум запертым дверям анфилады комнат были приставлены по одному часовому фуhrштадтского баталиона с голыми саблями. Я бросился на постель, забыл все горе, уснул, как блаженный, пока не разбудил меня стук сабель и бряцанье шпор конвоя. Вошел тот же Веселовский, а за ним арестованный полковник Н. Н. Раевский, которого поместили в комнате рядом с моею, заперли дверь и приставили часового. Попеременно начинали мы разговор, но часовые упрашивали не говорить; это не мешало

нам сообщаться несколькими словами нараспев, как будто бы распевали вполголоса каждый про себя. Величайшую тоску терпел мой сосед от запрещения курить табак; на другой день увели моего соседа. Ему пришлось опять идти чрез мою комнату, он обнял меня со слезами и сказал: «*Le même sort nous attend*» *. Слава богу, пророчество для него не сбылось. Меня так долго держали во дворце, что я начал надеяться на счастливый оборот, как 5 января увидел из окна подъехавшего к салтыковскому подъезду моего бригадного командира; худое предвестие, подумал я, и в самом деле, после обеда в три часа вошел дежурный по караулам с фельдъегерем, который отвез меня в Петропавловскую крепость.

С стесненным сердцем въехал я в ворота крепости; меня приветствовали колокольные звуки крепостных часов, старинных курантов, звонивших протяжно каждый час мелодию „*God save the king!*“ **. В комендантском доме застал я четырех офицеров л.-гв. Измайловского полка Андреева, князя Вадбольского, Миллера и Малютина. Чрез полчаса вошел комендант на деревянной ноге, генерал-адъютант Сукин, прочел пакеты, поданные фельдъегерем, и объявил нам, что по высочайшему повелению приказано держать нас под арестом. В той же комнате с нами стоял пожилой мужчина с проседью, в статском сюртуке, с Анненским крестом, украшенным бриллиантами, на шее. Комендант обратился к нему, узнал его и воскликнул с укором: «Как! И ты здесь по этому же делу с этими господами?» — «Нет, ваше высокопревосходительство, я под следствием за растрату строительного леса и корабельных снарядов». — «Ну так слава богу, любезный племянник», — сказал комендант и родственно пожал руку честного чиновника. Плац-майор крепости Е. М. Подушкин отвозил нас поодиночке; он спросил меня: «Есть ли у вас чистый платок носовой?» — «На что это?» — «Чтобы по форме завязать вам глаза». К счастью, был у меня такой: иначе пришлось бы понюхать его табачный платок. Он завязал мне глаза, взял под руку, свел с крыльца и посадил в сани с нежнейшею заботливостью, чтобы я не споткнулся и не ушибся. С такою же предусмотрительностью помог мне выйти из саней; опять

* Одна участь ждет нас (франц.)

** Боже, храни короля! (Англ.)

взял под руку, предварил, что тут порог, тут шесть ступеней, потом повелительно произнес: «Фейерверкер! Отопри 13-й нумер!» Зазвенели ключи, брякнули два замка, один висячий, другой внутренний: мы вошли — двери притворились²⁸. Тогда плац-майор снял мой платок с глаз и пожелал мне возможно скорейшего освобождения. Я просил, чтобы он приказал накормить меня; в тот день я ничего не ел, а четырнадцать дней сряду во дворце голодал каждый день. Плац-майор затруднился моею просьбою, заметив, что обеденная пора уже давно прошла; извинялся простотою крепостной кухни, вероятно, предполагая меня в числе избалованных гастрономов, однако обещал прислать мне тем охотнее, что я спросил только хлеба и воды.

В конурке моей было темно, что меня не поразило, потому что на дворе вечерело. Окно было забито плотною и частою железною решеткою; днем виднелась только узкая полоса горизонта и часть крепостного гла-сиса. К одной стенке приставлена была кровать с тюфяком и серо-сизым одеялом, а у другой стоял столик и ставчик; пространство было трехугольное — два простенка каменных Кронверкской куртины, соединенные загородкою из стоячих бревен. Все эти загородки только что были сделаны из сырого лесу в два ряда, по двум продольным стенам куртины, наружная стена имела треугольные, а внутренняя — четырехугольные каморки или стойла, в четыре аршина длины и три аршина ширины. Гипотенуза моего треугольника была почти в шесть аршин длины. В дверях было небольшое окошечко, завешенное снаружи холстом, дабы часовые, стоявшие в коридоре, могли во всякое время заглядывать за арестантами. В этом новоселье, лишь только вышел плац-майор, я усердно помолился богу; святой его воле предал совершенно себя и жену мою, и всех близких сердцу, и особенно всех пленных и страждущих. Вскоре застучали шаги часовых, звякнули замки — сторож принес мне лампаду, горшок супу и огромный кусок хлеба. На три вопроса моих не получил ответа и перестал спрашивать, зато жадно и проворно очистил горшок картофельного супу с лавровым листом и фунта два хлеба. Фейерверкер смотрел на меня с удивлением, почему объяснил ему причину и продолжительность моего голода, но он, как немой, взял посуду и ушел.

Куранты прозвонили 8 часов; протяжный гул «God

save the king» еще звонил в ушах, когда я уснул крепким сном; проспал бы, наверно, целые сутки, если бы не разбудил меня сторож ключами своими. Особенно неприятен для слуха был визг железной задвижки от висячего замка. После адского стука отворились двери, вошли плац-адъютант Николаев, за ним мужчина высокого роста в черном фраке, за ним фейерверкер. Я присел на кровати и думал, что мне привели еще товарища; конурка набилась битком. Адъютант спросил меня, здоров ли я, и представил мне доктора, который расспрашивал меня о моем здоровье. Обоим ответил я, что чувствую себя здоровым и что я сладко спал. «Извините, что мы вас обеспокоили,—возразили они,—это по обязанности и по предписанию начальства»,—и как вошли, так и ушли. Я опять заснул и проспал до обеда; но не становилось светлее: окно было в амбразуре крепостной стены, ни разу не видел ни солнца, ни луны, только изредка звезду по оконечности небосклона. К вечеру приносили лампаду: в зеленом стакане над водою плавало масло конопляное, и светильник в поплавке рассеивал мрак. У меня не было книги, и никому из нас в первое время книг не давали. Чем теснее и тошнее становилось одиночество в стенах каземата, тем дальше и шире носилась мысль повсюду. Предстоящее было печально и неизвестно, настоящего у меня не было, оставались со мною только воспоминания прошедшего. Признаюсь, не могу согласиться с Байроном, что в несчастье все воспоминания минувшего счастья только увеличивают горе. Напротив того, я вспоминал прошедшее счастье с восторгом и с благодарностью и припоминал стих Жуковского: «Кто счастлив был, тот жил сто лет».

Во всякое время мог я себе представить присутствие жены моей, не только черты лица, но даже все движения, и слышал голос ее, и мысленно беседовал с нею. Когда я хотел вызвать образы моих родителей и друзей, то мне труднее было перевести их к себе, чем самому переселиться к ним. Воображение и память иногда представляли мне вызываемое лицо темным образом, не подробно, не в целости, в таком случае от лица переходил я мысленно в дом, в котором оно жило; припоминал знакомые мне комнаты, расстановку мебели и других памятных предметов; и тогда уже в эту готовую рамку вставлял лицо, и чем лучше я помнил одежду и наружность того лица, тем яснее и про-

должительнее впечатлевались в моей мысли все черты и все оттенки лица, как будто действительно имел его перед собою.

Мышление человека невольно занято беспрестанно, особенно в темнице, где мысль отвлекается только мыслью. Счастлив, кто с детства приучаем был к мышлению; кому образование дало обширный круг мышлений, тому и темница на время становится одним из лучших университетов. Мы знаем, что величайшие ученые и гениальные мужи искали по временам глубочайшего уединения, где силы их увеличивались, чтобы потом в шумной практической жизни полезнее и лучше действовать на пользу общую. Это дознанное дело; но надобно, чтобы уединение или заточение зависели от меня, чтобы я сам мог себе назначить время и срок. Но сидеть в тюрьме без надежды освободиться самому, без видов быть освобожденным, а напротив, в ожидании или позорной смерти, или вечного заточения, или изгнания — вот что поставит и лучшего мыслителя в великое затруднение и может исступить его ум и сердце, если он не имеет полного упования на бога и крепкой веры в господина нашего спасителя Иисуса Христа. Такое упование, такая вера поддерживали меня: так мудроно ли, что я легко выдержал всю тяжесть испытания?

8 января, по пробитии вечерней зори, вошел плац-майор, чтобы отвести меня в комитет, собиравшийся ежедневно в комендантском доме. Опять завязал он мне глаза, но на этот раз так, что все лицо мое было закрыто, и повел меня к саням; ехать было недалеко. У комендантского крыльца слышал говор людей и сквозь батистовый платок мог разглядеть горящие фонари карет. Передняя набита была слугами. В другой комнате остановил меня плац-майор, просил меня спокойно сесть и подождать его возвращения. Я приподнял платок, увидел пред собою притворенные двойные двери, позади себя ширмы сквозящие, за ширмами две свечи и ни одного человека во всей комнате. Не знаю, почему пришла мне мысль, что вдруг откроются двери и меня расстреляют. Вероятно, эта мысль пробудилась от таинственности плац-майора и оттого, что завязали мне глаза. Тут я сидел, по крайней мере, целый час. С завязанными глазами повели меня чрез комнату, ярко освещенную, где слышен был скрип множества перьев; в следующей комнате такой же скрип перьев при совершенном безмолвии. Наконец в третьей комнате остано-

вил меня плац-майор, сказав вполголоса: «Стойте на месте». С полминуты была мертвая тишина, как послышался отрывистый голос: «Снимите платок!», то был голос великого князя Михаила Павловича. Я увидел пред собою длинный стол. На главном конце сидел председатель комиссии военный министр Татищев; по правую сторону его сидели великий князь Михаил Павлович, генерал-адъютанты И. И. Дибич, П. В. Кутузов, А. Х. Бенкендорф; по левую сторону — князь А. Н. Голицын, единственный из гражданских сановников, генерал-адъютанты А. И. Чернышев, Н. Н. Потапов, В. В. Левашев и с краю флигель-адъютант полковник В. Адлерберг в должности временного секретаря. Главным правителем дел назначен был действительный статский советник Д. Н. Блудов, но сей последний никогда не заседал в присутствии комиссии; говорили, что это по его личной настоятельной просьбе. Он заведовал всею канцелярией, он собирал и сличал все письменные показания и по оным составил отчет следственной комиссии. Все лица заслуженные, достойные уважения по многим отношениям, но невозможно признать в них судей сведущих и беспристрастных. Допросы и дело-производство этой комиссии походили на личные допросы императора и очередных трех генерал-адъютантов, только в обширнейших размерах и в подробнейших частностях, потому что в комиссии беспрестанно бывали очные ставки. Если эта следственная комиссия по своему назначению должна была составить суд военный, то в таком случае дело могло быть решено в 24 часа без помощи законоведов, и один главный аудитор указал бы на статью воинского устава, по коей каждый обвиненный в государственной измене весьма имел быть артибузирован! Иначе и невозможно было принять эту следственную комиссию, как за военный суд; кроме единственного Голицына, все члены были военные, и слава богу, что между ними были лица образованные и честные. Нельзя было ожидать суда, который должен был бы допустить и прения, и защитников опытных, — но тогда этого у нас не водилось; следственная комиссия представляла зрелище, куда вызывали обвиненных, а обвинители их были вместе и судебными следователями и судьями.

Первый вопрос был мне сделан великим князем: — Каким образом вы, командир стрелков, могли остановить три роты, стоявшие впереди вашего взвода?

— Ваше императорское высочество, баталион по сбору из казарм был построен в ротные колонны, таким образом мой взвод находился впереди трех егерских рот.

— Извините, я не знал этого обстоятельства,— заметил мне великий князь самым ласковым образом.

И. И. Дибич спросил меня, почему я остановил солдат посредине Исаакиевского моста? Я ответил, что, удостоверившись лично, что на Сенатской площади не было начальника, не было никакого единства и никакой точности в распоряжениях, что, кроме того, взвод мой не присягнул новому императору, то считал за лучшее остановиться и не действовать.

— Понимаю,— сказал Дибич,— как тактик; вы хотели составить решительный резерв.

На это я ничего не возразил.

— С какого времени,— продолжал спрашивать Дибич,— вы находитесь в Тайном обществе? И кто принял вас в число членов?

— Я никогда ни в каком Тайном обществе не бывал.

— Может быть, вы разумеете, что для этого необходимы особенные обряды, знаки и условия, как в обществах масонских лож; если вы знали цель Общества, то уже и были членом его.

— Я уже имел честь ответить, ваше превосходительство, что меня никто не принимал в Тайное общество, что это не могло бы остаться сокрытым...

Тут прервал мое слово П. В. Кутузов:

— Ведь вы знали Рылеева?

— Знал, ваше превосходительство; я с ним вместе воспитывался в 1-м кадетском корпусе²⁹.

— Разве вы и Оболенского не знали?

— Знал очень хорошо, мы были однополчане, сверх того он был старшим адъютантом всей гвардейской пехоты, как же было мне не знать его?

— Так чего же нам больше еще надобно! — заметил добродушно Кутузов.

Полковник Адлерберг прибавил:

— На вас показывают, что вы шпагою хотели заколоть второго стрелка с правого фланга, который угонял товарищей идти вслед за карабинерным взводом?

— Солдаты мои, г[осподи]н полковник, никогда во фронте не разговаривали; один из них, не знаю — второй ли с фланга, сделал шаг, чтобы подвинуться впе-

ред, тому грозил я шпагою и обещал то же всякому, кто только тронется с места без моего приказа.

Замечание полковника Адлерберга показало мне, что добрые люди уже много рассказали обо мне, особенно мой бригадный командир и батальонный и еще кто-нибудь, кто имел причины опасаться моих показаний. Надеюсь, что они совершенно успокоились.

Наконец генерал-адъютант А. И. Чернышев объявил, что я завтра получу письменные вопросы от комиссии и чтобы на каждый вопрос написан был ответ по пунктам.

Весь этот допрос был словесный. Председатель позвонил, вошел плац-майор, тут же, в присутствии, завязал мне глаза и вывел меня. Лицо было завешено платком, дабы секретари и писаря, сидевшие в двух проходных комнатах, не могли узнать арестантов. Чрез несколько минут вошел я в мой 13-й номер.

На третий день доставили мне запечатанный пакет³⁰. Вопросы были почти те же, только в них заключались новые обвинения с поименованием разных лиц и с приложением различных показаний. Плац-майор, отдав мне пакет, сказал: «Не спешите, обдумайте все». Когда, пробежав глазами вопросные пункты, я встретил имена собственные, то тяжело становилось на сердце: да неужели и все они подвергнутся заточению и суду?

Уже известно было о собрании моих сослуживцев у Репина, о совещаниях, бывших у Рылеева и Оболенского; все это удостоверило меня, что комиссия предупреждена во многих отношениях. На все, что лично касалось меня, нетрудно было мне ответить — и на действия 14 декабря; но совсем другое дело были совещания до 14 декабря. Я был так счастлив, что никто за меня даже не был арестован; никто из моих солдат не был ни наказан, ни удален на Кавказ. Мои ответы были причиною одной только очной ставки, о коей упомяну в своем месте. Написав все ответы, я обратился в комиссию с просьбою о позволении писать к жене моей.

На другой же день я получил это позволение; я мог писать один раз в месяц кратко, несколько строк. Ответы жены моей доставляли мне истинное утешение.

Еще просил я разрешения получать книги из дому, в чем было отказано, а плац-майор принес мне псалтырь.

Комиссия заседала ежедневно. Великий князь стал приезжать все реже и реже; некоторые члены чередовались; арестованных было уже довольно; но бесменно трудился А. И. Чернышев: он был главным деятелем, неутомимым сыщиком при допросах. Д. Н. Блудов, правитель огромной канцелярии комиссии, составлял нечто целое или вывод из отдельных показаний; исключил важнейшие дела и выставил сплетни и разговоры, в чем каждый беспристрастный читатель печатного донесения следственной комиссии легко может удостовериться. Основатели Общества, самые деятельные члены, зачинщики заговора, очень часто были вызываемы в комиссию. Пестеля до того замучили вопросными пунктами, различными обвинениями, частыми очными ставками, что он, страдая, сверх того, от болезни, сделал упрек комиссии,—выпросил лист бумаги и в самой комиссии написал для себя вопросные пункты: «Вот, господа, каким образом логически следует вести и раскрыть дело, по таким вопросам получите удовлетворительный ответ». По разногласию показаний бывали очные ставки, словесные объяснения, вносимые в протокол иногда в превратном смысле. Вообще не все члены комиссии поступали совестливым образом, иначе как мог бы Чернышев спросить М. А. Назимова: «Что вы сделали бы, если бы были в Петербурге 14 декабря?» (Назимов был в это время в отпуску в Пскове.) Этот вопрос был так неловок, что Бенкендорф, не дав времени отвечать Назимову, привстал и, чрез стол взяв Чернышева за руку, сказал ему: «*Écoutez, vous n'avez pas le droit d'adresser une pareille question, c'est une affaire de conscience*» *. Чернышев, как главный труженик в комиссии, вероятно, от усталости, от утомления, от нетерпения забывался иногда в своих замашках, выходках и угрозах, так что П. Х. Граббе был вынужден сказать ему правду, за что по оправдании судом оставлен был в крепости под арестом на шесть месяцев за дерзкие ответы, данные комиссии. При очных ставках обыкновенно вызываемы были обвиненные сперва поодиночке, и когда показания их разнствовали, то сводили их вместе для улики. Когда Чернышев прочел показания Граббе, то спросил его: не упустил ли он чего или не забыл ли какого важного обстоятельства? На отрицательный ответ его повели его в

* Послушайте, вы не имеете права задавать подобный вопрос, это дело совести (*франц.*).

другую комнату и призвали обличителя, который также оставался при высказанном своем мнении. Тогда снова призвали Граббе, и Чернышев, известный красавчик и щеголь, качаясь в креслах, крутя то ус, то жгут аксельбанта, с улыбкою спросил: «Что вы теперь, полковник, на это скажете?» Граббе с негодованием ответил ему: «Ваше превосходительство, вы не имеете права мне так говорить: я под судом, но я не осужден и вам повторяю, что я показал правду и не перемену ни единого слова из моих показаний». Обличитель опомнился и сознался в своей ошибке; Чернышев побледнел сквозь румяна и в тот же вечер пожаловался государю на дерзость арестованного полковника.

Председатель комиссии Татищев редко вмешивался в разбор дела; он только иногда замечал слишком ретивым ответчикам: «Вы господа, читали все и Destutt-Tracy, и Benjamin Constant и Benthamе*, и вот куда попали, а я всю жизнь мою читал только Священное писание и смотрите, что заслужил», — показывая на два ряда звезд, освещавших грудь его.

Каждый день плац-адъютант Николаев обходил казематы. Сначала был он очень молчалив и несловоохотлив, фейерверкер Соколов и сторож Шибаев были хуже немых: немой хоть горлом гулит или руками и пальцами делает знаки, а эти молодцы были движущиеся истуканы. Чтобы привести тело мое в некоторое равновесие, я топтался на одном месте, кружился, вертелся и скакал как мог. Сон сокращал мне большую часть неволи: я спал или дремал по двенадцати часов в сутки. Пищу давали простую, но здоровую и достаточную — не так худо и скудно, как во дворце. Весьма часто, особенно по вечерам, имел потребность петь; пение поддерживало грудь мою, заменяло мне беседу, и пением выражал я расположение духа. Распевал и прозу, и стихи, и псалмы; сам сочинял напевы, фантазии; иногда повторял старинные песни. Так, однажды запел «Среди долины ровные, на гладкой высоте»; при втором куплете слышу, что мне вторит другой голос в коридоре за бревенчатой перегородкой; я узнал в нем голос моего фейерверкера. «Добрый знак! — подумал я, — запел со мною, так и заговорит». Еще раз повторил песню, и он на славу вторил ей с начала до конца. Когда он чрез час принес мой ужин, оловянную мисочку, то я побла-

* А. Дестют де Траси, Бенжамена Констан, Бентама.

годарил его за пение, и он решился мне ответить вполголоса: «Слава богу, что вы не скучаете, что у вас сердце веселое». С тех пор мало-помалу начинался разговор с ним, и он охотно отвечал на мои вопросы.

— Скажи мне, пожалуйста, Соколов (прозвание фейерверкера), как мне сделать, чтобы получить книги? Слышу, как мой сосед в 16-м номере, наискось против моего номера, целые ночи перелистывает книги.

— Сохрани вас боже от таких книг! Он, сердешный, так много читает и пишет, что уже написал себе железные рукавички.

— Что это значит?

— Да надели железную цепь на обе руки весом фунтов в пятнадцать.

Это был юный Бестужев-Рюмин, сильно замешанный по делу Южного общества и по сношениям со славянами и поляками. Такими браслетами хотели вынудить его к полному признанию; он на французском языке выражался лучше и легче, нежели на русском, а как он должен был писать в комиссию по-русски, то ему дали лексиконы: вот отчего мне слышно было по ночам поспешное и частое перелистывание книги³¹. Чрез несколько дней услышал звук от цепей против моего каземата в 15-м номере.

— Разве привезли кого нового? — спросил я у Соколова.

— Нет, все тот же сидит, но также написал себе беду!

Это был Н. С. Бобрищев-Пушкин-старший, офицер генерального штаба, от которого комиссия добивалась узнать место, где хранилась «Русская правда» — конституция, написанная Пестелем³². Она была уложена в свинцовом ящике и зарыта в землю близ Тульчина. Место было известно только Пушкину и Заикину — последнего отправили туда с фельдъегерем, где после долгих поисков в мерзлой земле наконец нашли и прямо передали в собственные руки императора.

— Много ли таких невольников сидит в железах?

— Из тридцати моих номеров до десятка будет.

В таком же размере было число и в других куртинах. Юноша Гвардейского экипажа, мичман Дивов, которого сторожа называли младенцем, также сидел в узах. Воображение его было расстроено, случалось ему сообщать в комиссию ужаснейшие небылицы, сновидения, кои возбуждали новые расследования и дополняли

сказки в донесении комиссии. Зато он впоследствии был избавлен от каторжной работы и находился в крепостной работе в Бобруйске³³. Были и другие, которые вынудительными средствами показывали или подтверждали, чего сами не знали, чтобы только избавиться от муки. Некоторых уверяли, что только совершенная искренность и полнота признаний может спасти их самих и тех, которые приняли их в Тайное общество. Так, Н. Н. Раевский упрасивал П. И. Фаленберга быть искренним: он признался, что князь А. П. Барятинский принял его в Общество. Барятинский в том отпирался постоянно в письменных ответах, наконец дали очную ставку в комиссии, и там он отрицал, а Фаленберг утверждал, так что Барятинский, желая спасти его, сказал Чернышеву: «Вы сами видите, мог ли я его принять в Тайное общество?» Несмотря на настойчивые признания, Фаленберга все-таки осудили в каторгу по собственному его бездоказательному сознанию. Благородный и честный товарищ, прочитав в немецком переводе мой отзыв о нем, в коем была небольшая опечатка, искажившая смысл моего подлинника, вручил мне чрезвычайно важное описание своего ложного самообвинения. Он после ложных показаний на себя писал о том Левашеву и Чернышеву, но они не поверили ему и не продолжали разысканий. Наконец, он на другой день исполнения приговора просил к себе пастора, чтобы приобщиться св. тайн, и, укрепившись причащением, объявил Рейнботу все откровенно и объяснил причины, по коим он вынужден был ложно обвинить себя. «Das ist schrecklich!» * — вскричал пастор и ушел, и не осмелился возвысить голос в защиту невинности. Этот случай напоминает правильность регламента, определяющего верно, что не довольно собственного признания, надобно, чтобы оно подтвердилось еще всеми обстоятельствами. Наши судьи забыли это, а судьям необходимо это помнить каждый день при всяком случае. Были в числе моих товарищей и такие, которые, кроме уз на руках или ногах или одновременно на обоих местах, содержались в совершенном мраке, даже без лампы, и по временам уменьшали им пищу и питье.

6 марта плац-адъютант не приходил в обычное время. Фейерверкер Соколов имел вид таинственный и был одет в новую шинель. Сторож Шибаев, инвалид

* Это ужасно! (Нем.)

л.-гв. егерского полка, также был в новой шинели, опрятно одет и выбрит. «Что, сегодня праздник?» — «Никак нет!» — «Чего же вы так принарядились?» — «Сегодня царя хоронят». Все было тихо вокруг меня, как всегда; толстые внешние крепостные стены со сводами и с земляною насыпью не пропускают шума; только через амбразуры, сквозь окна с решеткою, доходил гул от колоколов. Вдруг после обеда раздался пушечный выстрел, другой, — без счету; настал конец погребального обряда и печальной процессии; а я, заключенный арестант без видов на освобождение, но с ожиданием казни, мог ли я не радоваться смерти? Не смерти благословенного, а всех смертных, но преимущественно всех страждущих и несчастливых? И в самом деле, после первого грома пушки я невольно воскликнул: «Да здравствует смерть!»...

...Как все простенки, все углы и щели крепости были напичканы арестантами, то по их многочисленности и по запрещению водить их вместе десятками или сотнями невозможно было часто водить их в баню; моя очередь настала в первый раз в половине апреля. Снег уже сошел; погода стояла ясная; конвой проводил меня, глаз моих не завязали платком. Только что спустился по коридорной лестнице и переступил за наружную дверь, как солнечный свет до такой степени поразил мое зрение, что я мгновенно остановился и закрыл глаза руками. Сквозь пальцы дал им света понемногу. Мне казалось, что земля качается, — это ощущает и моряк, вышедший на берег; свежий чистый воздух оставлял дыхание. Следуя вдоль внутренней стены Кронверкской куртины, по длинному ряду окон, не мог увидеть никого из товарищей, потому что стекла были выбелены мелом. Повернул направо вдоль куртины, посреди коей главные ворота в крепость, аллея, ведущая к церкви и к комендантскому дому. Над воротами заметил окно, коего стекла не были замазаны, и узнал возле окна пишущего М. Ф. Орлова. Недалеко от ворот³⁴ стоял небольшой унтер-офицерский караул. Можно себе представить, как я обрадовался, когда увидел там моих стрелков; они поспешно собрались на платформу, дружно и громко ответили на мое приветствие, как бывало прежде в строю. Баня была славная, чистая и просторная, она освежила и укрепила меня. На обратном пути заметил я возле караула стоявшего слугу моего Михайла, который странными движениями лица, рук и ног

выражал свою радость и свою преданность. «Здорова ли Анна Васильевна?» — «Слава богу, она сейчас были здесь в церкви и идут назад по аллее». Я прибавил шагу и увидел, как она, покрытая зеленым вуалем, шла тихими шагами на расстоянии двухсот сажень от меня; хотел к ней броситься, но ее положение при последних месяцах беременности и ответственность моего конвоя удержали меня; рукою посылал ей поцелуи и пошел в свой каземат. Возвратившись, нашел его гораздо темнее прежнего, потому что при входе не мог отличить стола от ставчика, и только виднелась белая кайма серо-сизого одеяла. Это было следствием быстрой смены ясного света дневного полумраком каземата. Постепенно обозначились предметы в моем номере; зато в миллион раз несноснее показался мне казематный воздух, один раз в сутки выносили то, что всего вреднее для воздуха в запертой келье и имеет губительное влияние на всякое здоровье.

На страстной неделе разрешено было императором, что арестанты в крепости могут получать книги духовного содержания, трубки и табак. Это было уже действительное облегчение для нас и роскошь после продолжительного лишения. Давно уже отвыкнув от трубки, принялся за нее с наслаждением, чтобы по возможности оборониться от сырого и нестерпимого воздуха. Жена моя прислала мне несколько частей «Stunden der Andacht»*, «Часы благоговения для распространения истинного христианства и домашнего благопочитания», сочинение известного Тшокке; несколько томов, содержащих преимущественно суждения о любви к Отечеству, об обязанностях гражданина, воззвания во время войны 1812 и 1813 годов были задержаны цензурою нашей следственной комиссии. Однажды спросил я у плац-адъютанта Николаева, получают ли товарищи мои табак, книги, белье от своих родственников. Он сказал мне, что получают те, у которых есть родственники и знакомые в Петербурге, что он вчера отнес узел полковнику Михаилу Фотьевичу Митькову с бельем и английским фланелевым одеялом: но когда он узнал от меня, что не все арестанты, а, напротив того, весьма немногие получают такие вещи из дому, то он снова завязал узел, просил меня возвратить его, сказав, что он может обойтись без этих вещей. Надобно при этом за-

* Часы молитвы (нем.).

метить, что здоровье Митькова уже давно было расстроено, несмотря на строгую умеренность и на двухлетнее пользование его целительными водами в чужих краях. Этот поступок его в крепостных стенах согласовался с его характером, с его правилами. Я помню, когда прежде на парадах и маневрах он командовал нашим батальоном, и во время отдыха или привала приносили барону Саргеру большие корзины с завтраком, то Митьков каждый раз отказывался от угощения, прося извинить его по нездоровью, но действительная причина заключалась в том, что он не мог разделить эту закуску с целым батальоном своим. Это делалось при людях, скажет иной; но в каземате не было зрителей и свидетелей, кроме одного только Николаева. Чрез каждые шесть недель навещали нас по приказанию государя генерал-адъютанты его: Сазонов, Стрекалов и Мартынов; последний добродушно отозвался обо мне сопровождавшему его коменданту и припоминал мне, как в его присутствии отличал меня в Красном Селе, в Петергофе и в Ораниенбауме бывший мой дивизионный командир, ныне император Николай...

...Комиссия оставила меня в покое от первого допроса 8 января. В конце апреля потребовали меня на очную ставку. В комиссии присутствовали только генерал-адъютанты Чернышев и Бенкендорф; первый прочел мне краткую выписку из моих показаний и спросил: имею ли что дополнить и заключает ли она в себе сущность моих показаний? Я подтвердил, и приказано было мне дожидаться в другой комнате. Я услышал звонок, говор, но не мог расслышать, о чем говорили. Чрез пять минут призвали меня опять, и я увидел стоявшего у стола однополчанина моего подпоручика Богданова в мундире при шпаге. Чернышев вторично прочел при нем выписку и спросил: «Можете ли вы теперь подтвердить ваши показания?» — «Могу, ваше превосходительство». Подпоручик Богданов, вероятно, полагал, что мною были переданы все подробности совещания, бывшего у князя Оболенского 12 декабря; мне легко было его разуверить и успокоить. При нем объяснил, что хотя вместе с ним на моих дрожках приехал я к Оболенскому, но там застали с лишком двадцать человек, помещавшихся в трех комнатах, беседовавших в различных группах — следовательно, не было общего совещания; отчего он не мог слышать того, что слышал я. Кроме того, он чрез несколько минут вышел, а я воротился до-

мой один. Слава богу, Богданов оставался при своей шпаге³⁵, а за то, что отказался от вступления в караул на Сенатскую гауптвахту 14 декабря, должен был участвовать только в походе сборных гвардейцев, возмущившихся и отправленных на Кавказ³⁶. В моих показаниях комиссии на заданный вопрос: с кем я ехал к Оболенскому 12 декабря — я должен был назвать Богданова, иначе имел бы очную ставку с кучером моим, и тогда дело показалось бы более подозрительным и опаснее для Богданова. Это была единственная очная ставка. Многих из моих союзников беспрестанно водили на очные ставки, и этим усугубляли муки тюремной жизни. Каждое различие в показаниях, даже по самым маловажным предметам, вызывало очную ставку, причем расстроенное здоровье вызванных лиц, малейшее изменение памяти, смешение дней и чисел служило поводом к кривым толкам, сплетням и искажениям в донесении следственной комиссии.

13 мая в седьмом часу утра разбудил меня плац-адъютант Николаев. Из коридора послышался его голос, он велел призвать цирюльника. «Вставайте скорее, А. Е.!» — «Что такое? Опять в комиссию?» — «Нет, в дом коменданта; ожидает вас радость: ваша супруга приехала на свидание». Вмиг я оделся, не хотел дожидаться брандербера. Мы вышли, и теплый душистый воздух упоил и освежил меня. У поворота поклонился мне слуга мой Михайла; на площадке стояла карета моя, и как только кучер Василий завидел меня, то ударил по вороным коням и лихо представил их, объехав вокруг меня. В покоях коменданта обнял я мою Annette; она была в глубоком трауре по кончине матери моей. Вид ее, слова и голос радовали и утешали. При нашем свидании присутствовал все время комендант крепости, отчего беседа наша не могла быть искреннею и касалась только родных и домашних отношений. По посредничеству В. В. Левашева жена моя получила высочайшее соизволение на свидание со мною; приближалось время ее разрешения от бремени, и она желала, чтобы мы еще раз могли благословить друг друга. Она передала мне все подробности о последних часах жизни моей матери, скончавшейся 18 марта, в тот самый день, когда предчувствие все мне сообщило в тот же самый час. Я всячески старался успокоить жену насчет ожидающей меня участи: час промчался быстро; комендант не мог продлить свидания, и мы должны были расстать-

ся. Нелегко было и это второе расставание. С особенными чувствами возвратился я в мой 13-й номер; я был спокойнее, увидев добрую жену мою, получив более надежды, что она с упованием и с верою перенесет разлуку и предстоящее ей близкое разрешение. Чаше и громче напевал я песни, и наяву и во сне продолжал я беседы душевные. На третий день получил я письмо от нее, в котором уведомила, что свидание укрепило ее. Помню только, что я передал ей при коменданте последние слова, слышанные мною от императора; старался по возможности успокоить ее, что было мне нетрудно, потому что в эти минуты свидания я забыл, где я был; не видел я коменданта, не слышал курантов крепостных часов, не думал о предстоящем мне жребии: я был как дома, я был счастлив!

ВЕРХОВНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД

17 мая. — Алексеевский рavelин. — Духовные утешители. — Рождение сына. — К. И. Бистром. — Два столба. — Объявление приговора. — Лабораторный бастион. — 13 июля. — Исполнение приговора. — Пестель. — Рылеев. — Муравьев-Апостол. — Бестужев-Рюмин. — Каховский. — Соединенные славяне <...>

Мая 17-го было необыкновенное движение в коридоре Кронверкской куртины; беспрестанно уводили и приводили арестантов. Многие из них незнакомым мне голосом, проходя мимо дверей моих, приветствовали по номеру: «Bon jour 13; Votre santé 13; Portez vous bien 13!»*. После обеда Соколов сообщил мне, что только часть арестантов водят в комитет, где они подписывают какие-то бумаги и немедленно возвращаются. «А как ты думаешь: к лучшему или к худшему для тех, которых водят туда?» — «Бог весты! Кажись, что тем будет легче, которых оставляют в покое». В беспокойном ожидании наконец уснул, как вдруг бряцанье ключей и замков, стук задвижки меня подняли. Плац-адъютант пригласил идти с ним в комитет; час был пятый после обеда. В воздухе пахло цветущею сиренью; птицы порхали и щебетали в комендантском саду, где они сосредоточились поневоле, потому что вокруг все холодные каменные стены, прижатые с трех сторон Невою. Меня повели чрез комнату писцов, не с завязанными глазами

* Здравствуйте, 13-й! Будьте здоровы, 13-й! Доброго здоровья, 13-й (Франц.)

и не в прежнюю залу комиссии, но вправо, в другую залу, где за письменным столом заседали Бенкендорф и сенатор Баранов³⁷. Мне подали написанные мною ответы на вопросы следственной комиссии и спросили: «Ваша ли эта рукопись? Добровольны ли ваши ответы? Не имеете ли чего прибавить особенного?» На первые два вопроса ответил утвердительно, третий я отвергнул; тогда велели мне подписать бумаги, что они написаны мною без всякого приневоливания. В чертах лица Бенкендорфа я мог прочесть, что мне несдобровать. Сенатор Баранов не был членом следственной комиссии, но как влиятельный сенатор и как член Верховного уголовного суда был назначен удостовериться в подлинности письменных показаний; следовательно, выбор жертв был сделан окончательно до суда, оставалось только соблюсти внешнюю формальность и распределить нас по разрядам. Между тем как в этих письменных показаниях Пестель, Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Юшневский, Бестужев, Штейнгель и другие откровенно исповедовали свои убеждения, свою любовь к Отечеству и открыли все злоупотребления и средства к исправлению, большинство подсудимых отговаривалось от принятого участия или отрекалось от первых своих показаний, не из школьной боязни или из раскаяния, а просто по ясной причине тайного суда или тайной канцелярии и по совершенной бесполезности метать бисером при такой обстановке, где увеличили бы наказание для себя без всякой пользы для других. Люди, сведущие с порядком такого судопроизводства, поймут дело легко. Знаменательное и чудное совпадение дней и месяцев в различных годах по одному и тому же делу. Я составил краткие очерки или таблицы моих записок в 1828, 1829, 1830 годах, начал писать их подробно в сороковых годах и снова переписал и дополнил их с наступлением 1866 года. Читатели видели порядок судопроизводства и судопроизводства 17 мая 1826 года, помните же с благодарностью 17 мая 1866 года — день, в который в том же Петербурге начались действия новых судебных учреждений. Прощай, старинная юридическая практика, прощай, «слово и дело», и если даже старинные практиканты займут места в новых судах, то уже не могут быть опасными при гласности заседаний, при решении уголовных дел присяжными, при публичности обвинения и защиты — при коих каждый присутствующий имеет право следить за ходом правосудия³⁸.

На обратном пути в каземат я с жадностью глотал душистый майский воздух; подле забора сада сорвал свежей травки, прибавил шагу в темницу, чтобы не разнежиться. Я целовал эту траву и, попадись мне дерево, я обнял бы его, как друга. С 17 мая движения в нашей Кронверкской куртине стали реже и тише: перестали звать в комиссию для очных ставок. Обычные посещения плац-майора и плац-адъютантов, приход сторожа с пищею нарушали глубокую тишину, прерываемую в отдельных номерах где песнею, где декламацией, где вздохом. Один из арестантов, М. А. Фонвизин, сколько ни старался, но не мог перенести затворничества; хотя духом он бодрствовал, но нервы не сносили такого состояния, и, наконец, приказано было, чтобы не запирали его дверей ни задвижкой, ни замками, а чтобы часовой стоял в его номере. Не было средств переписываться друг с другом. Перья и бумагу по счету давали только для ответов в комиссию, да и не было таких сторожей, которые согласились бы передавать записки. Особенное было содержание тех 16-ти товарищей, которые сидели в тайном отделении крепости, в Алексеевском равелине, где главным надзирателем был особый гражданский чиновник. Пред окнами, в близком расстоянии от них, стояла высокая каменная стена, внутри равелина, где не было ни одного окна в здании, стояло несколько деревьев кленовых в тесном треугольном пространстве, куда изредка по очереди проводили их, поодиночке, чтобы подышать свежим воздухом. <...>

По временам, по особенному желанию арестантов, навещали нас служители церкви: православных — казанский протоиерей Петр Ник. Мысловский, протестантов и лютеран — Анненской церкви пастор Рейнбот. Оба отличнейшие витии с благообразною наружностью; беседа их была умна, назидательна и занимательна, иногда отклонялась она от предмета духовного и переходила к политическому. Представляя гибельные последствия от либеральных идей и от насильственных переворотов, они, как везде было тогда принято, ссылались на Францию, припоминали все совершившиеся там ужасы в конце прошедшего столетия и выводили, что она после многих искушений и страданий опять прибегла поневоле к королю и довольствуется Людовиком XVIII. Так — но они забывали, что Франция стала счастливее и богаче, нежели как была прежде, и что народ приобрел права, коих прежде не имел. Вероятно, имели они

причину выпустить из виду примеры Швейцарии, Голландии, Англии, Америки, имевших гораздо прежде Франции свои перевороты, борьбы политические и религиозные, после коих обитатели этих стран созрели к быту лучшему. Без сомнения, гораздо счастливее были бы те народы, которые, не прибегая к насильственным мерам, к возмущениям и восстаниям, имели бы правителей, совестливо старающихся не о собственной своей власти или славе, но об истинном благе народа. Это благо не может продолжительно существовать без права, без закона, одинаково равного для всех, избавляющего всех от причуд самых умных и великодушных правителей.

С половины июня имел я беспокойство о жене моей; наступило время ее разрешения. Пение мое ежедневное умолкло. Фейерверкер Соколов и сторож Шибаев часто осведомлялись: не болен ли я? Сон мой сократился, а сновидения представляли мне жену больную, зовущую меня на помощь,—одним словом, вера будто ослабела. И в каземате случилось, как обыкновенно замечено, что везде хорошие вести доходят медленно, опаздывают, между тем как худые, горестные долетают скоро. Бог дал мне первого сына 19 июня; в тот же день жена писала мне две строчки, но я получил их только 21-го вечером. Я радовался за нее, она перестала быть одинокою. Заочно в молитвах благословлял сына и просил, чтобы отец небесный заменил ему отца временного. Тогда я не имел надежды на свидание с сыном и ожидал ежедневно решения моей участи. По-прежнему опять напевал я песни, а на полу все глубже и глубже выдалбливались ямки от беспрестанных поворотов ноги.

Сторож Шибаев с каждым днем становился словоохотнее; за ранами он числился в гвардейской инвалидной бригаде и рассказывал о славных походах л.-гв. егерского полка. Он с такою непритворною любовью отзывался о бывшем полковом командире своем К. И. Бистроме, или Быстрове, как называли его солдаты, что растрогал меня совершенно, когда уверял, что каждый день, поминая родителей своих в молитве, он также молился за Бистрома. Зато и генерал этот, герой, любил солдат, как отец своих детей. Бывало, он едет в отпуск в Черковицы на две недели и по возвращении, приветствуя батальон в строю из гвардейского корпуса, прослезится от радости свидания, хотя разлука продолжалась несколько дней. Он все делил с солдатами: и

жизнь и копейку. Когда 14 декабря большая часть Московского полка осталась в казармах в нерешимости и уже трудно было удержать их, то Бистром послал туда л.-гв. егерского полка унтер-офицера Гурова, который спас ему жизнь в битве под Лейпцигом, чтобы возвестить им прибытие свое в казармы. Он только что показался им и сказал краткое солдатское слово, как все подчинились ему, выстроились и выступили в порядке, чтобы на площади Сенатской занять ночной караул. Храбрый Бистром, идол солдат, не был назначен генерал-адъютантом, между тем как дюжина генералов гораздо ниже его были удостоены этим отличием. Слишком два месяца все подозревали его тайным причастником восстания или, по крайней мере, в том, что он знал о приготовлениях к 14 декабря, потому что большая часть его адъютантов были замешаны в этом деле, а старший из них был главным зачинщиком и начальствовал над восставшими солдатами³⁹. Когда следственная комиссия убедилась в его неприкосновенности к этому делу, тогда государь пожаловал ему аксельбанты, самую лестную награду в царствование Александра I.

Июля 12-го поутру заметил я на Кронверкском валу против моего окна работающих плотников,— не понимал, что они строят из бревен на крепостном валу. Часто посматривал я в окно. Раз увидел на том же месте генерал-адъютанта в шляпе с белым султаном, в сопровождении адъютанта. Около полудня на том самом месте то подымали, то опускали два столба, после не видно было ни одного человека, а только бревна, обтесанные брусья лежали на валу. После обеда в 4 часа плац-адъютант Николаев пригласил меня в комитет; я собрался туда с стесненным сердцем, предполагая, что опять будет очная ставка или новый допрос. Можно себе представить, как я был обрадован в комендантском доме, когда увидел несколько комнат сряду, наполненных моими союзниками, и с каким восхищением обнял знакомых товарищей. Мне сказали, что нас собрали для объявления нам приговора. Некоторых из товарищей искал я напрасно: или их совсем тут не было, или они состояли в высших разрядах и уже были потребованы к выслушанию приговора. В двух комнатах, ближайших к зале присутствия, были собраны осужденные по разрядам, так что когда 1-й вступил в присутствие, то 2-й разряд занял место его, а на место 2-го собрался

3-й разряд,— так следовали все разряды один после другого, а по прочтении приговора выходили также по разрядам в другую дверь анфилады комнат, и каждый разряд отдельно был размещен по крепостным нумерам, но не по прежним местам, а по порядку — по числу лиц, составлявших разряд. Я принадлежал к 5-му разряду,— всех было 12⁴⁰. С полчаса имели времени расспрашивать друг друга и утешать себя взаимно. Настала очередь моему разряду явиться в присутствие. Конвой с ружьями стоял у всех дверей.

Ввели 5-й разряд, состоявший только из пяти человек; мы стали в ряд спиною к окнам. Весь Верховный уголовный суд сидел пред нами за большими столами, расставленными покоем по трем стенам залы. Пред нами, в середине, сидел митрополит с несколькими архиереями, по правую сторону — генералы, по левую — сенаторы. В числе генералов заметил тотчас Бистрома в слезах; за несколько минут до того он видел осужденного любимого адъютанта своего Е. П. Оболенского; еще несколько лиц из судей военных выражали или участие, или негодование. Из сенаторов что-то многие показались мне непристойно и дерзко любопытными: они наводили на нас не только лорнеты, но и зрительные трубки. Может быть, это было из участия и сострадания: им хотелось хоть видеть один только раз и в последний раз тех осужденных, которых они же осудили, никогда не видев их и никогда не говорив с ними до осуждения. Посреди залы стоял обер-секретарь Сената Журавлев и громким внятным голосом прочел наши сентенции. Верховный уголовный суд приговорил наш разряд 10 июля сослать в каторжную работу на 10 лет, а потом на поселение навечно. Император 11 июля смягчил этот приговор товарищам моим Н. П. Репину и М. К. Кюхельбекеру на 8 лет; Бодиско по молодости лет избавил от каторжной работы, заменив ее крепостною работою. М. Н. Глебов и я ожидали, что и нам прочтут какое облегчение, но вместо того Журавлев умолк, и велено было вести нас в казематы. Причину этому исключению, которому из 121⁴¹ осужденных подверглись только 4, а именно: Н. А. Бестужев 1-й, М. А. Бестужев 3-й, М. Н. Глебов и я, из числа всех осужденных в каторжную работу, и еще весь 8-й разряд, приговоренный на поселение, приписываю, как я, кажется, уже сказал выше, 14 декабря и особенно ко мне доброму расположению императора, когда он был моим ди-

визионным начальником. Всякий читатель поймет, что с моей стороны никакая злоба личная не могла быть поводом моих поступков. Вся эта процессия и церемония продолжалась несколько часов среди глубочайшей тишины. В 3-м разряде только М. С. Лунин, когда прочли сентенцию и Журавлев особенно расстановочно ударял голосом на последние слова — на поселение в Сибири навечно, — по привычке подтянув свою одежду в шаг, заметил всему присутствию: «Хороша вечность — мне уже за пятьдесят лет от роду!». Он скончался от апоплексического удара в изгнании в 1845 году: так, почти 20 лет тянулась для него эта вечность⁴². Может быть, что по этому обстоятельству в позднейших сентенциях по делу Петрашевского упущено было слово «навечно». Еще в 8-м разряде Н. С. Бобрищев-Пушкин 1-й при выслушивании своего приговора трижды перекрестился пред присутствием. И. И. Пушкину, захотевшему говорить, запретили говорить. Мы были не в суде, не пред судьями; тут нечего было и сказать и возражать: было бы то же, что спорить с конвоем или с палачом. Верховный уголовный суд утвержден был 1 июня. Он состоял из членов Государственного совета, правительствующего Сената, святейшего Синода; к ним по воле государя причислены были граф Юрий Головкин, граф Ланжерон, барон Григорий Строгонов, генерал Воинов, граф Оперман, граф Ламберт, вице-адмирал Синявин, Бороздин, Паскевич, Эмануэль, Комаровский, Башуцкий, Закревский, Бистром и тайный советник Кушников. Суд начал заседания в Сенате 15 июня под председательством князя Лопухина, обязанность генерал-прокурора исполнял князь Лобанов-Ростовский, производителем был обер-прокурор Журавлев. Занятия суда продолжались две недели⁴³. Суд состоял из 80 членов и выбрал из среды своей комитет для распределения преступников по разрядам; членами комитета были избраны граф П. А. Толстой, Васильчиков, Сперанский, Строгонов, Комаровский, Кушников, сенатор Энгель, Д. О. Баранов и граф Кутайсов.

Выходя из комендантского дома, увидел близ ворот и пред домом толпу адъютантов генеральских, полковых и лакеев, собравшихся из любопытства. Пока мы шли пятеро вместе, мудрено ли, что после разлуки и заточения обрадовались свиданию и вели разговор веселый, живой и дружеский?! Это обстоятельство было передано за крепостные стены как доказательство на-

шего хвастовства или гордого пренебрежения. Меня повели в батальон лабораторный, где заперли в комнату довольно просторную с большим окном, в котором только нижние стекла были выбелены мелом. На стенах увидел нацарапанные имена нескольких арестантов, из которых осужден был один только граф З. Г. Чернышев. Мне сначала показалось странно находиться в просторной комнате, довольно светлой. В молитве предался во всем всемогущему и вселюбящему господу богу, и ему поручил я все, что было мне дорого и мило, и всех моих ближних по сердцу, и по заповеди, вспоминая слова спасителя на кресте: «Отче! Прости им; ибо не знают, что делают». Это совершенно применимо к нашему синедриону. Солнце смеркло, а все было нетемно в июльскую ночь, отчего не мог уснуть, хотя несколько раз ложился на кровать. Зато было просторнее прохаживаться взад и вперед по комнате в девять шагов длины. Плац-адъютант Николаев предупредил меня, что рано поутру придет за мною, что приговор приведен будет в исполнение. Я ожидал немедленного отправления в дальний путь.

Июля 13-го, до рассвета, вывели меня на площадку крепостную, где уже выстроено было большое каре, в четыре шеренги, из л.-гв. Павловского полка и крепостных артиллеристов. Меня ввели в каре, где было уже несколько человек из моих товарищей и куда беспрестанно вводили других. Я обрадовался свиданию, все обнимались — и знакомые, и незнакомые, — искали друзей и приятелей, но тщетно искал я Рылеева: тогда мне сказали, что он в числе пяти главнейших сообщников осужден на позорную казнь. Все сообщали друг другу свои сентенции: князь С. Г. Волконский был особенно бодр и разговорчив; Г. С. Батеньков грыз щепку и обнаруживал негодование; А. И. Якубович бросил свой белый султан со шляпы и прохаживался один задумчиво и пасмурно; Е. П. Оболенский пополнял в крепости и получил розовые щеки от здоровья; И. И. Пущин по обыкновению был весел и заставлял громко хохотать целый собравшийся кружок. Никто не обнаруживал уныния; страдания видны были только на больных: таких было гораздо больше половины. Из моряков не было никого в нашем каре. Вокруг нас, за линией солдат, прохаживались отдельно генерал-адъютанты Бенкендорф и Левашев и конвойные офицеры. Товарищ мой, полковник П. В. Аврамов, громко звал капитана Поль-

мана, начальника каре, который не откликнулся; тогда Бенкендорф спросил его, что ему надобно. Он изъявил желание передать родному брату своему л.-гв. Павловского полка капитану новые свои золотые эполеты, которые скоро пригодятся ему при производстве в полковники. Бенкендорф охотно согласился и приказал офицеру передать их брату. В этом каре стояли мы с лишком полчаса, оттуда разделили нас на отделения, каждое окружено было многочисленным конвоем. В одном отделении находились офицеры, осужденные из 1-й гвардейской дивизии и генерального штаба, гвардейских кавалерийских дивизий особо; в другом — офицеры 2-й гвардейской дивизии, саперы и пионеры; в третьем — офицеры армии; в четвертом — служившие в гражданской службе; пятое отделение состояло из моряков и отправлено было в Кронштадт, где исполнен был приговор в присутствии флота. В таких отделениях вывели нас из крепостных ворот на гласис Кронверкской куртины. Спину к Петербургской стороне стояло войско, по одной роте и по одному эскадрону с каждого полка гвардейского корпуса, с заряженными пушками. На Кронверкском валу видна была виселица, тогда узнал я работу виденных мною плотников из окна моего каземата. Отделения наши стояли в ста саженях расстояния одно от другого, возле каждого отделения пылал костер и стоял палач. По гласису между войском и отделениями разъезжал верхом генерал-адъютант Чернышев, в этот раз без румян. Красивый гнедой конь его, с гордою поступью, но без хвоста, был с голой репицей: вероятно, слишком рано утром не успели убрать или плохо убрали седока и коня!..

При каждом отделении находился генерал; при нашем 2-м был мой бывший бригадный начальник Е. А. Головин. По старшинству разрядов вызывали нас вперед поодиночке; каждый должен был стать на колени; палач ломал шпагу над головою, сдирал мундир и бросал их в пылающий костер. Став на колени, я сбросил с себя мундир, прежде чем палач мог до меня дотронуться, за что генерал закричал ему: «Дери с него мундир!» Шпаги и сабли были заранее уже подпилены, так что палач без всякого усилия мог их переломить над головою, только с бедным Якубовичем поступил он неосторожно, прикоснувшись его головы, пробитой черкесской пулею над правым виском. С И. Д. Якушкина также неосторожно содрали кожу с чела. Последним из

нашего отделения был М. И. Пущин, который по приговору был разжалован в рядовые до выслуги без лишения прав дворянства⁴⁴, следовательно, закон запрещал ломать над ним саблю, о чем он заметил генералу, но тому было не до закона и, не выслушав его, приказал и над ним переломить саблю. В огонь вместе с мундирами были брошены и ордена второпях. Процессия эта продолжалась с лишком час; на нас надели полосатые госпитальные халаты и теми же отделениями повели обратно в крепость. Я взял под руку всеми искренне уважаемого, заслуженного полковника моего М. Ф. Митькова, который больной поступил в крепость и здесь еще более расстроил здоровье.

Народу, зрителей было мало, только около входа в крепость пред подъемным мостом толпилась куча небольшая. Накануне дали знать, что решение будет на Волковом поле. Народ, повсюду любопытный, на этот раз или сам не хотел присутствовать, или было еще слишком рано, или полиция не допустила. Когда нас повели обратно, то на Кронверкском валу виселица еще ждала обреченных жертв, там еще никого не было. Мы обратились в ту сторону, перекрестились, и каждый по-своему просил бога принять с любовью наших товарищей, опередивших нас рвением и отшествием от мира сего. На виселицу и на повешенных народ мог глядеть долго, до позднего вечера, но только издали, потому что она стояла на высоком валу за рвом непроходимым на месте неприступном. Не знаю, чему приписать причину, что казнь не была совершена на наших глазах, в нашем присутствии: деликатности ли? Или обдуманной осторожности, или неисправности? Конечно, не хотели утаить ее, она должна была служить примером и устрашением, но все как-то не клеилось одно с другим — с народным духом и с гласностью. Говорили после, что Чернышеву сделано было замечание за то, что казнь была не одновременна с нашей экзекуцией, другие говорили, что перекладина была забыта в мастерской. Меня отвели в прежнюю мою Кронверкскую куртину, но в другой номер, соседний, в 14-й, в котором Рылеев провел последнюю ночь своей земной жизни. Я вступил туда, как в место освященное; молился за него, за жену его, за дочь Настеньку; тут писал он последнее, всем известное письмо, изуродованное переписчиками. Из оловянной кружки пил я недопитую им воду. Возле меня в 15-м номере посажен был товарищ

мой Н. П. Репин; двойная бревенчатая стена отделяла наши стойла или казематные кельи. В моем прежнем 13-м номере, наискось против меня, сидел в тот день М. А. Назимов; ему, сердечному, суждено было видеть ужасную казнь на валу, до ночи висели тела мертвых, разрешившихся и освободившихся душ бессмертных.

Очевидцы последних часов жизни Павла Ивановича Пестеля, Кондратия Федоровича Рылеева, Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, Михаила Павловича Бестужева-Рюмина, Петра Григорьевича Каховского были протоиерей П. Н. Мысловский, плац-майор Е. М. Подушкин, плац-адъютант Николаев, фейерверкер Соколов и несколько солдат в крепости, а на месте казни находились кроме названных: петербургский плац-майор Ар. Аф. Болдырев, городской полицеймейстер гвардейского генерального штаба штабс-капитан В. Д. Вольховский⁴⁵ и еще несколько солдат. Последний день и последнюю ночь 12 июля осужденные на смерть провели в номерах Кронверкской куртины. П. И. Пестель от начала до конца сохранял необыкновенную твердость духа, без малейшего волнения, в готовности принять и вытерпеть все муки. Образованием своим он был обязан не столько хорошим наставникам и учебным заведениям, сколько отличным способностям своим и великой цели всей жизни. Много лет трудился он над «Русскою правдою», которая не многим кому известна от начала до конца, а подлинник в свинцовом ящике, закопанный в мерзлую землю, близ деревни Курнасовки, Заикиным и Пушкиным передан в собственные руки императора, как я уже упомянул выше. При каждой двери квартиры его был приделан колокольчик, так что он всегда успевал прятать свои бумаги от неожиданных гостей. Весь труд свой сообщил он сам Алексею Петровичу Юшневскому, бывшему интенданту 2-й армии, мужу большого ума, с самыми строгими правилами нравственности. Отдельные части «Русской правды» сообщал он и посторонним, и П. Д. Киселеву, и многим членам, от которых мог ожидать дельных примечаний или дополнений. Сущность «Русской правды» заключала в себе распределение обширнейшей в мире страны на области и округа по местности и по составу населения, но притом — единство России. Как ныне Финляндия, так могло бы существовать и Царство Польское 1815 года, но никогда не было ни помышления, ни речи, ни сделки об отречении России от Польши⁴⁶; перенесение прави-

тельствующих мест в Нижний Новгород; освобождение всех крестьян из крепостной зависимости и наделение всех землею в собственность; общинное управление крестьян; гласное судопроизводство с присяжными по делам уголовным⁴⁷; преобразование войска и уменьшение срока обязательной службы. Все собеседники Пестеля безусловно удивлялись его уму положительному и пронищательному, дару слова и логическому порядку в изложении мысли. Коротко знавшие и ежедневно выдавшие его, когда он был еще адъютантом графа Витгенштейна, сравнивали его голову с конторкою со множеством отделений и выдвижных ящичков: о чем бы ни заговорили, ему стоило только выдвинуть такой ящик и изложить все с величайшею удовлетворительностью. Составитель и редактор отчета или донесения следственной комиссии, собрав материал свой из частных разговоров, показаний, мнений нескольких членов Общества, выставляет Пестеля как честолюбца непомерного, думавшего только о собственной своей славе, о своем личном повышении. Кто хочет верно оценить Пестеля, тот должен знать его «Русскую правду». Насчет замечаний о его действиях как полкового командира должно помнить, что они сделаны Майбородою, предателем, который был его казначеем, истратил для себя полковые деньги в Москве, куда послан был для покупки офицерских вещей и казенных, и был великодушно спасен Пестелем от стыда и от суда. Относительно замечания Рылеева, что в Пестеле можно скорее предугадывать Наполеона, чем Вашингтона, то оно было извлечено из частной беседы его после первого знакомства с ним, когда Пестель укорял Северное общество в бездействии и предложил соединить Северное с Южным. В роковую ночь он приобщился св. тайн у пастора Рейнбота⁴⁸, который изъявил ему свою готовность сопутствовать ему до последней минуты; но Пестель благодарил и отказал ему в предложении, замечив, что довольно будет напутствования одного священника русского, что он сам приготовился на все и что у всех христиан спаситель един. Пестель оставался спокойным до последнего мгновения, он никого ни о чем не просил; равнодушно смотрел, как заковали ноги его в железо, и когда под конец надели петлю, когда из-под ног столкнули скамейку, то тело его оставалось в спокойном положении, как будто душа мгновенно отделилась от тела, от земли, где он был оклеветан, где трудился не

для себя, где судили его за намерения, за мысли, за слова и просто умертвили. Ссылаюсь на решения и доказательства лучших и опытнейших юристов.

Я не пишу биографий многих моих товарищей и со-
узников, а только кратко касаюсь последних минут их
земной жизни, припоминая главные черты их характера.
В моих записках я уже не раз упоминал о Кондратии
Федоровиче Рылееве. Вся жизнь его, от самого выпуска
из 1-го кадетского корпуса в конную артиллерию, дыша-
ла любовью к Отечеству. Прочтите его сочинения — вы
повсюду найдете эту любовь, готовую принять все муки
адские, лишь бы быть полезным своей стране родной.
Читайте думу «Волинский», «Исповедь Наливайки»,
поэму «Войнаровский» — вы в них услышите и увидите
самого Рылеева. Всего теснее и искреннее был он свя-
зан с Оболенским и с Николаем и Александром Бесту-
жевскими; двое первых написали биографию Рылеева; мне
остается только досказать, что он в досужные часы от
дел Американской торговой компании⁴⁹, коей он был
секретарем, хаживал в губернское правление; вызывал-
ся хлопотать за людей безграмотных, бедных или при-
тесненных, так что в последние годы все такие просите-
ли хорошо его знали. Я уже доказал, как он безусловно
и охотно жертвовал собою при восстании 14 декабря;
он предвидел неудачу, но хотел явного восстания, яв-
ного требования прав, в полном убеждении, что иначе
народу не получить того, что ему следует. Он был ду-
шою этой попытки; с радостью принимал он на себя
всю ответственность; сам просил императора и комис-
сию, и комитет, чтобы его не щадили, но чтобы облег-
чили участь товарищей его, о чем даже упоминается и
в донесении следственной комиссии. Только не знаю, от-
куда редактор донесения почерпнул, что будто бы Ры-
леев сам не являлся на Сенатскую площадь, когда я
сам видел его там; но ему незачем было долго там
оставаться, потому что он деятельнее всех других соби-
рал силы со всех сторон: ездил по всем казармам, по
караулам, искал отдельных лиц, не явившихся к сбор-
ному месту⁵⁰. Он только не мог принять начальства
над войском, не полагаясь на свое умение распорядить-
ся и еще накануне избрав для себя обязанность рядо-
вого. В каземате в последнюю ночь получил он позво-
ление писать к жене своей; он начал, отрывался от
письма, молился, продолжал писать. С рассветом во-
шел к нему плац-майор со сторожем, с кандалами и

объявил, что через полчаса надо идти: он сел дописать письмо, просил, чтобы между тем надевали железы на ноги. Соколов был поражен его спокойным видом и голосом. Он съел кусочек булки, запил водою, благословил тюремщика, благословил во все стороны соотчичей, и друга и недруга, и сказал: «Я готов идти!»

В 12-м номере Кронверкской куртины заключен был накануне казни Сергей Иванович Муравьев-Апостол 2-й. Его пламенная душа, его крепкая и чистейшая вера, еще задолго до роковой минуты внушали протоиерею П. Н. Мысловскому такое глубокое почитание, что он часто и многим повторял: «Когда вступаю в каземат Сергея Ивановича, то мною овладевает такое же чувство благоговейное, как при вшествии в алтарь пред божественною службою». Так чисты были его помышления, так сердце его исполнено было любви к спасителю и к ближнему. Беседы его были всегда назидательны и утешительны. С юных лет предметом любимой мысли его было благо Отечества; для него учился он старательно сперва дома, после в корпусе путей сообщения генерала Бетанкура, наконец, в Париже; служил в л.-гв. Семеновском полку, откуда после восстания полка в 1820 году, при распределении целого полка по всем полкам армии, переведен был в Черниговский пехотный полк подполковником⁵¹. Для Отечества он готов был жертвовать всем; но все еще казалось до такой степени отдаленным для него, что он иногда терял терпение; в такую минуту он однажды на стене Киевского монастыря карандашом выразил свое чувство. В. Н. Лихарев открыл эту надпись.

*Toujours rêveur et solitaire,
Je passerai sur cette terre,
Sans que personne m'ait connu;
Ce n'est qu'au bout de ma carrière,
Que par un grand trait de lumière,
L'on verra ce qu'on a perdu*.*

Душа его была достойна и способна для достижения великой цели. В последние минуты жизни он не имел времени думать о себе. Возле его каземата в 16-м номере сидел юный друг его Михаил Павлович Бестужев-Рюмин; нужно было утешать и ободрять его. Соколов и сторожа Шibaев и Трофимов не мешали им громко беседовать, уважая последние минуты жизни

* Перевод см. на стр. 389.

осужденных жертв. Жалею, что они не умели мне передать сущность последней их беседы, а только сказали мне, что они все говорили о спасителе Иисусе Христе и о бессмертии души. М. А. Назимов, сидя в 13-м номере, иногда мог только расслышать, как в последнюю ночь С. И. Муравьев-Апостол в беседе с Михаилом Павловичем Бестужевым-Рюминым читал вслух некоторые места из пророчеств и из Нового завета⁵².

В числе осужденных Муравьевых были члены из четырех домов, связанных между собою близким и дальним родством. С. И. и М. И. Муравьевы-Апостолы, получившие сложное фамильное имя от предка по матери, гетмана Данилы Апостола, они были двоюродные братья Арт. Зах. Муравьева, шурина графа Е. Ф. Канкрина, и приходились троюродными братьями Никите Михайловичу и Александру Михайловичу Муравьевым, которых отец был наставником Александра I. Александр Николаевич Муравьев, бывший нижегородским гражданским губернатором незадолго до кончины своей, был старший сын генерала Н. Н. Муравьева, известного основателя и директора школы колонновожатых в Москве.

Михаилу Павловичу Бестужеву-Рюмину было только 23 года от роду. Он не мог добровольно расстаться с жизнью, которую только начал; он метался как птица в клетке и искал освободиться, когда пришли к нему с кандалами. Пред выходом из каземата он снял с груди своей образ спасителя, несущего крест, овальный, вышитый двоюродною сестрою, оправленный в бронзовый обруч, и благословил им сторожа Трофимова. Я видел этот образ, предложил меняться, но старый солдат не согласился ни на какие условия, сказав, что постарается отдать этот образ сестре Бестужева. На этом образе дали клятву двенадцать членов Тайного общества союзных славян.

Петр Григорьевич Каховский⁵³ в последний день заточения, 12 июля, содержался в каземате под другим сводом Кронверкской куртины, не под надзором Соколова и Шибаева, почему, к сожалению, я не имел подробных верных сведений о последних часах его жизни. Он был очень молод, службу свою начал он в л.-гв. гренадерском полку и по домашним обстоятельствам вышел в отставку⁵⁴. Между тем как нас вывели на площадь пред гласисом для решения приговоров, то пятерых товарищей, осужденных на смертную казнь, пове-


ли в саванах и в кандалах в крепостную церковь, где они еще при жизни слушали свое погребальное отпевание. Когда мы уже возвратились с гласиса в крепость, то их шествие из церкви потянулось к Кронверкскому валу. На пути Сергей Иванович Муравьев-Апостол не переставал утешать и ободрять своего юного друга Михаила Бестужева-Рюмина и раз обернулся к духовному отцу П. Н. Мысловскому и сказал ему, что он очень сожалеет, что на его долю досталось сопровождать их на казнь, как разбойников; на это замечание священнослужитель ответил ему утешительными словами Иисуса Христа на кресте к сораспятому с ним разбойнику. Когда дошли до места виселицы, то они еще раз обнялись между собою, стали в ряд на высокую скамейку, и когда петли были уже надеты, когда столкнули скамейку, то тела Пестеля и Каховского остались повисшими; но Рылеев, Муравьев и Бестужев испытали еще одно ужасное страдание. Палач, нарочно выписанный из Швеции или Финляндии, как утверждали, для совершения этой казни, вероятно не знал своего дела. Петли у них не затянулись, они все трое свалились и упали на ребро опрокинутой скамейки и больно ушиблись. Муравьев со вздохом заметил, «что и этого у нас не сумели сделать»; этот язвительный упрек был вызван сильною болью от раны в голову 3 января, которая еще не зажила. Пока снова устанавливали скамейку, перетянули веревки, прошло несколько минут, и продоллась мука от вторичной борьбы с другою, вторичною смертью. Весь день оставались на позорной выставке. С приближением ночи сняли трупы; одни говорили, что ночью в лодке перевезли тела в рогожах и зарыли на берегу Гутуева острова, другие же утверждали — на побережии Голодая, еще другие — что их зарыли во рву крепостном с негашеною известью близ самой виселицы. Так кончилось решение суда 13 июля. <...>





В. И. Штейнгель

ЗАПИСКИ

 **П**режде чем приступим к повествованию о декабрьской катастрофе 1825 года, взглянем несколько назад.

... Не будем говорить о существовании в России Тайного общества, о нем есть уже обосторонние рассказы. Начнем прямо с обстоятельства, непосредственно касающегося до нашего предмета, обстоятельства, породившего те семнадцать дней, которые в Петербурге последовали за известием о кончине Александра I и могут по сущей истине называться в истории *dies nefasti* *.

Когда цесаревич Константин, влюбившись в дочь польского шамбеляна Иоанну Грудзинскую, впоследствии княгиню Лович, просил у императора дозволения на брак с нею, издан был закон, которым дети, происходящие от морганатического брака члена императорской фамилии, лишаются всех прав, присвоенных законным детям.

Нельзя не остановиться на странности этого презрения к неравным бракам в династии, которой родоначальник или выдаваемый за родоначальника, был женат на барской барышне, дочери дворянина-землепашца, но эта бедняжка счастливица произвела на свет мудрого Алексея! И когда в свою очередь этот Алексей женился на бедной сиротке и та родила беспримерного из царей гениального Петра; наконец, когда в самом Петре приписывают то величие, что же-

* Несчастный день (лат.).

нился на неизвестной — женщине или девице, не решено, — и не только женился, оставил ее обладательницею империи!.. Но не одна эта странность показала, что противоречие в понятиях и действиях неразлучно с человеческим родом. Вслед за изданием упомянутого закона дано было на испрашиваемый брак соизволение императора и огорченной императрицы матери с условием отказаться от права на престол. Пылкий Константин согласился и в 1823 году, в бытность в Петербурге, подписал отречение. Что он это сделал не совсем охотно, догадывались потому, что 1 июля, быв на бале у великого князя Николая Павловича, он внезапно скрылся и в ту же ночь уехал в Варшаву. Для высшего круга и даже для Английского клуба в Москве это не было тайной. Потихоньку толковали немало. Кстати упомянуть об одном рассказе покойного профессора Мерзлякова для доказательства, собственно, как могут ошибаться самые приближенные к тем лицам, которых провидение избирает орудием своих определений. Когда разнесся этот слух по Москве, говорил Алексей Федорович, случилось у меня быть Жуковскому, я его спросил: «Скажи, пожалуй, ты близкий человек, чего нам ждать от этой перемены?» — «Суди сам, — отвечал Василий Андреевич, — я никогда не видал книги в руках; единственное занятие фрунт и солдаты». Вообще в это время великий князь не имел приверженцев. Строгая справедливость, которую ставим себе в закон, сколько она доступна человеку, велит сказать, что нельзя ни укорять, ни винить в этом великого князя. Покойный государь Александр I был подозрителен, имея тоже к тому сильный повод. Приобрести любовь, особливо войск, было бы со стороны великого князя более нежели политическою ошибкою.

Чтобы факт отречения цесаревича облечь в законную форму, тогда же составлен в тайне манифест о престолонаследии на случай смерти императора. К нему присоединены подлинное письмо цесаревича, которым просил дозволения отказаться от своих прав в пользу брата, и копия с ответа императора, изъявляющего на то высочайшее согласие. Все эти документы в запечатанном конверте положены в Государственном совете, а другой экземпляр в московском Успенском соборе, с повелением вскрыть по смерти¹.

Заметим мимоходом, что с этого события начались разные происшествия, которые причиняли особенную

ажитацию в умах. Ссылка Лабзина, победа Фотия над Библейским обществом, дуэль Чернова с Новосильцовым и в особенном великолепии похорон первого — ответ оскорбленного плебеизма. Затем ужасное наводнение, которое напоминало бывшее в год рождения императора и потрясло дух государя, так что из трех проектов рескрипта военному генерал-губернатору о пособии разоренным, он выбрал написанный Батеньковым в духе христианского смирения. Наконец, смерть дочери Марьи Антоновны, сборы императора в Крым и с больною императрицею; самый отъезд, сопровождаемый разными предзнаменованиями, убийство Настасьи Минкиной в Грузии, поразившее первого государственного человека, оставленного почти правителем государства, так что он бросил все и уехал из столицы, исполненный мести...² Все это было чем-то необыкновенным, зловещим! Можно себе представить, в каком напряжении были умы, когда разнеслось: «Государь болен!» Фельдъегери от начальника главного штаба Дибича приезжали каждодневно. Публика в Петербурге не подозревала еще опасности, как вдруг великий князь из своего Аничковского дворца перешел в Зимний дворец и занял комнаты императора, со всеми формами охранения караулом. Это заставило уже подозревать нечто необыкновенное. Вдруг 27 ноября раннею повесткою совет, Сенат и весь генералитет приглашены были к обедне и к молебну о здравии его императорского величества в Александровскую лавру. Это значило, что в 4 часа утра прискакавший фельдъегерь привез известие, что в жизни государя императора отчаялись. Обедню совершал митрополит, и только начали херувимскую песнь, к великому князю подошел начальник штаба гвардейского корпуса Нейдгард, шепнул что-то, и его высочество тотчас потихоньку вышел, а за ним и все отправились во дворец. Тут узнали, что другой курьер привез роковую весть: «Государь скончался!» Преднамеренный молебен должен был заместиться панихидой. Граф Милорадович как военный генерал-губернатор имел роковую неосторожность сказать великому князю, что он не ручается за спокойствие столицы, если будет объявлена присяга его высочеству, примолвя: «Вы сами изволите знать, вас не любят». Великий князь тотчас предложил присягнуть цесаревичу. Но князь Лопухин доложил его высочеству, что надобно прежде исполнить свой долг — выполнить

волю покойного государя и распечатать хранящийся в совете пакет. Великий князь согласился, и все члены совета с ним отправились в присутствие. Пакет был распечатан, манифест с приложениями прочтены, и все обратились к великому князю с изъявлением готовности признать его своим государем и принести ему присягу. «Нет, нет, — отвечал великий князь, — я не готов, я не могу, я не хочу взять на совесть свою лишить старшего брата его права. Я уступаю ему и первый присягну». Князь Лопухин хотел еще убеждать, но адмирал Мордвинов сказал: «Мы исполнили свою обязанность, признали своим государем его высочество; но его высочество повелевает присягать цесаревичу, мы должны повиноваться». Все согласились. Великий князь взял за плечо военного министра и со словами: «Пойдем, пойдем», — повел его в церковь. Все присягнули императору Константину.

От Сената был издан тотчас указ, повелевающий на основании постановления об императорской фамилии присягнуть старшему брату покойного императора, и гвардия в тот же день присягнула очень охотно. Во все концы империи разосланы были курьеры, а в Варшаву отправлен обер-прокурор Никитин, известный Петербургу более в качестве игрока³. Начались толки, разглагольствования, восторженности и зашевелились члены Тайного общества. Разномыслие с Южным обществом их было охладило. Они оставались до этого в бездействии. Отвлеченные службою и частными делами, они как бы оставили всякое помышление о цели, к которой стремились. С самого первого вечера квартира незабвенного, благородного автора «Дум» и «Войнаровского» К. Ф. Рылеева, в доме Российско-американской компании, в главном правлении которой он был правителем дел, сделалась центром всех сношений, известий и совещаний. Чрез полковника Ф. Н. Глинку, бывшего при графе Милорадовиче и заведовавшего секретною частию, могли знать все, что делало со своей стороны правительство по распоряжениям великого князя, который в столице был представителем высочайшей власти *de facto**.

На другой же день после присяги во многих магазинах на Невском проспекте допущена была выставка на продажу литографированных портретов «Констан-

* Фактически (лат.).

тина I императора и самодержца всероссийского». Пред ними толпились прохожие, обращая более внимания на физиономию, напоминающую Павла I. Между искренними не было недостатка в сарказмах. Для успокоения столицы дня через четыре выдали афишу, что государыня императрица получила письмо от государя императора, в котором его величество обещает вскоре прибыть в столицу. Чрез несколько дней в изданной афише было сказано, что его в[ысочест]во в[еликий] к[нязь] Михаил Павлович отправился навстречу государю императору. Между тем как занимали таким образом внимание публики новым императором, экстрапочта, приходившая ежедневно из Варшавы в контору Мраморного дворца, принадлежавшего цесаревичу, была от заставы препровождаема в Зимний дворец и тут вскрываема. Хотели из частных писем знать, что там делается. Приказано было солдат не выпускать из казарм, даже в баню, и наблюдать строго, чтобы не было никаких разговоров между ними. Полковым и батальонным командирам лично было сказано, чтобы на случай отказа цесаревича приугодили людей к перемене присяги. Обещано генерал-адъютантство и флигель-адъютантство. Все это известно было у Рылеева, и, следовательно, всем членам Тайного общества. Он уже не дремал и старался каждого одушевить собою. Брошенное им слово «теперь или никогда», казалось, воспламенило всех. Нельзя было не понять важности и благоприятства настоящего момента. Некоторые молодые люди — а их была большая часть — с энтузиазмом готовы были на все. Не то встретил Рылеев от тех, которые были постарее и починовнее: они увлеклись приманкою и расчетами. Несмотря на это, надеялись чрез ротных командиров и офицеров иметь на своей стороне значительную часть гвардейских полков и даже артиллерию. Александр Бестужев — известный Марлинский, — адъютант принца Александра Виртембергского, отвечал за Московский полк; лейтенант Арбузов за Гвардейский экипаж.

Один из не принадлежащих к Обществу, но знавший о нем с 1824 года, хотя и неопределенно, по одной дружеской доверенности Рылеева, представлял ему, что в России революция в республиканском духе еще невозможна: она повлекла бы за собою ужасы. В одной Москве из 250 т[ысяч] тогдашних жителей 90 т[ысяч] было крепостных людей, готовых взяться за ножи и

пуститься на все неистовства. Поэтому он советовал, если хотят сделать что-нибудь в пользу политической свободы, которой тогда, казалось, жаждали, то уж лучше всего прибегнуть к революции дворцовой и провозгласить императрицею Елизавету. Наследников у нее не было; близкий к ней человек Лонгинов образовался в Англии, и самое женское царствование хранилось в памяти народной с похвалами.

Рылеев не опровергал, но, дыша свободою, рвался к ниспровержению, как он говорил, ненавистного, оскорбительного для человечества деспотизма. Далеко уже то время, более четверти века кануло в вечность, не место пристрастию и увлечению, должно говорить истину, одну неумолимую истину. К несчастью, под рукою у Рылеева находился человек чем-то очень огорченный, одинокий, мрачный, готовый на обречение, одним словом — Каховский. Он сам предложил себя, на случай надобности в реджесиды⁴. В разгары страстей размышлению не место. Рылеев объявил это другим членам Общества — и из них некоторые ужаснулись самой мысли!

Ростовцев, младший брат из трех служивших в л.-гв. егерском полку, адъютант генерала Бистрома, командира гвардейского корпуса*, благодетельствованный великим князем, в порыве благородного сердца решился предупредить его высочество. Это было не легко. Доступ во дворец был затруднен. Вот как он сделал. Он написал великому князю письмо, поехал с ним во дворец и при входе объявил, что послан к его высочеству от генерала Бистрома. Допущенный в кабинет, подав письмо, он просил прощения, что смел обмануть его высочество; что письмо не от генерала, а от него самого. В нем он написал, что существует замысел на жизнь его высочества, но что он «не подлец» и умоляет не требовать указания лиц. Великий князь на это сказал, что знать их не хочет, пожал ему руку и обещал не забыть его благородного поступка⁵. По крайней мере все это так описывал сам Ростовцев на листе, с которым рано поутру 13 декабря явился к Рылееву.

* Это Яков Иванович, нынешний генерал-адъютант, начальник штаба военно-учебных заведений. Он был тогда один из восторженных обожателей свободы. Написал трагедию «Пожарский», исполненную смелыми выражениями пламенной любви к Отечеству, и не скрывал если не ненависти, то презрения к тогдашнему порядку вещей в России.

Принося повинную, он промолвил: «Делай со мной, что хочешь». Рылеев вознегодовал сильно и в первом пылу хотел предложить, чтоб его убить, тот же, который воз-
ражал против его аристократических идей, успел его утишить и урезонить так, что он сказал: «Ну че[рт] с ним, пусть живет!»*. Но возвратимся к главному ходу 17-дневного Константина I.

В субботу [пятницу] 11 декабря стало уже известно, что цесаревич не принял ни Никитина, ни донесения Сената. В письме к великому князю Николаю Павловичу он подтвердил свое отречение. В совете придумали издать манифест от нового императора Николая I непосредственно. Написать его было поручено Сперанскому. В следующий день, в воскресенье [субботу] 12-го числа, как в день рождения и потому памяти покойного Александра, манифест был подписан, но все думали хранить тайну⁶. В понедельник [воскресенье] провозились в Сенате с напечатанием манифеста, а во дворце с распоряжениями на завтрашний день, назначенный для обнародования и приведения к присяге. Между тем на совещаниях Тайного общества, из которых одно было у князя Оболенского, составлен был план инсurreкции. Войска, готовые восстать, должны были идти к Сенату. Полагали, что он будет в собрании и, окруженный штыками, согласится провозгласить временное правительство. Для предводительства инсurreкции избрали князя Трубецкого, бывшего дежурным штаб-офицером четвертого корпуса.

В столице носилось какое-то мрачное предчувствие. Самая таинственность явной хлопотливости с обеих сторон пугала всех и каждого. Встречающиеся на тротуарах и бульварах вместо приветствия говорили: «Ну что будет завтра?»

В воскресенье [субботу] 12-го числа у директора Российско-американской компании был обед, на кото-

* Когда 14-го числа выразилось возмущение, Ростовцев, посланный от генерала в Финляндский полк, имел неосторожность проходить между Сенатом и колонною инсургентов, кто-то закричал: «Изменник!» На него бросились и избили прикладами до беспомысленства. Его положили в извозничьи сани и велели отвезти в егерские казармы. Но на Обуховом мосту он очнулся и приказал отвезти себя в квартиру, куда вскоре явился лейб-медик и флигель-адъютант с приветствиями матери, что имеет таких благородных детей. Сам Ростовцев сомневался в значении своего поступка, по крайней мере то выражали его слова, сказанные им посетившему его приятелю.

ром присутствовали многие литераторы, в том числе Греч, Булгарин, Марлинский, сенатор граф Д. И. Хвостов. Шумный разговор оживлял общество, особенно к концу стола, когда все (присутствовавшие) поразгорячились от клико «V. S. P. под звездочкой», которое тогда считалось лучшим. Греч и Булгарин ораторствовали более прочих; остроты сыпались со всех сторон и в самом либеральном духе. Даже граф Хвостов, заметив, что указывают на него, из предосторожности кричал: «Не опасайтесь! Не опасайтесь! Я либерал, я либерал сам». Хотя большая часть знали уже о предстоящей перемене владык, но говорили гадательно, придерживаясь за «может быть». И когда кто-то сказал: «А что, если император вдруг явится!» — Булгарин вскричал: «Как ему явиться, тень мадам Араужо остановит его на заставе»⁷. Из всего, что тут было сказано, просвечивала ясно общая мысль, общее чувство — нехотение оставаться под тем же деспотизмом. В тот же вечер у Рылеева, который уже знал о заготовлении манифеста, было собрание многих членов, которые беспрестанно приходили и уходили, чтобы узнать, на что решились директоры. Всем объявлено, что сборное место — площадь перед Сенатом и что явится диктатор в лице князя Трубецкого для распоряжения. На другой день, 13-го числа, повторилось почти то же. Беспрестанно приходили из полков с известиями и уверениями о готовности восстать за свободу, но тут же узнали, что на Финляндский полк и артиллерию надежда сомнительна. В этот же вечер был поздний ужин у богатого купца Сапожникова, зятя Ростовцева. Хозяин, угасивая шампанским, не обинуясь говорил: «Выпьем! Неизвестно, будем ли завтра живы!» Так были уже уверены, что не обойдется без восстания.

Наконец настало роковое 14 декабря — число замечательное: оно вычеканено на медалях, с какими распущены депутаты народного собрания⁸ для составления законов в 1776 году при Екатерине II. Это было сумрачное декабрьское петербургское утро, с 8° мороза. До девяти часов весь правительствующий Сенат был уже во дворце⁹. Тут и во всех полках гвардии производилась присяга. Беспрестанно скакали гонцы во дворец с донесениями, где как шло дело. Казалось, все тихо. Некоторые таинственные лица показывались на Сенатской площади в приметном беспокойствии. Одно-
му, знавшему о распоряжении Общества и проходив-

шему через площадь против Сената, встретился издатель «Сына Отечества» и «Северной пчелы» г. Греч. К вопросу: «Что ж, будет ли что?» — он присовокупил фразу отъявленного карбонария. Обстоятельство не важное, но оно характеризует застольных демагогов: он и Булгарин сделались усердными поносителями погибших за то, что их не компрометировали. Вскоре после этой встречи, часов в 10 на Гороховом проспекте, вдруг раздался барабанный бой и часто повторяемое «ура!». Колонна Московского полка со знаменем, предводимая штабс-капитаном князем Щепиным-Ростовским и двумя Бестужевыми, вышла на Адмиралтейскую площадь и повернула к Сенату, где построилась в каре. Вскоре к ней быстро примкнул Гвардейский экипаж, увлеченный Арбузовым, и потом батальон лейб-гренадеров, приведенный адъютантом Пановым* и поручиком Сутгофом¹⁰. Сбежалось много простого народа, и тотчас разобрали поленницу дров, которая стояла у заплота, окружающего постройки Исаакиевского собора. Адмиралтейский бульвар наполнился зрителями. Тотчас уже стало известно, что этот выход на площадь ознаменовался кровопролитием. Князь Щепин-Ростовский, любимый в Московском полку, хотя и не принадлежавший явно к Обществу, но недовольный и знавший, что готовится восстание против великого князя Николая, успел внушить солдатам, что их обманывают, что они обязаны защищать присягу, принесенную Константину, и потому должны идти к Сенату. Генералы Шеншин и Фредерикс и полковник Хвощинский хотели их переуверить и остановить. Он зарубил первых и ранил саблею последнего, равно как одного унтер-офицера и одного grenадера, хотевшего не дать знамя и тем увлечь солдат¹¹. По счастью, они остались живы.

Первою жертвою пал вскоре граф Милорадович, неведимый в столь многих боях. Едва успели инсургенты построиться в каре, как [он] показался скачущим из дворца в парных санях, стоя, в одном мундире и в голубой ленте. Слышно было с бульвара, как он, держась левою рукою за плечо кучера и показывая рукою, приказывал ему: «Объезжай церковь и направо к казар-

* Панов убедил лейб-гренадеров, после уже присяги, следовать за ним, сказав им, что «наши» не присягают и заняли дворец. Он действительно повел их ко дворцу, но, увидя, что на дворе уже лейб-егеря, примкнул к московцам.

мам». Не прошло трех минут, как он вернулся верхом перед каре и стал убеждать солдат повиноваться и присягнуть новому императору. Вдруг раздался выстрел, граф замотался, шляпа слетела с него, он припал к луке, и в таком положении лошадь донесла его до квартиры того офицера, которому принадлежала. Увещая солдат с самонадеянностью старого отца-командира, граф говорил, что сам охотно желал, чтобы Константин был императором; но что же делать, если он отказался; уверял их, что он сам видел новое отречение, и уговаривал поверить ему. Один из членов Тайного общества, князь Оболенский, видя, что такая речь может подействовать, выйдя из каре, убеждал графа отъехать прочь, иначе угрожал опасностью. Заметя, что граф не обращает на это внимания, он нанес ему штыком легкую рану в бок. В это время граф сделал вольт-фас, а Каховский пустил в него из пистолета роковую пулю, накануне вылитую. Когда у казармы сняли его с лошади и внесли в упомянутую квартиру офицера, он имел последнее утешение прочитать собственноручную записку нового своего государя с изъявлением сожаления — и в 4-м часу дня его уже не существовало¹².

Тут выразилась вполне важность восстания, которою ноги инсургентов, так сказать, приковались к занимаемому ими месту. Не имея сил идти вперед, они увидели, что нет уже спасения назад. Жребий был брошен. Диктатор к ним не являлся. В каре было разногласие. Оставалось одно: стоять, обороняться и ждать развязки от судьбы. Они это сделали.

Между тем по повелениям нового императора мгновенно собрались колонны верных войск к дворцу. Государь, невзирая на убеждения императрицы, ни на представления усердных предостерегателей, вышел сам, держа на руках 7-летнего наследника престола, и вверил его охранению преображенцев. Эта сцена произвела полный эффект: восторг в войсках, и приятное, многообещающее изумление в столице. Государь сел потом на белого коня и выехал перед первый взвод, подвинул колонны от экзерциргауза бульвара. Его величавое, хотя несколько мрачное, спокойствие обратило тогда же всеобщее внимание. В это время инсургенты минутно были польщены приближением Финляндского полка, симпатии которого еще доверяли. Полк этот шел по Исаакиевскому мосту. Его вели к прочим присягнувшим, но командир 1-го взвода ба-

рон Розен, придя за половину моста, командовал: «Стой!» Полк весь остановился, и ничто уже до конца драмы сдвинуть его не могло. Та только часть, что не взошла на мост, перешла по льду на Английскую набережную и тут примкнула к войскам, обошедшим инсургентов со стороны Крюкова канала¹³.

Вскоре после того как государь выехал на Адмиралтейскую площадь, к нему подошел с военным respekтом статный драгунский офицер, которого чело было под шляпою повязано черным платком*, и после нескольких слов пошел в каре, но скоро возвратился ни с чем. Он вызвался уговорить *бунтовщиков* и получил один оскорбительный упрек. Тут же по повелению государя был арестован и понес общую участь осужденных¹⁴. После его подъезжал к инсургентам генерал Воинов, в которого Вильгельм Кюхельбекер, поэт — издатель журнала «Мнемозина», бывший тогда в каре, сделал выстрел из пистолета¹⁵ и тем заставил его удалиться. К лейб-гренадерам явился полк[овник] Стюрлер, и тот же Каховский ранил его из пистолета. Наконец подъезжал сам вел[икий] кн[язь] Михаил — и тоже без успеха: ему отвечали, что хотят наконец царствования законов. И с этим поднятый на него пистолет, рукою того же Кюхельбекера, заставил его удалиться. Пистолет был уже и заряжен.

После этой неудачи из временно устроенной в Адмиралтейских зданиях Исаакиевской церкви вышел Серафим — митрополит в полном облачении, с крестом в преднесении хоругвей. Подошед к каре, он начал увещание. К нему вышел другой Кюхельбекер, брат того, который заставил удалиться вел[икого] князя Михаила Павловича. Моряк и лютеранин, он не знал высоких титулов нашего православного *смирения* и потому сказал просто, но с убеждением: «Отойдите, *батюшка*, не ваше дело вмешиваться в это дело»¹⁶. Митрополит обратил свое шествие к Адмиралтейству. Сперанский, смотревший на это из дворца, сказал с ним стоявшему обер-прокурору Краснокутскому: «И эта штука не удалась!» Краснокутский сам был членом Тайного обще-

* Это был Якубович, приехавший с Кавказа, имевший дар слова и рассказами о геройских своих подвигах умевший заинтересовать петербургские салоны. Он не скрывал между либералами своего неудовольствия и ненависти личной к покойному государю, и в 17-дневный период члены Тайн[ого] общ[ества] убеждены были, что при возможности «он себя покажет».

ства и после умер в изгнании*. Обстоятельство это, сколь ни малозначашее, раскрывает, однако ж, тогдашнее расположение духа Сперанского. Оно и не могло быть инаково: с одной стороны воспоминание претерпенного невинно¹⁷, с другой — недоверие к будущему.

Когда таким образом совершился весь процесс укрощения *мирными средствами*, приступили к действию оружия. Генерал Орлов с полною неустрашимостью дважды пускался со своими кошкогвардейцами в атаку: но пелотонный огонь опрокидывал нападения. Не побеждая каре, он, однако ж, завоевал этим целое фиктивное графство. Государь, передвигая медленно свои колонны, находился уже ближе середины Адмиралтейства. На северо-восточном углу Адмиралтейского бульвара появилась *ultima ratio*** — орудия гвардейской артиллерии. Командующий ими генер[ал] Сухозанет подъехал к каре и кричал, чтобы положили ружья, иначе будет стрелять картечью. В него самого прицелились ружьем, но из каре слышался презрительно-повелительный голос: «Не троньте этого... он не стоит пули»***. Это, естественно, оскорбило его до чрезвычайности. Отскакав к батарее, он приказал сделать залп холостыми зарядами, но не подействовало! Тогда засвистали картечи; тут все дрогнуло и рассыпалось в разные стороны, кроме павших. Можно было этим уже и ограничиться, но Сухозанет сделал еще несколько выстрелов, вдоль узкого Галерного переулкa и поперек Невы, к Академии художеств, куда бежали более из толпы любопытных!

Так обагрилось кровью и это восшествие на престол. В окраине царствования Александра стали вечными терминами — ненаказанность допущенного гнусного злодеяния¹⁸ и беспощадная кара вынужденного, благородного восстания — явного и с полным самоотвержением.

Войска были распущены. Исаакиевская и Петровская площади обставлены ведетами. Разложены были многие огни, при свете которых всю ночь убирали ра-

* Над прахом его стоит мраморный памятник со скромною надписью: «Сестра страдальцу брату». Он погребен на Тобольском кладбище близ церкви.

** Последний довод (лат.).

*** Эти слова были показаны после при допросах в комитете, с членами которого Сухозанет разделял уже честь носить генерал-адъютантский аксельбант.

ненных и убитых и обмывались площади пролитую кровь. Но со страниц неумолимой истории пятна этого рода не выводимы. Все делалось в тайне, и подлинное число лишившихся жизни и раненых осталось неизвестным. Молва, как обыкновенно, присвоила право на преувеличения. Тела бросали в проруби; утверждали, что многие утоплены полуживыми.

В тот же вечер произведены арестования многих. Из первых взяты: Рылесв, кн[язь] Оболенский и двое Бестужевых¹⁹. Все они посажены в крепость. Большая часть в последующие дни арестованных приводимы были во дворец, иные даже с связанными руками, и лично представлены императору, что и подало повод Николаю Бестужеву сказать впоследствии одному из дежурных генерал-адъютантов, что из дворца сделали съезжую.

На другое утро после кровавой драмы издана была прокламация, в которой описано происшествие, с обращением всего ужасного, отвратительного, преступного и даже безбожного на сторону побежденных²⁰. Сказано было тут, что в восставших и воспротивившихся присяге были все люди с отвратительными лицами. И где же при вражде, когда всякое здравомыслие устраняется, бывает иначе? Мы видели пример тому разительный: самое просвещеннейшее правительство Европы — английское унизило до того, что противника своего, гениального героя, которого будут чтить в отдаленнейших веках, дозволило изображать на дне ночных горшков, чтобы возбуждать озлобление и презрение народа. В 1807 году русский святейший Синод в изданном увещании к народу говорил о Наполеоне: «Это тварь, сожженная своею собственною совестью, от которой и благость божия отступила», а чрез несколько месяцев Александр должен был обняться с этой тварью... и потом разыгрывать роль друга! (Вопрос: кого обманывают во всех подобных случаях? Ответ самый верный: самих себя, для того что и обманутое невежество очень скоро в таких случаях переуверяется и платит за обман потерю уважения и доверия.)

Начались аресты в обеих столицах. На юге они уже производились вследствие доноса Майбороды и Шервуда.

Тотчас же был назначен комитет для раскрытия тайных обществ вообще²¹ под председательством военного министра, из генерал-адъютантов, в том числе и вел[и-

кого] ки[язя] Михаила Павловича. Всего замечательнее, что тут же заседал и генерал-адъютант Кутузов Павел Васильевич, участвовавший в ночной экспедиции гр[а-фа] фон дер Палена против Михайловского замка²². С гражданской стороны был в нем один только ки[язь] Ал. Ник. Голицын, главноначальствующий тогда над почтовым департаментом. Тут же заседал, не как член, но как соглядатай, новый флигель-адъютант Адлерберг, имевший обязанность по окончании присутствия доносить императору, что и как в комитете происходило. Для разобранья и рассмотрения всех отобранных при арестовании бумаг была составлена особая комиссия, в которую военный министр Татищев, и граф уже, назначил не без особенных видов своего комиссариатского чиновника Боровкова, впоследствии сенатора.

Между тем как это происходило в столице, весть о возмущении 14 декабря на юге, в Василькове, была поводом к восстанию Черниговского пехотного полка, в котором батальонным командиром был Муравьев-Апостол, один из благороднейших людей армии. Окруженные гусарами, они должны были уступить силе. Муравьев-Апостол был ранен, меньшей брат его застрелился. Арестованные пленники отправлены в Петербург, где комитет был уже в полном действии.

Монарх, задержав этот комитет с его действиями испрощаемую для публики завесою крепостного, всегда страшного *секрета*, предоставил себе непосредственное право быть полным распорядителем судьбы тех, на кого розыск укажет пальцем. Это, конечно, не язык бироновских времен, но при направлении мстительного преследования всегда столько же страшный. Жертвы скоро свозились отовсюду. Многих привозили прямо во дворец, где генерал-адъютант гр[аф] Левашев снимал первый допрос и носил докладывать по нем государю. К некоторым монарх выходил сам. Гнев еще преобладал в нем; укоризны, сарказмы напоминали слова царя-пророка: «Прощение царево подобно рыканию льва» — и заставляли сожалеть о забытии продолжения этих слов: «яко трава злаку, тако тихость есть». Судя по важности прикосновения, привезенный арестант отсылался с фельдъегерем или в дом генерального штаба, где были отведены особые комнаты, или прямо к коменданту Петропавловской крепости, которым был тогда самый черствый человек генер[ал]-адъютант Сукин.

Плац-майор отводил жертву в каземат и, совершив в назначенном для нее *номере* обряд раздевания и облачения в затрапезный халат, оставлял несчастного всей тяжести первых, быстро переходных и столь ужасных впечатлений. Дом генерального штаба некоторым образом походил тогда на чистилище, а крепость представляла тартар Данте. Всякому ввозимому, конечно, мечталась также ужасная мысль, какая выражена поэтом в «*Lasciate ogni speranza voi ch'entrate!*»* Таким образом крепость вскоре наполнилась так, что не доставало места. Прибавили номеров пригородкою временных, из брусьев сырого леса. Занят был даже секретный Алексеевский рavelин, в садике которого похоронена несчастная принцесса Тараканова, дочь Елизаветы I, похищенная из Ливорно гр[афом] Орловым-Чесменским и утонувшая во время наводнения в 1777 году²³.

Слуги нового властителя всегда бывают чрезмерно усердны в угодливости порывам гнева его: и рвать готовы. В XIX веке комитет генерал-адъютантов, вмешавший царского брата, принял обряды инквизиции! Присутствие в доме коменданта открывалось ночью. К допросам водили под покрывалом, накидывая на лицо платок. По приводе в передний зал сажали за ширмы, поставленные в двух углах, со словами: «Можете теперь открыться». В этом ожидании за ширмами было слышно, как расхаживали по залу плац-адъютанты, жандармы, аудиторы, вообще — вся военная субалтерия; стучали шпорами, рассказывали анекдоты дня, театральные замечания и хохотали, показывая полное безучастие к страдальцам. Может быть, так было и приказано; а никакой приказ подобными людьми так хорошо не исполняется. Пишущий это чрез 27 лет стрелетным сердцем вспоминает, как в один из таких сеансов мог видеть чрез замеченную в ширмах дырочку, что из-за других ширм вывели за руку товарища страдания с завязанными назад руками, с наножным железным прутом, так что он мог едва двигаться. Едва ли то был не Рылеев. Когда надобно было вестъ в присутствие, плац-майор опять накидывал платок на голову и вводил за руку, как слепого! При этом царствовала глубокая тишина. Когда введенного останавли-

* Оставь надежду навсегда, сюда входящий! (Итал.)

вали, раздавался бас: «Откройтесь», и приведенный видел себя пред самым столом этого ареопага.

Думали поражать важностию заседающего сонма и производили впечатление совсем тому противное. Надо отдать справедливость, что не употребляли пыток, какими славилась омерзительной памяти «тайная канцелярия с ее Шешковскими». Но позволяли себе для вынуждения сознания налагать железа на руки и на ноги и определять в диету хлеб и воду; как будто это не то же²⁴. Прибавьте к этому помещение некоторых в смрадных нечистых «номерах», наполненных всякого рода насекомыми. В них страдальца отделяла одна брусная, со сквозными пазами, перегородка от инвалидов, на ночь тоже запираемых, так что он должен был слышать мерзости, и скажите, что это не пытка. Каков был этот способ дознания так названной истины, можно судить по тому, что один из содержавшихся, полковник Булатов, убил себя, разбивши голову об стену, другой думал лишиться себя жизни, глотая мелкие осколки разбитого стекла.

Когда таким образом из одних готовили род гека-томфонии²⁵ тени Александра, других спасали по уважениям фамильным, даже с сокрытием их прикосновенности. Отсюда вышло то, что 20-летние прапорщики, 18-летние мичмана явились ужасными государственными злодеями, дышавшими цареубийством, ниспровержением престола, а люди уже солидные, участвовавшие обдуманно, оказались невинными и отпущены без огласки, одни из дворца, другие из штаба, третьи даже из крепости, просидевшие в ней до окончания процесса.

Упомянем случай, разительно доказывающий, как эти тайные, вынудительные меры к исторжению сознания могут губить людей невинных. Подполковник штаба 2-й армии Фаленберг был арестован, когда только что успел жениться. Жена его была очень больна в это время. Чтобы ее не убить, арестование было произведено со всею предосторожностью. Он мог уверить больную, что уезжает в Бессарабию и вскоре возвратится. Всю дорогу мучила его одна мысль: «Что станет с нею, если узнает?» По доставлении его во дворец и по снятии допроса, как мало замешанного, его посадили в штаб вместе с полковником Харьковского драгунского полка Кончяловым. Терзаемому разлукой дни казались месяцами. Наконец, его уже предваряли о признаках скорого освобождения, как вдруг к Кончялову

пришел восторженный полковник Раевский, только что выпущенный из-под ареста. Заметив третье лицо в комнате: «Кто с ним?» Узнав, что это по жене его родственник, которого он лично не знал, Раевский подошел к нему с рекомендацией и между прочим в утешение имел неосторожность сказать, что государь чрезмерно милостив! «Требуется одно только искреннее сознание, и что бы вы ни сделали, смело признайтесь, и тотчас будете выпущены». Самого себя притом поставил примером. Расстроенная голова Фаленберга закружилась от такого легкого способа отделаться скорее и лететь к обожаемой своей половине. В тот же вечер он написал гр[афу] Левашеву записку, что «желает признаться». Его позвали. Он показал, что знал о преднамеренном цареубийстве от кн[язя] Бярятинского. Его тотчас же отправили в крепость. В комитете чрез несколько мучительных дней дали ему очную ставку.

Кн[язь] Бярятинский с жаром убеждал его, что никогда ничего подобного ему он не говорил. Фаленберг, не понимая его благонамеренности, с сердцем выговорил ему: «Что же вы хотите меня представить лжецом!» — и кн[язь] Бярятинский вынужден был сказать: «Ну как хотите, по крайней мере я не помню». Видя, что и тут признание нисколько никого не жалобит, он объявил коменданту истину, что ничего ни о каком цареубийстве не знал и не слышал до самого издания объявления и показал на себя вздор, чтобы только скорее освободиться. Но уже поздно: ему не поверили и ответили осуждением на 15 лет в каторжную работу.

Другие обвинения достигались не лучшими средствами. То убеждали показывать все, что знают, обольщая милосердием государя; то восстанавливали одного против другого, объявляя, будто бы тот показывает в его обвинение; то уверяли, что все уже знают и только хотят видеть степень искренности сознания; то, наконец, как и выше уже замечено, вымогали сознание угрозами и самую жестокостию. Отчего после и вышло, что некоторые из тех, которых принуждены были признать невинными и выпустить, понесли уже наказание держанием в железах, что по закону считается наказанием телесным. Поэтому их все-таки удалили и под надзор полиции, чтобы не встречать укора²⁶. Как хотеть после этого, чтобы верили святости законов! Так всякое отступление от правого пути и беспристрастия порождает нравственную уродливость. Некоторые по-

средством услужливости плац-майора могли иметь предостережение и совет родных и знать, что с ними хотят делать; но другие с предубеждением в характере нового государя, явно предоставившего себе распорядиться их судьбою, были оставлены при своем раздражительном положении, совершенно самим себе, которым никто не отвечал ни на один вопрос, ни одним словом, близки были к отчаянию и, увлеченные мыслию не даром по крайней мере отдать жизнь свою, писали дерзкие ответы и тем еще более раздражали против себя. Общий всем задавался вопрос: «Что вас заставило восстать против правительства?» — и давал повод каждому высказывать все, что мог, в осуждение существовавшего порядка вещей и лиц, игравших судьбою России*. Дано было право писать из казематов в собственные руки государя. Некоторые воспользовались им. Один писал беглый очерк всего минувшего царствования, разделяя его на три периода: филантропический, марциальный и мистический²⁷. Особенно представил в последнем обманутое ожидание России, после ее великодушных и огромных жертвований «за веру и царя». Коснулся поселений, рабства и скандального перехода от библеизма к мистицизму, к так называемому православию в лице Фотия! Читано ли это, произвело ли какое-либо действие и какое? Это известно держащему в длани сердца царей. Люди читают в одних последующих событиях. Другой, бывший

* Один написал такую выходку, что его призвали в комитет и заставили переменить свое показание. «Как вы смели писать такие дерзости против священной особы государя? Нам к делу невозможно присовокупить этого!» — загремел один из членов комитета — и это был именно один из сикеров (т. е. убийц. — *Ред.*) 1801 года. Узник ответил кратко: «Вы требовали во всем искреннего признания, я исполнил ваше желание; а если вам угодно, я это выпущу». — «Ну так выпустите же, — сказали, понизив тон, — вам пришлось переписанные вопросы; но это все-таки мы должны показать государю», — и не возвратили. Тот же самый в одном дополнительном показании сделал несколько доводов виновности своей в том только одном, что знал происходившее в последние дни у Рылева и не донес о том, заключив так: «Вы мм. гг., которые должны произнести надо мною суд по совести, приведите, прошу вас, на память этой самой совести событие 1801 года марта на 12-е число, вспомните, что и сам покойный государь знал ужасную тайну фон дер Палена и не объявил ее государю — родителю своему. И так были и будут всегда обстоятельства выше всех человеческих постановлений и обязанностей». По этой бумаге не сделали ни укоризны, ни вопроса: «Как он это знает?» Но, конечно, этому всему он обязан, что осужден был «вечно» в каторжную работу.

адъютант морского министра кап[итан]-лейтенант Торсон, представил все недостатки и злоупотребления по флоту. Это представление рассмотрено после особым комитетом, и настоящее положение флота и портов свидетельствует, как оно было полезно. Самый разбор законченных бумаг, конечно, не вовсе остался бесполезным. Идея почетного гражданства едва ли не отсюда возникла. Последующее издание законов есть следствие сильно представленного беззакония. Одним словом, обреченные на жертву, по крайней мере, как умели, старались погибнуть с пользою для Отечества. Отстрадав, они перемрут в утешительной надежде, что потомство отдаст им хотя эту справедливость.

Таким образом, инквизиционные действия комитета продолжались до июня месяца. Заключенные в казематы дважды слышали над собою ужасный гром и треск, с каким опущены в землю смертные останки венценосных супругов, которых жизнь вся была подтверждением той истины, что от царского венца часто распадается брачный и что слезы, проливаемые втайне на порфиру, столько же, если не более, горьки, как и проливаемые на рубище.

По окончании следствия поднесен был его величеству от комитета доклад, составленный под редакцию ст[атс]-секретаря Блудова. Он вышел точно таким, каким непременно должен выйти всякий обвинительный акт, когда обвиняемые заперты и безгласны и когда обвинители в видах обеспечения будущности интересова ны представить дело сколько возможно презрительно ужасным и с тем вместе хотят облечь свои действия искусною тканею лжей с отливами яркого беспристрастия. За докладом тотчас последовал указ о назначении Верховного уголовного суда над «государственными преступниками». Он составлен из членов Государственного совета, святейшего Синода и правительствующего Сената, с исключением некоторых и прибавлением других. Заседание было открыто в правительствующем Сенате. Первый вопрос по выслушании высочайшего указа и доклада комитета был о том: «Призывать ли подсудимых к подтвердительному допросу, как то велит законный судебный порядок?» Большинство голосов решило этот вопрос отрицательно, поставя побудительною причиною «затруднение». Признано достаточным назначить из членов комиссию, которая бы опросила подсудимых в самой крепости. При этой явной

несправедливости достопочтенный старец адмирал Ал. Сем. Шишков подал голос, которым отказался от присутствия и от участия в осуждении обреченных предварительно на жертву²⁸. Действительно, когда в том же комендантском доме, только в другой комнате, избранная комиссия открыла заседание, никто из содержащихся не знал и даже не подозревал, что уже состоит под судом страшным. Плац-адъютанты извещали каждого обыкновенною формою: «Вас просят в *комитет* сегодня». При входе всякий поражался изменением большей части лиц. На месте Татищева сидел гр[аф] Головкин, вместо кн[язя] Голицына кн[язь] Куракин и т. д. Из членов комитета находился один гр[аф] Бенкендорф. Первый вопрос при показании тетради с прежними вопросами был: «Вы ли это писали?» Затем спрашивали: «Подтверждаете ли все, показанное вами?» — и, наконец, заключали предложением: «Вот подписка, заготовленная в этом смысле, прочтите и подпишите!» Всякий исполнил, не понимая, для чего все это требуется. На вопрос: «Что это значит?» — плац-адъютанты отвечали: «Государю угодно поверить беспристрастие действий комитета». Отобрав таким образом подписки, Верховный суд приступил к приговору, в котором разделил подсудимых на 11 категорий или разрядов, за исключением пятерых, обреченных на мучительную смерть «колесованием!». Из этих разрядов 1-й осужден был на отсечение головы, очевидно с предварительным уверением, что они не подвергнутся этой казни. Изрубить 30 человек, как капусту, было бы, конечно, нечто необычайное для XIX века. Последним, т. е. 31-м, к этому разряду причислен бывший статс-секретарь Тургенев, существенно за то только, что из Англии не явился к оправданию. Прочие разряды, до 7-го включительно, осуждены в каторжную работу, от вечной — до 4 лет; затем 8-й и 9-й разряды — к ссылке в Сибирь, 10—11-й — в солдаты с выслугою и последний притом с сохранением дворянства. Всех осужденных по разрядам было 115 человек. Члены Синода изъявили на приговор свое согласие; но, как *духовные*²⁹, уклонились от подписания. Что же бы прибавило это подписание? Дело в том, что таков дан пример архиереями, бывшими при осуждении царевича Алексея Петровича. Как тогда, так теперь кого думали убедить этим замечанием пилатовского умытия рук? Конечно, не господ, сказавшего: «Не хочу смерти грешника»

В подлинном докладе Верховный суд позволил себе убедительный довод, что государь, если б и желал, не должен щадить осужденных им на смерть.

Высочайший указ с последовавшею конфирмациею подписан 10 июля, в день воспоминания Кючук-Кайнарджийского мира, в который церковь празднует положение ризы господней. Но риза небесного страдальца не напомнила, что он молился о раздравших ее. В высочайшей конфирмации, изложенной в 13 пунктах этого указа, приговор найден *существу дела и силе законов сообразным*; но, чтоб силу законов и долг правосудия согласить с «чувствами милосердия», признано за благо определенные преступникам казни и наказания смягчить ограничениями. Это смягчение выразилось в следующем:

Первому разряду дарована жизнь с заменой для 25 человек вечною каторжною работою, а для 6 человек, *по уважению совершенного и чистосердечного раскаяния*, и для одного в том числе* по ходатайству вел[икого] кн[язя] Михаила, каторжною работою на 20 лет.

Второму разряду отменено положение головы на плаху, а двоим, именно братьям Бестужевым, назначена каторжная работа вечно, 14-ти другим на 20 лет, и одному, подполк[овнику] Норову, на 15 лет и потом на поселение.

Третьему разряду вечность каторжной работы ограничена 20 годами и стала сравнена со вторым разрядом.

Четвертому разряду из 25 лет каторжной работы сбавлено три года.

Из пятого разряда двум сбавлено два года, одному — именно мичману Бодиско 2-му — каторжная работа заменена крепостною и двоим не явлено никакого смягчения.

Из шестого разряда одному отставному полк[овнику] Александру Муравьеву — по уважению *совершенного и искреннего* раскаяния — оказано почти полное помилование избавлением от работы и лишения чинов и ссылкой только на житье в Сибирь, другому сбавлен один год работы.

Седьмого³⁰ разряда 13 человекам сбавлено два го-

* Для Вильгельма Кюхельбекера, который прицелился в великого князя.

да работы и двум — старику артиллерии полковнику Берстелю и подпор[учику] гр[афу] Булгари, по уважению молодости лет, — работа каторжная заменена крепостною, тоже с убавлением двух лет.

Для восьмого разряда утвержден приговор Верховного суда, кроме лейт[енанта] Бодиско 1-го, которого повелено написать в матросы.

Для девятого разряда ссылка в Сибирь заменена написанием в солдаты в дальние гарнизоны.

Десятому и одиннадцатому разрядам не оказано никакого изменения. Напротив, об одном сказано: «Поручика Цебрикова, по важности вредного примера, поданного им присутствием его в толпе бунтовщиков, в виду его полка, как недостойного благородного имени, разжаловать в солдаты без выслуги и с лишением дворянства».

Судьба несчастных, обреченных на смерть, в последнем, XIII пункте, предана решению Верховного уголовного суда и «тому окончательному постановлению, какое о них в сем суде состоится».

На другой же день, 11-го числа, Верх[овный] угол[овный] суд постановленным протоколом, *сообразуясь с высокомонаршим милосердием, по представленной ему власти*, приговорил вместо мучительной смертной казни четвертованием: Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Петра Каховского — *повесить!*

На следующий день, 12 июля, Верх[овный] угол[овный] суд открыл последнее заседание свое в Сенате, решившись предварительно не призывать осужденных для объявления сентенции в Сенате, но самому поехать для этого в крепость. Когда все собрались, митрополит краткою речью представил важность настоящего действия, предложил испытать, «все ли чисты в совести своей?», потому что еще есть время обратиться к милосердию монарха. По утвердительном ответе он сказал: «Ну так помолимся!» Встали, ознаменовались крестом и поехали процессионально длинною вереницею карет в крепость в сопровождении двух жандармских эскадронов. В среднем салоне комендантского дома было уже все приготовлено к открытию заседания. В глубине комнаты столы, накрытые красным сукном, были расставлены покоем, внутри которого поставлен особый небольшой стол для обер-секретаря и пульнет для министра юстиции. Этим высшим блюстителем правосу-

дия тогда был известный горячкою, доходившею иногда до бешенства, кн[язь] Дм. Ив. Лобанов-Ростовский, отличный полковник екатерининского времени, когда держались относительно выправки рекрут известного правила: «Девять забей, десятого поставь».

По открытии заседания из всех казематов вывели затворников и провели чрез задний двор и заднее крыльцо в дом коменданта.

Такое для большей части разобщенных узников свидание произвело самое сильное, радостное впечатление. Обнимались, целовались, как воскресшие, спрашивая друг друга: «Что это значит?» Знавшие объясняли, что будут объявлять сентенцию. «Как, разве нас судили?» — «Уже судили!» — был ответ. Но первое впечатление так преобладало, что этим никто так сильно не поразился. Все видели по крайней мере конец мучительному заточению. Ведомых на поражение³¹ разместили по комнатам, следуя порядку разрядов. Потом начали вводить одними дверями в присутствие и по прочтении сентенции и конфирмации обер-секретарем выпускали в другие. Тут в ближайшей комнате стояли священник протоиерей Петр Мысловский, общий увещатель и духовник, с ним лекарь и два цирюльника с препаратами кровопускания. Их человеколюбивый помощи ни для кого не потребовалось: все были выше понесенного удара. Во время прочтения сентенции в членах Верхов[ного] суда не было заметно никакого сострадания, одно любопытство. Некоторые с искривлением лорнетовали и вообще смотрели, как на зверей. Легко понять, какое чувство возбуждалось этим в осужденных. Один, именно подполк[овник] Лунин, многих этих господ знавший близко, крутя усы, громко усмехнулся, когда прочли осуждение на 20 лет в каторжную работу. По объявлении сентенции всех развели уже по другим казематам.

В ночь на 13-е число на гласисе крепости устроили виселицу и осужденных моряков отправили в Крошштадт. В 2 часа ночи в крепости и около нее было уже полное движение. Всех узников вывели на двор и разместили в два каре; в одно — принадлежавших к гвардейским полкам, в другое — прочих. В то же время выводимые полки гвардии строились вокруг эспланады. Утро было мрачное, туманное. Разложены были костры огня около мест, назначенных для каре. В 3 часа осужденных вывели на экзекуцию. Во втором каре ис-

полнили ее над всеми вместе; из первого разводили по полкам, кто к которому принадлежал. Срывая эполеты и мундиры, бросали в огонь. Таким образом, оборванным странно было видеть между себя одного, оставшегося с орденами. Это был полковник Александр Николаевич Муравьев. Помилованного государем забыли пощадить от вывода на экзекуцию. Когда второе каре уводили обратно в крепость, раздался в нем хохот. Это после приписали бесчувственности, ожесточению; ничего [этого] не было: предмет смеха был Якубович в высокой офицерской шляпе с султаном, в ботфортах и в за трапезном коротеньком до колен халате, выступающий с комическою важностию.

Пять жертв, с которыми не допустили и пред объявлением сентенции никому видаться, провели по фронту войск с надписями на груди: «Злодеи, цареубийцы». Под виселицами с ними простился и благословил их напутствовавший их протоиерей Мысловский. Пестель подошел к нему последний и сказал: «Хотя я и лютеранин, батюшка, но такой же христианин, благословите и меня». Когда по наложению покрывал и петель отняли подмосток и страдальцы всею тяжестью своею повисли, трое — Муравьев, Бестужев и Каховский — оборвались³². Сейчас подскочил один из генералов, крича: «Скорей! Скорей!» Между тем Муравьев успел сказать: «Боже мой! И повесить порядочно в России не умеют!» Надо отдать должную справедливость духовнику — мы назвали его выше, — что от этой казни унес глубокое чувство уважения к страдальцам. Он после, без боязни, не обинуясь, говорил и писал к своим друзьям, что они умерли как святые, дорожил данными от них вещами на память и до кончины своей поминал и молил о упокоении душ их пред престолом божиим. Тела погибших в следующую ночь тайно отвезены на остров Голодай и там зарыты скрытно. Так совершилась казнь несчастных жертв.

Во время всей этой процессии чрез каждые полчаса отправлялись в Царское Село, где находился государь, фельдъегери с извещением, что совершается все «благополучно». И в этот же самый вечер офицеры кавалергардского полка дали праздник на Елагином острове своему новому шефу — царствующей императрице, с великолепным фейерверком. Быть может, хотели показать, что несчастные не достойны ни участия, ни сожа-

ления, и думали треском потешных огней заглушить стенание и плач глубоко огорченных родных.

Над морями в Кронштадте в то же утро экзекуция исполнена, на флагманском корабле адмирала Крона. Сорваны эполеты, и мундиры брошены в воду. Можно сказать, что первое проявление либерализма старались истреблять всеми четырьмя стихиями: огнем, водою, воздухом и землею.

Чтобы это событие представить народу сколько возможно важным и ужасным, а принесенных в жертву лишить всякого сострадания, Синоду поручено было составить особенный молебен и «святейший» издал брошюру под названием *сицевым*³³: «Последование благодарственного молебного пения к господу богу, даровавшему свою помощь благочестивейшему государю нашему императору Николаю Павловичу на испровержение крамолы, угрожавшие междоусобием и бедствиями государству Всероссийскому. В синодальной типографии 1826 года».

В последней ектении этого молебна вот какие слова обращены к всеведущему, испытующему сердца и утробы богу: «Еще молимся о еже прияти господу спасителю нашему исповедание и благодарение нас недостойных рабов своих, яко от неиствующие крамолы, злоумышлявшие на испровержение веры православные и престола и на разорение царства Российского, явил есть нам заступление и спасение свое».

Такой молебен вскоре был отправлен пред народом гвардейского корпуса на Исаакиевской площади, а также в Москве³⁴ и всей России.

Этим священно-торжественным актом совершилась разыгранная официально пред народом и пред современным светом драма кары Тайного общества в России. В таком виде попала она и в «Annuaire Historique»*. За скальпель истины возьмется будущий век.
<...>

* «Исторический ежегодник» (франц.).





М. С. Лукин

ВЗГЛЯД НА ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИ (1816—1826)

 Тайное общество принадлежит истории. Правительство его верно оценило, говоря, что дело его есть дело целой России и что оно располагало судьбами народов и правительств*. Оно образует лучезарную точку в русских летописях, подобно уложению великой Хартии в летописях британского королевства. Десять лет его скрытного существования при подозрительном и враждебном правительстве доказывают мудрость его действий и народное к нему сочувствие. Главная доля его трудов была совершена в этот период времени посреди опасностей и препятствий. Действуя влиянием разумной силы на массу народа, оно сумело направить мысли, чувства, даже страсти различных сословий к органическому преобразованию самого правительства². Существенные задачи конституционного образа правления были поставлены и определены так, что их решение становилось неизбежно в более или менее отдаленном будущем. Общество сделалось выражением народных интересов, требуя, чтобы законы, управлявшие страной и остававшиеся неизвестными даже судам, обязанным соотносить с ними свои решения, были собраны и изданы после разумной кодификации**, чтоб гласность в делах государственных заменила призрак канцелярской тайны, которым они окружены и который мешает их ходу, скрывая от правительства и от народа злоупотребления чиновников;

* Манифест 13 июля 1826 года¹; Донесение следственной комиссии, стр. 21.

** «Обозрение исторических сведений об образовании Свода русских законов, извлеченных из подлинных документов, хранящихся в архиве 2-го отделения собственной его величества канцелярии». 1833, стр. 135—140. Корф говорит, что эта книга Сперанского была тогда же переведена на многие европейские языки³.

чтоб судопроизводство было быстро, а потому устное, открытое и даровое; чтоб администрация была подчинена твердым правилам на место личного произвола; чтоб дарования, в каком бы сословии они ни обнаружались, вызывались к содействию на общее благо и чтоб выбор должностных людей определялся общественным голосом, замещая ими невежд и взяточников; чтоб в назначении и употреблении казенных сумм отдавался гласный отчет, а откупная монополия, ведущая к развращению и нищенству низших сословий, была заменена другой системой налогов; чтобы обращено было внимание на судьбу защитников Отечества, количество войска уменьшено, срок службы сокращен, а жалованье солдата увеличено в соразмерности с его нуждами; чтобы военные поселения, не достигающие первоначальной цели, незаконные в своем основании, были уничтожены в отвращение новых злодейств и пролития крови⁴; чтобы торговля и промышленность освободились от произвольных постановлений и устарелых разграничений, препятствующих движению; чтобы, наконец, положение духовенства, вполне обеспеченное, сделало его независимым и способным к исполнению своих обязанностей⁵.

Развитие образованности было усилено новыми началами, которые Тайное общество влило в народную мысль. Оно рассеяло почти общее предубеждение о невозможности иного порядка вещей и внесло в массы сознание той истины, что подчинение себя другим людям должно быть заменено повиновением закону. Оно искало доказать преимущества взаимной поруки, обращающей дело каждого в общее дело; важность суда присяжных в гражданских и уголовных исках и его внутреннюю связь с гражданской свободой; необходимость гласности без ограничений, которая не только должна быть допущена, но наложена как обязанность и обеспечена как право⁶; злоупотребления сословных различий, источник зависти и озлоблений, разъединяющий людей, на место сближения. Тайное общество обратилось от факта к праву, указывая на пределы всякой власти, поставленные провидением: нравственность, разум, правосудие и общую пользу, различные проблески одной и той же истины. Разлитие просвещения вообще рассматривалось им как путь к внутреннему порядку и справедливости, к внешнему уважению и могуществу⁷. Чтобы достичь этой цели, оно обратилось ко всем сословиям, и они поняли его язык. Часто, но без после-

довательности повторявшиеся усилия правительства в деле просвещения были заменены упрощенной методой, не требующей издержек и основанной на небольшом числе правил, которые, смотря по тому, были бы они ошибочны или верны, не имели бы вредных последствий или бы господствовали в будущем.

Тайное общество отстаивало независимость греков, покинутых почти всеми европейскими государствами⁸; оно подняло голос против рабства и торго русских, несовместного с божьими и человеческими законами⁹; в заключение оно обнаружило самым существованием своим и общностью своих стремлений, что самодержавие не соответствует уже настоящему положению народа и что правительство, основанное на законах справедливости и разума, одно в состоянии поднять его на степень, указанную ему в семье народов образованных.

В переходные эпохи, переживаемые обществами среди таинственного движения к преобразованию их быта, встречаются обстоятельства, когда становится необходимым вмешательство политических людей, к какому бы сословию они ни принадлежали, чтобы вызвать правительства и народы из застоя, порожденного дурным общественным устройством и предрассудками, укorenившимися в течение веков.

Если такие люди вышли из верхних слоев, то гражданская деятельность становится для них долгом, который они платят употреблением умственных сил низшим сословиям за свое превосходство перед ними, купленное их трудом и усилиями.

Они пролагают новые пути к совершенствованию для возникающих поколений; направляют народные стремления к общей пользе; сосредоточивают умственную работу, совершенную одиноко, без взаимного воодушевления; поддерживают борьбу мнений, необходимую для общей гармонии, и становятся сами властями по праву и на деле в силу их воссоздающей мысли и нравственного влияния на сограждан. Идеи их оплодотворяют страну, которую орошают, как завоеватели опустошают страну, куда вторгаются; ибо добро и зло для обществ приходит от отдельных людей. Жертва, на которую они себя обрекают, свидетельствует об их высшем призвании, о верности их начал и о законности их власти.

Тайное общество отвечало всем этим условиям как в основе своего устройства, так и в своих целях, и в способе действия. Нравственный толчок от распростра-

ных им идей был так силен, что император Александр счел нужным обещать, что дарует конституцию русским, как скоро они будут в состоянии оценить ее пользу. (Речь при открытии варшавского сейма, 15 марта 1818 г.) Тайное общество встретило такое обещание с любовью и доверием, которое заслуживал высокий сан обещающего¹⁰. Это был политический залог; освящая цели Общества, он придал ему новое рвение. Оно собрало и устремило все силы, чтоб данное обещание сделать независимым от временной воли лица, и научило нацию понять, оценить блага свободы и их удостоиться. Важность его подвига такова, что стремления Общества, даже по его прекращении, встречаются в каждой правительственной мере, внутри каждого заметного события последних лет.

Ошибки неизбежны в таком колоссальном предприятии, которое, по сознанию самого правительства, должно бы удивить даже тех, кто его задумал*. Они были значительны. Отсутствие принудительной силы, способной ввести порядок в общее движение, сделалось заметно в самом начале. Общество, состоявшее наперед из небольшого числа основателей, испытало потом другое неудобство от умножения своих членов¹¹. Взросшие в мертвящей среде, в умственной праздности, они с трудом могли держаться в уровень с высоким своим призванием. Приходилось умерять ревность одних, подстрекать других, успокаивать третьих и охранять общее согласие. Единство в действии было нарушено. Тайное общество подразделилось на Северное и на Южное, по причине расстояний, заставивших учредить два центра деятельности. Первый из этих отделов встретил затруднения со стороны новых членов, которым было поручено на время управление делами; второй же расширил сферу занятий и тем самым удвоил трудности своего положения, соединившись с Тайным обществом славян и войдя в переговоры с Польским обществом, которого виды и побуждения, отчасти несходные, требовали умеряющего образа действия¹². Между тем измена глухо подкапывала основу здания. В то самое время смерть императора Александра, два отречения от престола, две разноречащие присяги одна за другой, секретное завещание, найденное в архиве,— все это смутило умы и вызвало событие 14 декабря в Петербурге,

* Донесение следственной комиссии, стр. 5.

а на юге отважное движение одного полка первой армии¹³.

Враждебная партия ловко воспользовалась этими ошибками. Она состояла из той части дворян, которая боялась лишиться крепостных и своих прав, да из служащих иностранцев, которые боялись потерять свои оклады. Вожатые этой партии поняли, что конституционный дух — новое вино, для которого нужны и меха новые; что падение самодержавия повлечет за собой потерю их мест, заставит их сложить с себя титулы и орден, подобно актерам по окончании неудавшейся пьесы. Ни одно средство не было упущено, чтоб отклонить удар. Им удалось уверить правительство, что цель Тайного общества — цареубийство и анархия. (Эту мысль распространили в сословии малообразованных, которые верят всему, что напечатано, и между духовенством, которое верит всему, что приказано.) Но торжествующая партия впала сама в ошибку, общую всем партиям: она неумеренно воспользовалась успехом. Более шестисот человек было арестовано и брошено в казематы. При следствии, производимом тайной комиссией на основании придуманного по сему случаю положения, некоторые из содержавшихся были закованы в кандалы, посажены в темные ямы и пытаны голодом; другие — спутаны полами, присланными выманить на исповеди для доноса их признание, или поколеблены слезами своих обманутых родных; почти все — подкуплены лживым обещанием всепрощения. Назначен был Верховный уголовный суд из сенаторов, военных, моряков и духовенства. Это судилище, опираясь на доклад тайных следователей и обсуживая не каждого обвиняемого отдельно, а по разрядам, приговорило: пятерых к четвертованию, тридцать одного к отсеченью головы, семьдесят два к каторжной работе и к ссылке, наконец, девятерых к разжалованью в солдаты¹⁴; и приговор свой произнесло оно, не допросив, даже не выдав никого. Оно спешило покончить дело, потому что наступали празднества коронации. Правительство заменило смертную казнь тридцати одного — каторжною работою в сибирских рудниках, с содержанием в казематах (на них были надеты оковы, они были лишены воздуха и света, предоставлены произволу низших служащих, подчинены управлению грубых людей, сограждан которых они хотели освободить, как первые христиане, которых подвергали оскорблениям перед тем, как предать диким

зверям); а Верховный суд, которому была предоставлена судьба пятерых, счел милосердием заместить колесование виселицей *. Приговор над ними был исполнен исподтишка на гласисе крепости, в которой производился призрак суда, и под прикрытием военной силы, собранной наскоро. Невежество или смущенье палачей продлило муку осужденных, из которых трое, сорвавшись с ослабленной петли, упали и расшиблись до крови, а потом были опять повешены. Все пятеро спокойно поддались своей участи в твердой уверенности, что смертью скрепляли истину своих слов и действий. Родным повешенных были отказаны их тела, которые брошены ночью в яму с растворенной известью ¹⁵; а на следующий день церковь возблагодарила бога за пролитую кровь.

После этого государственного подвига ¹⁶ его главные деятели, столь повредившие правительству, успели стать во главе правления.

Но господствующая партия, по-видимому, ограничивает свою деятельность одними полумерами и внешними изменениями. Она ищет сделать правительство еще более самодержавным, чем в сущности, а народ более национальным, чем на деле ¹⁷. Теперешняя власть, у которой на все доставало смелости, дошла до того, что ей надо всего бояться. Ее общий ход не что иное, как постепенное отступление под защитой корпуса жандармов перед духом Тайного общества, который обхватывает ее со всех сторон. От людей можно отделаться, но от их идей нельзя. Сердца молодого поколения обращаются к сибирским пустыням, где великие ссыльные блистают посреди мрака, в котором хотят их скрыть. Жизнь в изгнании есть непрерывное свидетельство истины их начал. Сила их речи заставляет и теперь не позволять ее проявления даже в родственной переписке ¹⁸. У них все отнято: общественное положение, имущество, здоровье, Отечество, свобода... Но никто не мог отнять народного к ним сочувствия. Оно обнаруживается в общем и глубоком уважении, которое окружает их скорбные семейства; в религиозной почтительности к женам, разделяющим ссылку с мужьями; в заботливости, с какою собирается все, что писано ссыльными в духе общественного возмущения. Можно на время вовлечь в заблуждение русский ум, но русского народного чувства никто не обманет.

* Протокол суда, июля 11-го 1826 года.

Иван Дмитриевич Якушкин
(1793—1857)

«Иван Дмитриевич Якушкин по своему уму, образованию и характеру принадлежал к людям, выходящим из ряда обыкновенных. Отличительная черта его характера была твердая, непреклонная воля во всем, что он считал своею обязанностью и что входило в его убеждения». Так характеризовал декабриста член Тайного общества Н. В. Басаргин. Якушкин — выдающийся участник декабристского движения, талантливый ученый, стоявший на материалистических позициях. Товарищи особо ценили его за исключительную правдивость, «замечательное простодушие», доброту и любовь к ближнему. «Если можно назвать кого-нибудь, кто осуществил свою жизнь нравственную цель и идею Общества, то, без сомнения, его имя всегда будет на первом плане», — писал Е. П. Оболенский.

Иван Дмитриевич получил хорошее домашнее образование, после чего был «произведен в студенты» Московского университета по словесному факультету. В университете близко сошелся с А. С. Грибоедовым. Историки литературы называют И. Д. Якушкина одним из прототипов Чацкого. По окончании курса он поступил подпорщиком в Семеновский полк и вместе с ним участвовал во всех крупных сражениях 1812—1814 гг., отличился при Бородине и под Кульмом. В 1818 г. вышел в отставку в чине капитана. Но еще раньше произошло событие, которое определило его судьбу. «В 1816 году я был один из тех, которые Тайное общество составить предположили», — скажет на следствии Иван Якушкин. Среди членов Общества он выделялся своей решительностью. Пушкин, встречавшийся с ним у П. Я. Чаадаева и в Каменке, создавая образы декабристов в X главе «Евгения Онегина», писал:

..... Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.

И. Д. Якушкин был деятельным членом Союза благоденствия и участником съезда в Москве в 1821 г. После роспуска Союза он вступил в Северное общество.

14 декабря 1825 г. Якушкин находился в Москве. 9 января его по приказу царя арестовали и доставили в Петербург. 14 января он был заключен в камеру Алексеевского равелина. «Присылаемого Якушкина заковать в ножные и ручные железа, поступать с ним строго и не иначе содержать, как злодея», — написал в записке коменданту Николай I.

Верховный суд отнес И. Д. Якушкина к первому разряду и приговорил к смертной казни отсечением головы. По смягчении приговора он был осужден на 20 лет каторги. (Впоследствии срок был сокращен.) Декабриста отправили сперва в Роченсальмскую кре-

пость, а оттуда в Нерчинские рудники. В 1835 г. он был отправлен на поселение в Ялуторовск. В этом городе, где возникла целая колония декабристов, Иван Дмитриевич основал два училища: для мальчиков и для девочек. В Сибири декабрист успешно занимался естествознанием, гальванопластикой, изучал ботанику, зоологию, начал исследование флоры Западной Сибири. В Ялуторовске он написал философский трактат «Что такое жизнь?». С радостью встретил выход «Полярной звезды» А. И. Герцена.

По манифесту Александра II от 26 августа 1856 г. декабрист вернулся в европейскую Россию. Поскольку жить в Москве было запрещено, он поселился в деревне, поддерживая переписку с оставшимися в живых декабристами. Давно развившаяся болезнь осложнилась, он получил разрешение приехать в Москву, но прожил там недолго. 11 августа 1857 г. И. Д. Якушкин умер.

«Записки» Якушкина — один из самых интереснейших и достоверных декабристских документов. А. И. Герцен называл их шедевром, а Михаил Бестужев утверждал: «По краткости, ясности и правдивости — это лучшие из всех записок наших товарищей».

Воспоминания И. Д. Якушкина публиковались частями. I и II части впервые были изданы Герценом в серии «Записки декабристов» (1862, вып. 1); III часть — в России, в журнале «Русский архив» (1870, № 8-9). Отдельной книгой с некоторыми цензурными сокращениями «Записки» в целом были изданы в 1905 г. в Москве сыном декабриста Е. И. Якушкиным. В дальнейшем они несколько раз переиздавались.

Рукопись мемуаров И. Д. Якушкина хранится в ЦГАОР СССР. Первые две части переписаны сыновьями декабриста Вячеславом и Евгением. Заключительная часть — автограф.

В настоящем издании публикуются I и II части «Записок» И. Д. Якушкина (в III части мемуарист вспоминает о заключении в Роченсальме, Чите и Петровском заводе) по изданию: «Записки; статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина». Редакция и комментарии С. Я. Штрайха (М., Изд-во АН СССР, 1951; серия «Литературные памятники»).

¹ Якушкин передает здесь свои настроения того времени. В дальнейшем, показывая действия царя, мемуарист обнажает его истинную суть убежденного крепостника. — 47.

² Призывы к освобождению от ига Наполеона содержались в «летучих» изданиях штаба Кутузова. Походной типографией, выпускавшей эти издания, фактически руководил А. Кайсаров, известный своими передовыми взглядами. Вскоре он был отстранен Александром I от руководства типографией. — 48.

³ Реставрация Бурбонов означала начало открытой реакции. Поддерживая Францию как независимое государство, Александр I был в то же время озабочен тем, чтобы предотвратить новый революционный взрыв в стране. — 48.

⁴ Речь идет о М. А. Фонвизине, племяннике драматурга. Декабрист М. А. Фонвизин — автор воспоминаний под названием «Обозрение проявлений политической жизни в России». Каторгу отбывал в Нерчинских рудниках. — 50.

⁵ Казармы Семеновского полка. Далее рассказывается, как там 19 февраля 1816 г. произошло организационное совещание, на котором был создан Союз спасения. — 50.

⁶ А. Н. Муравьев — один из организаторов Союза спасения. — 53.

⁷ Как писал К. Маркс, Александр I «разыгрывал в свое время роль героя либерализма во всей Европе» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 14, с. 511). — 55.

⁸ Военные поселения были ликвидированы только после Крымской войны, в 1856 г. — 56.

⁹ Поводом для московского совещания 1817 г. послужило известие о сопротивлении крестьян Новгородской губернии введению военных поселений. А. Н. Муравьевым была высказана мысль о возможности опереться на военные поселения при восстании. На совещании присутствовал также М. С. Лунин. Это он выдвинул еще в 1816 г. проект царевубийства. В отличие от предложения Якушкина и Шаховского, которые также брали на себя убийство Александра I, Лунин считал целесообразным осуществить этот акт только тогда, когда Общество будет готово к открытому выступлению. — 56.

¹⁰ Доломан — короткий гусарский плащ; ментик — гусарская куртка с меховой опушкой. — 59.

¹¹ П. М. Муравьева последовала за мужем в Сибирь; умерла в Вятке в 1835 г. — 59.

¹² Сумма конторского долга была определена самой конторой, судьба подавших жалобу неизвестна. — 60.

¹³ Имеются в виду цели Общества; они были сформулированы во 2-й части «Зеленой книги». — 62.

¹⁴ И. И. Пущин и Е. П. Оболенский уже были членами Союза спасения. — 63.

¹⁵ Так же, как Н. И. Тургенев и некоторые другие декабристы, Якушкин в то время выступал сторонником личного освобождения помещичьих крестьян. Они надеялись поднять уровень сельского хозяйства и улучшить положение бывших крепостных, превратив их в арендаторов английского типа. Свои взгляды Якушкин изложил в записке «Мнение смоленского помещика об освобождении крестьян от крепостной зависимости». Позднее, как видно из мемуаров, он изменил свою точку зрения и критиковал сторонников освобождения крепостных крестьян без земли. — 66.

¹⁶ Здесь и далее в рукописи «Записок» Якушкина ошибочно указан 1805 г. вместо 1803-го. Крестьяне, отпущенные помещиком на основании этого указа, получали земельный надел за выкуп, платили подушную подать как помещичьи крестьяне и выполняли те же повинности, что и казенные. — 67.

¹⁷ Закон разрешал продажу крепостных крестьян без земли. — 69.

¹⁸ В 1825 г. П. Д. Киселев резко отмежевался от своих прежних собеседников. — 74.

¹⁹ Декабрист В. Ф. Раевский был арестован в Кишиневе 6 февраля 1822 г. за ведение «возмутительной» пропаганды среди солдат и находился в заключении в Тираспольской крепости до начала следствия над декабристами. В 1826 г. он был переведен в Петропавловскую крепость, потом в крепость Замостье. По приговору военно-судной комиссии лишен чинов и дворянства и сослан на поселение в Сибирь. — 75.

²⁰ Под изменением «устава Общества», как видно из дальнейшего текста, Якушкин имел в виду организацию Тайного общества. — 75.

²¹ После ареста В. Ф. Раевского М. Ф. Орлов был отстранен от командования и назначен «состоять по армии». Речь, о которой упоминает Якушкин, была произнесена в августе 1819 г. В ней Орлов

обрушился на политических староверов — «защитников невежества». Д. В. Давыдов писал П. Д. Киселеву об Орлове, который хочет «страхнуть абсолютизм в России»: «Орлов об осаде и знать не хочет, он идет к крепости по чистому полю, думая, что за ним вся Россия идет». — 77.

²² Д о р м е з — дорожная карета. — 77.

²³ Речь идет о восстании Чугуевского и Бугского военных поселений под Харьковом в 1819 г. — 78.

²⁴ Стихотворение «Кинжал» написано позднее — в 1821 г.; впервые опубликовано Герценом в 1856 г. в «Полярной звезде», кн. 2. — 79.

²⁵ О причинах, по которым декабристы воздерживались от принятия Пушкина в Тайное общество, см. примеч. 7 к воспоминаниям И. И. Пущина. — 81.

²⁶ Речь идет о московском съезде Союза благоденствия в 1821 г. — 81.

²⁷ Как показала его деятельность 1821—1822 гг., М. Ф. Орлов не порвал с Тайным обществом. — 81.

²⁸ Об этом письме И. Д. Якушкин говорит выше. См. с. 59 настоящего издания. — 81.

²⁹ Сразу после московского съезда Н. М. Муравьев уведомил Пестеля, ставшего во главе Южного общества, «о продолжении» Тайного общества. — 83.

³⁰ Многие солдаты-семеновцы стали пропагандистами идей свободы; декабрист И. И. Горбачевский назвал их «ревностными агентами Тайного общества». Среди переведенных офицеров был член Тайного общества С. И. Муравьев-Апостол. М. П. Бестужев-Рюмин и А. Ф. Вадковский вступили позднее в Южное общество. — 87.

³¹ Экземпляр «Зеленой книги» (часть 1-я) вместе с доносом на Союз благоденствия был представлен командиру гвардейского корпуса И. В. Васильчикову предателем М. К. Грибовским. — 88.

³² Полковник П. Х. Граббе как член Союза благоденствия был привлечен к следствию по делу декабристов и без суда заключен на четыре месяца в крепость. — 89.

³³ Н. М. Муравьев начал работу над Конституцией, находясь в Минске. — 90.

³⁴ Донской монастырь в Москве. — 95.

³⁵ Траур в связи со смертью Александра I. — 101.

³⁶ Николай I широко применял эту форму наказания по отношению к декабристам. Ножные оковы были сняты с И. Д. Якушкина только 14 апреля, ручные — 18 апреля. — 101.

³⁷ Строка из «Божественной комедии» Данте. — 102.

³⁸ После этой попытки покончить с собой А. М. Булатов разбил голову о стены и умер в ночь на 19 января 1826 г. — 105.

³⁹ Дочь императрицы Елизаветы и А. Г. Разумовского, Августа Тимофеевна, известная под именем княжны Таракановой (род. около 1744 г.), была отправлена за границу. В 1785 г. ее привезли в Россию и заключили в московский Ивановский монастырь, где она пробыла монахиней до своей смерти в 1810 г. В Петропавловскую крепость была заключена по приказу Екатерины II другая Тараканова, жившая с 1772 г. в Париже. Называя себя Владимирской княжной, дочерью императрицы Елизаветы и Пугачева (!), она претендовала на русский престол. Ее в 1775 г. обманом вывез в Россию А. Г. Орлов. В том же году, т. е. до наводнения 1777 г., она умерла в крепости. В «Записках» И. Д. Якушкина отражена

легенда, которая позднее послужила темой для известной картины К. Д. Флавицкого. — 114.

⁴⁰ См. примеч. 34 к воспоминаниям М. Бестужева. — 118.

⁴¹ Личность П. Н. Мысловского в мемуарах декабристов оценивается по-разному. М. С. Лунин и некоторые другие отзывались о его роли в судьбе осужденных резко отрицательно. — 118.

Михаил Александрович Бестужев (1800—1871)

Видную роль в событиях 14 декабря сыграли четверо из братьев Бестужевых: Николай, Александр, Михаил и Петр.

Михаил Бестужев своими решительными действиями в казармах Московского полка положил начало осуществлению плана восстания: полк первым вступил на Сенатскую площадь и успешно отражал атаки правительственных войск. Когда восставшие попали под артиллерийский огонь, М. Бестужев, пытаясь спасти положение, выстроил своих солдат на льду Невы, чтобы вести их на Петропавловскую крепость...

Михаил Бестужев вырос в семье, тесно связанной с флотом. Окончив морской корпус, он служил на Белом, Северном и Балтийском морях, совершил плавание к берегам Франции. Политические взгляды Михаила Бестужева сформировались под влиянием старшего брата Николая, развившего в нем задатки подлинного революционера.

В 1821 г. М. Бестужев познакомился с К. П. Торсоном. Вместе они разрабатывают проект преобразования русского военного флота. По рекомендации брата Николая за полтора года до восстания Михаил был принят Торсоном в Северное общество, членом которого был также Александр Бестужев (Марлинский).

В марте 1825 г., считая, что «присутствие в полках гвардии может быть полезно для нашего дела», М. Бестужев перешел в Московский полк. В своей роте он с первого же дня отменил телесные наказания, чем снискал любовь и уважение солдат. М. Бестужев принял самое деятельное участие в подготовке и проведении восстания, проявив замечательное присутствие духа.

Сопоставляя его воспоминания с показаниями Каховского, Панова, Арбузова, воспоминаниями Н. Бестужева, Сутгофа, Розена и других, мы видим, что члены Северного общества так же, как и Южного, считали необходимой политическую агитацию среди солдат накануне восстания. Поэтому 14 декабря на Сенатскую площадь вышли именно те полки, в которых велась работа среди солдат.

Заключенный в Петропавловской крепости, М. Бестужев придумал «стенную азбуку». Этим изобретением пользовались все последующие поколения русских революционеров. На каторге и в ссылке в Забайкалье Михаил Бестужев, так же как и его старшие братья, сохранил революционный темперамент и демократические убеждения.

Вместе с декабристом Д. И. Завалишиным он писал статьи, разоблачающие произвол губернской администрации. В 1859 г. М. Бестужев направил письма такого же содержания в военное министерство. Одно из них, ходившее по Петербургу, как сообщил ему В. И. Штейнгель, попало к царю. «Я этим обстоятельством

очень доволен, — писал Бестужев Завалишину, — во-первых, он в них не увидит противоречия твоим статьям, а во-вторых, и его я не пощадил». Это письмо показывает критическое отношение Бестужева к политике царского правительства накануне отмены крепостного права.

После амнистии М. Бестужев не сразу покинул Сибирь. Только после смерти жены, бурятки по происхождению, он вместе с детьми перебирается в Москву. После его смерти заботу о детях взяли на себя сестры Бестужевы, которые до этого более десяти лет провели с братьями в Селенгинске на поселении.

Первый вариант воспоминаний М. А. Бестужев сжег в начале 1860-х гг., узнав, что местные власти намерены изъять все его бумаги. Очерки «Братья Бестужевы» и «14 декабря 1825 года» написаны в 1869 г. в Москве. Первый очерк был опубликован М. И. Семевским в «Русской старине», в 1870 г., второй — за границей, в 1902 г. В 1917 г. очерк «14 декабря» был опубликован в Петрограде П. Е. Щеголевым по рукописи, ныне утраченной. Автограф очерка «Братья Бестужевы» хранится в Институте русской литературы АН СССР. Здесь же находится автограф очерка о пребывании в Алексеевском равелине, сохранившийся среди ответов, посланных М. И. Семевскому в 1860—1861 гг.; впервые был напечатан в «Полярной звезде» Герцена (1862, кн. 7, вып. 2).

О казни Рылеева М. Бестужев писал в примечаниях к адресованному ему письму декабриста И. И. Горбачевского 12 июня 1861 г. Впервые они были опубликованы в 1913 г. (приложение к газете «День», № 6—10); автограф — в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Публикуемая часть воспоминаний М. А. Бестужева дается по наиболее полному и точному изданию: «Воспоминания Бестужевых». Редакция, статьи и комментарии М. К. Азадовского (М.—Л., Изд-во АН СССР, 1951; серия «Литературные памятники»).

¹ Очерки «Братья Бестужевы» и «14 декабря 1825 года» написаны М. А. Бестужевым в 1869 г. в форме ответов на вопросы историка М. И. Семевского. — 119.

² Дело было не только в нехватке документов. Н. Бестужев должен был считаться с мнением Адмиралтейского совета. «Эта история, — писал он незадолго до смерти своему другу адмиралу М. Ф. Рейнеке, — была мною почти противу моей воли [напечатана] в этом виде». — 120.

³ Отражая критическое отношение к придворной атмосфере, в которой находился Жуковский, эпиграмма не означала, что декабристы не ценили достоинств его поэзии и его заслуг перед русским языком. — 121.

⁴ Мичман 27-го флотского экипажа Петр Бестужев принимал участие в деятельности Северного общества и до 14 декабря 1825 г. Его принял в Общество А. П. Арбузов. Сам он принял Н. А. Чижиова, лейтенанта 2-го флотского экипажа. В день восстания П. Бестужев дважды побывал в казармах Гвардейского экипажа и на Сенатскую площадь вышел вместе с Н. Бестужевым. Разжалован в солдаты. В «Памятных записках» о службе на Кавказе в 1828—1829 гг. Петр Бестужев немало места отвел галерее «портретов, приведенных на память», в том числе А. С. Грибоедова и сосланных на Кавказ декабристов. — 122.

⁵ К р а в а ш — хлыст. — 123.

⁶ М. Бестужев, передавая эпизод с пужих слов, соединяет различные события осени и зимы 1829 г.: «дело Раевского» и «дело Бестужева». Н. Н. Раевский принимал сосланных декабристов во время военных действий 1828—1829 гг. и при возвращении в Тифлис. Допос о приеме в селе Гумри сделал Бутурлин, адъютант военного министра. Имя второго доносчика называют по-разному. Раевский и военный комендант Тифлиса были отстранены от должности, а «декабристов, — как рассказывает один из сосланных, А. С. Гангеблов, — разослали по разным местам с жандармами, что произвело заметное впечатление». Среди высланных были и трое Бестужевых: Александр, Петр и Павел. А. Бестужева подозревали в попытке воссоздать Тайное общество. — 123.

⁷ Петр Бестужев умер 22 августа 1840 г. в Больнице всех скорбящих, не проведя там и месяца. — 123.

⁸ В издании «Воспоминания Бестужевых» (с. 58) вместо крепости Бурная ошибочно указан Бобруйск. — 125.

⁹ В 1838 г. в «Сыне Отечества» появился яркий очерк «Замечания на статью „Путешествие в Грузию“, помещенную когда-то в одном из московских журналов» за подписью А. Бестужева-Марлинского, убитого в 1837 г. на Кавказе. В действительности очерк был написан Павлом Бестужевым. «Посылаю статью моего брата Павла», — писал А. Бестужев в Петербург. Критика П. Бестужева была направлена против статьи, проникнутой презрением к народам Кавказа. «Молчать, — писал Павел Бестужев в своем очерке, — значило бы согласиться — я возразил». — 125.

¹⁰ «В последнее перед этим время, — вспоминал о кануне восстания оброчный крестьянин Агап Иванович, служивший рассыльным „Полярной звезды“, — собирались по ночам, сидели большею частью в задних комнатах, а передние из предосторожности не были даже освещены». — 127.

¹¹ Борьба с палочным режимом в армии была составной частью деятельности членов Тайного общества. Декабристы и сочувствовавшие им офицеры отменили телесные наказания в Семеновском полку (до назначения полковника Шварца), в 38-м егерском полку, которым командовал М. А. Фонвизин, в 16-й пехотной дивизии генерала М. Ф. Орлова и др. — 127.

¹² В тот день у Бестужевых состоялось еще одно совещание, проведенное Рылеевым. — 129.

¹³ Великий князь Михаил Павлович приехал из Варшавы 3 декабря и вновь был послан к Константину для переговоров об его отречении. Выжидая, как развернутся события, он остановился недалеко от Нарвы и возвратился в Петербург утром в день приезда Николаю I. — 129.

¹⁴ Очерк «Четырнадцатое декабря», опубликованный в «Записках декабристов» (1863, вып. 2—3), написан И. Д. Якушкиным. Зная Пушину, М. Бестужев не мог признать пушинскими оценок, данных в нем. Очерк составлен по рассказам очевидцев, но записан позднее, поэтому в нем много неточностей. Все это тогда же вызвало сомнение в авторстве Пушину и у декабриста П. Н. Свищунова. — 131.

¹⁵ Якубович должен был вывести Гвардейский экипаж. Этого поручения он не выполнил, но предупредил А. Бестужева о своем отказе, а когда Московский полк вышел на Сенатскую площадь, Якубович присоединился к нему. Письмо из крепости Николаю I, в котором Якубович разбирает причины народного недовольства

самодержавно-крепостническим режимом, характеризует его как патриота, глубоко размышлявшего о судьбах Родины. — 131.

¹⁶ Капитан А. А. Корнилов удержал часть своей роты в казармах. Был переведен в Измайловский полк с чином полковника. — 133.

¹⁷ Расположение этих полков дано по очерку Якушкина. В действительности Павловский полк был послан занять Галерную улицу и мост через Крюков канал. — 137.

¹⁸ А. В. Чевкин, прапорщик конноегерского полка, за попытку отговорить солдат от присяги Николаю I в ночь на 14 декабря был арестован в казармах Преображенского полка. — 137.

¹⁹ Роль Якубовича как парламентаря расценивалась современниками по-разному. После восстания Николай I писал, что Якубовича подослали к нему восставшие, чтобы узнать о его намерениях. — 137.

²⁰ Имеется в виду очерк «Четырнадцатое декабря», принадлежащий перу И. Д. Якушкина. — 138.

²¹ Слова о Н. Бестужеве вставлены М. Бестужевым. Слова: «Ребята, что вы стоите? Слышите стрельбу? Это наших быют!» — были произнесены Петром Бестужевым. Колонна моряков выступила из казарм под начальством Н. Бестужева и А. Арбузова. — 138.

²² В действительности полковой командир Стюрлер пытался остановить роту Сутгофа, но неудачно. Вернувшись, он распорядился расставить вокруг полковых казарм цепь и стрелять во всякого, кто попытается выйти без его приказа. После этого началось построение для того, чтобы идти подавлять восстание. Панов сумел воспользоваться этим и повел солдат на помощь восставшим. — 139.

²³ В очерке И. Д. Якушкина неточно: через крепость прошла рота Сутгофа. Панов с батальоном вышел к Зимнему дворцу, полагая, что он уже занят восставшими. Убедившись, что там правительственные войска, он прорвался на Сенатскую площадь. — 139.

²⁴ Это был один из четырех эскадронов конногвардейского полка, посланных Николаем I на Васильевский остров под начальством А. Бенкендорфа. — 143.

²⁵ Площадь Румянцева — ныне Румянцевский сквер, рядом с Академией художеств. Упомянутый офицер — командир эскадрона А. А. фон Эссен. Ныне шелковое полотнище с надписью золотом «За отличия при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года» выставлено в зале декабристов Музея истории Ленинграда. А в 1975 г. сотрудник Военно-исторического музея артиллерии и войск связи П. К. Корнаков разыскал и древко знамени, с которым восставший полк вышел на Сенатскую площадь. — 143.

²⁶ Старшая из трех сестер, Елена, стала после 14 декабря главой семьи. Она поддерживала мать, хлопотала за братьев, из последних средств посылала им в Сибирь и на Кавказ все необходимое. Издала сочинения А. А. Бестужева-Марлинского. В 1847 г., после смерти трех братьев и матери, Елена, Ольга и Мария приехали в Селенгинск и были подвергнуты всем ограничениям, установленным для жен «государственных преступников». Живые рассказы Е. А. Бестужевой об отце и братьях сохранились в записи М. И. Семева. — 143.

²⁷ «Тотчас по прекращении стрельбы, — записал по собранным сведениям чиновник III отделения М. М. Попов, — новый государь приказал обер-полицмейстеру Шульгину, чтобы трупы были убраны к утру. Шульгин распорядился бесчеловечно. В ночь по Неве от

Исаакиевского моста до Академии художеств и дальше к стороне Васильевского острова сделано было множество прорубей, величинной как только можно опустить человека, и в эти проруби к утру спустили не только все трупы, но, ужасно сказать, и раненых, которые не могли уйти от этой кровавой ловли. Другие ушедшие раненые таили свои раны, боясь открыться медикам и правительству, и умирали, не получив помощи. От этого-то в Петербурге почти не осталось в живых из тех, которые были ранены 14 декабря... Распоряжения Шульгина открылись весною, когда по Неве стали рубить лед для погребов, то многие из льда вытаскивали трупы с примерзшими к ним руками или ногами. Пришлось воспретить рубку льда у берега Васильевского острова и назначить для этого другие места. — 144.

²⁸ М. Бестужев, признавшись в своих действиях 14 декабря, заявил, что цели Тайного общества ему неизвестны. Когда от него потребовали подробностей о заседаниях у Рылсева 12 и 13 декабря, он сослался на то, что ему, по молодости, не доверяли, часто просили выйти и т. п.; вместо К. П. Торсона, принявшего его в Общество, назвал К. П. Чернова, умершего незадолго до восстания. — 162.

²⁹ В следственных документах М. Бестужева нет и следа явки с повинной. В справках по делу и формулярном списке о службе читаем, что М. Бестужев «при уничтожении бунтовавшей толпы на Петровской площади был взят и находится в крепости»; «в Петропавловской крепости 1825 года декабря 14-го»; по записям Алексеевского равелина М. Бестужев поступил туда 18 декабря. В сводке данных об арестах декабристов Б. С. Пушкин принял обе даты: первую — как дату ареста, вторую — как дату заключения в крепость. М. К. Азадовский назвал иную дату ареста и заключения — 15 декабря. Ссылаясь на «Реестр высочайшим повелениям» коменданту крепости, исследователь полагал, что имя М. Бестужева с распоряжением поместить его в Алексеевский равелин упомянуто дважды: 15-го и 17-го. М. К. Азадовский объяснял это тем, что приказ царя не всегда мог быть выполнен ввиду отсутствия свободных камер. Но в таком случае закован Михаил был не сразу, как он рассказывает, а лишь после нового распоряжения, два дня спустя. Более того, его рассказ о пребывании под арестом в Зимнем дворце в течение 16 и 17 декабря превращается в плод фантазии мемуариста. Между тем в реестре записок, с которыми Николай I направлял к коменданту арестованных, упомянуто четверо братьев Бестужевых. Всех четверых было приказано поместить в Алексеевский равелин. Однако только об одном из них, доставленном вечером 17-го («в начале 12-го ч. пополудни») сказано, что его надлежит заключить в оковы: «Бестужева по присылке, равно и Оболенского и Щепина велеть заковать в ручные железа». Б. С. Пушкин полагал, что М. Бестужев оказался в крепости на день позже, считая, что дата на записке коменданту проставлена в Зимнем дворце. В действительности расхождения нет, так как записка датирована по времени получения. Следовательно, М. Бестужев был доставлен в дом коменданта крепости до полуночи 17 декабря, а к смотрителю равелина он поступил после полуночи, т. е. 18-го. Таким образом, документы Петропавловской крепости подтверждают мемуары декабриста и позволяют исправить неточности, вкравшиеся в его биографию. — 165.

³⁰ Из ответов М. И. Семевскому 1860—1861 гг. — 165.

³¹ Так М. Бестужев иронически называет Николая I, умершего ко времени составления мемуаров. — 166.

³² Обряд гражданской казни действительно проводился в виду виселицы, но своих пятерых товарищей, идущих к ней, остальные осужденные декабристы увидели, лишь когда покидали плац. Восстанавливая общую картину, М. Бестужев передает эти разновременные действия как единый акт. Читая мемуары М. Бестужева, В. И. Штейнгель сделал пометку: «Здесь Мишель неправильно выразился: виселица была одна, довольно широкая для помещения пятерых». Верно. Но и Е. П. Оболенский в мемуарах употребил то же выражение, что и М. Бестужев. — 170.

³³ Из примечаний к письму И. И. Горбачевского от 12 июня 1861 г., адресованного М. А. Бестужеву. — 170.

³⁴ В мемуарах декабристы, передавая слышанные ими рассказы, называют разные имена тех, кто был казнен дважды — практически всех пятерых. По официальному донесению генерал-губернатора П. В. Голенищева-Кутузова, «при первом разе трое, а именно: Рылеев, Каховский и Муравьев — сорвались, но вскоре опять были повешены». — 171.

³⁵ Говоря так, М. Бестужев провоцировал плац-майора на откровенность. — 171.

³⁶ Сохранился и рассказ М. Н. Волконской. «За этой сценой, — писала она в своих «Записках» о гражданской казни, — последовала другая, гораздо более тяжелая. Привели пятерых приговоренных к смертной казни. Пестель, Сергей Муравьев, Рылеев, Бестужев-Рюмин (Михаил) и Каховский были повешены, но с такой ужасной неловкостью, что трое из них сорвались, и их снова ввели на эшафот. Сергей Муравьев не захотел, чтобы его поддерживали; Рылеев, которому возвратилась возможность говорить, сказал: «Я счастлив, что дважды за Отечество умираю». — 172.

Николай Александрович Бестужев (1791—1855)

«Я сделал все, чтобы меня расстреляли», — писал Николай Бестужев одному из друзей-единомышленников о своих действиях 14 декабря 1825 г. Соратник Рылеева, Николай Бестужев горячо принял идею республики и вооруженного восстания против царского самодержавия. Это он устанавливает связь между руководством Северного общества и моряками Гвардейского экипажа. Ему вместе с К. П. Торсоном, которого он принял в Общество, Рылеев поручает организовать поддержку восстания в Петербурге моряками Кронштадта. Он первым в период междуцарствия предлагает немедленно обратиться к солдатам и сам вместе с Рылеевым ведет открытую агитацию. Он признался в этом перед царскими следователями, но ни словом не обмолвился об участии Рылеева. Только из его воспоминаний мы узнаем об этих их совместных действиях. Н. Бестужев участвует в важнейших совещаниях, на которых декабристы вырабатывали план восстания в столице, составляет воззвание к народу от имени Сената. В критический момент, в час восстания ему поручают вывести Гвардейский экипаж. Капитан-лейтенант Н. Бестужев спокойно и решительно направляется в казармы. Несмотря на сопротивление командования и части офицеров, весь Гвардейский экипаж — 1200 человек — вышел под боевым зна-

менем на Сенатскую площадь. Со штыками наперевес спешили моряки, чтобы присоединиться к первому восставшему полку. Однако об активности Н. Бестужева в день восстания узнаем почти исключительно из мемуаров других участников событий, в том числе его брата Михаила и мичмана Гвардейского экипажа Александра Беляева, который вместе с Н. Бестужевым во время плавания у берегов Испании в 1824 г. почтил память казненного героя революции Рафаэля Риего.

Старший из братьев-декабристов, Николай Бестужев испытал на себе влияние отца, А. Ф. Бестужева, близкого кругу радищевцев. Николай Бестужев обучался в морском корпусе, где затем преподавал. В 1812 г. он обратился с ходатайством о назначении в действующую армию, но был направлен в плавание. Позднее он был прикомандирован к Адмиралтейскому департаменту для создания истории русского флота и назначен начальником Морского музея. Его деятельность была также тесно связана с Вольным обществом любителей российской словесности, которое декабристы, участвовавшие в его работе, называли «ученой республикой», и с Обществом поощрения художников и Вольным экономическим обществом. Николай Бестужев написал ряд исторических сочинений, издал «Записки о Голландии», описание плавания 1824 г., статью о республике Парагвай, в которых отразились его передовые общественно-политические взгляды.

После восстания Н. А. Бестужев был помещен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. 13 июня 1826 г. над ним, как и над другими моряками-декабристами, был произведен обряд гражданской казни на Кронштадтском рейде, на корабле «Кн. Владимир». После этого Н. Бестужев был заключен в Шлиссельбургскую крепость, а затем отбывал каторгу в Нерчинских рудниках. В 1839 г. был отправлен на поселение в Иркутскую губернию, в г. Селенгинск, где и скончался 15 мая 1855 г. Талантливый художник, Н. Бестужев создал в Сибири портретную галерею сосланных декабристов, навсегда запечатлев образы мужественных борцов против самодержавия.

«Воспоминания о Рылееве» написаны на каторге, не позднее 1832 г., когда они были переданы П. А. Муханову, отправлявшемуся на поселение. Это, следовательно, первые из мемуаров, созданных декабристами в Сибири. Опубликованы они Герценом в «Полярной звезде» в 1861—1862 гг. (кн. 6, 7, вып. 2). Там же в 1861 г. появился и очерк «14 декабря» (кн. 7, вып. 1). В России эти воспоминания публиковались в отрывках (сб. «Девятнадцатый век», 1872, кн. 1; «Исторический вестник», 1904, т. 96). В Институте русской литературы АН СССР находятся автографы обоих очерков. Текст печатается по изданию «Воспоминания Бестужевых» (М.—Л., Изд-во АН СССР, 1951).

¹ Огрывки из поэмы Рылеева «Наливайко» были опубликованы в альманахе «Полярная звезда» на 1825 г. Н. Бестужев, цитируя по памяти, пропустил стих, следующий за третьей строкой, — «Судьба меня уж обрекла» — и изменил порядок слов в последней строке. — 173.

² Об обстоятельствах, помешавших начать преследование, Рылеев рассказал И. Н. Лобойко, члену Вольного общества любителей российской словесности, преподававшему в Военно-учительском институте. «Аракчеев, оскорбленный в своем грозном величии неслыханною дерзостью, — передавал этот рассказ И. Н. Лобойко, —

отнесся к министру народного просвещения князю Голлицыну, требуя предать цензора, пропустившего эту сатиру, суду. Но Александр Иванович Тургенев, тайно радуясь этому поражению и желая защитить цензора, придумал от имени министра дать Арачеву такой ответ: „Так как, ваше сиятельство, по случаю пропуска цензурой Проперция сатиры, переведенной стихами, требуя, чтобы я отдал под суд цензора и цензурный комитет за оскорбительные для вас выражения, то прежде чем я назначу следствие, мне необходимо пужно знать, какие именно выражения принимаете вы за свой счет?“. — 177.

³ Сохранившиеся материалы этого дела впервые опубликованы в 1956 г. («Литературное наследство», т. 59). — 179.

⁴ Эти строки вызваны ложными слухами о «примирении» Пушкина с самодержавием. Революционную роль гражданской поэзии Пушкина отмечали, как известно, многие декабристы. — 189.

⁵ «Вот эти-то стихи и другие в таком же роде, — писал А. И. Герцен, — воспитали все поколение, проводившее в мрак этих гроев». — 190.

⁶ На полях рукописи пометка: «Об оде на рождение Алекс. Ник». Это стихотворение имело определенное пропагандистское назначение, призывая «истребить неправосудие», «рабства дух», дать «просвещенные уставы, свободу в мыслях и словах». — 190.

⁷ При жизни Рылеева стихотворение распространялось в списках. Мемуары Николая Бестужева сохранили наиболее точный текст стихотворения. При первой публикации в «Полярной звезде» (кн. 2) в 1856 г. А. И. Герцен располагал не вполне исправным списком. — 191.

⁸ Этому посвящен специальный очерк М. Бестужева «Азбука». — См. в книге «Воспоминания Бестужевых» (с. 106—124). — 199.

⁹ См. примеч. 34 к воспоминаниям М. Бестужева. — 200.

¹⁰ «Мы, — вспоминал Ф. Г. Солнцев, — встретили Николая Александровича Бестужева; он был в расстегнутом сюртуке, с одним эпидетом, сабля паголо, при нем находился взвод Экипажа гвардии, человек в 20; они куда-то бежали». Встреча, описанная художником Ф. Г. Солнцевым, хорошо знавшим Бестужевых, произошла у Синего моста, на пути к Сенатской площади. — 201.

¹¹ «Рылеев приветствовал меня», — писал Н. Бестужев в «Воспоминаниях о Рылееве». Это свидетельство декабриста опровергает официальную версию, согласно которой Рылеев, придя на Сенатскую площадь, «вскоре ушел и более не возвращался». В действительности он встретил не только Московский полк, как об этом рассказывает в мемуарах Е. Оболенский, но и Гвардейский экипаж, пришедший значительно позднее. — 201.

¹² Создавая очерк о трагическом финале восстания 14 декабря, Н. Бестужев ввел в свой рассказ мотив обреченности, однако другие страницы его воспоминаний свидетельствуют о самой напряженной и энергичной работе членов Северного общества по подготовке восстания. — 201.

¹³ Было около 4 часов дня. В Петербурге солнце зашло в тот день в 3 часа дня, и наступили ранние зимние сумерки. — 201.

¹⁴ Как рассказывал дьякон Прохор Иванов, сопровождавший петербургского митрополита Серафима, восставшие встретили его словами: «Какой ты митрополит, когда на двух неделях двум императорам присягнул. Ты изменник и дезертир!» — 201.

¹⁵ «На другой день, очень рано, — вспоминал актер П. А. Каратыгин, — я с братом пошел на Сенатскую площадь, и мы увидели

кровавые следы вчерашней драмы. В Сенате оконные стекла и рамы второго этажа были разбиты вдребезги. Около Сената во многих местах снег был смешан с кровью, остатки ночных костров чернелись повсюду». — 201.

¹⁶ Согласно официальной версии, «немногие выстрелы в несколько минут очистили площадь». По секретным правительственным сведениям, расстрел восставших продолжался около часа, что объясняет и большое число жертв 14 декабря. — 202.

¹⁷ Организовать сопротивление пытались также М. А. Бестужев, Н. А. Панов и В. К. Кюхельбекер. — 202.

¹⁸ Собеседником Н. Бестужева был отставной штабс-капитан А. Я. Ляшевич-Бородулич. О нем см. в книге «Воспоминания Бестужевых» (с. 693—694). — 205.

Иван Иванович Пущин (1798—1859)

15 декабря 1825 г. в Москву был отправлен флигель-адъютант Николай I со срочной депешей генерал-губернатору Д. В. Голицыну: «Главных зачинщиков почти всех я имею в своих руках и, надеюсь, что и прочие найдутся... Нужно вам, любезнейший князь, усугубить старания и перехватить некоего Пущина из Москвы прибывшего, который... скрылся; он первейший злодей из всех».

На самом деле Пущин не думал скрываться, желая во всем разделить судьбу своих товарищей по Тайному обществу. Когда вечером в день восстания А. М. Горчаков, его товарищ по Лицею, служивший в Коллегии иностранных дел, привез ему заграничный паспорт, предлагая бежать, Пущин отказался. 16 декабря он был арестован в Петербурге, в доме своего отца на Мойке.

И. И. Пущин принадлежит к числу наиболее известных декабристов, как друг Пушкина и деятельный участник революционного движения. Он был членом Северной думы и пользовался единодушным уважением в декабристской среде благодаря стойкости убеждений, непоколебимому мужеству и сердечной теплоте. Незадолго до восстания К. Ф. Рылеев писал В. И. Штейнгейлю: «Спасибо, что полюбил Пущина, я еще от этого ближе к тебе. Кто любит Пущина, тот уже непременно сам редкий человек». А. С. Пушкин посвятил своему лицейскому товарищу несколько стихотворений, одно из которых начиналось словами: «Мой первый друг, мой друг бесценный...» Оно пришло к Пущину на каторгу. Дружбы остались верны союзу, соединившему их «пред грозным временем, пред грозными судьбами» при вступлении в самостоятельную жизнь.

В Лицее Пущин благодаря своим превосходным способностям значился в ряду первых учеников. Окончив Лицей в 1817 г., он начал службу прапорщиком гвардейской конной артиллерии. В том же году И. Г. Бурцов принял Пущина в Союз спасения. Пущин участвовал в походе гвардии к западным границам в 1821—1822 гг., когда Александр I, верный идеям Священного союза монархов, готовился подавить революционное движение в Италии, а заодно удалив гвардию из Петербурга, «успокоить умы» после восстания Семёновского полка. Во время похода члены Тайного общества еще более сблизились. В 1823 г. Пущин в чине поручика вышел в отставку «для определения к статским делам». В июне он поступил сверхштатным членом в Петербургскую уголовную палату, а в де-

кабре того же года был назначен судьей Московского надворного суда. Находясь в Москве, Пущин руководил Московской управой Северного общества.

Узнав о готовящемся восстании, Пущин 8 декабря прибыл в Петербург и сразу явился на квартиру Рылеева. Пущин участвовал в важнейших собраниях декабристов, на которых вырабатывался план вооруженного восстания. Вместе с Рылеевым и другими членами Северного общества добился того, что восстание, несмотря на все препятствия, осуществилось.

14 декабря Пущин находился на Сенатской площади в каре Московского полка, где, как сказано в выписке из следственного дела, «оставался до карточных выстрелов, раскаживая по фасам, поощрял солдат к мятежу и при наступлении кавалерии на чернь скоординировал переднему фасу взять ружья от ноги».

После разгрома восстания, допросив «бунтовщика», царь приказал заключить его в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости, куда помещались главные участники вооруженного выступления 14 декабря. На следствии титулованные чиновники особенно интересовались причиной возникновения революционных идей и «свободного образа мыслей» у сына сенатора, потомка старинного боярского рода, ведущего начало с XV века. Пущин держался независимо, с большим достоинством и дал самые краткие показания.

Царский суд обвинил Пущина в том, что он «участвовал в умысле на цареубийство... участвовал в управлении Общества, принимал членов и давал поручения, лично действовал в мятеже и возбуждал нижних чинов». Пущин был лишен чинов и дворянства и вместе с государственными преступниками первого разряда приговорен к смертной казни «отсечением головы», замененной каторгой. После объявления приговора декабрист находился в заключении в казематах Шлиссельбурга, откуда в декабре 1827 г. был отправлен в Нерчинские рудники Сибири. На поселение Пущин вышел в 1839 г., жил в Туринске Тобольской губернии, а потом в Ялуторовске, вместе с Е. П. Оболенским. В Сибири Пущин поддерживал обширную переписку со ссыльными товарищами, был одним из организаторов артелей, созданных для помощи особенно нуждавшимся декабристам. Иван Иванович взял на себя заботу об осиротевших детях Василия Петровича и Камиллы Петровны Ивашевых. В его доме нашла приют семья умершего в нищете В. К. Кюхельбекера. И. И. Пущин имел сына Ивана и дочь Аннушку, рожденных в Сибири. Врач Иван Иванович Пущин одного года не дожид до Октябрьской революции.

После амнистии Пущину был запрещен въезд в столицы, и он поселился под Москвой в Марьине, имении своей жены Натальи Дмитриевны (вдовы ссыльного декабриста генерал-майора М. А. Фонвизина). Некоторые современники считали ее прототипом Татьяны Лариной. Так считала и сама Н. Д. Фонвизина. Свои письма к Пущину подписывала «Таня». Наталья Дмитриевна одной из первых поехала за мужем в Сибирь, была ему верной подругой. Ссыльные чтили ее за энергию, постоянную готовность прийти на помощь. И. И. Пущин, тяжело больной, особенно нуждался в помощи. Наталья Дмитриевна окружила его заботой, вниманием и любовью. «Настрадавшийся досыта» Пущин прожил недолго...

До конца своих дней Иван Иванович боролся за справедливость против произвола царских властей. «Все обиженные и оскорбленные стекались к дому И. И. Пущина», — вспоминал воспитанник

декабристов художник М. С. Знаменский о жизни в Ялutorовске. Так было и позднее. Узнав о помощи, которую Пушкин оказывает как юрист, один пострадавший от произвола обратился к нему с письмом, прося похлопотать о деле, и вскоре получил ответ, написанный под диктовку Пушкина, который уведомлял, что по его просьбе сделано все возможное. Письмо это было написано накануне смерти декабриста.

И. И. Пушкин обладал несомненным литературным дарованием. Его эпистолярное наследие отличается мудростью мысли, остроумием и особенным изяществом. Потомкам Пушкин оставил талантливые «Записки о Пушкине» — воспоминания о юношеских годах поэта, написанные лицейским товарищем, любившим его всю жизнь.

«Записки» И. И. Пушкина были начаты еще в Сибири, в Ялutorовске, и закончены в 1858 г. в с. Марьино. В год смерти автора они были опубликованы с цензурными сокращениями и без заключительной главы сыном декабриста И. Д. Якушкина Е. И. Якушкиным в журнале «Атеней» (1859, ч. 2). Несколько дополнительных отрывков было напечатано А. И. Герценом в «Полярной звезде» (1861, кн. 6). Отдельной книгой «Записки И. И. Пушкина о Пушкине» (с некоторыми пропусками) вышли в 1907 г. в Петербурге.

В настоящем издании публикуется 2-я часть «Записок» И. И. Пушкина, содержание которой отражает судьбу Пушкина-декабриста. Текст печатается по книге: И. И. Пушкин. Записки о Пушкине. Письма. Редакция, вступительная статья и примечания С. Я. Штрайха (М., Гослитиздат, 1956; серия «Литературные мемуары»). Рукопись «Записок» хранится в Институте русской литературы АН СССР.

¹ Речь идет о начале служебной деятельности бывших лицестов. «Мы шестеро, — писал Пушкин, — учились фрунту в гвардейско-образцовом батальоне; после экзамена, сделанного нам Клейнмихелем в этой науке, произведены были в офицеры высочайшим приказом 29 октября, между тем как товарищи наши, поступившие в гражданскую службу, в июне же получили назначение; в том числе Пушкин поступил в Коллегию иностранных дел и тотчас взял отпуск для свидания с родными». Первая после окончания Лицея встреча Пушкина с Пушкиным произошла осенью 1817 г. — 207.

² Священная артель — преддекабристская организация, была основана в 1814 г. А. и М. Муравьевыми и И. Г. Бурцовым. Кроме упомянутых Пушкиным лиц, в нее входили лицейские друзья Пушкина и Пушкина: В. К. Кюхельбекер, А. А. Дельвиг, В. Д. Вольховский — и еще несколько человек. — 207.

³ «Я, больной, — вспоминал Пушкин, — дольше всех оставался в Лицее. С Пушкиным мы тут же обнялись на разлуку: он тотчас должен был ехать в деревню к родным; я уже не застал его, когда приехал в Петербург. Снова встретился с ним осенью, уже в гвардейском конноартиллерийском мундире». — 208.

⁴ Только ода «Вольность» была написана до осени 1817 г., остальные из названных стихотворений — позднее, в 1818—1819 гг. Пушкин как бы суммирует свои впечатления от нескольких встреч с Пушкиным после окончания Лицея. — 208.

⁵ Строка из стихотворения Пушкина «К студентам». — 210.

⁶ Политический журнал был задуман Н. И. Тургеневым. В «Записке о тайных обществах в России», поданной царю А. Х. Бенкендорфом в 1821 г., упомянуто о том, что члены Союза благоденствия полагали издавать журнал по самой дешевой цене

для большего распространения, помещать в нем статьи, «к цели Общества относящиеся», и «распускать в народе на Толкучем рынке, рассылать в армию и по губерниям». — 210.

⁷ Декабристы воздерживались от приема Пушкина в Тайное общество, хотя смелость поэта и его убеждения были им хорошо известны. Одной из причин этого были серьезные опасения за судьбу гения России в случае неудачи заговора. М. С. Волконский, сын декабриста, писал биографу Пушкина академику Л. Н. Майкову, что его отцу (С. Г. Волконскому, члену Южного общества) было поручено принять поэта в Общество. «Как мне решиться было на это, — признавался декабрист сыну, — когда ему могла угрожать плаха». Другая причина, останавливавшая руководителей революционных организаций, — неосторожность Пушкина и пылкость его нрава. — 212.

⁸ Речь идет о старшей сестре И. И. Пущина — Е. И. Набоковой. — 212.

⁹ Пушкин выехал из Петербурга, отправляясь в свое первое изгнание, в ссылку на юг России 6 мая 1820 г. В Екатеринослав с депешей к генералу И. Н. Инзову он прибыл в середине мая. Дело о ссылке Пушкина началось по настоянию Аракчеева. За Пушкина хлопотали П. Я. Чаадаев, В. А. Жуковский, Н. М. Карамзин, А. И. Тургенев. Полагают, что превращению высылки из столицы в перемещение по службе поэт особенно обязан статс-секретарю по иностранным делам И. А. Каподистрии. После состоявшегося вскоре назначения Инзова наместником Бессарабской области Пушкин переехал в Кишинев, где познакомился с Пестелем и другими членами Тайного общества — генералом М. Ф. Орловым, генералом П. С. Пушиным, майором В. Ф. Раевским. — 214.

¹⁰ В Одессу Пушкин был переведен в 1823 г., после ареста В. Ф. Раевского. — 214.

¹¹ Действительные причины раскрываются в переписке М. С. Воронцова, наместника Новороссии, и К. В. Нессельроде, министра иностранных дел. Воронцову, вероятно, стали известны эпиграммы, сочиненные на него поэтом. «Избавьте меня от Пушкина, — писал Воронцов 2 мая 1824 г., — это, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше — ни в Одессе, ни в Кишиневе». Одновременно было перехвачено письмо Пушкина, в котором он писал: «Беру уроки чистого афеизма (т. е. атеизма. — *Ред.*)». Александр I приказал уволить Пушкина от службы. «Все доказывает, к несчастью, — отвечал Нессельроде Воронцову 11 июля, — что он слишком проникся вредными началами, так пагубно выразившимися при первом вступлении его на общественном поприще... Император думает, что в этом случае нельзя ограничиться только отставкою, но находит необходимым уволить его в имение родителей в Псковскую губернию под надзор местного начальства». — 215.

¹² Встреча с Пушиным состоялась в январе 1825 г. В память об этом одна из улиц Пскова названа ныне именем И. И. Пущина. — 215.

¹³ Пущин имеет в виду портрет Пушкина кисти О. А. Кипренского, который находится теперь в Третьяковской галерее. Он был помещен в альманахе «Северные цветы», издаваемом А. А. Дельвигом, на 1828 г. В 1-м томе Собрания сочинений А. С. Пушкина, изданном П. В. Анненковым (СПб., 1855), помещен портрет поэта, гравированный на стали Н. Уткиным с вышеназванного портрета О. Кипренского. — 217.

¹⁴ Имеется в виду У. Хатчинсон, доктор медицины, член Лондонского Линнеевского и Лондонского медико-хирургического обществ, много лет бывший домашним врачом в семье М. С. Воронцова. — 218.

¹⁵ Пушкин, видимо, сдерживался. Его негодующая реакция видна из письма Жуковскому, написанного в Михайловском. «Пещуров, назначенный за мной смотреть, — писал Пушкин, — имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче — быть моим шпионом... Перед тобой не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? Рудников сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостню, хоть Соловецким монастырем». Эти строки написаны 31 октября 1824 г. — 218.

¹⁶ Говоря так, Пушкин следовал своему решению не принимать поэта в Тайное общество; о том, что он прекрасно понимал политическое значение гражданской поэзии Пушкина, свидетельствуют многие страницы его воспоминаний. — 218[†]

¹⁷ Семья П. А. Осиповой. — 219.

¹⁸ Последние три строки — из первоначального варианта стихотворения. — 219.

¹⁹ Многие историки и филологи, комментируя этот текст, утверждают, что в Михайловском Пушкин наконец сказал Пушкину о существовании Тайного общества. Такое заключение выводится из последовательности и чередования нескольких фраз. В самом деле, фразе: «...когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение Отечеству...», предшествуют слова: «Незаметно коснулись опять подозрений насчет Общества». Однако эта версия вызывает сомнения. Встает ряд вопросов. Отчего Пушкин прямо не пишет, что сказал другу о Тайном обществе? Если автор мемуаров действительно раскрыл тайну (нарушив правила конспирации, обязательные для членов Общества), то почему Пушкин так странно на это отвечает: «Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь». Странно тогда выглядит и намек Пушкина: «...не я один поступил...» Если речь идет об Обществе, понятно и так, что он там не один.

В воспоминаниях Пушкин очень кратко передает беседу с Пушкиным в Михайловском — они ведь разговаривали несколько часов. В тексте ощущаются паузы, «провалы». Нет ли паузы и в этом эпизоде? В самом деле, что значат слова «коснулись опять подозрений насчет Общества»? Судя по «Запискам», в Михайловском (до этой фразы) упоминаний об Обществе не было. Эти слова Пушкина явно отнесены к прежним разговорам. Мы знаем из «Записок», что первые смутные предположения возникли у Пушкина почти сразу после вступления Пушкина в Общество, при встрече «после первой разлуки». Он «заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю», — пишет Пушкин. Тогда Пушкин увел поэта от разговоров о «воображаемом Обществе». Второй раз подозрения охватили Пушкина, когда он застал Пушкина на квартире Н. И. Тургенева и решил, что попал на заседание Тайного общества.

В Михайловском эти подозрения вспыхнули снова. Пушкин спрашивает друга, каким образом из артиллериста он преобразился в судью? Пушкин гордится лицейским товарищем, но хочет знать причину, по которой потомок древнейшего боярского рода оставил блистательную карьеру. Вот на этот вопрос Пушкин и отвечает, что не он один «поступил в это новое служение Отечеству». В связи с этим знаменательно свидетельство Александра Бестужева. Дека-

брист говорил на следствии, что Рылеев первый «дал мысль, чтоб служить в Палатах для показания, что люди облагораживают места, и для примера бескорыстия. Ему последовал Пушкин и потом... многие молодые люди сделали то же».

Что же это за «молодые люди»? Прежде всего это С. Н. Кашкин, член Тайного общества, близкий друг и двоюродный брат Е. П. Оболенского. По настоянию последнего он поступил в тот же Московский надворный суд, где служил Пушкин. Это событие произошло за полтора месяца до встречи в Михайловском и, конечно, свежо в памяти Пушкина. Кашкин — тоже отпрыск древнего рода. Пушкин хорошо его знал, так как бывал в доме сенатора Кашкина в Москве. Второй из «молодых людей» — член Тайного общества И. Н. Горсткин. Были и другие.

Теперь понятной становится фраза: «Не я один поступил в это новое служение Отечеству...» Ясно, что между ней и первой фразой есть разрыв, не заполненный автором пропуск. Пушкин хочет узнать подробности, догадываясь, что здесь — ключ к тайне. «Верно, все это в связи с майором Раевским...» Но Пушкин молчит, не решается говорить больше, чем сказал. Он только чуть приоткрылся... Огорчение Пушкина вылилось в слова: «Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь».

В заключение можно напомнить читателю, что Пушкин сам прямо свидетельствует о том, что не говорил Пушкину об Обществе: «...в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую...» — 219.

²⁰ Это была О. М. Калашникова — крепостная матери поэта, героиня его длительного романа во время ссылки в Михайловском. — 220.

²¹ «...за нее» — за свободу. Для сравнения см. строки стихотворения Пушкина, посвященного члену Южного общества В. Л. Давыдову, с которым он познакомился в Каменке:

И за здоровье *тех и той*
До дна, до капли выпивали!..
Но *те* в Неаполе шалят,
А *та* едва ли там воскреснет... — 220.

²² Сборник житий святых. — 220.

²³ Пушкин не знал, что уже в феврале 1822 г., сразу после ареста В. Ф. Раевского, его начальник П. С. Пушкин, командовавший бригадой в дивизии М. Ф. Орлова, был уволен от службы. В свое имение в Псковской губернии — фактически в ссылку — П. С. Пушкин приехал в 1826 г. — 221.

²⁴ «Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с „Цыганами“, — писал К. Ф. Рылеев, получив поэму через Пушкина, — они совершенно оправдали наше мнение о твоём таланте. Ты идешь ногами великана и радуешь истинно русские сердца. Я пишу к тебе ты, потому что холодное вы не ложится под перо». — 221.

²⁵ Автограф пушкинского стихотворения не найден. — 223.

²⁶ Е. А. Энгельгардт регулярно писал в Сибирь Пушкину. Ссылным надлежало отправлять почту с надписью: «Государственному преступнику...» Бывший директор Лицея не следовал этому приказу. «Его благородию, господину Пушкину», — твердо выводил он на конверте. К Ивану Ивановичу приходили письма от многих лицестов, по-прежнему любящих «Жанно». В 1853 г. в далекий от

столицы городок Ялutorовск пришла необычная «посылка». Старые друзья-лицейсты Ф. Ф. Матюшкин и М. Л. Яковлев прислали в подарок дочери Пушкина Аннушке фортепиано. «Вы меня балуете дружбой, — отвечал растроганный Пушкин. — Забываю, что миллион лет расстались». Аннушка выучила лицейскую песню и сыграла ее отцу. «Если бы вы знали, — писал друзьям декабрист, — как все это перепесло меня в ваш круг. Все вы явился около меня...» — 223.

²⁷ Пушкин ошибся месяцем. Пушкин скончался 29 января. Следовательно, быть на отпевании и вернуться в январе из Петербурга в Петровский завод Розенберг не мог. — 224.

²⁸ К. К. Данзас был лицейским товарищем Пушкина и Пушкина. Его брат Борис, советник Московского губернского правления, был арестован по делу декабристов и содержался в Петропавловской крепости. — 226.

²⁹ «...Если бы при мне должна была случиться его последняя несчастная история и если бы я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь, — писал И. И. Пушкин лиценсту И. В. Малиновскому, — я нашел бы средство сохранить поэта-товарища, достояние России». — 226.

Евгений Петрович Оболенский (1796—1865)

«...Ревностным сподвижником предприятий Рылеева и одним из главных виновников возмущения 14 декабря» назван в материалах следственного комитета гвардейский поручик Е. П. Оболенский. Потомок древнего княжеского рода, он вступил в первую декабристскую организацию Союз спасения потому, что считал ее «оплотом в защиту истины и правды». Ревностный член Общества, один из директоров Северной думы, он был ближайшим соратником и политическим единомышленником Рылеева. Оболенский пользовался особенной доверенностью П. И. Пестеля. Приехав в 1824 г. в Петербург для переговоров с руководителями Северного общества, вождем южан прежде всего встретился с Оболенским. Подводя итог петербургским совещаниям, Пестель подчеркивал, что нашел Оболенского «более всех на республику согласным».

Все участники 14 декабря сознавали роль Оболенского в подготовке и проведении восстания. А. Е. Розен писал: «Следовало только арестовать Рылеева, Бестужевых, Оболенского и еще двух или трех декабристов и не было бы 14 декабря». Декабристы высоко оценивали нравственные и душевные качества своего товарища. Он был для них олицетворением честности, благородства, верности и мужества. Свои последние стихи перед казнью Кондратий Рылеев посвятил Оболенскому. Он наколот их иглой на кленовых листьях: «О, милый друг, как внятен голос твой, как утешителен и сердцу сладок: он возвратил душе моей покой и мысли смутные привел в порядок».

«Братом по сердцу и правилам» называл Евгения Петровича Вильгельм Кюхельбекер. «Без объяснений люблю тебя», — признавался ему Иван Пушкин. Отсидевший двадцать лет в каменном мешке Петропавловской крепости, молчаливый, суровый Г. С. Батеньков писал об Оболенском: «Этого честного, полусвятого человека нельзя не любить. Душа прилепляется к нему с полным доверием».

Через полтора месяца после восстания И. Д. Якушкина известили, что у него родился сын. Узник считал себя «счастливейшим человеком в Петербурге» и назвал сына Евгением — в честь Оболенского, хотя оба декабриста ранее не виделись и познакомились только в 1827 г. Вероятно, во время допросов Якушкин узнал о роли Оболенского в восстании и о том, что в трагический час, когда иссякли надежды на появление диктатора Трубецкого, когда Сенатская площадь была окружена правительственными войсками, именно Оболенский принял на себя командование восставшими.

Однако у многих исследователей декабризма сложилось об Оболенском поверхностное и зачастую неправильное мнение. Вероятно, случилось это потому, что Оболенского-декабриста, организатора восстания, одного из создателей плана вооруженного выступления заслонила со временем фигура Рылеева. На фоне этой выдающейся личности значение деятельности Оболенского как-то смазалось. Кроме того, первая половина жизни декабриста, до 1825 г., малоизвестна из-за отсутствия документов. В биографии Оболенского много неясностей и загадок. Вот одна из них. Весь архив декабриста исчез в ночь с 14 на 15 декабря. Ту ночь Оболенский провел в квартире полкового лекаря. Если предположить, что начальник штаба восстания накануне решительного дня сам уничтожил опасные бумаги, то почему исчезли и его литературные произведения, переводы (известно, что они существовали), письма родных — отца, сестер, братьев? В дворянских семьях дорожили своими архивами. Эпистолярное наследие отцов переходило детям, внукам...

Ночью в доме Оболенского находился домашний учитель его младшего брата А. В. Никитенко, недавно выкупленный из крепостной неволи. Судя по дневнику (трехтомный «Дневник» А. В. Никитенко, ставшего позже профессором, сенатором, был издан в 80-е гг. XIX в., переиздавался в советское время), он был сильно испуган, «ужасы прошедших дней» давили его «как черная туча». Будущее представлялось «в самом мрачном, безнадёжном виде». А квартира Оболенского сделалась ему «тяжела, как могила». Он бросил ее сразу, как только генерал Левашев разрешил ему съехать. Не боялся ли Никитенко, что в бумагах, переписке может встретиться его имя? В среде свободомыслящих бывший крепостной не мог быть ретроградом...

Какая-то неприязнь ощущается и в отношении Оболенского к «домашнему учителю» после восстания. За все время пребывания в Сибири он только один раз сухо справился в письме к родственнику: «Что случилось с Никитенко?» Но прямых доказательств того, что уничтожение бумаг связано с действиями Никитенко, нет.

Некоторые загадки относятся к периоду заключения и суда. Закованный в «железа» узник «офицерской камеры», несмотря на угрозы, не давал требуемых показаний. 36 дней длился его посиденок со следственной комиссией. Внезапно 21 января Оболенский написал письмо императору и представил ему список членов Общества. Впрочем, большая часть названных имен царю была уже известна из других показаний. Но что заставило декабриста внезапно изменить свое поведение?

Е. П. Оболенский был приговорен к смертной казни за то, что «участвовал в умысле на цареубийство... установил вместе с другими тайное Северное общество, управлял оным и принял на себя приуготовлять сочинения для содействия цели Общества; приготавлил главные средства к мятежу, лично действовал в оных орудием с пролитием крови». Царь заменил казнь вечной каторгой.

В тюрьмах Сибири он углубленно изучал и преподавал в «ка-торжном университете» историю, философию, греческий и английский языки. В 1839 г. Оболенский был отправлен на поселение в Итанцу Иркутской губернии, затем в Туринск Тобольской губернии. С 1842 г. жил в Ялугоровске вместе с Пушным. «Первый» и «бесценный» друг Пушкина стал в Сибири самым близким другом бывшего диктатора восстания. Оба много времени посвящали обучению и воспитанию крестьянских детей, принимали участие в решении их дел и споров, составляли для них юридические документы. Оболенский успешно занимался и врачеванием. В 1846 г. он женился на семнадцатилетней Варваре Самсоновне Барановой, бывшей крепостной, служившей няней при дочери Пушкина Аннушке.

После амнистии Оболенский поселился с семьей в Калуге. Он принял участие в подготовке крестьянской реформы 1861 г. Составившийся революционер до конца своих дней сохранил высокое достоинство и гордость декабриста, участника восстания 1825 года. Во многих письмах Оболенского, особенно в период подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 г., содержится решительное осуждение внутренней и внешней политики царизма.

Оболенский скончался 26 февраля 1865 г. В память о нем прозвучал «Колокол» Герцена, сообщивший миру о кончине героя из «святой фаланги декабристов».

За несколько лет до смерти Е. П. Оболенский передал Е. И. Якушкину свои мемуары, начатые по настоянию последнего в сибирской ссылке. Начальник штаба восстания 1825 г. считал необходимым познакомить молодое поколение с целями и задачами первого в России Тайного общества. Он начал свои мемуары любовно выписанными портретами Кондратия Рылеева и Павла Пестеля. То, что он передал свои воспоминания для публикации, было достаточно смелым шагом. 1 сентября 1862 г. Герцен сообщил в «Колоколе» о намерении печатать «Записки декабристов». Однако части обещанных рукописей Герцен не получил, и мемуары Оболенского не были им изданы. Воспоминания Оболенского разошлись по стране во множестве рукописных списков и быстро нашли внимательного читателя. Впервые они были полностью напечатаны (с подлинной рукописи автора) через посредство П. А. Ефремова в Париже в журнале «Будущность» («L'Avenir») (1861, № 9, 10-11, 12), затем, также полностью, в «Русском заграничном сборнике» (ч. 4, тетрадь 5-я, Лейпциг, 1861) и на французском языке в Лейпциге в 1862 г. В отрывках воспоминания Е. П. Оболенского включены в издания: К. Ф. Рылеев. Полное собрание сочинений (Лейпциг, 1861); «Деятельный век». Книга 1 (М., 1872). Некоторые другие русские издания в своих публикациях основывались на распространенных по России многочисленных рукописных списках с воспоминаний Е. П. Оболенского (первой их части, завершавшейся описанием экзекуции над декабристами после суда и предсмертными словами К. Ф. Рылеева). Такой была публикация А. М. Пугинцева «Воспоминания о К. Ф. Рылееве декабриста князя Е. П. Оболенского», напечатанная во «Всемирном вестнике» (1905, кн. 7) по списку, принадлежавшему воронежскому губернатору Д. Н. Толстому, и другие — текстуально, впрочем, незначительно расходившиеся с лейпцигским и парижским изданиями.

Воспоминания Е. П. Оболенского печатаются по книге «Общественные движения в России в первую половину XIX века» (СПб., 1905, т. 1).

¹ Е. П. Оболенский вступил в 1817 г. в Союз спасения. — 227.

² О Петре Бестужеве см. примеч. 4, 7 к воспоминаниям М. А. Бестужева. — 229.

³ В парке Лесного института на месте дуэли до сих пор сохранились два гранитных камня, по преданию установленных в память трагического поединка. — 233.

⁴ Эта часть мемуаров Е. П. Оболенского отражает его позднейшие сибирские размышления, эволюцию взглядов декабриста и, видимо, является отголоском споров ссыльных о программе Тайного общества, об отношении к народу. Декабристы критиковали Оболенского за некоторые «примирительные» настроения по отношению к самодержавию в 50-е гг. Однако приехавший в Сибирь Е. И. Якушкин сделал пронизательный вывод относительно противоречивости слов и поступков своего тезки. Евгений Иванович писал жене об Оболенском: «...мой тезка чрезвычайно странный, он хочет уверить себя и других, что он с головы до ног православный и самый ревностный поклонник самодержавия... но... он имеет свойство... защищать свое мнение так, что, слушая его, другие убеждаются в совершенно противном». И еще, в письме М. И. Муравьеву-Апостолу: «Говорит он черт знает что такое, а действовать начнет — совсем другой человек, — и как дай бог всякому». — 237.

⁵ В Семеновском полку служили также М. П. Бестужев-Рюмин, А. Ф. Вадковский, С. П. Трубецкой и А. И. Тютчев. — 238.

⁶ Неверно. Мы знаем, что были найдены революционные прокламации, распространявшиеся среди солдат. — 238.

⁷ В этом отношении с Оболенским не согласны многие декабристы. Резко отрицательно отзывался о решениях суда и П. А. Вяземский. Он называл «нелепым» и «жестоким» доклад суда и писал в дневнике (в «записных книжках» 1826 г.): «...что значит участвовать в умысле цареубийства?.. и может ли мысль быть почитаема за дело?.. Вы не даете Георгиевских крестов за одно намерение и в надежде будущих подвигов; зачем же казните преждевременно и убийственную болтовню?..» По мнению Вяземского, вопрос о «преступности» декабристов не имели право решать «правительство и казенный причт его, которые в таком деле должны быть пристрастны». П. А. Вяземский отразил в своих высказываниях о «посмеятельном» решении суда точку зрения передовых современников декабристов: «Дело, задевающее за живое Россию, должно быть поручено рассмотрению и суду России: но в Совете и Сенате нет России... А если и есть она, то эта Россия — самозванец...» — 240.

⁸ На допросе Оболенский показал, что после разгрома восстания дошел с моряками Гвардейского экипажа до казарм, а затем «воротился назад и прошел через Неву на квартиру штабс-капитана Репина... надел его сюртук и пошел вместе с лекарем Гагариным к лекарю Смирнову...» Вероятно, Оболенский был ранен картечью. В «особых приметах» ссыльного в Сибири написано, что он имел «след бывшей прежде раны» на правой ноге.

Оболенский был арестован утром 15 декабря на квартире Смирнова полковник адъютантом Финляндского полка. Привезенный во дворец, он сразу предстал перед Николаем I. Царь не скрывал злобной радости, увидев предводителя восстания. В дневнике записал, что лицо Оболенского имело «зверское» выражение. Декабрист явно не был склонен к раскаянию... Генерал-лейтенант Фелькнер, наблюдавший за поведением арестованных «бунтовщиков», вспоминал, что «Трубецкой казался очень расстроенным и бледное, грузинского типа лицо его отражало глубокий упадок духа. Князь Обо-

ленский, белокурый, с живыми голубыми глазами, показывал более спокойствия и твердости духа». — 241.

⁹ 21 января узнику «офицерской камеры» принесли записку Рылеева. По ней Оболенский мог судить, что о составе и деятельности Тайного общества следственной комиссии уже многое известно. Значит, дальнейшее заpiresательство теряло смысл... Вечером передали и стихи Рылеева, непонятные нам на первый взгляд:

Прими, прими, святой Евгений,
Дань благодарную певца
И слово пламенных хвалений,
И слезы, катящи с лица.
Отныне день твой до могилы
Пребудет свят душе моей:
В сей день твой соименник милый
Освобожден был от цепей.

К кому стихи обращены? К Евгению Оболенскому? Но почему «святой»? И кто тогда «милый соименник»?

Понять все это помог православный календарь. 21 января — день «святого Евгения». Попытка повлиять на Оболенского строгим наказанием не увенчалась успехом. Николай I пробует другой путь. Он меняет тактику по отношению к «главарю» восставших. 21 января Оболенский внезапно буквально атакован царскими милостями. Теперь можно лишь дивиться незуитским способностям русского монарха. Все было учтено: и беспокойство за здоровье потрясенного несчастьем отца, и усталость от одиночества, и томление неизвестности, и даже то обстоятельство, что 21 января было «днем ангела» Евгения Оболенского. Утром этого дня узника впервые посетил священник Боженков. Арестованный исповедался и получил отпущение грехов. Следом принесли письмо отца и записку Рылеева. Декабрист был глубоко потрясен родительским «душевым» прощением и испытал «неизъяснимую» радость от первой весточки друга. Ему кажется, что царь оказался благородным, великодушным человеком, согласным простить тех, кто замыслил покушение на него. Оболенский впадает в религиозный экстаз. Письмо Николаю I — результат этого экстаза. Заключенный, сохраняя достоинство, пытается говорить с царем в необычном ключе: как христианин с христианином. Называя фамилии членов Общества, он против каждого ставит ремарку — мотивы, по которым царь-христианин может оправдать их...

Вероятно, Рылееву сообщили, что за «раскаянные» Оболенского раскуют. Но царь приказал Сукину снять с узника «ручные желез» только 1 февраля. — 241.

¹⁰ Религиозность Оболенского, усилившаяся в Сибири, стала для него своеобразным способом сохранения нравственных убеждений и человеческого достоинства в унижительных, тяжелых условиях каторги и ссылки. — 243.

¹¹ Вначале Оболенскому вменялось в вину смертельное ранение Милорадовича. Потом следствию признался П. Каховский: «Я стрелял по Милорадовичу». В заключении медицинской экспертизы, составленной штатд-физиком В. Петрашевским, подробно характеризуется огнестрельная рана, нанесенная генералу М. А. Милорадовичу. О втором, штыковом ранении сказано кратко: «...рана сия пронизала брюшную полость». Но даже по этой строке можно судить, что вторая рана также смертельна.

За определение меры наказания Оболенскому члены суда вы-

сказались на вечернем заседании 30 июня. Судя по официальному протоколу, 29 голосов было подано за «четвертование», 34 — за смертную казнь. — 244.

¹² П. А. Муханов, находясь на поселении, обратился в 1833 г. с просьбой о разрешении ему вступить в брак с В. М. Шаховской. В этой просьбе ему было отказано. — 256.

¹³ Это была первая общая тюремная голодовка в истории революционного движения. — 262.

Александр Евгеньевич Розен (1800—1884)

Поручик гвардейского Финляндского полка А. Е. Розен был осужден Верховным уголовным судом за то, что «лично действовал в мятеже, остановив свой взвод, посланный для усмирения мятежников». Сам Розен в показаниях отрицал свое членство в Тайном обществе. Это подтвердил на допросе Оболенский: «Барон Розен членом Общества принят не был и извещался о существовании оного только 11 декабря, если Репин накануне ничего не объяснял ему». Штабс-капитан Финляндского полка Н. П. Репин действительно имел беседу, о которой Розен вспоминал: «В кратких и ясных словах изложил он мне дело важное, цель восстания...» Свое отношение к восстанию Розен определил следующим образом: «Тут речи были бесполезны: надлежало иметь материальную силу, по крайней мере несколько батальонов с орудиями». Такая позиция Розена свидетельствует о том, что он действовал как член Общества.

Судя по «Запискам декабриста», Розен вошел в тот круг единомышленников, из которого поступали в члены Общества, еще в 1822 г.

А. Е. Розен деятельно участвовал в совещаниях у Рылеева и Оболенского накануне выступления. Он обещал вывести на площадь в день восстания взвод солдат Финляндского полка. Но выполнить это обещание не сумел. 14 декабря, «возмутив» свой взвод и оставив его на мосту, ведущем к Сенатской площади, он блокировал действия всего полка, оказав тем самым помощь восставшим. А. Е. Розен был осужден по пятому разряду и отправлен на каторгу в Сибирь.

Сын эстляндского помещика, Розен учился в пародном училище г. Нарвы, затем в 1-м кадетском корпусе Петербурга. В 1818 г. начал службу прапорщиком лейб-гвардии Финляндского полка. Его старшие братья участвовали в Отечественной войне 1812 г.

А. Е. Розен был женат на Анне Васильевне Малиновской, дочери первого директора Лицея, сестре И. В. Малиновского, друга Пушкина.

Участие в восстании 14 декабря, близкое знакомство с передовыми людьми своего времени озарили всю дальнейшую жизнь Розена. Она для бывшего исполнительного офицера обрела новый смысл.

Каторгу Розен отбывал сначала в Нерчинских рудниках, потом в Петровском заводе. Анна Васильевна приехала в Сибирь вслед за первыми женами-декабристками. В тюрьме Петровского завода у Розенов родился сын, родители назвали его в честь Рылеева — Кондратием. Крестным отцом мальчика был Е. П. Оболенский. На поселение А. Е. Розена и его семью отправили в 1832 г., в г. Кур-

ган Тобольской губернии. В 1837 г. декабриста определили рядовым в Кавказский отдельный корпус. Два года спустя в связи с ранением он был уволен в отставку. По амнистии 1856 г. Розен был восстановлен в прежних правах и поселился в имении в с. Каменке Изюмского уезда Харьковской губернии. Он принял участие в подготовке и проведении крестьянской реформы на Украине, был мировым посредником. В своем имении учил в школе детей. Добрый нрав, открытый, славный характер, жизнерадостность и участие к ближнему до конца жизни сохранили за ним данное товарищами прозвище — Душа.

Он прожил долго и много успел. Был деятельным участником журнала «Русская старина». В 1883 г. издал подготовленное им Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. Но главным делом его жизни стали «Записки декабриста», которые он начал в сибирском заточении и закончил в 1860-х гг.

«Записки» Розен посвятил товарищам, с которыми «провел примечательнейшую часть своей жизни — годы заточения и изгнания в Сибири и на Кавказе». Рассказывая о 14 декабря, Розен неоднократно пишет о настроениях народа, собравшегося вокруг Сенатской площади, и с ним связывает возможность успеха. К моменту выхода в свет воспоминаний Розена большинства декабристов уже не было в живых. «Записки декабриста» стали им посмертным памятником. Сам автор видел свою задачу в том, «чтобы по истине выставить сущность исторического факта» и дать достоверные сведения относительно «характера и участия» друзей по 14 декабря.

«Записки» А. Е. Розена привлекают обилием документального материала, который автор тщательно собирал, интереснейшими подробностями, характеризующими эпоху и само движение декабристов и его участников, а также несомненными литературными достоинствами.

Попытки автора напечатать свои мемуары в России окончились неудачей. Впервые они были опубликованы (в отрывках) в 1868 г. анонимно на немецком языке в журнале «Die Grenzboten» под названием «Из воспоминаний русского декабриста». А в следующем году вышли в Лейпциге отдельной книгой. Издание на русском языке было осуществлено автором там же, в 1870 г.

В России полный текст «Записок», перепечатанный с авторского издания с прибавлением статей и заметок А. Е. Розена, был опубликован в Петербурге, в 1907 г., под редакцией П. Е. Щеголева, исправившего корректурные недосмотры и ошибки заграничного издания. С тех пор эти воспоминания не переиздавались.

В настоящем томе печатаются 4, 5 и 6-я главы «Записок» А. Е. Розена по тексту издания 1907 г. В этих главах автор повествует о восстании 14 декабря, следствии, суде и исполнении приговора над декабристами.

¹ Неверно. Был отдан приказ об аресте П. И. Пестеля. Он был арестован 13 декабря в Тульчине генералом Чернышевым. Для ареста Н. М. Муравьева, находившегося в имении графов Чернышевых под Орлом, из Москвы 20 декабря прибыл жандармский офицер. — 269.

² См. примеч. 3 к запискам Штейнгеля. — 269.

³ В Москву с письмом к М. Ф. Орлову выехал декабрист П. Н. Свистунов. — 270.

⁴ По показаниям С. П. Трубецкого, временное правительство, назначенное от имени Сената, должно было состоять «из двух или

трех лиц из известнейших особ Государственного совета». В состав правительства должен был войти и член Тайного общества — Пестель или Батеньков. Среди кандидатов в правительство называли не только членов Государственного совета Н. С. Мордвинова и М. М. Сперанского, но также сенатора И. М. Муравьева-Апостола, сторонника ограничения самодержавия, три сына и пять племянников которого были членами Тайного общества, генерала А. П. Ермолова и адмирала Д. Н. Снягина. Сперанский был автором плана государственного преобразования, который обсуждался в 1809—1811 гг. и предусматривал образование представительного органа — законосовещательной Думы и выборных органов на местах. Широкую известность приобрела произведенная им в 1819 г. ревизия управления Сибирью. Сперанский поддерживал деловые связи с Рылеевым, когда в Сибирском комитете рассматривались проблемы русско-американских отношений, к нему был близок Батеньков, у него бывал Н. Бестужев. Н. С. Мордвинов отличался самостоятельностью мнений при обсуждении дел в Государственном совете, был последовательным сторонником развития национальной экономики. «В совете бодрствует Мордвинов», — писал Рылеев в оде «Гражданское мужество». Ему же он посвятил свои «Думы». Мордвинов поддерживал отношения с Рылеевым по делам Российско-американской компании, а с Н. Тургеневым — по службе в Государственном совете, одобрял его книгу «Опыт теории налогов». Таким образом, эти государственные деятели были намечены в состав правительства не только из-за их известности и способностей, но и в силу их образа мыслей. Оба они, как свидетельствует декабрист Фонвизин, были осведомлены о планах Тайного общества. Передавали слова Мордвинова: «Теперь вы должны действовать» — и Сперанского: «Сперва победите, тогда посмотрим». Включенный по должности в состав Верховного уголовного суда, Мордвинов, единственный из его членов, представил особое мнение, в котором возражал против смертной казни пяти «преступников», поставленных «вне разрядов». Сперанский, также включенный Николаем I в состав суда, разработал по приказу императора обряд судопроизводства. Он предложил разделить подсудимых на «разряды» для различного определения мер и сроков наказания. Первоначально все преданные суду декабристы были признаны подлежащими смертной казни как совершившие преступления, предусмотренные первыми двумя пунктами указа от 24 января 1715 г. (преступления против царя, возмущение, бунт). Сперанский голосовал за смертную казнь Пестеля, Рылеева, С. Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Каховского. — 270.

⁵ Непосредственными задачами временного революционного правительства являлись: отмена крепостного права; уравнивание прав всех сословий; образование выборных волостных, уездных, губернских и областных правлений; образование внутренней народной стражи; образование судной части с присяжными; уравнивание рекрутской повинности между всеми сословиями; учреждение «порядка избрания выборных в палату представителей народных». — 271.

⁶ Рота Сутгофа прибыла на Сенатскую площадь ранее остальной части полка, еще до подхода Гвардейского экипажа. А. Л. Кожевников был задержан по приказу полкового командира в казармах. — 275.

⁷ Батальон гренадер, приведенный Н. А. Пановым, построился отдельно, слева от Московского полка. — 275.

⁸ Общая численность восставших солдат и матросов на Сенатской площади достигла 3 тысяч. — 275.

⁹ А. М. Булатов, назначенный помощником диктатора, отказался выполнять эту обязанность раньше, перед началом восстания. — 275.

¹⁰ Преображенцы стояли двумя шеренгами. Наследник же находился в Зимнем дворце. — 276.

¹¹ Эта фраза, отразившая официальную версию, находится в полном противоречии с рассказом самого Розена о кавалерийских атаках правительственных войск, которые перемежались с предложениями сдаться на милость победителя. — 276.

¹² Так Оболенский говорил в своих показаниях. В действительности он нанес удар штыком Милорадовичу, когда тот отказался перестать уговаривать солдат сложить оружие. — 277.

¹³ Стюрлер и Милорадович были ранены выстрелами П. Г. Каховского. — 277.

¹⁴ Надпись, сделанная на пушках прусского короля; в «Записках» ошибочно «гегит», т. е. вещей. — 278.

¹⁵ Этот логический довод Розена расходится с тем, что было в действительности: павловцы с самого начала заняли Галерную улицу, стреляли по восставшим и понесли потери от картечи вместе с ними. — 279.

¹⁶ См. примеч. 27 к воспоминаниям М. А. Бестужева. — 280.

¹⁷ Член Северного общества И. И. Богданович пытался убедить солдат своего полка отказаться от присяги Николаю I; после того как полк, присягнув, вернулся в казармы, он застрелился у себя в квартире. — 281.

¹⁸ От декабристов, находившихся в заключении, скрывали истинную причину гибели А. М. Булатова, который разбил себе голову о стену камеры и умер от воспаления мозга в военном госпитале 19 января 1826 г. — 282.

¹⁹ Официозная книга М. А. Корфа, написанная по заказу царя, отражала правительственную концепцию восстания. Прочитав книгу, Николай I аттестовал автора словами: «Этот человек в наших правилах и смотрит на вещи с нашей точки». А. И. Герцен назвал сочинение барона Корфа «подлым произведением». — 283.

²⁰ Эта дата названа в официальном донесении следственной комиссии. В действительности Пестель был арестован 13 декабря. — 284.

²¹ И. И. Муравьев-Апостол был ранен и застрелился. — 285.

²² По воспоминаниям декабриста Соловьева, Сухинов сам отказался от мысли эмигрировать. — 285.

²³ Розен ошибся. Это был старший брат К. В. Чевкина — Александр, прапорщик конноегерского полка. — 287.

²⁴ И. И. Пущин был арестован 16 декабря; 15-го в Зимний дворец был доставлен арестованным его брат М. И. Пущин. — 287.

²⁵ И. А. Анненков был арестован 19 декабря. — 288.

²⁶ Запись допроса не датирована. — 289.

²⁷ Эти сведения Розена неполны. Остался без изменений приговор М. И. Пущину; не изменился в результате конфирмации и приговор 11-му разряду, а входившему в него поручику Финляндского полка Н. Р. Цебрикову он был даже ухудшен: в отличие от остальных осужденных по этому разряду он был лишен дворянства и разжалован в солдаты без выслуги. — 290.

²⁸ Розен был помещен в Кронверкскую куртину. — 296.

²⁹ «Я воспитан с Рылеевым, — заявил на этом допросе Розен, — потому и остался с ним знакомым. За всем тем со время выпуска

мосго из корпуса видел я его только два раза: однажды у него, другой раз у Оболенского». На самом деле Розен поступил в кадетский корпус в 1815 г., тогда как Рылеев выпущен в 1814 г. — 300.

³⁰ Розен получил пакет 9-го и закончил писать ответы 10 января. — 301.

³¹ М. П. Бестужев-Рюмин был доставлен в крепость 11 января. «Содержать как наистроже. Дать писать, что хочет», — писал Николай I коменданту. Свыше двух месяцев, с 11 февраля, он был в ручных кандалах. — 304.

³² Член Южного общества Н. С. Бобрищев-Пушкин был доставлен в крепость 16 января с запиской Николая I: «Заковать в ручные железа и посадить и содержать строго». — 304.

³³ В 1838 г. В. А. Дивов был отправлен рядовым на Кавказ, где через 2 года умер. — 305.

³⁴ Петровские ворота. — 306.

³⁵ Т. е. не был арестован. При аресте шпагу отбирали. — 309.

³⁶ А. И. Богданов в 1829 г. был уволен от военной службы. — 309.

³⁷ В манифесте 1 июня 1826 г. об учреждении Верховного уголовного суда говорилось: «Председатель и члены следственной комиссии не будут в нем присутствовать». Баранов был выделен в состав так называемой ревизионной комиссии суда. Бенкендорф был членом следственной комиссии, но, как видим, присутствовал. — 311.

³⁸ Речь идет о судебной реформе. В 1864 г. были утверждены новые судебные уставы, в основе которых лежали буржуазные принципы судостроительства и судопроизводства: равенство всех условий перед законом, гласность, ведение судебного процесса с участием прокурора и адвоката. Судебная реформа была одной из наиболее последовательных буржуазных реформ, проведенных в это время в России, но и она, так же как другие, содержала феодально-крепостнические пережитки. Это выразилось в сохранении ведомственных судов (военного и духовного), а также сословного крестьянского суда, по приговору которого применялись телесные наказания. Позднее правительство фактически ликвидирует несменяемость судебных следователей и применяет меры к ограничению компетенции суда присяжных. Политические дела рассматривались в особых присутствиях. — 311.

³⁹ «Главным зачинщиком» Розен называет Е. П. Оболенского. Генерал Бистром был назначен генерал-адъютантом до 25 декабря 1825 г. — 314.

⁴⁰ По приговору было 11 разрядов; пятеро декабристов «по тяжести их злодеяний» были поставлены вне разрядов. — 315.

⁴¹ 121 человек были преданы суду; осуждены — 120, так как выяснилось, что статский советник О. В. Горский не принадлежал к Тайному обществу. В 1827 г. был выслан под надзор полиции в Сибирь, где, встретившись с декабристами, написал донос о том, что они не оставили прежнего «образа мыслей». — 315.

⁴² М. С. Лунин был включен во 2-й разряд. П. Н. Свистунов в замечаниях на «Записки» Розена пишет, что во время чтения приговора стоял рядом с Луниным и тот ничего не произнес. — 316.

⁴³ Суд начал заседать 3 июня; последнее заседание состоялось 12 июля. — 316.

⁴⁴ Розен ошибся: М. И. Пущин был осужден с лишением дворянства. — 319.

⁴⁵ Должность петербургского обер-полицмейстера занимал генерал Б. Я. Княжнин. Капитан В. Д. Вольховский — член Тайного общества — в это время находился в Средней Азии. Привлекался к следствию; был переведен на Кавказ. — 320.

⁴⁶ План Пестеля предусматривал независимость Польши как республики. — 320.

⁴⁷ В «Русской правде» говорилось о гласном судопроизводстве с присяжными по уголовным и гражданским делам. — 321.

⁴⁸ Пастор, как он сам рассказывал, вышел от Пестеля в отчаянии; вместо духовного смирения осужденный вел с ним политические разговоры. — 321.

⁴⁹ Так мемуарист называет Российско-американскую компанию; Рылев был правителем канцелярии компании. — 322.

⁵⁰ См. примеч. II к воспоминаниям Н. А. Бестужева. — 322.

⁵¹ С. И. Муравьев-Апостол учился в Париже до поступления в корпус инженеров путей сообщения, из которого был выпущен прапорщиком в 1811 г. Во время войны 1812 г. состоял по квартирмейстерской части; в Семеновский полк перешел в 1815 г.; в Черниговском полку был батальонным командиром. — 323.

⁵² О беседе С. И. Муравьева-Апостола с М. П. Бестужевым-Рюминым известно со слов Н. Р. Цебрикова, находившегося в тот момент в соседней камере. Он рассказывал, что Муравьев-Апостол «со стоицизмом древнего римлянина уговаривал его не предаваться отчаянию, а встретить смерть с твердостью, не унижая себя перед толпой, которая будет окружать его, встретить смерть как мученику за правое дело России, утомленной деспотизмом, и в последнюю минуту иметь в памяти справедливый приговор потомства!!!

Шум от беспрестанной ходьбы по коридору не давал мне ясно слышать все слова Сергея Муравьева-Апостола, — вспоминал далее Цебриков, — но твердый его голос и вообще веденный с Бестужевым-Рюминым его поучительный разговор, заключавший одно наставление и никакого особенного утешения, кроме справедливого отдаленного приговора потомства, был поразительно нов для всех слушавших, и в особенности для меня, готового, кажется, броситься Муравьеву на шею и просить его продолжать разговор, которого слова и до сих пор иногда мне слышатся». — 324.

⁵³ Исправлено: в тексте ошибочно — Петр Андреевич. — 324.

⁵⁴ Воспитанник Московского университетского благородного пансиона П. Г. Каховский начал службу не в гренадерском, а в лейб-гвардии егерском полку. Ошибка Розена объясняется, вероятно, тем, что Каховский был ответственным за подготовку гренадерского полка к восстанию. — 324.

Владимир Иванович Штейнгель (1783—1862)

«Слышно было с бульвара...» — записал Штейнгель в воспоминаниях о 14 декабря, и эта деталь дает понять, что, вопреки официальной версии, он находился в тот день у Сенатской площади на Адмиралтейском бульваре, а не остался на квартире Рыльева дописывать вступление к манифесту восставших.

Штейнгель родился в Пермском крае, в г. Обве, в семье капитана-исправника. Окончив морской кадетский корпус во время вой-

пы с Францией 1798—1799 гг., он побывал с эскадрой у берегов Англии и Голландии; позднее плавал в Охотском море. Склонность к независимости и самостоятельности привели к тому, что молодой командир корабля едва не был предан военному суду. Переехав в Иркутск, капитан-лейтенант Штейнгель в 1810 г. вышел в отставку. Однако вскоре, по представлению дяди — финляндского генерал-губернатора, получил назначение в министерство внутренних дел и приехал с семьей в Петербург. Началась Отечественная война 1812 г., и бывший флотский офицер, движимый патриотическими чувствами, вступает в ополчение. Он принял участие в ряде сражений, в том числе на Березине и при осаде Данцига. В 1814 г. Штейнгель был откомандирован к Тормасову, генерал-губернатору Москвы. Став во главе его канцелярии, Штейнгель не раз отказывался покрывать финансовые и прочие аферы влиятельных лиц, в результате чего ему пришлось оставить занимаемую должность. Пытаясь привлечь внимание правительства к ряду насущных вопросов, подполковник Штейнгель представил серию записок прогрессивного содержания: «Нечто о наказании», где настаивал на отмене телесных наказаний, «Некоторые мысли и замечания относительно законных постановлений о гражданственности и купечестве в России», «Рассуждение о причине упадка торговли» и др. О записках Штейнгеля было доложено Александру I, который отклонил все его предложения, дав тем самым понять, что не потерпит человека с такими взглядами на государственной службе. Вторично выйдя в отставку, Штейнгель с конца 1819 г. вынужден заниматься делами частных лиц (в Тульской губернии, в Астрахани). Наконец он решает попробовать свои силы на общественном поприще. В 1821 г. он открыл в Москве пансион для юношества, надеясь прививать представителям нового поколения передовые взгляды.

В 1823 г., приехав в Петербург, Штейнгель встретился с Рылевым, поэзия которого была созвучна его взглядам, а в следующем году после беседы с И. Пушиным был принят в Северное общество. Узнав, что Штейнгель хорошо знаком с купеческими кругами, Рылеев спросил его, нельзя ли представителям этого сословия привлечь к участию в декабристском движении, на что Штейнгель дал отрицательный ответ, сославшись на политическую косность купечества.

В вопросе о форме правления Штейнгель занял промежуточную позицию: он предлагал провозгласить конституционную монархию, чтобы вскоре перейти от нее к республике. Критикуя Конституцию Н. Муравьева, он возражал против высокого имущественного ценза при выборах и сохранения за монархом верховного командования армией и флотом. После смерти Александра I Штейнгель составил приказ по войскам о возведении на престол его вдовы под именем Елизаветы II. По конституции, пояснял он Рылееву, императрица будет обладать властью лишь номинально, а затем ей предоставят пенсию, почетный титул «Мать отечества» и провозгласят республику. Накануне восстания Штейнгель участвует в совещаниях у Рылеева. Ему Рылеев поручает составить от имени Сената манифест к русскому народу. В проекте Штейнгеля говорилось, что так как оба претендента отказались от престола, народ должен решить вопрос о правлении. Поэтому Сенат назначает временное правительство до того, как соберутся избранные народом депутаты. В губерниях в течение трех месяцев предлагалось избрать по два депутата от каждого сословия.

Находясь возле Сенатской площади, Штейнгель был свидетелем

лем многих событий 14 декабря. К вечеру он вернулся на квартиру Рылеева, приняв участие в последнем совещании членов Северного общества. 6 января 1826 г. Штейнгель, арестованный в Москве, был доставлен в Петропавловскую крепость. В письмах из крепости Николаю I он пытался показать причины возникновения в России тайных обществ. Наряду с записками А. Бестужева, Каховского и Батенькова свидетельства Штейнгеля давали беспощадную картину внутреннего положения страны накануне восстания декабристов.

Осужденный на 20 лет каторги, Штейнгель был переведен в Свартгольмскую крепость, а затем доставлен в Нерчинские рудники. Выйдя на поселение в 1835 г., проживал в Иркутской, а позднее в Тобольской губерниях. После амнистии он с большим трудом получил разрешение переехать в Петербург. Штейнгель много работает, знакомится с мемуарами своих товарищей, сам пишет воспоминания. В годы революционной ситуации (1859—1861 гг.) становится корреспондентом А. И. Герцена. Яркую зарисовку облика декабриста незадолго до его смерти оставил М. Бестужев. Он писал М. И. Семевскому: «84-летнего старца (явная описка: Штейнгелю было тогда 74 года. — *Ред.*), ежели пожелаете, можете узнать лично: он живет в Петербурге, в Кирочной улице, в доме Кольмана. Вы увидите в нем весь пыл молодости, сохранившийся под убеленною временем головою, как пламя Этны под снегом. Вы найдете в нем живую летопись прошедшего. Кроме любопытных подробностей о нашем казематном быте, он может сообщить многие интересные события вам как историографу».

Записки В. И. Штейнгеля известны в двух редакциях. В первом варианте подробно описана вся жизнь декабриста, другой — посвящен восстанию 14 декабря. Мемуары в пространной редакции были закончены в Петербурге не позднее 1859 г. Впервые опубликованы в 1900 г. в «Историческом вестнике» (№ 4—6). Другой, сокращенный вариант воспоминаний возник ранее, в Сибири, но в печати появился лишь в период первой русской революции в книге «Общественные движения в России в первую половину XIX века» (СПб., 1905, т. 1). Воспоминания о 14 декабря печатаются, с некоторыми сокращениями, по этому изданию.

¹ Такие же запечатанные конверты были помещены в Сенате и Синоде. Надпись на конвертах гласила: хранить «до востребования моего, а в случае моей смерти открыть прежде всякого другого действия». — 327.

² Речь идет об Анастасии Минкиной, любовнице Аракчеева, управительнице принадлежавшего ему имения в Грузии (Новгородской губернии), убитой дворовыми в сентябре 1825 г. — 328.

³ Это был третий посланец из Петербурга. Первым был адъютант Николая, посланный с письмом о присяге Константину; затем после получения первых писем Константина к нему был направлен Опочинин, сановник в отставке, но близкий ко двору, с «протоколом о происшедшем», в котором Николай утверждал, что он первым заявил о необходимости присяги Константину. Не уверенные в силах, на которые могли бы опереться, братья-соперники длили таким образом междуцарствие. Николай так и не добился от Константина, уже провозглашенного императором, официального манифеста об отречении. Это обстоятельство было использовано декабристами при агитации в войсках. — 329.

⁴ Ред ж е с и д — цареубийца. Исправлено по пространной редакции: в тексте ошибочно — сеиды. — 331.

⁶ К этому времени в Зимнем дворце Николай I уже получил доклады с перечнем членов Тайного общества, представленные в свое время Александру I. — 331.

⁶ Манифест Николая I помечен задним числом; он был подписан 13 декабря, после прибытия курьера от Константина. — 332.

⁷ Речь идет о жене придворного, ставшей жертвой разгула охраны Константина. — 333.

⁸ Так мемуарист называет Уложенную комиссию, созданную накануне восстания Пугачева для составления нового кодекса взамен Уложения 1649 г. В комиссию посылали по одному депутату от высших и центральных государственных учреждений, от дворян уезда, от горожан, от сословных групп провинции, исключая помещичьих и монастырских крестьян. Комиссия была распущена под предлогом начавшейся войны 1768—1774 гг.; действительной причиной послужила полемика о крепостном крестьянстве. — 333.

⁹ Сенат присягнул в 7 часов 20 минут утра: Николай I назначил присягу на ранний час, будучи предупрежден Ростовцевым о сроке восстания. — 333.

¹⁰ Прошло более двух часов, прежде чем на площади появились новые силы: рота Сутгофа, моряки и, наконец, около 3 часов дня, гренадеры во главе с Пановым. — 334.

¹¹ Солдат Андрей Красовский удерживал знамя, не зная, что Щепин принадлежит к восставшим. — 334.

¹² Милорадович умер 15 декабря «от ран, полученных пулею и штыком на Сенатской площади», как гласит надпись на надгробии в Александро-Невской лавре. Реакционеры требовали убрать эту надпись, чтобы она не напоминала о восстании декабристов. — 335.

¹³ Точнее — со стороны Новоадмиралтейского канала, соединявшегося с Крюковым каналом и находившегося на месте нынешнего бульвара Профсоюзов. — 336.

¹⁴ А. И. Якубович был арестован 15 декабря и в тот же день помещен в Петропавловскую крепость. Осужден на «каторжную работу вечно». — 336.

¹⁵ Так утверждала официальная версия. В действительности Кюхельбекер лишь навел пистолет на генерала. — 336.

¹⁶ Увещения митрополита были прерваны также вмешательством Оболенского и Каховского. — 336.

¹⁷ Имеется в виду отставка М. М. Сперанского и высылка его из Петербурга накануне Отечественной войны 1812 г. — 337.

¹⁸ Речь идет о заговоре, завершившемся убийством Павла I. — 337.

¹⁹ Первыми в Петропавловскую крепость были заключены Щепин-Ростовский, Сутгоф и Рылеев. — 338.

²⁰ Прибавление к «С.-Петербургским ведомостям» № 152 от 15 декабря; в ближайшие дни сообщение было перепечатано другими газетами. — 338.

²¹ Официальное название: «Комиссия для изыскания о злоумышленных обществах». Образована 17 декабря 1825 г. первоначально под названием «Тайный комитет...» В документах и газетах обычно называлась следственной комиссией. — 338.

²² Имеется в виду убийство Павла I в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. — 339.

²³ См. примеч. 39 к воспоминаниям И. Д. Якушкина. — 340.

²⁴ Устав воинский 1716 г. квалифицировал то и другое как телесное наказание. — 341.

²⁶ Гекатомфония — жертвоприношение. — 341.

²⁸ Написано так, чтобы не повредить тем членам Общества, которые привлекались к следствию, но не были преданы суду. — 342.

²⁷ Здесь и в авторском примечании речь идет о самом В. И. Штейнгеле. — 343.

²⁸ А. С. Шишков не участвовал в заседаниях суда два дня по болезни, как он пишет в мемуарах. Узнав, что уже проведено голосование, определившее сроки наказания, он подал особое мнение, в котором назвал несправедливой систему, принятую при голосовании. По этой системе отдельно подсчитывались голоса, поданные за ту или иную меру наказания, и выносился тот приговор, за который было подано наибольшее количество голосов. Если, к примеру, 25 судей высказывалось за пожизненную каторгу, а все остальные — за меньшие сроки, то подсудимый приговаривался к пожизненной каторге, т. е. мнение абсолютного большинства игнорировалось. Шишков предложил выводить средний срок, учитывая мнение каждого из судей. Это заметно облегчило бы участь многих декабристов. Мнение Шишкова было оставлено «без внимания». — 345.

²⁹ Здесь и далее В. И. Штейнгель выделяет формулировки документа. — 345.

³⁰ Исправлено: в тексте ошибочно «шестого». — 346.

³¹ Т. е. для чтения приговора о поражении в правах. — 348.

³² См. примеч. 34 к воспоминаниям М. А. Бестужева. — 349.

³³ Сицевым — т. е. таковым. — 350.

³⁴ «Мальчиком 14 лет, потерянным в толпе, — вспоминал А. И. Герцен, — я был на этом молебствии, и тут перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками». — 350.

Михаил Сергеевич Лунин (1787—1845)

«В Петропавловской крепости я заключен был в каземат № 7 в Кронверкской куртине, у входа в коридор со сводом. По обе стороны этого коридора поделаны были деревянные временные темницы, по размеру и устройству походившие на клетки: в них заключались политические подсудимые. Пользуясь нерадением или сочувствием тюремщиков, они разговаривали между собою, и говор их, отраженный отзывчивостью свода и деревянных перегородок, совокупно, но внятно доходил до меня. Когда же умолкал шум цепей и затворов, я хорошо слышал, что говорилось на противоположном конце коридора. В одну ночь я не мог заснуть от тяжелого воздуха в каземате, от насекомых и удушливой копоти ночника, внезапно слух мой поражен был голосом, говорившим следующие стихи:

Задумчив, одинокий
Я по земле пройду, не знаемый никем.
Лишь пред концом моим,
Внезапно озаренный,
Познает мир, кого лишился он.

— Кто сочинил эти стихи? — спросил другой голос.

— Сергей Муравьев-Апостол».

Это едва ли не единственная страница воспоминаний декабри-

ста М. С. Лунина, написанная от первого лица. Дело, которому он посвятил свою жизнь, предстает перед нами в серии статей о Тайном обществе, обращенных к молодому поколению.

Сын офицера (его отец вышел в отставку в чине бригадира), Лунин воспитывался дома, встречаясь, особенно в родственной семье Муравьевых, со значительным кругом просвещенных людей своего времени. Боевое крещение Лунин получил под Аустерлицем, где участвовал в знаменитой атаке, описанной Л. Н. Толстым в «Войне и мире». Кавалергарды прикрывали отступление союзных войск. Здесь на поле боя погиб младший брат Лунина — Никита. Осенью 1807 г., вернувшись в Петербург, Лунин вошел в политический кружок, в составе которого были также М. Орлов и С. Волконский, будущие участники первых декабристских организаций.

С начала Отечественной войны 1812 г. Лунин участвует в боевых действиях в составе 1-й армии. В боях под Смоленском, в Бородинском сражении, в боях под Тарутином, Малым Ярославцем, под Красным он неизменно проявляет холодную и дерзкую храбрость. Он принимает участие в заграничных походах русской армии, вступившей в марте 1814 г. в Париж. Однако в сентябре 1815 г. Александр I, начавший «очищение» армии, при первом же удобном случае (Лунин просил отпуск по болезни) увольняет его от службы.

Лунин вступил в Союз спасения в 1816 г., вскоре после его образования, принимал участие в организации Союза благоденствия и Северного общества. Он организовал нелегальную литографию, издававшую программные документы Союза благоденствия. Он первым предложил «решительные меры» — убить царя-тирана, «когда время придет к действию приступить».

В 1820 г. Лунин принял участие в совещании Коренной думы в Петербурге, на котором Пестель выступил с докладом «о выгодах и невыгодах монархического и республиканского правления». На встрече с Пестелем в Тульчине Лунин одобрил прочитанные ему отрывки из «Русской правды» «по достоинству и пользе, — как открыто заявил он следственной комиссии, — по правоте цели и по глубокомыслию рассуждения». Как член Коренной думы Северного общества Лунин настаивал на переходе к действию, активно вербовал в Общество новых членов. В 1822 г. он вернулся на военную службу, поступив в Литовский корпус; через два года его перевели в Варшаву. После ареста Лунин утверждал, что «отдалился» от Тайного общества, но в действительности он продолжал поддерживать связь с Пестелем и участвовал в переговорах с Польским патриотическим обществом.

9 апреля 1826 г. Лунин был арестован в Варшаве. 15 апреля его доставили в Петербург на главную гауптвахту, а на следующий день заключили в особый арестантский покой Петропавловской крепости. В мае его перевели в камеру № 8 Кронверкской куртины. Лунин был осужден по 2-му разряду на 20 лет каторги. После приговора он с осени 1826 г. находился в тюрьмах Свеаборга и Выборга и только весной 1828 г. был отправлен в Нерчинские рудники. Выйдя в 1836 г. из каторжной тюрьмы на поселение, Лунин решил создать серию очерков, содержащих правдивую характеристику декабристского движения и критику реакционной политики самодержавия.

Его сестра, Е. С. Уварова, выполняя завет брата, организовала распространение «Писем из Сибири», в которых Лунин критиковал состояние армии, суда, управления, просвещения. «Письма твои, —

извещала она брата, — ходят по Петербургу» и «владелец семидесяти миллионов», как иносказательно именует она царя, «бесится каждый раз». Лунина запрещают переписку с сестрой, но как только через год запрет сняли, он шлет в форме писем настоящие политические статьи.

Понимая, что его публицистическая деятельность может быть оборвана в любую минуту, Лунин торопится. Он составляет несколько записок — «Взгляд на Тайное общество в России», «Разбор» донесения следственной комиссии по делу декабристов (совместно с Н. М. Муравьевым), статьи «Общественное движение в России», «Взгляд на дела Польши» и другие.

Лунин заложил основы революционной концепции истории декабризма. Восстание 14 декабря, пишет он, «первое официальное выражение народной воли в пользу представительной системы и конституционных идей, распространенных русским Тайным обществом...». Он резко отмежевывает его от дворцовых переворотов, совершавшихся «в тени, в частных интересах». Лунин говорит о неизбежности народного возмущения. И еще вопрос, восклицает он, «согласятся ли наши солдаты, хоть и приученные к повиновению, обратить штыки против своих братьев. Луч сознания, который подтолкнет крестьян отстаивать свои законные права, сможет равно проникнуть и в солдатскую массу и из слепого орудия власти превратить их в благородного союзника угнетенных».

В 1841 г., узнав, что Лунин помимо «Писем из Сибири» составил записки, раскрывающие цели декабристов, царь приказал вторично арестовать его. М. С. Лунина увезли в Акатуйский тюремный замок, где он провел четыре года. 3 декабря 1845 г. М. С. Лунин внезапно умер. «Одни говорят, — передавал историку М. И. Семевскому М. Бестужев, — что был убит, другие говорят, что умер от угара». III отделение собственной его императорского величества канцелярии отказалось сообщить сестре что-либо об обстоятельствах его смерти, кроме часа: в 8-м часу поутру. «Кажется, все было придумано, чтобы отбить охоту к письму, — говорил М. Бестужев, оценивая действия своего товарища по борьбе, — и надо было родиться Луниным, который находил неизъяснимое наслаждение дразнить «белого медведя» (как говорил он), не обращая внимания на мольбы обожавшей его сестры (графини Уваровой) и на лапы дикого зверя, в когтях которого он и погиб в Акатуе».

Статья «Взгляд на Тайное общество» написана в с. Урик не позднее 1838 г., когда рукопись была передана декабристу П. Ф. Громницкому. Перевод и подлинник на французском языке хранятся в ЦГАОР СССР. Этот перевод под названием «Взгляд на русское Тайное общество с 1816 по 1826 год» впервые опубликован в книге «Декабрист М. С. Лунин. Сочинения и письма». Ред. и примеч. С. Я. Штрайха. (Пг., 1923); включен в сборник «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов» (М., 1951, т. 3). В «Полярной звезде» (1859, кн. 5) А. И. Герценом был напечатан другой перевод, который и публикуется в настоящем издании. Опушенные при переводе примечания автора в настоящем издании приведены под строкой, опущенные фразы — в скобках.

¹ М. С. Лунин придает фразе, на которую ссылается, диаметрально противоположный смысл: царский манифест имел в виду не дело, за которое боролись декабристы, а судебную расправу над ними. — 351.

² Излагая цели декабристского движения, Лунин начинает с самого важного — уничтожения самодержавия. — 351.

³ Это «Обозрение» блестяще использовано Луниным для критики самодержавия (см. письмо из Сибири от 22 октября 1839 г.). — 351.

⁴ Лунин имеет в виду жестокое подавление солдатских восстаний в Харьковской (1819 г.), Новгородской (1831 г.) и других губерниях. — 352.

⁵ Продолжая излагать программные требования декабристов, Лунин пользуется формулировками как «Русской правды», так и Конституции Н. М. Муравьева. — 352.

⁶ «Наше судопроизводство, — писал Лунин из Сибири, — начинается во мраке, тянется в безмолвии, украдкою, часто без ведома одной из участвующих сторон и оканчивается громадой бестолковых бумаг. Нет адвоката, чтобы говорить за дело; нет присяжных, чтобы утвердить событие и, в особенности, нет гласности, чтобы просветить, удержать и направить облеченных судебной властью». (Письмо от 15 декабря 1839 г.) — 352.

⁷ Лунин имеет в виду 1-ю часть устава Союза благоденствия. — 353.

⁸ Декабристы горячо приветствовали начавшееся в 1821 г. восстание в Греции, по выражению К. Ф. Рылея, поднявшей «свободы знамя». «Друзья! Нас ждут сыны Эллады!» — восклицал В. К. Кюхельбекер в «Греческой песне». Он сам, Каховский, Якушкин и некоторые другие декабристы собирались отправиться в Грецию добровольцами, чтоб сражаться в рядах повстанцев. — 353.

⁹ «Свод законов, — писал Лунин из Сибири, — заключает в себе таблицу, где обозначена цена людей по возрасту и полу; где однолетнее дитя оценено дешевле теленка (Свод законов о правах состояний, т. IX, стр. 707). Наши судилища, в которых совершаются купчие и закладные, подобны базарам, где торгуют человеческим мясом». (Письмо от 3 января 1839 г.) — 353.

¹⁰ Лунин имеет в виду лишь некоторых членов Союза благоденствия; о том, что остальные не полагались на обещания Александра I, говорят последующие фразы. — 354.

¹¹ Лунин говорит здесь о Союзе спасения и Союзе благоденствия. — 354.

¹² Речь идет об Обществе соединенных славян и Польском патриотическом обществе. — 355.

¹³ Слова «первой армии» добавлены в переводе. Речь идет о восстании Черниговского полка. — 355.

¹⁴ Верховный уголовный суд осудил 120 декабристов, из них разжаловано в солдаты было 12 человек. — 355.

¹⁵ Сестра С. Муравьева-Апостола просила о свидании перед казнью и выдаче останков брата. Разрешено было только свидание. Различия сведений о месте захоронения объясняются тем, что царские власти стремились сохранить его в тайне. В 1939 г. на острове, который ныне носит имя Декабристов, на том месте, где, как полагают, похоронены казненные, поставлен обелиск. — 356.

¹⁶ В подлиннике: «После этого государственного переворота». ¹⁷ Имеется в виду пресловутая формула «Самодержавие, правослаvie, народность», выдвинутая в 1830-е гг. как идейное обоснование реакционной политики царского правительства. — 356.

¹⁸ Лунин имеет в виду запрет, наложенный III отделением 15 сентября 1838 г. на его переписку с сестрой и снятый только год спустя, что косвенно указывает время написания «Взгляда на Тайное общество». — 356.

- Абросимова Е. П. 119
 Аврамов П. В. 75, 284, 317
 Агап Иванович, рассыльный
 «Полярной звезды» 363
 Адлерберг В. Ф. 107, 299—301,
 339
 Азадовский М. К. 362, 365
 Акулов Н. П. 294
 Александр I 13, 15, 23, 26, 27,
 47—50, 54—58, 60, 76, 86,
 87, 93, 95, 99, 109, 140, 237,
 239, 268, 272, 326, 327, 332,
 337, 338, 341, 358—360, 369,
 372, 388, 390, 392
 Алексей Михайлович, царь 326
 Алексей Петрович, царевич 345
 Андреев А. Н. 295
 Андреевич Я. М. 13
 Аппа, вел. кн. 48
 Анненков И. А. 276, 281, 288,
 383
 Анненков, адъютант 291
 Анненков П. В. 217, 222, 372
 Анненков, помещик 71
 Апостол Д. П. 324
 Аракчеев А. А. 21, 50, 54, 55,
 59, 68, 78, 79, 90, 91, 176,
 232, 367, 372, 387
 Арбузов А. П. 38, 138, 330, 334,
 361, 362, 364
 Аш В. И. 65, 73
 Бабков В., унтер-офицер 31, 32
 Байрон Дж. Н. Г. 187, 297
 Бакунин И. М. 278
 Баранов Д. О. 114, 311, 316, 384
 Баранова см. Оболенская В. С.
 Барышников А. И. 65, 71
 Барятинский А. П. 305, 342
 Басаргин Н. В. 357
 Батеньков Г. С. 9, 25, 29, 192,
 196, 317, 328, 375, 382, 387
 Башуцкий П. Я. 98, 158, 275,
 287, 316
 Безобразов, ярославский губер-
 натор 61
 Белевцов Д. Н. 274
 Белов Н. 259
 Беляев А. П. 38, 139, 294, 367
 Беляев П. П. 38, 139, 294
 Бенкендорф А. Х. 42, 107, 114,
 123, 124, 290, 299, 302, 308,
 311, 317, 318, 345, 364, 371,
 384
 Бентам И. 303
 Берстель А. К. 284, 347
 Бестужев (Марлинский) А. А.
 12, 14, 22, 23, 26, 27, 29—
 32, 34, 37, 97, 115, 120—123,
 126—129, 131, 133, 135, 136,
 139, 149, 153, 165, 185, 190,
 192, 199, 202, 205, 229, 235,
 287, 322, 330, 333, 334, 361,
 363, 364, 373
 Бестужев А. П. 126
 Бестужев А. Ф. 367
 Бестужев М. А. 27, 29, 30, 31,
 38, 46, 117, 139, 149, 160,
 170, 173, 199, 272, 274, 276,
 278, 279, 290, 315, 334, 338,
 346, 358, 362—367, 368, 369,
 387, 391
 Бестужев Н. А. 21, 22, 27, 28—
 30, 34, 37, 46, 119, 122, 126,
 138, 139, 149, 169, 170, 173,
 274, 275, 281, 282, 290, 291,
 311, 315, 322, 346, 362, 363,
 364, 366—369, 382
 Бестужев Павел А. 123, 124, 363
 Бестужев Петр А. 29, 119, 122,
 123, 126, 277, 361—364
 Бестужева Е. А. 324, 364
 Бестужева М. А. 364
 Бестужева О. А. 364
 Бестужев-Рюмин М. П. 40, 92,
 93, 117, 118, 170, 171, 246,
 284, 290, 304, 310, 320, 323—
 325, 347, 349, 360, 366, 378,
 382, 384, 385
 Бибииков И. Г. 63, 125, 126, 291
 Бибиикова Е. И. 117
 Бистром К. И. 30, 83, 277, 283,
 284, 310, 313—316, 331, 384
 Блюдов Д. Н. 299, 302, 344
 Бобрищев-Пушкин Н. С. 304, 316,
 320, 384
 Богданов А. И. 308, 309, 384
 Богданович И. И. 281, 383
 Бодиско Б. А. 139, 290, 347
 Бодиско М. А. 139, 315, 346

- Боженев Б. В. 379
 Болдырев А. А. 320
 Борецкий И. П. 148, 149, 153, 154, 158, 162
 Борисов А. И. 50, 57, 58, 63
 Борисов П. И. 50, 57, 58, 63, 93
 Боровков А. Д. 339
 Бороздин Н. М. 316
 Брут Марк Юний 30, 59, 81, 191
 Булатов А. М. 30, 34, 105, 106, 268, 271, 275, 281, 282, 311, 360, 333
 Булгари Н. Я. 347
 Булгари, граф 292
 Булгарин Ф. В. 229, 333, 334
 Буриашев Т. В. 259, 262, 265
 Бурцов И. Г. 53, 63, 73—75, 81—84, 207, 284, 369, 371
 Буссе В. И. 276, 293
 Бутурлин Н. А. 363
 Вадбольский А. П. 295
 Вадковский А. Ф. 360, 378
 Вадковский И. Ф. 87
 Васильев Е. 259
 Васильчиков И. В. 76, 89, 288, 316, 360
 Велли О. О. 276
 Веллингтон А. У. 50
 Веселовский К. С. 294
 Виртембергский А. 72, 121, 330
 Витгенштейн П. Х. 53, 321
 Витт И. О. 283
 Воинов А. Л. 273, 277, 316, 336
 Волков, офицер 170, 171
 Волконская М. Н. 254, 256, 257, 260, 262, 366
 Волконский М. С. 372
 Волконский П. М. 23, 88—90
 Волконский С. Г. 83, 115, 250, 255, 258, 262, 317, 372, 390
 Вольховский В. Д. 207, 320, 371, 385
 Воронцов М. С. 53, 214, 217, 372, 373
 Воронцов С. Р. 11
 Воропанов Н. Ф. 271
 Vaucher Ch. A. (Вошэ К.-А.) 254
 Вюртембергский Е. 33
 Вяземская 84
 Вяземский П. А. 378
 Вяткин А. С. 273
 Гагариц, лекарь 378
 Галахов А. П. 276
 Галахов С. П. 287
 Гангблов А. С. 363
 Гебель Г. И. 284
 Гейсмар Ф. К. 284
 Геруа А. К. 275
 Герцен А. И. 9, 10, 42, 43, 131, 358, 360, 362, 367, 368, 377, 383, 387, 389, 391
 Гете И.-В. 218
 Глебов М. Н. 290, 315
 Глинка Ю. К. 226
 Глинка Ф. Н. 15, 18, 68, 81, 121, 229, 329
 Гнедич Н. И. 121
 Голенишев-Кутузов П. В. 42, 107, 108, 116, 171, 172, 299, 300, 339, 366
 Голицын А. М. 141
 Голицын А. Н. 91, 107—109, 299, 339, 345
 Голицын Д. В. 84, 93—95, 98, 214, 215, 369
 Голицын, помещик 69
 Головин Е. А. 273, 318
 Головкин Ю. А. 316, 345
 Горбачевский И. И. 360, 362, 366
 Горсткий И. Н. 374
 Горский О. В. 384
 Горчаков А. М. 369
 Горчаков М. Д. 50
 Горчаков П. Д. 50
 Граббе П. Х. 58, 70, 73, 81, 83, 86, 89, 292, 302, 303, 360
 Гревс, полковник 78
 Греч Н. И. 229, 333, 334
 Греч П. И. 286
 Грибовский М. К. 286, 360
 Грибоедов А. С. 121, 214, 357, 362
 Грибоедова А. Ф. 60
 Громницкий П. Ф. 391
 Грудзинская И. 326
 Гурко В. И. 94
 Гуров, унтер-офицер 314
 Гурьев, купец 119
 Давыдов А. Л. 73, 80
 Давыдов Д. В. 360
 Давыдов В. Л. 77—80, 247, 250, 257, 258, 374
 Давыдов Д. А. 84
 Давыдова А. А. 78
 Дама Г.-М. 63
 Данзас Б. К. 375
 Данзас К. К. 226, 375
 Данте Алигьери 340, 360
 Дезин, флотский офицер 122
 Дельвиг А. А. 121, 122, 371, 372
 Державин И., обер-священник 48

Дестют де Трасси А.-Л.-К. 303
 Джуньковский С. С. 68, 69
 Дибич И. И. 28, 89, 107, 109,
 299, 300, 328
 Дивов В. А. 139, 164, 304, 384
 Дмитриевский И. А. 153
 Долгоруков И. А. 18, 54, 68
 Дохтуров М. А. 119
 Евгений, митрополит 34, 277
 Екатерина II 86, 333, 360
 Елизавета Алексеевна, жена Алек-
 сандра I 238, 331
 Елизавета Петровна, императри-
 ца 340, 360
 Ентальцев А. В. 284
 Ермолаев Д. П. 87
 Ермолов А. П. 58, 90, 91, 125,
 284, 382
 Ефремов П. А. 377
 Жигалов, помещик 71
 Жуковский В. А. 121, 297, 327,
 362, 372, 373
 Журавлев И. Ф. 315, 316
 Завалишин Д. И. 16, 33, 361, 362
 Заикин Н. Ф. 304, 320
 Закревский А. А. 316
 Засс К. К. 279
 Затопляев, пристав 249, 250
 Злобин, знакомый М. А. Бесту-
 жева 158
 Знаменский М. С. 371
 Зубков В. П. 214
 Иванов П., дьякон 368
 Ивашев В. П. 370
 Ивашева К. П. 370
 Инзов И. Н. 214, 372
 Кавелин А. А. 63
 Каверин П. П. 79
 Кайсаров А. 358
 Калашникова О. М. 374
 Каменский С. М. 66, 67
 Канкрин Е. Ф. 324
 Каподистрия И. А. 372
 Карамзин Н. М. 372
 Каратыгин П. А. 38, 368
 Карл X 63
 Каховский П. Г. 22, 25—29, 33,
 35, 40—42, 117, 118, 139,
 170, 171, 197, 200, 235, 246,
 277, 310, 320, 324, 325, 331,
 335, 336, 347, 349, 361, 366,
 379, 382, 383, 385, 387, 388,
 392
 Кашкин С. Н. 374
 Квирига А. 17
 Кипренский О. А. 372

Киселев П. Д. 55, 74, 75, 77,
 209, 320, 359, 360
 Кнооп Г., купец 280
 Княжнин Б. Я. 41, 385
 Кожевников А. Л. 382
 Кожевников Н. П. 275
 Козицкая А. Г. 253
 Козлов, адъютант 248
 Козодавлев О. П. 66
 Колошин Павел И. 88, 207
 Колошин Петр И. 62, 83
 Комаров Н. И. 75, 81, 83
 Комаровский Е. Ф. 95, 273, 279,
 316
 Коновницын И. П. 32, 139
 Констан Б. 303
 Константин, вел. кн. 27, 28, 93,
 132—134, 136, 150, 240, 268,
 270, 272, 280, 283—285, 326,
 327, 329, 330, 332, 334, 364,
 388
 Кончялов Е. А. 341
 Копылов Г. И. 91
 Корнаков П. К. 364
 Корнилов А. А. 127, 132, 133,
 364
 Корнилович А. О. 229
 Корф М. А. 268, 283, 383
 Косовский А. И. 20
 Коцебу А. 126
 Кочубей В. П. 69
 Кошкарров Н. И. 87
 Краснокутский С. Г. 28, 336,
 337
 Красовский А. 388
 Кроун Р. В. 350
 Крюков, горный офицер 250, 252
 Кузнецов Е. А. 249, 253
 Кузьмин А. Д. 284, 285
 Куницын А. П. 91, 210
 Куракин А. Б. 114 (ошибочно,
 см. Головкин Ю. А.), 345
 (ошибочно)
 Курилов, подполковник 89
 Кутайсов П. И. 316
 Кушников С. С. 316
 Кюхельбекер В. К. 14, 25, 26,
 28, 32, 35, 37, 115, 226, 229,
 277, 336, 346, 369—371, 375,
 388, 392
 Кюхельбекер М. К. 137—139,
 141, 279, 315, 336
 Лабзин А. Ф. 328
 Лаваль И. С. 29, 32
 Лавинский А. С. 249
 Лагарп Ф. Ц. 48, 140

- Лазарев А. П. 157
 Ламберт К. О. 316
 Ланжерон А. Ф. 316
 Лебцельтерн З. И. 35
 Лебцельтерн Л. 36
 Левашев В. В. 98—101, 107, 108, 163, 167, 269, 289, 290, 299, 305, 309, 317, 339, 342, 376
 Левашев Н. В. 72, 85, 88, 93
 Левашева Е. Г. 72, 85, 88, 93
 Ленин В. И. 5, 7—10, 19, 43, 44
 Лепарский О. А. 265, 266
 Ливий Т. 59
 Лимохин, помещик 66, 71
 Лихарев В. Н. 323
 Лобанов-Ростовский Д. И. 115, 316, 348
 Лобойко И. Н. 367
 Лович см. Грудзинская
 Лонгинов Н. М. 331
 Лопухин П. П. 62, 63, 316, 328, 329
 Лорер Н. И. 63
 Лукин М. С. 9, 15, 109, 316, 348, 359, 361, 384, 389—392
 Лукин Н. С. 390
 Любимов, ефрейтор 141
 Людовик XVIII 48, 312
 Ляшевич-Бородулич А. Я. 369
 Мазалевский А. Е. 284
 Мазепа И. С. 189, 190
 Майборода А. И. 28, 268, 283, 284, 321, 338
 Майков Л. Н. 372
 Малиновская А. В. 380
 Малиновский И. В. 226, 375, 380
 Малютин М. П. 245, 295
 Мария Федоровна, жена Павла I 48
 Маркс К. 359
 Мартынов, капитан 127
 Мартынов П. П. 279, 308
 Маслов Д. Н. 210, 211
 Матушкин, военный инженер 41
 Матюшкин Ф. Ф. 375
 Меншиков А. Д. 32
 Меншиков А. С. 90
 Мерзляков А. Ф. 327
 Мертваго Д. Б. 86
 Меттерних К. 87
 Микулин В. Я. 164, 166, 287, 293, 294
 Миллер К. П. 295
 Милорадович М. А. 30, 32, 33, 151, 178, 179, 213, 269, 277, 328, 329, 334, 379, 383, 388
 Минкина А. Ф. 328, 387
 Митыков М. Ф. 93—95, 113, 286, 290, 307, 308, 319
 Михаил, вел. кн. 9, 20, 35, 105, 107, 110, 124, 126, 129, 151, 166, 268, 277—279, 283, 291, 293, 294, 299, 330, 336, 339, 346, 363
 Михаил, слуга А. Е. Розена 306, 307, 309
 Михайловская А. К. 129
 Михайловский К. Г. 129
 Моллер А. В. 126
 Моллер А. Ф. 195, 196, 270, 272, 282, 286
 Моллер Ф. В. 122
 Мордвинов Н. С. 30, 230, 270, 284, 329, 382
 Мур Т. 187, 191
 Муравьев А. М. 23, 324
 Муравьев А. Н. 12, 15, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 62, 108, 207, 256, 324, 346, 349, 358, 359, 371
 Муравьев А. З. 247, 249, 250, 257, 258, 284, 324
 Муравьев М. Н. 50, 54, 58, 62, 82, 84, 85, 88, 93, 207, 371
 Муравьев Н. М. 15, 18, 19, 22, 44, 50—53, 56—58, 62, 68, 81, 83, 90, 100, 108, 115, 116, 231, 324, 360, 386, 391
 Муравьев Н. Н. 324, 381, 391, 392
 Муравьев (Карский) Н. Н. 50
 Муравьев-Апостол И. И. 285, 383
 Муравьев-Апостол И. М. 382
 Муравьев-Апостол М. И. 15, 22, 50, 51, 53, 56, 92, 108, 115, 117, 284, 285, 324, 378
 Муравьев-Апостол С. И. 12, 15, 40, 42, 50, 51, 53, 56, 92, 93, 108, 117, 118, 170, 171, 238, 246, 284, 310, 311, 320, 323—325, 339, 347, 349, 359, 360, 366, 382, 385, 389
 Муравьева А. Г. 80, 171, 222, 223
 Муравьева В. А. 247, 248
 Муравьева П. М. 256, 359
 Мусин-Пушкин Е. С. 139
 Муханов П. А. 96, 97, 113, 367, 380
 Мысловский П. Н. 41, 104—106, 110—112, 114—118, 245, 312, 320, 323, 325, 348, 349, 361

Набокова Е. И. 215, 372
 Назар, театральный сапожник 153
 Назаров, солдат 13
 Назимов М. А. 302, 320, 324
 Нарышкин М. М. 63, 93, 94, 96, 235, 266
 Наполеон I 12, 14, 47—49, 338 358
 Насакин Я. Г. 271, 272
 Нейдгард А. И. 288, 328
 Нелединский-Мелецкий Е. Ю. 93
 Нессельроде К. В. 217, 372
 Нестеровский А. В. 276, 278
 Нечкина М. В. 10, 36, 45
 Никитенко А. В. 23, 24, 376
 Никитин, обер-прокурор 329, 332
 Николаев, плац-адъютант 282, 297, 303, 307—309, 314
 Николай I 8, 28—36, 38, 39, 41, 42, 83, 94, 95, 107, 128, 132, 134, 137—139, 142, 150, 166, 167, 269, 272, 283—286, 308, 327, 330, 332, 334, 350, 360, 364, 366, 369, 379, 382—384, 388
 Новосильцов В. Д. 24, 232—234
 Норов В. С. 346
 Оболенская В. С. 377
 Оболенский Е. П. 9, 15, 20, 22—25, 27—34, 36—38, 46, 63, 83, 97, 141, 194, 248, 259, 269—271, 275, 277, 281, 283, 285, 300, 301, 308, 315, 317, 322, 332, 335, 338, 357, 359, 365, 366, 368, 370, 375, 380, 383, 384, 388
 Обрезков В. А. 97, 98
 Огарев Н. П. 42
 Одоевский А. И. 9, 27, 28, 29, 32, 44, 139, 140, 199, 229, 381
 Ожеровский А. П. 50
 Озеров В. А. 154
 Октавиан Август 59
 Оленин Е. И. 60
 Оперман К. И. 316
 Орлов А. Ф. 276, 283, 337
 Орлов М. Ф. 17, 73—78, 80—82, 95—97, 113, 209, 270, 306, 359, 360, 363, 372, 374, 381, 390
 Орлов-Чесменский А. Г. 340, 360
 Орлова К. В. 24, 26, 232
 Осипова П. А. 373
 Остен-Сакен Ф. В. 24, 61

Охотников К. А. 77, 78, 80, 81
 Павел I 21, 330, 388
 Пален П. А. 339, 343
 Панов Н. А. 35, 131, 139, 275, 334, 361, 364, 369, 382, 388
 Паскевич И. Ф. 316
 Пассек П. П. 70, 83, 86, 88, 93, 111
 Перовский В. А. 54, 63, 288
 Перовский Л. А. 54, 63
 Персий Флакк Авл 21
 Пестель П. И. 12, 14—19, 29, 39, 40, 42, 44, 53, 62, 73—75, 82, 84, 100, 117, 118, 138, 230, 231, 246, 270, 283, 284, 302, 310, 311, 320, 321, 325, 347, 349, 360, 366, 375, 377, 381—383, 385, 390
 Петр I 120, 326
 Петрашевский В. М. 379
 Петрашевский М. В. 316
 Пирожков А. И. 249, 250, 255
 Пистолькорс В. В. 141
 Плутарх 59
 Поджио А. В. 39
 Подушкин Е. М. 112, 170, 171, 248, 249, 295, 320
 Поливанов И. Ю. 292
 Полторацкий К. М. 53
 Польшман В. П. 246, 317, 318
 Попов М. М. 364
 Потапов Н. Н. 98, 107, 299
 Потемкин Я. А. 49
 Потемкина Е. С. 36
 Прокофьев И. В. 121
 Пугачев Е. И. 10, 388
 Путинцев А. М. 377
 Пушкин А. С. 8, 16, 18, 46, 78—80, 121, 188, 189, 207—211, 213—226, 357, 360, 368, 369, 371—373, 377
 Пушкин Б. С. 365
 Пушкин В. Л. 215
 Пушкин Л. С. 121
 Пушкин С. Л. 211, 218
 Пушин И. И. 15, 16, 20, 22, 27, 28, 30—32, 34, 37, 46, 63, 90, 94, 97, 131, 138 (ошибочно), 139, 141, 196, 227, 229, 235, 266, 272, 316, 317, 359, 369—375, 377, 383, 386
 Пушин И. И., сын декабриста 370
 Пушин М. И. 319, 383, 385
 Пушин П. С. 220, 221, 372, 374
 Пушина А. И. 370, 375, 377

Радищев А. Н. 10, 16
 Раевская Е. Н. 81
 Раевский А. Н. 78, 79, 80, 92, 292, 342
 Раевский В. Ф. 12, 74, 75, 77, 219, 359, 372, 374
 Раевский Н. Н., генерал 76, 78
 Раевский Н. Н., сын генерала Н. Н. Раевского 92, 122, 123, 294, 305, 363
 Разин С. Т. 10
 Разумовский А. Г. 360
 Рейнбот, пастор 305, 312, 321
 Рейнке М. Ф. 362
 Репин Н. П. 196, 197, 269, 270, 287, 288, 301, 315, 320, 378, 380
 Репнин Н. Г. 61
 Риго-и-Нуньес Р. де 17, 30, 191, 367
 Рик, горный офицер 261—263
 Розен А. В. 307, 309
 Розен А. Е. 35, 42, 196, 336, 361, 375, 380—385
 Розен Г. В. 53, 54
 Розен К. А. 380
 Розен О. Е. 293
 Розенберг, плац-адъютант 224, 375
 Ростовцев Я. И. 28, 125, 137, 140, 145, 167, 195, 283, 331—333, 388
 Рылеев К. Ф. 20, 21—23, 25—30, 34, 39, 40—42, 90, 97, 117, 120—123, 127, 130—132, 149, 170—172, 181, 183—201, 227—237, 240—242, 244—246, 269—272, 280, 283, 285, 300, 301, 310, 311, 317, 319, 320—322, 325, 329—333, 338, 340, 343, 347, 362, 363, 365—370, 374—377, 379, 380, 382, 384—388, 392
 Рылеева А. К. 319
 Рылеева А. М. 228
 Рылеева Н. М. 228, 230
 Сабанеев И. В. 74, 75
 Сазонов Н. Г. 308
 Сакен см. Остен-Сакен
 Салов, генерал 78
 Самойлов В. М. 153
 Сапожников А. П. 333
 Саргер И. И. 308
 Свиштунов П. Н. 363, 381, 384
 Себастиани, генерал 78
 Сегюр Л.-Ф. 11

Семевский В. И. 44
 Семевский М. И. 46, 362, 364, 365, 387, 391
 Семенов А. В. 207
 Семенов С. М. 93, 94
 Сениян Д. Н. 316, 382
 Серафим, митрополит 34, 277, 368
 Сипягин Н. М. 282
 Скуратов, урядник 251, 255
 Смирнов, лекарь 379
 Соколов, фейерверкер 303—305, 310, 313, 320, 323, 324
 Соловьев В. Н. 284, 383
 Солицев Ф. Г. 368
 Сомов О. М. 122
 Спафарьев Л. В. 119, 291
 Сперапский М. М. 230, 270, 284, 316, 332, 336, 337
 Сталь Ж. 211
 Стахий, священник 103, 104
 Степовая Л. И. 122
 Степовой М. Г. 122
 Стрекалов С. С. 308
 Строгонов Г. А. 316
 Стюрлер А. К. 35, 139, 140, 277, 336, 383, 384
 Суворов А. В. 175
 Сукин А. Я. 101, 105, 117, 167, 248, 295, 339, 379
 Сутгоф А. Н. 34, 131, 132, 139, 275, 334, 361, 364, 382, 388
 Сумароков, полковник 141
 Сухинов И. И. 284, 285, 383
 Сухозанет И. О. 36, 37, 141, 201, 277, 337
 Тараканова, княжна 114, 340, 360
 Татищев А. И. 107, 248, 299, 303, 339, 345
 Таубе, полковник 50
 Тацит Публий Корнелий 59
 Тизенгаузен В. К. 92, 284
 Тимковский, ротмистр 289
 Титов А. А. 273
 Толстой Д. Н. 377
 Толстой И. Н. 48
 Толстой Л. Н. 390
 Толстой П. А. 53, 94, 316
 Толстой Ф. П. 68
 Толь Ф. К. 278, 290
 Торсон Е. П. 146, 147
 Торсон К. П. 126, 144, 146—149, 157, 192, 196, 279, 344, 361, 365, 366
 Траверсе И. И. 126

Трегубов Е. В. 125
Трофимов, сторож 323, 324
Трубецкая Е. И. 36, 171, 250,
252, 253, 256, 257, 260, 262
Трубецкой С. П. 12, 15, 22, 26,
27, 29—32, 34, 36, 50, 51,
56, 83, 109, 131, 141, 229,
231, 235, 250, 253—255, 258,
259, 261, 262, 270, 272, 292,
332, 333, 376, 378, 381
Трусов, плац-адъютант 102, 103,
106, 107, 110, 114, 115, 171,
248
Тулубьев А. Н. 196, 273, 276
Тулубьев Д. А. 286
Тургенев А. И. 215, 368, 369, 372
Тургенев Н. И. 68, 81—83, 88,
98, 210, 235, 345, 359, 371,
373, 382
Тшокке, писатель 307
Тэер А.-Д. 98
Тютчев А. И. 92, 169, 378
Тютчев И. Н. 85
Уварова Е. С. 390
Устрялов Н. Г. 283
Уткин Н. И. 372
Фаленберг П. И. 164, 305, 341,
342
Федоров, ефрейтор 135
Фелькнер В. И. 378
Филарет, митрополит 42, 91, 95
Фонвизин И. А. 81—85, 88, 91—
93, 94
Фонвизин М. А. 11, 50—54, 56—
58, 62, 64, 70, 72—75, 77,
81, 83, 86, 88, 90, 91, 93—
95, 108, 109, 226, 312, 358,
382
Фонвизина Н. Д. 371
Фотий, архимандрит 91, 328, 343
Фредерикс П. А. 132, 135, 272,
334
Фролов А. Ф. 169
Хатчинсон У. 373
Хвостов Д. И. 333
Хвошинский П. К. 135, 272, 334
Хмельницкий Б. М. 190
Хованский Н. Н. 53, 61
Цебряков Н. Р. 347, 383, 385
Цицерон Марк Туллий 59, 81
Чаадаев П. Я. 78, 79, 83, 111,
357, 372
Чаусов, хорунжий 257
Чевкин А. В. 137, 287, 364, 383
Чевкин К. В. 287, 383
Черепанов, хорунжий 257

Чернов К. П. 24, 25, 232, 233,
234, 328, 365
Чернова А. И. 232
Чернова Е. П. 26
Чернышев А. И. 166, 107—109,
113, 118, 209, 299, 301, 302,
303, 305, 308, 318, 319, 381
Чернышев З. Г. 317
Чернышевский Н. Г. 43
Чижов Н. А. 362
Шаховская В. М. 256, 380
Шаховской Ф. П. 18, 56, 62, 63,
108, 359
Шварц Г. Е. 15, 238, 363
Шеншин В. Н. 135, 272, 334
Шервуд И. В. 28, 283, 338
Шереметев А. В. 93, 94
Шереметев С. В. 23, 24
Шереметева Н. Н. 84, 91, 112,
114
Шешковский С. И. 341
Шмбаев, сторож 303, 305, 313,
323, 324
Шипов И. П. 68
Шипов С. П. 68, 138, 274
Шишков А. С. 345, 389
Штейнгель В. И. 25, 26, 29, 48,
164, 311, 361, 366, 369,
385—389
Штрайх С. Я. 358, 371, 391
Шульгин А. С. 364, 365
Шульгин Д. И. 98
Шеголев П. Е. 362, 381
Шепин-Ростовский Д. А. 30, 31,
130—132, 134—136, 270, 272,
274, 334, 365, 388
Щербатов И. Д. 87
Эмануэль Е. А. 316
Энгель В. И. 316
Энгельгардт Е. А. 213, 223, 374
Эссен А. А. 364
Юсупов Н. Б. 214
Юшневский А. П. 73, 311, 320
Яковлев А. С. 148, 153
Яковлев М. Л. 375
Якубович А. И. 22, 25, 29, 130,
131, 133, 136, 137, 234, 247,
250—252, 254, 255, 258, 259,
262, 276, 281, 317, 318, 336,
349, 363, 364, 388
Якушкин В. И. 358
Якушкин Е. И. 358, 371, 376—
378
Якушкин И. Д. 12, 13, 15, 17,
23, 46, 318, 357—366, 371,
376, 392

СОДЕРЖАНИЕ

Начало революционного движения в России	8
<i>Н. Д. Якушкин. ЗАПИСКИ</i>	47
<i>М. А. Бестужев. БРАТЬЯ БЕСТУЖЕВЫ</i>	119
14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА	130
[АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН]	165
[КАЗНЬ РЫЛЕЕВА]	170
<i>Н. А. Бестужев. ВОСПОМИНАНИЕ О РЫЛЕЕВЕ</i>	173
14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА	201
<i>И. И. Пущин. ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ</i>	207
<i>Е. П. Оболенский. ВОСПОМИНАНИЯ</i>	227
<i>А. Е. Розен. ЗАПИСКИ ДЕКАБРИСТА</i>	268
<i>В. И. Штейнгель. ЗАПИСКИ</i>	326
<i>М. С. Лукин. ВЗГЛЯД НА ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО В РОС-</i> <i>СИИ (1816—1826)</i>	351
Примечания	357
Именной указатель	393

ВЕРНЫЕ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

Воспоминания участников
декабристского движения в Петербурге

Составители: Лилия Борисовна Добринская, Леопид Сергеевич Семенов

Заведующий редакцией И. Ю. Куберский. Редактор С. А. Прохвятилова. Младший редактор М. В. Тоскина. Художник Л. А. Яценко. Художественный редактор А. К. Тимошевский. Технический редактор В. И. Демьяненко. Корректор В. Д. Чаленко
ИБ № 2038

Сдано в набор 19.11.81. Подписано к печати 14.07.82. М-17615. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,0+вкл. Усл. кр.-отг. 22,26. Уч.-изд. л. 24,34+0,67=25,01. Тираж 50 000 экз. Заказ № 353. Цена 1 руб.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград. Фон-танка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володар-ского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

